8.1976

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Шинедег Гандолгор (Монголия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

1976

8 АВГУСТ

Содержание

ЯН БЕНЬО. ЛЮБОШ ЮРИК. ЯН ПАПП *(Рассказы. Переводы со словацкого Т. Мироновой, Н. М.Аросевой, А. Косорукова, Н. Шульгиной)* 3

ИШТВАН ШИМОН — Стихи *(Перевод с венгерского Натэллы Горской)* 46

ТОРНТОН УАЙЛДЕР — Теофил Норт *(Роман. Окончание. Перевод с английского В. Голышева)* 51

Литературные иллюстрации

КОБО АБЭ — Человек-ящик *(Роман. Перевод с японского В. Гривнина. Предисловие Т. Грушина)* 148

Литературное наследие

ТРИСТАН КОРБЬЕР — Стихи *(Перевод с французского и вступление Михаила Кудинова)* 193

Критика

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС — Западно-восточные вандалы *(Перевод с немецкого Н. Михайловой)* 204

В. ЛАКШИН — Дом Иштвана Шимона 210

Д. ХАЧАТУРЯН — Лицом к лицу (О некоторых тенденциях в современной шведской документальной прозе) 216

Заметки писателя

ЗДЕНЕК ПЛУГАРЖ — Несколько слов о чешской прозе наших дней *(Перевод с чешского Т. Мироновой)* 220

Письма из-за рубежа

МЭРИ КРУС — Хемингуэй — навсегда *(Перевод с испанского Г. Вержховской)* 223

Культура и современность

Заметки на полях

А. Ермонский — Писатели о читателях 226

Публицистика

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ — Как вы теперь поживаете? *(Перевод с польского С. Ларина. Послесловие Льва Гинзбурга)* 232

Среди книг

Издано в СССР

Хорхе Икаса: «Уасипунго» сорок два года назад и теперь...» Георгий Ашкинадзе — Глазами души. И. Левидова — Еще один облик американского Юга 261

Издано за рубежом

Ю. Кожевников — «Когда листва алеет, как заря...» Е. Гальперина — Помни Рубена. М. Рудницкий — Гордое ли имя — Штольц? 267

Из месяца в месяц 273

Авторы этого номера 286

На 1 стр. обложки — работа КАРЛА ГЕЙНЦА АППЕЛЬМАНА (ГДР), представленная на Братиславской биеннале художников-иллюстраторов детской книги.

На 2 и 3 стр. обложки — работы с этой же выставки.

© «Иностранная литература». 1976.

Рассказы

■

Со словацкого

ЯН БЕНЬО

Парни поют...

Хоть бы ночи мои, ночи были не так долги...

Где-то в газетах я читала, будто не всякому нужен одинаково долгий сон. Одному достаточно пяти часов, другому в том же возрасте надо восемь—десять. Я сплю не более пяти, но длится-то ночь для всех одинаково. Хуже всего осенью и зимой, когда рано темнеет и поздно рассветает. Ночи нет конца, и ты со всем этим — один... Темно и тихо, только разве дождь шумит или ветер дует, завывает. Лежу и не сплю, какой у меня сон... Слушаю, а в голове у меня будто целый мир: там и горы, и поля, и дальние дороги, много людей проходит по ним...

Девушкой я боялась вечерами выйти со двора, и когда, бывало, ходила на посиделки, где мы пряли, драли перо да рассказывали про ведьм и про светлые ночи, то бежала домой без оглядки. Сейчас и не верится, что могла быть такой... Чего бояться и какой толк от этих страхов?

Говорят, у ночи своя сила, а я этого не признаю. Ночь нам дана для сна и раздумья, дурными бывают только сновидения. Говорят: кто спит, тот сон видит, только в короткие часы сна мне мало что снится. А если и снится, то почти всегда те люди, с которыми я и днем могу увидеться, поговорить. Вот дочь и сына уж не знаю, с каких пор не видела во сне. Приходится терпеливо ждать, пока-то они завернут ко мне раз-два в год...

© Ján Beňo, 1975.

Так все ушли от меня: одни на кладбище, другие в большой мир. Если б не старший брат, осталась бы я в деревне одна-одинешенька. А брат у меня неплохой. Помогает мне дровами, углем запастись, спрашивает, не нужно ли чего. Я ему твержу: много ли мне надо, одной-то? Пока здорова да сила есть, сама о себе позабочусь. Денег хватает, не тревожься, брат, а со всем прочим справлюсь. Ты тоже не молоденький, и здоровье твое не ахти какое. Так что береги себя...

Когда-то я боялась остаться одинокой, ивой плакучей. И когда выходила замуж, то подружки пели мне песню, от которой слезы у меня ручьем текли:

Веселая свадьба у нашей у Эвы.
Кого на ней нет? Кого на ней нет?
Матери нет, матери нет,
Мать лежит во сырой во земле.

Умерла мама моя за год до моей свадьбы... Муж в Восстании погиб. Был там с ним один человек из соседней деревни, знал, где его похоронили. Думала я, сердце у меня разорвется от горя по Петру. Два дня ходила как безумная, а потом решила: должна я похоронить его здесь, дома, на нашем кладбище, чего бы это ни стоило. Напрасно меня люди отговаривали: образумься, баба, немцы кругом, как ты его перенесешь? Купила я гроб, три раза бегала упрашивать одного шофера грузовика. Христом-богом молила, деньги вперед давала... Наконец согласился. И того человека, который знал, где Петр похоронен, упросила я, и вот поехали мы втроем в эту злосчастную Козельницкую долину.

Четыре раза нас немцы останавливали; своими руками я тело мужа выкопала, в гроб уложила. Когда подъехали мы к нашему дому, звонарь без всякого распоряжения начал звонить. А я уже не плакала. Двигалась как машина, никого ни о чем не просила, все, что нужно для похорон, сама сделала. Там, в той Козельницкой долине, с меня будто весь страх слетел. Не боюсь, твержу себе, ничего не боюсь, пусть хоть двадцать немцев явятся, чтоб помешать увезти мужа домой.

И когда к нам в деревню пришли немецкие солдаты и стали устраиваться по домам, я встала на пороге и твердо сказала:

— В этот дом вам ходу нету! Не позволю дом занимать тому, кто у меня мужа убил!

Отец кричал, чтобы я одумалась, ведь двое детей у меня! А немцы потоптались, потоптались — и ушли. Только уж когда фронт стал приближаться, набились они к нам в заднюю горницу.

По воскресеньям я хожу на кладбище, поливаю цветы на могилах, потом сажусь около Петра. Сижу и думаю, вспоминаю мужа, детей, и, когда возвращаюсь домой, мне как-то легче на душе. Мой Петр здесь, я могу прийти к нему, поговорить с ним, поделиться своими раздумьями. И не надо мне гадать да мучиться, где он лежит, под какой горой, в каком поле, не унесли ли его воды, не растащили ли лисицы...

Женщины порой удивляются мне:

— Эва, как это ты умеешь? Ни на что не жалуешься, всегда знаешь, что делать. Было время, когда никто бы не подумал, что ты можешь быть такой.

Что им сказать? Что я ко всему равнодушна, ни над чем голову не ломаю? Просто живу себе да живу, а до остального мне дела нет.

Они-то знают — неправда это, я только прикидываюсь такой. Нет, я не окаменела. Но я и не нежный маковый цветок. Я не буду ждать помощи из милости, чтоб жалели меня, вот, мол, какая я несчастная и одинокая... в этом мире... Кое-кто думает, что я и детей от себя

оттолкнула. Мол, была б не такая, взял бы ее сын к себе или сам постарался бы поближе к ней поселиться.

Не такая... Какая же? Или мне обижаться, что дочь с мужем и детьми ездит по чужим странам, черных людей лечит? Все равно бы меня так не лечили, не стояли бы над душой — вот, мол, рецепт, вот вам укол. Сами себе дорогу выбрали. А я и тому рада, коли напишут когда, навестят в кои веки... Повздыхаю, а то и слезу уроню в долгие ночи о том, что так далеко они,— но я знаю: если б и жили мы вместе, мою-то жизнь, за меня, им не прожить. Каждый должен сам прожить свою жизнь с теми людьми, с которыми связала его судьба.

Сын, инженер, как-то сказал:

— Мама, я знаю, моя жена тебе на нравится, ты ею недовольна...

А я на это:

— Тебе нравится, ты доволен? Вот на что ищи ответ, сынок. Не я ее выбирала, не я с ней и живу. Придет — спиной к ней не поворачиваюсь, что ей во мне или у меня не нравится, за это я не отвечаю. Мои двери для вас всегда открыты, а больше я ничего не могу сказать...

Итак, кроме нескольких кур, поросенка да кошки, нет в моем доме ни одного живого существа. Одна я осталась. Ива живет вместе с речкой, травой, ветром и солнцем, а я — со своей жизнью да с тем, что принесла она мне, что нажила я за шесть десятков лет. Если не считать тех немногих лет, что я батрачила в разных имениях, мало я за свою околицу выходила. И не очень-то знаю, как живут люди в городе, но кажется мне, что познала я больше людей, чем если б там жила.

Вот лежу вечером или под утро в постели, а они, один за другим, и проходят передо мной, перед закрытыми моими глазами. И будто в деревне полным-полно народу, и уже тесно им, рассеялись по полям, за околицей, по тропинкам и дорогам. Скольких из них уже нет в живых, сколько в другие края уехало, а все они — в моей жизни. Все во мне живут, и жалко мне, что когда я умру, то и они как бы навсегда умрут со мной. Не могу я сказать, что я одинока: вот сидим мы, девушек двадцать, перо дерем, вокруг стола тесно, не повернешься. Куча перьев перед нами, пальцы так и мелькают, и весело нам, песни поем, о самих себе поем, сами над собой подшучиваем:

Пошли девицы по ягоды,
А тропинка под водою вся,
Гей-гей-гей.
А тропинка под водою вся.

И девицы те рассказывают, сколько кто из них заработал. В песне имена называем. Начинаем с того, каким кончили в прошлый раз. Галайка — три талера, тачку на все три купила. Цибулька тачку тащила, за что осликом прослыла... Чье имя приходилось на эти слова, больше всего обижалась. Санитарка в тачку встала, чтобы та не дребезжала... А ленивая Дудашка так и плюхнулась на тачку...

Бедная Анча Цибулька! И ведь не хотела я, а пуще всех ее поддразнивала. Хорошая была женщина — да будет земля, что покрыла ее еще в молодые годы, ей пухом. Веселая была, все шутила и никогда не обижалась, как ее ни назови. Как сейчас помню, копнили мы как-то кооперативное сено под еловым лесом, и такое напало на нас веселое настроение, будто все мы помолодели лет на двадцать. Расшалились — Анчу Цибульку на сено повалили, насовали ей сена под кофточку, под юбку, а потом кто-то ее и водой облил. А она вскочила, как лань, да и запела:

На печи опрудилась,
С печи потекло...

Лежу, сон не идет, а я улыбаюсь. Если увидел бы меня кто, подумал бы: с ума сошла тетка! Целые дни одна, на мозги и действует...

Улыбаюсь — рассудок-то у меня здоров,— вспоминаю, как все и шло, одно за другим. Кооператив вот: как мы все ровно ожили, веселыми стали, когда миновали первые годы, когда привыкли мы и жить стало лучше. Вдруг хорошо себя почувствовали оттого, что вместе мы, не приходится каждой колотиться на своем клочке. Кончается жатва, а мы уже придумываем, сочиняем поздравления и толпой отправляемся в Дом культуры с венками из колосьев. А в поздравлении нашем, бывало, и о председателе упомянем, и о бригадире, о нашей работе, обо всем, что сделали, и о том, что не нравится нам и чего бы мы хотели.

Жили неплохо, да годы не стоят на месте, и мы старели. Я перешла в коровник, там и сейчас работаю. До конца года еще продержусь, а потом уступлю место молодой, чтобы люди не смотрели на меня косо, будто гонюсь я за заработком, когда могу уже и на покой уйти. И так-то на меня пальцами показывают, знаю: у Эвы, мол, денег много, к чему они ей, что она собирается с ними делать? И еще обо мне говорят, будто я плохая мать — все ведь до ушей доходит.

Дала бы вот я детям по десять тысяч на машину или еще не знаю на что, да раструбили бы об этом по деревне — вот тогда бы меня хвалили! А я им ничего не дала, потому что знаю, у них своего достаточно, а то они еще подумают, будто я их подкупаю, чтобы потом все время от них чего-нибудь требовать.

И не только то, что детям я ничего не дала. Я еще хуже сделала, и разговоров обо мне пошло еще больше.

Телевизор купила года два назад — и пять тысяч дала взаймы цыгану Дюсу!

Цыгану! Пять тысяч!

А дело было так: в позапрошлом году купил Дюс у одного инженера старый дом, еще от родителей остался. Дом пустой стоял, без пользы, инженер и продал его цыгану. Дюса я знаю с детства. В школу с моим сыном ходил, в шахте работал, а потом на шофера выучился. Пришел он ко мне:

— Тетя Эва, не поможете? Хочу дом поправить да еще одну комнату пристроить... А денег не хватает. Не одолжите несколько тысяч?

Я знаю, у других он не решился бы попросить, и дала ему эти пять тысяч. Возьми, Дюс, мы давно знакомы, у тебя четверо детей и ты порядочный человек, устраивайся!

Устроился он и мне уже вернул полторы тысячи. Разве я плохо сделала?

А телевизор — на что, мол, такая роскошь одинокой? Радио ей мало? Детям не дает, а себе лишнее покупает!

Да и правда роскошь... Подумайте только: сижу перед телевизором одна, как королева, и смотрю, когда хочу. И думаю: разве простой деревенской женщине не интересно знать, что делается в мире да какие есть разные вещи? В церкви-то об этом не скажут, да и хожу я туда два-три раза в год.

Смотрю, слушаю, люблю хорошие спектакли, а больше всего — песни. С детства я любила петь, хоть особого голоса у меня нет. Сколько мы певали! Правда, из наших песен мало услышишь по телевидению или по радио, но мне нравятся и незнакомые, даже эти, современные. Такие — без этой сумасшедшей музыки,— когда певец поет чисто и красиво, без завывания и гримас.

Раз я в коровнике поссорилась с бабами из-за Карела Готта. Я говорю: есть голос у молодца, душа так и подымается, когда он поет. А они: разве, мол, это пение? От его блеяния ушам больно!

Я качаю головой: нет, нет, бабоньки, вы только вслушайтесь... С таким голосом родиться надо. Песни, правда, не те, к каким мы привыкли, но не все то плохо, что нам непривычно. Так-то!

Сколько этих певцов да певиц, всех и не упомнишь. Но любимая моя певица все-таки та, которая народные песни поет. Редко я ее слышу, еще реже вижу, но всегда скажу—лучше Дарины Лащаковой нет у нас певицы. Ее голос будто так и гладит по сердцу, и вроде поет она для меня одной. А как кончит, как станет тихо в комнате — так и мне запеть хочется. Сложу это я руки на коленях, огляжу комнату, а вижу-то совсем другое... Посижу, посижу эдак-то, да и затяну слабым своим голосом:

На яворе листья вянут,
Листья вянут, опадают.
Когда, милый, мы под явор
Вместе сядем, вместе сядем?

Не давай ты, моя радость,
Листьям вянуть, листьям вянуть.
Вот тогда с тобой под явор
Вместе сядем, вместе сядем.

Ах, господи... Все минуло, и лишь песни остались.

Вечером я не могу долго сидеть у телевизора. Иногда только смотрю подольше, когда показывают что-нибудь интересное, а обычно ложусь спать самое позднее в десять.

Лежу, думаю, когда сон не идет, слушаю тишину. Машины у нас не шумят, поезда не грохочут. Хорошо, когда ничто не мешает отдыхать.

А мне все-таки чего-то не хватает...

Слышу, как проходят месяцы и годы, а песен вот не слышу...

Не пьяный рев, этот мне и задаром не нужен; не слышу я ладного пения молодых ребят, на которое никто никогда не злится, за которое самый угрюмый ворчун не заругается, все равно — так ли поют или под гармошку.

А когда-то ведь пели парни, и разносились их славные голоса по тихой деревне. Медленно проходили они по улице, обнявшись, и пели:

Ночью парни распевают,
Ночью парни распевают,
Девушкам покоя нету,
Девушкам покоя нету.

Обувают сапожки,
Подбегают к окошку.
Подбегают к окошку,
Глядят на дорожку.

Пели раздельно, с чувством, никто не старался перекричать другого... Пели лучше, чем Карел Готт, лучше, чем Дарина Лащакова, которую озолотить бы за то, что она так прекрасно поет. Я всегда слушала у окна, по голосам узнавала, кто поет, знала их в лицо и недостатки их знала, но когда пели они — каждый был хорош и красив, как само их пение.

Не припомню я, когда они в последний раз с песней ходили... Знаю только — сын мой раза два был среди них. И как уходили они все дальше, голоса все слабели, слабели — где же они теперь, эти парни, что так долго не возвращаются?

Прошли по деревне и словно в воду канули, в широкую бурную воду, что уносит и не отдает...

Перевод Т. МИРОНОВОЙ

Так-то, господа!..

Вечер как парное молоко. Теплый, сладкий, душистый. Июль.

Мы плывем в этой темноте, невидимый камень глухо звякнул под каблуком. Последние косцы пшеницы идут вдоль притихшей деревни.

Навстречу шаги, маленькое лицо на коротком теле белеет в ночи. Послышался голос, скрипевший, как колеса по каменистой дороге:

— Где косили, господа?

Косили!

Деревенская дорога будто превратилась в средневековое подворье, по которому идут не крестьяне с косами на плечах, а три рыцаря с обнаженными мечами. И будто они не косили, а срубали этими мечами жесткие колосья, оставляя за собой чистые полосы. Косят все крестьяне, хозяева, но настоящее мастерство доступно только избранным, так-то, господа!

Затихнут шаги в темноте, а награда останется навсегда. Награда, наспех выданная, бегом в пивную, залпом пиво — и домой. Кончать сегодняшнюю, готовиться к завтрашней работе.

Работа — вода, он в той воде — рыба. Но не совсем так: погруженный в воду-работу, голову он держит над ней, словно водяная змея, и ни за что не даст захлестнуть себя. Представим себе этого тщедушного мужичонку поближе к празднику Трех волхвов. Целый год работы, от зимы до зимы, лежит перед ним, как карта с черными пятнами. Карта — это земля, пятна на ней — его поля, луга, леса. Слишком мало, чтобы нанять работников, слишком много, чтобы справиться одному только с помощью жены, дочери да старого отца. И стоит он перед этой работой, обросший, хлевом разит,— стоит словно дирижер, который должен уметь не только управлять оркестром, но и играть на всех инструментах.

Крестьянский труд, десятки ремесел!

Представим себе — если сможем. А не сможем или не захотим — не будем отмахиваться от двадцатипяти,- тридцатилетней старины и от упрямцев, ни разу не бравших отпуск и не отдыхавших у моря. И уж коли мы смеемся над тем, чем надо восхищаться, то допустим хотя бы один-единственный вопрос:

— А вы бы так сумели?

Вы, сильные, высокие, с мощным и отдохнувшим телом?

Вы бы так смогли? Смогли бы вы потягаться с маленьким, бедным Мишиком хотя бы одно лето?

Знаете ли вы вообще, господа, что такое работа?

Работа — огромна, человек перед ней мал. Разрастается она, высится над человеком, как огромный стог. Надвигает на него свои мяса-телеса, хвастливо приговаривая:

— Только примись за меня, только свяжись со мной! Всю кровь из тебя высосу, в лепешку раздавлю!

Но проходит несколько месяцев — и стога как не бывало, а лепешки пекут из него. Стоит Мишик, улыбается, показывая редкие зубы, а за спиной его новый стог работы вырастает.

На то и работа, чтобы с ней хорошо и быстро управляться. Не отставать, не давать перегнать себя! Полевые работы—никем не объявленное суровое состязание. Работает человек, а как остановится да оглянется вокруг себя—не считает ворон. Высунется, словно мышь из норы, посмотрит, чем заняты другие. Что они уже сделали, далеко ли ушли? Ой-ой, хочет Мишик быть первым, но очень важно для него,

чтобы никто не заметил его первенства. Быть впереди — но незаметно — и притворяться при этом, будто ох как тяжко-трудно ему не отставать от других. Когда нужно — скорчит жалостную мину, пожалуется, но ничем себя раньше времени не выдаст.

Какое уж луга косить в горах, на полянах да лесных прогалинах? Куда ему, сначала надо сделать то да сё... Еще у него работа в Ольшанике, в Нижних водах, на клеверище... А он не совсем здоров. Живот болит, да аппетита нет.

Но проходит день, наступает новое утро, и деревню облетает новость:

— Мишик косит уже под Буковой рощей!

В три часа утра выкрался он из дома с двумя нанятыми косцами, всех обогнал. Такие минуты придают ему силу, подстегивают, радуют его. И когда в воскресный день остановят его, чтобы с завистью и шутками упрекнуть в первенстве, он принимает вид серьезный и озабоченный:

— Куда там, мужики... Чего там я... Начать-то начал, да у вас у всех сено будет дома раньше, чем у меня!

Работа — каторжный труд, но работа — и страсть. Бывают минуты, когда человек наслаждается плодами своей спешки. На дворе льет, тучи обложили небо — а его сухонькое зерно потрескивает в амбаре, под крышей. Мишик успел все свезти. Через три дня светит солнце, и толстый слой грязи липнет к обуви тех, кто разбрасывает по жнивью такие мокрые снопы, будто их только что вытащили из воды. Солнце печет, земля парит, и вскоре снова дождь мочит злополучные колосья. Хоть в петлю лезь — а у Мишика все сухое, сумел он перехитрить и дождь и грязь....

И если уж он радовался или злорадствовал, так только там, где его никто не видел. Да, работа — это скрытое соревнование, замаскированное болтовней, мелкими уступками, приевшимися поговорками да шутками, но ликовать и радоваться — нельзя. Разве только так, что отпустишь колкость, скрытую под замечанием, адресованным всем и никому. А задаваться не годится: кто знает, что может ждать тебя в ближайшие дни?

Вниз по дороге, врезанной в косогор, спускается к деревне воз со снопами. Четыре ряда снопов над драбинами — человека, сидящего высоко над конскими крупами, почти не видно. На снопах, как на перинах,— Мишик правит лошадьми с помощью вожжей, криков, причмокиваний. Не всякий возчик рискнет остаться на возу на таком спуске, но ногам нужен отдых. Ноги крестьянин должен беречь. Воз потихоньку спускается, лошади осторожны, жена сзади притормаживает как надо. Все в порядке; высокий воз колышется плавно и величественно, как корабль на волнах.

Но достаточно нескольких секунд — колея неровная, лошади всего лишь лошади,— и колеса с правой стороны слишком высоко подскакивают. Жена вскрикивает, перепуганные лошади сбиваются с дороги, и воз заваливается набок. Покачался, покачался — и с грохотом и треском падает на левую сторону... Колеса крутятся вхолостую, лошади дергаются и ржут, запутавшись в порванной упряжи. Мишик молчит. Ругаться и охать он начнет потом, выбравшись из чертополоха, куда его отшвырнуло. Избитый, помятый, но целый.

Он с трудом поднялся с земли и накинулся на жену, которая спрашивает, не случилось ли с ним чего?

Не видит, что ли, что случилось? Чего спрашивать?

Скорчившись, он хватается за бок и начинает распоряжаться. Освободить лошадей, позвать на помощь! Скорей! Скорей!

Мишик не злой и не желчный. Кричать и ругаться не очень-то умеет, да и голоса на это нет. На шутку отвечает шуткой и понапрасну не обидится. Он даже слывет человеком, который не любит портить настроение людям. Посмеешься ты надо мной — хорошо, в другой раз я над тобой, и будем квиты!

В еде Мишик не привередлив, но курятины в рот не возьмет. Все знают о его слабости — что в деревне скроешь? — и часто вспоминают об этом, садясь большой компанией за стол — на свадьбах, крестинах или после молотьбы.

Вот опять чья-то свадьба, приглашен и Мишик. Всякий раз, когда приходится сидеть сложа руки, он вознаграждает себя за безделье хотя бы тем, что вертит маленькой своей головой на тонкой шее. Повернется направо, потом с ним заговорят слева, нагнется, послушает, кивнет, что-то сам скажет, выставит в улыбке длинные редкие зубы. Перед ним на тарелке жареное мясо с картошкой и капустой. Все едят; Мишик тоже поел бы, но поверх картошки и мяса, как жаба, лежит толстая и желтая куриная кожа, бр-р-р... Мишику не по себе от этой мерзости, но он и вида не показывает. Конечно, кто другой это мог сделать, как не сосед справа, жирный шутник, с которым они нередко разыгрывают друг друга. Достаточно кинуть взгляд в ту сторону, чтобы в этом убедиться. Мишик знает, что на кожу ему больше нельзя смотреть. Тогда он оборачивается и говорит:

— Кума, подойдите ко мне!

Круглолицая женщина подходит, и Мишик просит:

— Уберите эту тарелку, Ян напустил в нее соплей. И дайте ему носовой платок, что ли, чтобы он больше не шкодил.

Мишик выходит под всеобщий хохот, и там, где его никто не видит, его вырывает.

Упав с воза, он сломал себе два ребра, но валяться и отдыхать он себе не позволял. На больное место клал заячье сало, стискивал зубы и, туго обвязавшись льняной тряпкой, продолжал работать. Оставить работу посреди лета, в самую страду? Можно ли это, господа? Молотьба, второй покос, пахота, картошка, осенний сев — опоздаешь с одним, потом с другим, так и пойдет!

В конце концов станешь посмешищем или начнут тебя жалеть:

— Бедняга Мишик! Так зашился с работой, что не знает, с чего раньше начать...

Тело у него жалкое, вроде полчеловека, но дух его не вынес бы, боролся бы против такого определения, как лев. Бедняга? Да разве есть такое дело, чтоб ему было не по силам? Мешки и бревна таскает так же, как более сильные и рослые мужики, ни в чем он не осрамится. Все может, все выдержит.

Но иная работа и лошадь уморит. Наступает весна, и Мишиковы скулы выделяются резче обычного. Кадык на тонкой шее становится как бритва, а когда он возвращается с луга в деревню, едва ноги тащит.

Перед домом стоит старуха, подставив морщинистое лицо нежаркому солнцу. Мишик подходит к ней, жалуется:

— Эх, слабый я стал какой-то, тетушка... Не есть мне зеленой капусты на будущий год.

Ему чуть больше пятидесяти, а нет у него уже ни охоты, ни настроения. И он не скрывает этого — смотрите, видите, какой стал я, Юрай Мишик. Отработался!

Аппетита нет, слабость, мрачные мысли бродят в голове. Но потом незаметно, понемногу и разойдется. Солнце, которое все жарче, да работа, которой все больше, воскрешают уставшее тело, возвращают вкус к еде и жизни.

Лето было необыкновенное. Головам приходилось работать больше, чем рукам с ногами. Люди старались себе представить, что да как будет после молотьбы. Сейчас каждый молотит еще сам для себя, картошку копает тоже — а что потом? Перепахать межи, объединить всю скотину, работать сообща. Так это должно быть в кооперативе, да, но только все это — лишь песня, напечатанная в книге. Слова, слова, каждый умный, ква-ква... А как все будет на самом деле? Как в первый день, как через месяц, через год?

Вверх по склону спешит мужик — в жилетке, в шляпе и холщовом переднике. Порой он бросается бегом в гору, хотя ему уже добрых шестьдесят пять. Торопится, размахивает руками над самой землей, словно в колокол бьет, на глазах у половины деревни, и все, даже малый ребенок, знают: бежит записываться в кооператив. Сначала-то он не хотел, упирался, а теперь, когда секретарь с новоиспеченными правленцами вышли на поля перед распашкой межей, страшно заторопился. Ведь его могут загнать на самый край, на худшую землю! Уж лучше быть вместе с другими.

У Мишика таких забот нет. Он вступил в кооператив одним из первых, а когда жена его пилила — все, мол, потеряем,— он спокойно и немного насмешливо ответил:

— Работала у Мишиков, теперь поработаешь у Есхаков.

«Есхаки» означало ЕСХК [1], и деревня, не долго думая, приняла это название, брошенное Мишиком. Пошли к Есхакам, перешучиваются бабы и мужики, отправляясь толпой работать в кооператив.

— От работы никуда не денешься! Так-то, господа!

Ходит Мишик за лошадьми, как и прежде, пашет, косит, шутит и ворчит. Он хочет работать хорошо, но никогда не станет он рвать себе жилы да выставляться, чтобы на него пальцем показывали. Свое — это свое, а кооперативное — совсем другое дело. На работу попозже, с работы пораньше, в работе с прохладцей. Кооператив — не очень хорошо, но и не очень плохо; в первую очередь свой приусадебный участок обработают, своих коров подоят.

Улеглась горячка, никто не разрывается на части, и силы Мишика начинают убывать. Будто не хватает ему тесного ярма, в котором ходил он с молодых лет, и будто только сейчас почувствовал он усталость от него. Мишик не бегает от работы, да сил-то у него все меньше. Проработав четыре года, он вынужден оставить лошадей и сделаться кладовщиком. У него — ключи от всех складов и амбаров, иной раз и позабудется... Не намного, но кто всю жизнь с трудом для себя добывал, тому трудно быть ангелом. Ничего страшного — уволили его не за нечестность. Ноги начали плохо служить. Надо ходить к докторам, днем ездить на целебные источники — благо недалеко. Ночной сторож может себе это позволить, работа не станет.

Мотается Мишик по хозяйственному двору, поспать в хлеву можно, по вечерам иной раз деревенские мальчишки подразнят его, вот и все. И возле своего дома поработает, всегда у него все в порядке. Топором, долотом, рубанком одно исправит, другое смастерит. Голова у него ясная, пожил бы еще на свете, порадовался бы внучатам.

Гнить он начинает с корней. Пагубная болезнь угнездилась в ногах, подтачивает их, как червоточина.

Уж и сторожем он не может быть, где тут. Как везли его в больницу, жадно глядел он через окошко автомобиля на зеленые поля. Походить бы еще по лугам, по лесу... хотя бы до ближайшего ельника — сел бы на опушке, вдыхал бы приятный смолистый воздух и чтобы никакая работа не подстегивала...

[1] ЕСХК — единый сельскохозяйственный кооператив.

Мишик надеется, что ему поможет операция. Для докторов это эксперимент. Сделали операцию — и вместо ельника отправляется он через несколько недель снова в больницу.

Домой возвратился на одной ноге. Другую пришлось отнять выше колена. Лежит; когда приходит повидаться родня — разговаривать начинает сухим, сиплым голосом, но после первой же фразы слова перемешиваются с плачем.

— Зачем таким калекой жить на свете? — говорит он потом все еще плачущим голосом. А там — откашлялся и продолжает разговор, как всегда. Расспрашивает о том о сем, что делается там, где он не может уже быть. Он ведь редко бывал дальше ближайшего города. Но свою деревню и поля исходил вдоль и поперек, там и ноги посбивал. Теперь у него — только дом, двор и сад. Заснет он: снится ему нога — здоровая, целая,— плывет она по реке, а река такая бурная, полноводная, что никто не отваживается войти в нее. Уплыла нога, исчезла в мутной воде. Проснется Мишик, услышит первого петуха. Хриплым и отдаленным голосом, будто из-под земли, поет петух. Мишик не открывает глаза, не шевелится, в голове шум и треск, и из этого шума выплывает тихая песня-воспоминание:

Петухи уже поют,
Впусти, милая, меня...

У песни нет мелодии, будто ветер прошелестел сухой травой. Эх, было все это. В старой корчме, в молодые годы. Мишик проводит сухим языком по губам — вдруг будто вся комната, вместе с ним, кружится и куда-то проваливается. Его тело — то как деревяшка, то словно студень, какая-то бесформенная масса, ни рук, ни груди, только большой палец на левой ноге свербит...

Откроет глаза — это приносит ему облегчение. Ага, вот перина, шкаф, очертания которого сливаются с темнотой, сероватое пятно окна. Надо держать глаза открытыми, закрытые глаза без сна — все равно что толстая куриная кожа в желудке.

Он их больше не закрывает. Цепляется взглядом за мебель, за стены, потолок, постепенно принимающие более ясные и определенные очертания. Он цепляется за все это, чтоб не упасть, и растет в нем желание крепко держаться за все, что есть у него, что ему еще осталось.

Ему дали костыли. Он к ним быстро привык, разгуливает даже, и люди удивляются, как хорошо у него выходит. Ничего, будешь еще молодцом! Сделают тебе деревянную ногу, и ты еще поднимешься на Корчин.

Слушает Мишик эти разговоры и благодарит взглядом. Кивнет головой, бросит словечко-другое, как и подобает. По лицу его не заметишь, что думает он о другом, более тяжелом. Когда он остается один, садится, засучив штанину на целой ноге, и разглядывает ее. Погладит ее рукой, но ничего нового о ней не узнает. Только чувство у него такое, как у человека, который смотрит на давно окрашенное железо и знает, что под этой старой краской — ржавчина, одна ржавчина...

Работает он сколько может, не показывая, что ему тяжело. Воспаленная нога болит при ходьбе. Таскает он за собой эту боль, пока можно терпеть, а потом садится, ложится...

И когда «скорая помощь» снова везет Мишика в больницу, его уже не интересует, что там, за окном. Он свое отходил, а в воспоминаниях — все краше. Представляет он себе луга у реки, поля пониже леса, но долго не выдерживает. Всего этого для него слишком много — и слишком оно далеко. Мысленно возвращается он на свой двор

и там остается. Тут все его, тут он чувствует себя надежно. Хоть бы это ему осталось, хоть бы это...

Его избавили от ноги, которая укорачивала его жизнь, и Юрай Мишик удивлен, как быстро он с этим смирился. Лежа на больничной койке, с живостью разглядывает палату, утешает жену и плачущих родственников. Что негодно, нужно отсекать. Трухлявое дерево даже и горит-то плохо. Медсестры хвалят хорошего больного, ставят его в пример другим.

Лежит он на кровати и начинает представлять себе двор, сад, все, что возле дома и за ним. Но теперь он все это себе представляет не так, как до сих пор. А со своей теперешней высоты, с высоты человека на коленях. Сидящий человек — больше, чем курица, и побольше, чем собака. И в том смысле, что выше их, и еще в другом смысле — намного, намного больше. У него есть сердце, есть опыт, только ног нет. А это не так уж страшно. У ребенка есть ноги, а он падает. Человек без ног не может бегать, зато он и не падает.

Вспомнил Мишик старого безногого цыгана, который когда-то просил милостыню у городской церкви, и приуныл. Но лишь на минуту: он знает, что сделает, вернувшись домой. Сам сделает, один, без посторонней помощи.

Через два дня после возвращения на руках и обрубках, из которых правый еще побаливал, добрался Мишик до дровяного сарая. Он не обращает внимания на жужжащие вокруг него разговоры, из которых следует, что его надо отложить в сторону, как мешок с картошкой. К колоде, на которой рубят дрова, он снес обрезок узкой доски, пилку, долото, бурав и рубанок и принялся за работу. Самое трудное — просверлить восемь дырок в двух дощечках.

— А все-таки бедняга я...— вздыхает он, но продолжает возиться. Пообедал тут же, и около трех часов обе подставки для рук были готовы.

У них низенькие, в несколько сантиметров, ножки, а сами дощечки суживаются к середине, чтобы было удобно обхватить их руками.

— Не буду ладони обдирать,— сказал он жене, когда, опираясь на них, доковылял до кухни. Это было объяснение, но в нем звучала и гордость: смотрите, я еще гожусь кое на что. Кто может сказать, что я совсем уж ничего не стою?

Пришла дочь и предложила раздобыть ему инвалидную коляску. Можно будет его возить, и сам он сможет ездить куда захочет, и не надо ему будет волочиться по земле.

— Не нужна мне ваша коляска! — отказался он.— Кто это будет возить меня, как малое дитя в колясочке? Я буду ходить куда хочу и никому не буду в тягость.

Подставка в правой, подставка в левой руке. Руки вместо ног, обопрешься на них, подтянешь туловище вперед.

И вот Мишик уже у колоды, маленьким топориком натесал щепы из полена. Сделал метлу, в саду наломал свекольной ботвы для свиней, нарвал травы кроликам. Хуже, когда дождь. Это его враг, к которому он испытывает глухую ненависть. Мишик не ругает дождь, не кощунствует против природы — просто тяжело ему сидеть дома, мотаться по комнате да по кухне. В бессилье смотрит он, как за окном падают с крыши большие капли, и чудится ему, что с теми каплями к нему приближается смерть. Часто в такие минуты он думает о ней и осознает ее превосходство. Не может он от нее уйти, смерть — это ястреб, и он для нее — легкая добыча. Но день ото дня он все меньше ее боится.

Что она может у него взять, чего лишить?

Смерть отнимает жизнь, да, единственную жизнь, которая есть у человека. Но на самом ли деле жизнь только одна и единственная?

И чем чаще задумывался над этим Юрай Мишик, тем больше ему казалось, что это не так. Отнимет смерть его безногую жизнь, да и ту не целиком: только ту заберет она, которая будет у него в тот момент, когда она придет за ним. Конечно, смерть отнимет у него и то, что еще могло бы быть,— но не может она лишить его того, что было раньше...

Не возьмет смерть того Юрая Мишика, что тысячи работ переделал. Пусть попробует слепая взять того человека, что в третьем часу утра шагал, как кошка, по темной деревне с косою на плечах, чтобы первым начать косить под Буковой рощей!

— Попробуй, ну, попробуй! — мысленно подначивает Мишик свою смерть в те дни, когда нельзя было выйти во двор.— Все ты можешь — и так мало можешь! Ты один только раз выигрываешь, а я сколько раз! Дождь, этот мокрый разбойник, мешает мне ходить и работать — ладно, тогда буду хвастаться. Не перед людьми, они меня хорошо знают, а перед тобой!

Смотрит Мишик в окно, и глаза его смеются тяжелым падающим каплям. Тяжелым и глупым, которые только и умеют, что падать и лететь смерти в объятия, расплескиваясь по земле.

Засветит солнышко, и Мишик выходит из дому. Он не сидит без дела, не лентяйничает, глаза его теперь так близко от земли, как никогда раньше. Он открывает мир трав, камешков, почвы с пестрой жизнью, у которой необъяснимое очарование. Там живут и копошатся муравьи, дождевые черви, маленькие и большие жучки, божьи коровки и мушки. Он подумал, что будет с ними, когда земля замерзнет и покроется снегом, и представил себе это так живо и ясно, как никогда прежде. Куда они деваются, что делают? Сколько из них доживет до весны? Достойно восхищения, как много они способны выдержать.

Он тоже выдержит — в доме, в тепле, в разговорах, у телевизора и радио. Его интересует мир, и теперь для этого у него больше времени. Но никогда раньше он так жадно не ждал весны и сухой земли. Он так упорно стремился к этой цели, что почти не замечал болезни, все сильнее пожирающей его обрубки и все тело.

Перед тем как выйти во двор, он аккуратно прибил к ножкам своих подставок круглые кусочки резины. Теперь они мягко ступают по завалинке: Мишик осматривает двор, всюду заглянет, все заметит.

Подошел к амбару в конце сада и увидел: канавку под водостоком надо почистить и углубить. Обрадовался, что есть работа. Сделает он ее бережно, тщательно, чисто, чтобы никто не мог сказать: мол, работал тут какой-то растяпа.

Он взял в кухне совок для земли, в чулане — маленькую тяпку. Потом подтащил себя к навесу. Перво-наперво надо наточить орудия.

— Зря стараешься...— охлаждает его пыл жена, когда он рассказал, что хочет сделать.— На что он теперь, этот амбар? Кооперативу он не нужен, да и нам нечего туда складывать. Лучше бы тебе полежать, а не то простудишься, еще хуже будет...

— А я этого так не оставлю! — вдруг закричал Мишик срывающимся голосом.— Пока я жив, дома будет порядок! Еще належусь в земле!

Сгорбившись, руки на подставках, злобно смотрит он вниз. Жена отвернулась. Мишик видит только уходящие ноги и юбку, но не видит он, как вытирает она фартуком глаза.

Наточил совок, тяпку, медленно спустился к амбару. И успоко-

ился только тогда, когда увидел за собой метра два чистой и аккуратной работы.

Люди останавливаются около него. Он их будто не видит, внимательно следит за тем, чтобы дно канавки было ровное, а края гладкие, словно их острым ножиком обрезали.

Это были последние люди, видевшие Юрая Мишика за работой.

Никто никогда не видел, чтобы он бездельничал, если не считать бездельем отдых по воскресеньям или после еды.

— Так-то, господа! Сколько людей лодырничает, ковыряется в работе, как малые дети в еде, и все-то у них уик-энды да отпуска!

Гроб у Мишика был обычной длины, об этом, в общем-то, и говорить нечего. Ниже колен приложили ему сапоги, прикрыли брюками, а жена Мишика, когда ее никто не видел, подсунула под каждую штанину подставку. Она не задумывалась над тем, что делает, но Мишик порадовался бы, если бы мог видеть.

Как бы там ни было, говорите, что хотите, господа, но...

Смерть берет лишь то, что застает в минуту своего прихода. Это понимаешь, когда у тебя много свободного времени и можно привести в порядок свои мысли. Взяла смерть подставки Юрая Мишика, его безногую жизнь — над остальным она не властна!

А та канавка, ровно и чисто выкопанная возле амбара, осталась. Такая хорошая, что, увидев ее, каждый должен был задуматься и над пустующим амбаром, да и согласиться, что жаль оставлять его так, хотя бы ради той канавки...

Перевод Н. М. АРОСЕВОЙ

ЛЮБОШ ЮРИК

Камень с кулак

Загорелась большая операционная лампа, яркий свет резко обрисовал неподвижное распростертое тело старухи, все в морщинах, в голубых венозных сосудах; четкие холодные грани хромированных инструментов, резиновую кислородную трубку и кардиограф, отмечавший биение старухиного сердца. Игорь почувствовал, что потеет; тронул лоб и отдернул руку: на ней была резиновая перчатка. Игорь посмотрел на Марту и поднял брови. Видны были только ее большие черные глаза и прядь волос, выбившаяся из-под белой шапочки и наискосок упавшая на лоб. Ее нос и губы были закрыты маской. Она взяла пинцетом вату и вытерла капельки пота на его лбу. Он поблагодарил кивком. «Начали?» — услышал он приглушенный звук ее голоса. И снова кивнул. Посмотрел на небольшой

© Luboš Jurik, 1973.

фиолетовый четырехугольник, обозначавший то место на теле старухи, где был желчный пузырь: операционное поле, намазанное йодом, приковывало к себе все его внимание; это была его первая операция в больнице, куда он попал после сдачи госэкзаменов. Игорь распрямил пальцы, чувствуя, что они слегка дрожат. Но надо же начинать...

— Скальпель,— сказал он глуховатым, севшим голосом.

Марта подала скальпель. Он взглянул на лезвие: оно отражало свет лампы, превращая его в цветовую гамму; сквозь перчатки чувствовался успокаивающий, безразличный холодок металла. С минуту он смотрел на скальпель, потом на высохшую, сморщенную кожу; покосился на Марту: увидел безучастные, равнодушные глаза. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга; он окинул быстрым взглядом ее стройную, высокую фигуру и вновь взглянул на фиолетовый четырехугольник. «Какая разница,— мелькнула мысль.— Две женские фигуры...— Провел пальцем по животу и паху старухи.— Отметины времени,— подумал он.— Часы, дни, годы. Хотел бы я вот так коснуться живота Марты...» Он снова глянул на нее. Марта следила за кардиографом. Мягким движением ввел Игорь скальпель в тело и провел разрез. Кожа расходилась, из раны выступили мелкие капли бледной крови. Он вынул скальпель, полюбовался надрезом, как художник — первым мазком. Ассистент по другую сторону стола пинцетом оттянул кожу. Игорь вновь вложил лезвие в рану и прошелся по слою жира, потом третьим движением рассек красную, стянувшуюся соединительную ткань. Тело раскрылось. Игорь увидел пульсирующее, темное, влажное отверстие, из которого поднимался запах теплой крови и внутренностей. Ему трудно было сосредоточиться; он все смотрел на красную обнаженную полость тела, жившую движением миллионов клеточек. Невольно вспомнились лекции: Игорь выискивал в памяти все, что знал о функции желчного пузыря, думал о том, как сложен и хрупок человеческий организм, о совершенстве взаимосвязей, о логике, по которой природа создавала человека; человек даже и не заслуживает этого. Его размышления прервал ассистент, прикоснувшись к локтю: в чем дело, коллега? Забыли об операции? Игорь оглянулся: за очками ассистента — маленькие, мышиные глазки; озлобленный стареющий тип — будет ассистентом до конца жизни.

— Сейчас,— пробормотал Игорь,— сейчас начну.

Улыбнулся через силу и тут же понял, что под маской никто не видит его улыбку.

На желчном пузыре образовались камни, сам пузырь оброс комками жира. Легкими, нервными движениями Игорь принялся удалять жир. Надо было сосредоточиться, как начинающему шоферу. Он думал о движениях своих пальцев, о направлении и глубине погружения скальпеля, о действиях ассистента. До сих пор он бесчисленное количество раз резал трупы в университетской больнице; вначале с отвращением и чувством тошноты, потом с интересом, а под конец с полным безразличием. Но и тогда ему нужно было время, чтобы сосредоточиться: он не мог не думать о несчастных, которые мертвыми глазами смотрели на побеленные стены морга. Сейчас же Игорь оперировал живого человека; вскоре его внимание целиком занял желчный пузырь. Игорь был похож на ремесленника, ловкими руками делающего надежные вещи. Пришло ощущение, которое являлось всегда, когда дело ладилось: уверенность в собственной ловкости. Он перестал потеть, пальцы задвигались точно и четко. Он отдавал краткие, отрывочные приказы, протягивал руку за инструментом, следил глазами за приборами. Он обрел веру в себя. Посмотрел на Марту, и это уже был не растерянный взгляд, а немного вызывающий, победный, чуть ли не дерзкий. Он знал, что Марта улыбается. Удалив комья жи-

ра, Игорь нащупал камни. Его слегка озадачила их величина. Когда он ставил диагноз перед операцией, то предвидел, что она будет сложной. Он сказал об этом главному врачу.

— Вот мы вас и испытаем, коллега,— решил тогда главный.

Игорь запротестовал: после операции могли быть осложнения, а он, в конце концов, только новичок. Он знал, что когда-то должен начать, но рассчитывал на более простую операцию, скажем, аппендикса.

— На легких задачах людей не вырастишь,— возразил главный врач, тоже хирург.— Будете оперировать.

И вот Игорь оперирует. Камень оказался нетипично большим. Приходилось действовать очень осторожно, чтобы не повредить стенки желчного пузыря. На секунду он прервал операцию, выпрямился и перевел дух. Марта обошла стол, взяла вату и вытерла ему лоб, хотя он был совершенно сухим. Игорь благодарно глянул на нее и снова склонился над старушкой, осторожно, миллиметр за миллиметром, продвигая нож по краям камня. Он чувствовал, что все неотрывно смотрят в раскрытую полость и на его белые окровавленные пальцы. На мгновение Игоря охватил страх, но только на мгновение. Он нажал скальпелем и выдавил камень, подхватил рукой и положил на белую простыню рядом со старухой. Камень действительно был необычной величины; его зеленовато-желтая поверхность была обрызгана кровью. Игорю показалось, что Марта облегченно вздохнула. Ассистент хотел было выбросить камень, но Игорь остановил его. «Сохраню как сувенир,— подумал он.— Ведь операция-то серьезная. И камень большой, с кулак».

Ассистент положил камень обратно — Игорь был уверен, что он усмехнулся. Надо было продолжать операцию; осталось еще несколько мелких камней. Теперь Игорь резал уже спокойно, почти не думая; только иногда он поднимал голову, чтобы взглянуть на кардиограф или на анастезиолога, стоявшего возле кислородного аппарата. Один за другим выкладывал Игорь камни на стол, пока не вычистил весь пузырь; операция кончилась. Оставалось зашить рану и увезти пациентку в палату. Игорь свое дело сделал и теперь смотрел, как ассистент накладывает швы. Все было в порядке. Марта собирала грязные инструменты, сестра с ассистентом положили старуху на каталку и увезли из операционной. Игорь стянул перчатки и маску, сунул руки под струю воды. Они остались с Мартой вдвоем. Он взял камень и показал ей:

— Смотрите. Прямо с кулак.

Она улыбнулась.

— Какой же кулак? Не больше грецкого ореха. Поздравляю. У вас ловкие пальцы.

Она протянула ему руку. Игорь взял ее — рука Марты была узкая, влажная — и не отпускал, пока Марта не высвободила ее легким движением.

«Хорошее начало»,— подумал он и завернул камень в целлофан, сунул его в карман и вышел в длинный холодный коридор с двумя рядами белых дверей. На скамьях вдоль стены сидели пациенты, пахло лекарствами, дезинфицированными бинтами и прокипяченными шприцами. То тут, то там открывались двери, и сестры вызывали больных. Стояла тишина, только за одной дверью кто-то тихонько стонал. Игорь сунул руки в карманы халата и пошел к своему кабинету. Со стула перед дверью кабинета встал старичок и легонько потянул Игоря за рукав. Игорь удивленно остановился; у старичка были голубые глазки и широкое загорелое лицо в мелких морщинах, седые

усики и толстый нос; лицо его было маленьким, добреньким и покорным.

— Я — Столарик, пан доктор,— сказал он. Наступила пауза.

— Столарик,— повторил старичок.

Игорь недоуменно улыбнулся.

— Добрый день, пан Столарик. Что вы хотите?

Старичок потянулся к нему, будто хотел сказать что-то по секрету.

— Столарик я,— все твердил он, кивая даже после того, как замолчал. Игорь не знал его.

Старичок увлек Игоря в нишу.

— Моя жена — Столарикова,— сказал он,— это ее вы оперировали. Я-то хотел, чтоб ее оперировал пан главный, а он сказал, вы хороший доктор.

Игорь согласно кивнул и рассмеялся.

— Вот как! Значит, это ваша супруга? Что ж, можете быть покойны, все хорошо. Через несколько дней будет дома. Посмотрите,— он вынул камень и показал его старичку,— вот что было у нее в желчном пузыре.

Старичок с любопытством осмотрел камень и признательно взглянул на Игоря.

— Пан главный сказал, вы хороший доктор, я и не боялся. У молодого доктора тоже ведь могут быть ловкие руки, правда?

Игорь утвердительно кивнул.

— Конечно. Иначе нельзя и оперировать.

Старичок опять потянулся к нему.

— Пан доктор, тут небольшой подарочек для вас. Чтоб вам лучше работалось.— Он нагнулся и протянул Игорю корзинку; прежде чем Игорь успел что-либо сказать, он сунул ему в карман конверт, а в руки — корзинку. Под целлофаном угадывались очертания бутылки и не то утки, не то курицы. Игорь смущенно засмеялся и отстранил руку старика.

— Ну что вы, пан Столарик. Это исключено. Я выполнил свой долг. Мне ничего не надо.

Старичок воспринял это как проявление застенчивости.

— Берите на здоровье, пан доктор. Здесь немного, зато от души. Пригодится.

Игорь вдруг осознал, что старик сунул ему в карман конверт. Ощупал — в конверте были деньги. Поколебавшись, вынул конверт и положил в корзинку.

— Возьмите, пан Столарик. Мне правда ничего не надо.

Старичок опешил; он поднял брови, отчего вокруг глаз его стянулись морщины. Он хотел что-то сказать и все еще совал корзинку в руки Игорю, когда в коридоре показался главный врач.

— А, наш новый коллега,— остановился он, заметив Игоря со стариком.— Слыхал, слыхал, отличная операция. Поздравляю!

У Игоря вспотели ладони и кровь бросилась в лицо.

— В общем ничего,— буркнул он,— надеюсь, осложнений не будет.

Главный врач был крепкий, высокий мужчина с красным лицом, густыми седыми волосами и толстыми пальцами. Игорь иногда удивлялся, как он может такими пальцами брать скальпель.

— Пан доктор,— обратился к Игорю старичок,— берите же, я не буду мешать: у вас разговор с паном главным.

Игорь не знал, что делать. Посмотрел на старичка, потом на главврача; оба улыбались.

— Я уже сказал, пан Столарик, я вам благодарен,— мягко про-

говорил он.— Я только выполнил свой долг. За супругу не бойтесь. Мы о ней и без этого позаботимся.

И он отошел, но старичок не отставал. Его голубые глазки улыбались.

— Ах, пан доктор, не отказывайтесь,— прошептал он.— Пан главный врач тоже от меня принимает. Славное у меня вино.— И он снова протянул корзинку с конвертом. Игорь отступил, тогда главный врач взял корзинку и дружески похлопал старичка по плечу:

— Дайте мне, пан Столарик, я возьму для коллеги. Новичок — сами понимаете, каково с ними. Идите, с вашей пани все будет в порядке.

Старичок почувствовал облегчение и, поклонившись, засеменил прочь.

— Зайдите на минутку,— сказал главный Игорю.— Прошу! — Он сделал пригласительный жест рукой, и Игорь почувствовал, что этот жест не слишком вежлив.— Прошу! — повторил главный, пропуская Игоря вперед, когда они подошли к кабинету.— Я тут дома. Садитесь, пожалуйста.

Он поставил корзинку на стол.

— Курите,— предложил он Игорю.

— Спасибо.

Игорь потянулся к огоньку зажигалки, прикурил и затянулся. Он курил и рассматривал шкафчики, заставленные лекарствами и инструментами. Белые стены и плакат «Следи за своим здоровьем». Глянув в окно, увидел качающиеся верхушки акаций, за ними крыши; он слышал запахи созревших плодов, ярких цветов, дыхание лета и нагретой земли.

— Когда вы окончили университет? — прервал его молчание главный врач.

— В прошлом году,— быстро ответил Игорь.

— И хотели остаться в Братиславе, да места не было,— продолжал главный врач. Игорь кивнул:

— Да. Не было места.

Они помолчали.

— Так вы попали к нам.

Игорь выдохнул дым и повторил:

— Да. К вам.

Опять пауза, потом главный врач сказал:

— Похоже, вы еще этого не осознали. А придется осознать, коллега.

Игорю вдруг вспомнился актовый зал университета и торжественная атмосфера того дня; группа будущих врачей, один из них читает клятву Гиппократа; вспомнился отец, сгорбленный, весь высохший крестьянин в белой рубашке, слишком узкой для него,— старик все поправлял галстук в крапинку. «Вот мой сын уже и доктор»,— с гордостью сказал отец после церемонии. Мать, маленькая, словно сжавшаяся, плакала. «Ну вот, сынок. Теперь ты будешь паном». И Алица, невеста... Она была в коричневом облегающем платье и нравилась ему больше, чем когда-либо раньше. В руках у нее были цветы. «Скоро будешь зарабатывать,— она легонько поцеловала его в губы,— и мы заживем хорошо. И будем еще счастливее».

Защита диплома. Потом — отъезд из Братиславы. Он хотел помогать людям. Как-то вечером, покуривая и слушая битлов, он записал в дневнике: «Наблюдаю за собой, хочу понять, что я за человек. Мы становимся взрослыми тогда, когда начинаем осознавать, что не мир — частица нашего значительного «я», а мы — незначительная

частица большого мира». Он понимал это не как капитуляцию — как познание.

— Не возьму в толк, что вы имеете в виду,— ответил он сейчас главному врачу.

— Видите ли, коллега,— главный врач старался говорить мягко,— эти люди убеждены, что без небольшого подношения вы не станете заниматься больным как следует. Понимаете?

Игорь потянулся к столу, взял из корзинки конверт и вынул из него пять зеленых банкнот.

— Это — не маленькое подношение, пан главный врач. Это — пятьсот крон. А я не знаю, каков доход этого старичка. Впрочем, он прав: здесь куда внимательнее к пациенту, за которого заплатили.

Главный врач собрал деньги, вложил их обратно в конверт и бросил его в корзинку. Он все еще старался говорить спокойно, но Игорь заметил, что он слегка покраснел.

— Не ловите меня на слове, пожалуйста,— сказал главный.— Вы хорошо знаете, что я имею в виду. И в будущем прошу меня избавить от подобных замечаний о разном отношении к пациентам.

Главный врач встал, повернулся к окну и заложил руки за спину. Игорь смотрел на его широкие плечи и густые, седые волосы на затылке. Его поза выражала нерешительность, оскорбленное самолюбие и даже раскаяние: Игорю вдруг подумалось, что главный врач не живет с женой, на мгновение он пожалел его. И пробормотал:

— Извините.

Главный врач отвернулся от окна, посмотрел на Игоря, нахмурился и сел.

— В конце концов,— произнес он,— никто их ни о чем не просит. Они сами виноваты. Так уж нас приучили. Вот и поймите это. Вы молоды, и всякая несправедливость еще оскорбляет вас.

Игорь покачал головой, усмехнувшись:

— Не «еще». И это — не несправедливость. Это глупость.

Главный врач пожал плечами.

— Глупость, но мелкая.

— Глупость измеряется не тем, большая она или маленькая, а длительностью ее действия,— возразил Игорь.

Главный врач повертел в пальцах карандаш.

— Не надо философствовать... Ну вот, хотя бы, представьте себе, что у вас есть машина. В ней что-то поломалось, и вы идете в ремонтную мастерскую. Если вы механику не сунете сотню в лапу, он и разговаривать с вами не станет. Теперь, скажите, как это получилось? Кто виноват? Ведь и они исполняют свой долг, как вы говорите. Врачи несут большую ответственность. Они возвращают людям здоровье, а иногда — и жизнь. За это мы заслуживаем лишнюю крону-другую. Что вы имеете против?

Теперь встал Игорь.

— Вы меня не понимаете. У меня есть свои принципы. А вы одну глупость оправдываете другой. Возможно, я смешон со своими взглядами. Но кто-то же должен противостоять этому. И почему бы не сделать этого мне? Я говорю это вам для того лишь, чтобы между нами не было недоразумений.

Встал и главный врач; они стояли теперь друг против друга, как противники, и их, словно стена, разделяла корзинка с бутылкой вина, уткой и конвертом с пятью сотнями крон.

— Ничего не имею против ваших принципов,— заговорил главный врач.— Следуйте им на здоровье. Но я не желаю, чтобы вы вводили здесь свои обычаи и разваливали коллектив. Думайте больше о своей

работе. Я буду пристально следить за вами. А теперь оставьте меня, пожалуйста.

Игорь вышел, тихо прикрыв дверь. Сунул руку в карман, нащупал камень и подумал: «Хорошенькое начало!» Навстречу ему по коридору шла Марта, и Игорю показалось, что она улыбнулась и тотчас приняла строгий и неприступный вид.

Игорь испытывал потребность выговориться; он подождал Марту у выхода из больницы и проводил ее. Дорогой молчали; он разговорился только у дверей ее дома. Она пригласила его к себе.

По обеим сторонам улицы росли высокие акации: в начале лета запах их цветов разносился по всему городку. Через открытое окно Игорь ощущал движение перегретого воздуха, вечернее дыхание трав и земли, слышал шаги прохожих; полная, лимонного цвета луна застряла в ветвях деревьев, где-то играло радио, со стороны парка доносился звон гитары; чей-то голос бесстрастно, монотонно вплетался в вечерние звуки. Игорь смотрел на луну и думал — она ли плывет в небе, или это движутся тучи и ветви деревьев, то закрывая, то открывая ее диск.

— Хотите кофе? — голос Марты прервал созерцание. Он покачал головой.

— Кофе — нет, спасибо.

Только теперь он заметил, что Марта переоделась: на ней были узкие белые брюки и обтягивающий фигуру джемпер; он впервые видел ее не в больничном халате. Мелькнула мысль, что она красивее, чем он думал. Марта открыла дверцу буфета.

— Тогда вина? — спросила она.

Игорь кивнул. Она поставила на стол бутылку белого вина за 20 крон, достала два высоких бокала, вытерла их, налила.

— Ну, выпьем? — предложила она.

— За что?

Марта пожала плечами.

— За победу.

Они чокнулись. Игорь осмотрелся; комната была обставлена просто и со вкусом: полка с книгами, репродукции Гогена, столик и два кресла, зеркало с умывальником. Марта перехватила его взгляд.

— Скромно у меня. На мою зарплату не разгонишься. Приходится обходиться тем, что есть.

Игорь встал, принялся рассматривать корешки книг: Ремарк, Незвал, Камю, Щипачев, Мопассан.

— А мне хотелось бы большего,— продолжала Марта.— Я всегда хотела больше и лучше.

Игорь вернулся на свое место, сел. Марта включила приемник — зазвучала ленивая, усыпляющая музыка.

— Что у вас произошло с главврачом?

— Взятки...— сказал он.— Я не взял деньги от одного старичка. Об этом мы и говорили с главным.

Марта подтянула ноги на стул, охватила колени и наклонила голову. Игорь смотрел ей в лицо; казалось, упрямое, неприступное выражение сошло с него; полные, яркие губы слегка выпятились, расширенные глаза смотрели задумчиво.

— Я этого не выношу,— продолжал он,— терпеть не могу эту несчастную игру в оправдание. Не люблю ложь.

Марта усмехнулась, как ему показалось, снисходительно и немного иронически.

— Ничего смешного нет,— сердито проворчал он. Марта подняла бокал, покрутила его.

— Конечно,— ответила она.— Что тут смешного. Это серьезно.

Игорь взял бокал, выпил и налил еще.

— Пейте. Дайте я и вам налью.

Чокнулись.

— Ну, так я продолжу,— сказал Игорь,— не понимаю, как это люди с такой зарплатой еще и взятки берут. Что у них за совесть!

Марта поставила бокал на стол.

— Может, им нужны деньги. Много денег,— сонно проговорила она.— Мне вот тоже нужны деньги. Всем они нужны. Но это другое дело.

Игорь подумал, что зря он все это говорит, только скуку нагоняет на неприступную, далекую Марту.

— Так делают почти все,— сказала Марта тем же сонным голосом.

— Знаю,— ответил он раздумчиво.— Вот и грустно мне от того, что приходится жить среди таких людей. А еще хуже оттого, что не могу этого изменить. Но зачем я болтаю? Вас это не интересует, и мы тут, за рюмкой вина, этого не решим.

Марта встала, подошла к окну, высунулась, глядя в ночь. Игорь пошел за ней и, опершись локтями на подоконник, коснулся ее плечом; Марта повернулась к нему. Он видел близко ее лицо, ее глаза, слышал легкое дыхание, ее волосы щекотали ему щеку.

— Это меня интересует,— сказала она, почти не шевеля губами.— Мне кажется, об этом надо говорить. Даже если это неприятно и одному с этим не справиться. Тут нужны все.

Она вернулась в кресло, Игорь остался у окна; он все смотрел на пустынную улицу, на деревья, на луну...

— Все? — повторил он.— Кто все? Вы да я? Или только я?

Теперь он повернулся к Марте.

— Я сказала — все. Ах, выпьем лучше!

Бутылка заметно опорожнялась.

— Как выпьешь, смелее говоришь правду о себе и других,— заметил Игорь,— но мне не надо пить, чтобы сказать правду. Это неприятно и даже опасно. Зато — честно. Уж лучше пострадать от последствий, чем лгать.

Он заметил, что Марта снова улыбнулась.

— Вы немножко фантазер. Этакий Дон-Кихот. Но вы мне нравитесь.

Игорь опешил.

— Я с вами согласна, только слишком ценю удобства, чтоб бороться,— продолжала Марта.— Притворяюсь, будто мне все равно. Вокруг меня стена. Кроме того, я не уверена, что эта борьба кончится победой.

Игорь долил ее бокал и проворчал:

— Да. Вы все такие. Соглашаетесь, но молчите. Видите ошибки, но продолжаете их делать. Возмущаетесь глупостями, но пальцем не шевельнете, чтоб устранить их.

Марта громко засмеялась, откинулась в кресле и, заведя руки за голову, распустила волосы по спине.

— Вы преувеличиваете. Порой вы напоминаете мальчика в переходном возрасте, которого мучают все несправедливости мира.

Игорь не нашелся, что ответить.

— Вы до неприятности откровенны,— сказал он минуту спустя.

— Я не хотела вас обидеть.

Он кивнул:

— Знаю.

Игорь начал ощущать легкое воздействие алкоголя, поднимавшегося вместе с кровью в мозг. Он думал о смысле подобных разговоров:

зачем он объясняет все это чужой женщине? Тут он услышал голос Марты:

— Здешние люди привыкли к этому. Молодые врачи приезжают сюда заработать и возвращаются в Братиславу. Никто этому не удивляется. Вам разве не нужны деньги?

Он подавил зевок.

— Извините. Нужны. Я хочу много денег, но не хочу, чтобы они жгли меня.

Марта вытянулась, закинув руки за голову.

— Вижу, вас разбирает зевота.

Помолчали. Приемник играл, они слушали низкий и хриплый голос негра, который будто бы даже не пел, а печальным голосом рассказывал о знойных годах там, за горизонтом, где живут печальные люди. Игорь и Марта сидели, чувствуя движение ночи, легкое дуновение воздуха и ощутимое прикосновение времени: тикание часов и звук от падения капель воды из крана.

— Пожалуй, я пойду.— Игорь встал, у него немного закружилась голова. Встала и Марта.

— Надо бы выпить на брудершафт,— сказала она вдруг.

— Разумеется. Перейдем на «ты».

Игорь подлил вина, взял бокалы и один протянул Марте; они чокнулись и выпили.

— Поцелуемся.

Она подставила лицо. Он легонько поцеловал ее в губы; влажное, горячее прикосновение, запах вина и сигарет.

Невольно он продлил поцелуй; придвинулся вплотную, их губы смешались, Игорь обхватил ее за плечи и талию, прижал. Марта прогнулась, вцепилась пальцами ему в волосы. Потом отстранилась и нежно его оттолкнула.

— Хватит,— сказала она тихо.— Это чудесно, но — не хочу.

Отошла к своему креслу.

— Кроме того,— улыбнулась она,— завтра приезжает ваша невеста... то есть твоя невеста.

Она подала руку, холодную и сухую, и Игорь вышел.

Он медленно шагал по улице, глядя на луну, которая золотой монетой висела над кронами деревьев.

Они приехали почти одновременно: дообеденным скорым поездом — Алица и через полчаса — отец Игоря. Зашли в кафе выпить пива и черного кофе, потом Игорь привел их к себе на квартиру, в квартал над городом. Отец открыл большую сумку и вынул бутылку домашней паленки, большие куски домашней колбасы и сала, жареного цыпленка, перец, помидоры и тщательно завернутый рулет с маком; во всем Игорь узнавал заботливую руку матери, и на мгновение у него перехватило горло от чувства благодарности. Все трое уселись за стол. резали колбасу, клали на хлеб; Алица мелко нарезала помидоры с перцем. Когда доели, Игорь налил вина, отец с Алицей закурили сигареты, а Игорь — трубку. Было тихо и приятно.

— Ну, похвались, сынок.

Отец свободно откинулся на стуле, сложив руки на животе, и по старой привычке не выпускал сигарету из губ.

— Чем похвалиться? Привыкаю. Вот уже оперировал.

Отец был доволен.

— Оперировал, говоришь? Ну и как, хорошо резал?

Игорь не удержался от улыбки; почему люди думают, что хирург только режет?

— Хорошо,— ответил он,— хорошо резал.

Отец кивнул.

— Тебе тут нравится?

Игорь пожал плечами:

— Нравится.

Вмешалась Алица:

— Тут блеск, только я бы тут долго не выдержала. Заработай как можно больше — и возвращайся.

Игорь понял ее так: как можно больше, а главное — как можно скорее. Он любил Алицу: современная, с хорошим вкусом — и с запросами. Красивая и, казалось ему иногда, несколько холодная. Целуясь, она отстраняла его: «Осторожно, прическу испортишь». Или: «Ну, хватит. Этого достаточно. Тебе пора заниматься». Но он знал, что она верна ему и в мыслях, и в поступках. Строга к себе и к другим. Строже всего — к нему. У нее были длинные, стройные ноги и лицо словно для рекламы.

— Конечно, Алица,— сказал он.— Накоплю побольше и вернусь в Братиславу. Если там будет место.

Разговаривая, они пили вино и покуривали.

— Место найдется,— сказала Алица.— Небольшая протекция — и всего добьешься. Сам знаешь.

Он кивнул:

— Знаю.

Отец положил на стол руки, похожие на большие кузнечные молоты.

— Мать шлет тебе привет,— с теплым чувством проговорил он.— Радуется, бедняжка, что ты в люди вышел. Мы-то в свое время учиться не могли. Да и ты немало денег нам стоил!

— Ладно, отец,— перебил его Игорь.— Знаю. И я вам благодарен. Только не надо преувеличивать.

Отец побарабанил пальцами по столу, будто играл на рояле.

— Я не преувеличиваю. Хочу только, чтоб тебе было хорошо. Чтоб денег хватало и чтоб ты не экономил гроши.

— Не беспокойтесь, свекор! — подхватила Алица.— У врачей всегда много денег. Кстати,— обратилась она к Игорю,— тебе, кажется, должны были прибавить зарплату.

Он пожал плечами:

— Пока не прибавили.

Доливая бокалы, Игорь зажег погасшую трубку.

— Врачу каждый что-нибудь да сунет,— вставил отец.— Хоть бутылку коньяку.

Игорь остановил его нетерпеливым жестом руки:

— Эх, отец, не надо об этом. Вы ведь знаете, что я на этот счет думаю. Не хотите же вы, чтобы я брал взятки с пациентов.

Отец поднял брови, лицо его вытянулось.

— Какие взятки? — сказал он удивленно.— Крона-другая — это не взятка. Больные спокон веку дают врачам.

— Конечно! — нетерпеливо вмешалась Алица.— Не понимаю, о каких принципах ты говоришь,— повернулась она к Игорю.— Ты приехал сюда зарабатывать, а не принципы утверждать.

Игорь покачал головой:

— Это — нечестный путь...— Все это начало раздражать его: главный врач, Марта, теперь еще и отец с Алицей. Он чувствовал, что сопротивление его ни к чему не ведет, что он запутывается в невидимой сети.

— Э, нет,— в свою очередь возразил отец, двигая по столу бокал, который в его руках казался не больше пуговки,— не говори, что это нечестно. Я вот что скажу: вспомни, сколько хлопот было, пока тебя приняли в университет. Да я три раза ходил к председателю комиссии

и всякий раз прихватывал бутыль паленки. И он брал, даже не краснел.

Игорь нервничал: он резко затягивался, табачный дым щипал ему гортань и глаза.

— Оставим это,— сказал он.— Может, меня и впрямь не приняли бы без паленки. Так что же мне, один подкуп заглаживать другим? Не могу я оправдываться тем, что так поступают другие. Кто-то должен этому воспротивиться,— он положил трубку на стол и выпил.

— И этим человеком будешь ты? — резко спросила Алица.— Интересно, каким окажется наш брак, если ты так будешь заботиться о семье.

Игорь удивленно взглянул на нее.

— При чем тут брак?

Она криво усмехнулась.

— Ты смешон со своими принципами. Несчастный характер!— Алица тоже раздражалась.— Только осложняешь свою жизнь, желая всем навязать свою правду. Эдак ты никогда не будешь счастлив! Люди не любят правды. Правда еще никому счастья не приносила. Думай о себе, обо мне, о будущем, живи и принимай вещи такими, каковы они есть.

Она замолчала, и Игорь не знал, что ей ответить.

— Поймите меня,— обратился он сначала к отцу, потом и к Алице.— Я не говорю, что не хочу денег и не нуждаюсь в них. Мне нужно много денег. Но я хочу заработать их честно. Взяток я не беру и брать не буду.

Наступило молчание, но Игорь чувствовал, что ни отец, ни Алица с ним не согласны. Отец задумчиво вертел в пальцах бокал, Алица хмуро смотрела в окно.

— Поступай как хочешь,— сказал отец.— Не мне уговаривать тебя брать взятки. Я хочу только, чтоб тебе было хорошо.

Игорь машинально кивнул; он смотрел на Алицу и видел, что она сердится. Подумал: «Столько всего против меня! Алчность главного врача. Равнодушие Марты. Заботливость отца. Требовательность Алицы. Что могу я противопоставить этому?» Так и сидели они, и никому не хотелось говорить. Слушали радио, попивали вино. Потом отец повел речь о матери, о доме, о работе. Разговорилась и Алица. Игорь отвечал, спрашивал, смеялся — и все чувствовали, что непосредственность в их отношениях исчезла.

Потом отец стал собираться:

— Ну, я пошел, дети. Скоро поезд. Будь здоров, сынок, и заезжай домой погостить.

Игорь с Алицей проводили его немного и вернулись. Оставшись наедине с невестой, Игорь вдруг почувствовал, что ему нечего ей сказать. Они говорили о чем-то, но слова только прикрывали пустоту.

— Пойду и я, Игорь,— сказала Алица.— Надо выспаться: завтра много работы.— Он взял ее за руку.

— Может, останешься до утра? — не очень убедительно спросил он.

— В другой раз. А теперь мне лучше уехать.

Игорь ее проводил; на станции подождал братиславского поезда.

— Ну, пока, Игорь!

Они улыбнулись друг другу.

— Поцелуемся,— сказал он.

Едва коснулись друг друга губами, и Алица вошла в вагон. Свисток — и поезд тронулся. Игорь стоял на перроне, глядя, как поезд набирает скорость и исчезает за семафором.

Спущенные жалюзи в приемном кабинете пропускали солнечный

свет, и полосы его лежали на ковре, на столе Игоря, на шкафах с медикаментами. Полуденное солнце перевалило через крышу и теперь светило с другой стороны; пройдет немного времени, и оно медленно будет спускаться, пока не скроется за горизонтом; тогда оно выпустит длинные, оранжевые лучи-иглы — вонзится в сумерки. Игорь взял кисет и трубку, тщательно набил ее и зажег. Вытянулся поудобнее, наслаждаясь ароматом табака. Приемное время подходило к концу; сегодня он принял много больных и теперь, к вечеру, чувствовал приятную усталость. Сестра, пожилая седая женщина, записывала данные о последнем пациенте. У Игоря выкроилась свободная минута, он задумался и вспомнил разговор с Мартой, с главным врачом, с отцом и Алицей. Сегодня тоже явилась на прием перепуганная бабенка с завернутой бутылкой и деньгами. Игорь ей вежливо объяснил, что ничего не берет. И не взял. Потом он вспомнил, что сегодня дежурит ночью вместе с Мартой. «Отлично,— подумал он.— Будет достаточно времени поговорить с ней. Пожалуй, не только поговорить». Сестра закрыла толстую тетрадь учета.

— Пан доктор, я на минуточку отлучусь, если позволите. Работы больше нет.

Игорь кивнул. Он знал, что сестра вышла поболтать. «Наверное, расскажет, что я опять ничего не взял. Завертелось колесо... Ну и ладно». Сестра вышла, и Игорь остался один. Посасывая трубку, он смотрел на полоски света — как они, почти незаметно для глаза, перемещаются по полу, отмеривают ход времени. Сейчас он ни о чем не думал; его заполняла пустота, снимающая напряжение, и бездействие; он ничего не воспринимал, чувствовал только медленное и спокойное биение сердца. Кто-то постучал в дверь. Игорь сделал над собой усилие и сказал:

— Войдите!

Вошла Марта.

— Добрый день,— сказала она.— Мы, кажется, вместе дежурим.

Игорь глубоко затянулся.

— Кажется, да,— кивнул он.

— Это хорошо,— сказала Марта; она села на стол и стала болтать ногами. Он видел близко от себя ее обнаженные колени и полные бедра, слегка прикрытые короткой юбкой. Марта положила руки на колена, будто прикрывая их. Опять кто-то постучал. Марта спрыгнула со стола и поправила юбку. В кабинет заглянул мужчина в рабочем комбинезоне; увидев Игоря, он удовлетворенно прищурил глаз, улыбнулся Марте и вошел. Это был невысокий, но широкоплечий человек лет сорока; он держал в руке потрепанный портфель.

— Пан доктор,— начал он,— у меня поясницу ломит. Неважно я себя чувствую...

Игорь окинул его взглядом и подумал, что он вряд ли похож на больного.

— Ломит? — переспросил Игорь.— Что ж, посмотрим.

Пациент положил портфель, зашел за ширму и разделся до пояса. Игорь бегло осмотрел его, послушал фонендоскопом сердце, пощупал мышцы спины.

— Я хирург,— сказал он.— Вам бы к терапевту надо.

Пациент виновато улыбнулся:

— А его уже нет. Меня сюда послали: говорят — вы дежурите.

Игорь положил фонендоскоп.

— Ну, ладно,— проворчал он,— где у вас болит?

Мужчина нагнулся.

— Тут. И тут,— показал он.

Игорь сел за стол.

— Я пропишу вам втирание. И поменьше физической нагрузки. Вы кем работаете?

Пациент подошел к столу, придерживая руками брюки.

— Сантехник я,— сказал он.— Пан доктор, не прописывайте вы мне эту мазь. Мне надо дня два отдохнуть.

Игорь поднял на него глаза.

— Я не могу дать вам освобождение от работы, у вас нет ничего серьезного.

На лице пациента появилось просительное и хитроватое выражение, а рука его потянулась к портфелю. «Знаю, что сейчас последует»,— подумал Игорь, подперев голову руками.

— Пан доктор,— проговорил мужчина тихо.— Я ведь не задаром. Я гараж строю,— и он поставил на стол бутылку коньяку.

Игорь посмотрел на рецепт, буквы плясали у него в глазах.

— Вот это да! — сказала Марта.— «Наполеон»!

Игорь поднял голову.

— Точно,— подтвердил проситель,— «Наполеон».

Игорь готов был взорваться и тут поймал взгляд Марты.

— Да дай ты ему больничный,— сказала она.— Выпиши. Что тебе стоит, а у нас ночью будет что пить.

Наступила тишина, и Игорь чувствовал, как она тягостна. Потом, смирившись, поднял глаза:

— Фамилия?

Он писал, а ему казалось, будто он падает с высокой башни, составленной из детских кубиков; вот упал, кубики валятся на него, погребают под собой — и совсем завалили.

— Спасибо,— сказал мужчина,— коли что надо будет, скажите.

Он вышел. Марта взяла бутылку и стала внимательно рассматривать этикетку.

— Ну, вот. И всего за одну подпись.

Игорь покачал головой. «Начинается. Я перестаю что-либо понимать». Марта двинулась к двери:

— Пойду приготовлюсь. А ты не придавай этому значения. И пусть совесть тебя не мучит.

Она вышла, а Игорь взял бутылку и спрятал ее в стол. «Это не должно повториться,— думал он,— может, я еще не совсем рехнулся». Он вымыл руки, надел белый халат, посмотрел на часы: еще оставалось немного времени. И сказал себе, что на минутку приляжет. Растянулся на кушетке, положил руки под голову и закрыл глаза. И тут же уснул коротким, беспокойным сном. Ему приснилось, что сантехники толпами идут на него и прямо в горло льют ему коньяк. Он задыхался. И тут он увидел Марту — поднимая коротенькую юбочку, она говорила: «Иди же, не бойся. Пусть совесть не мучит тебя. Раз уж ты взял коньяк, можешь взять и меня». Появилась Алица, плакала, что если так будет и дальше, то она пойдет по миру. В конце сна ему привиделось, как отец и главврач рубятся топорами. Игорь вздрогнул и открыл глаза, еще не сознавая, спит он или нет. Стемнело. Из-за ширмы доносились тихие голоса. Один принадлежал Марте, второй — какому-то пациенту. Игорь встал, подошел к умывальнику и сполоснул лицо.

— Почему не разбудила меня? — спросил он, когда пациент ушел.

— Да не было нужды,— ответила она.— Ты отдохнул?

— Отдохнул. Теперь не усну.

В кабинете наступила тишина, и тишина пришла из недр больницы: казалось, она тоже получила, наконец, желанный отдых.

— А не выпить ли нам коньячку?

Игорь посмотрел на Марту; она сидела, удобно вытянув ноги, ха-

лат был не застегнут на верхнюю пуговицу, под ним виднелась полная загорелая грудь.

— Хорошо,— сказал он.— Напьемся и посмотрим...

Он вынул две стопочки, достал коньяк, откупорил и налил.

— Ну, на здоровье.

Выпили; коньяк был отличный.

— Запретный плод,— сказала Марта.— За одну подпись.

Быстро выпили еще, потом еще... Говорить не хотелось. Они просто сидели, потягивая коньяк, слушали тиканье настольных часов и звуки ночи. Игорю казалось, что так сидят они целую вечность; коньяк притупил его чувства и освободил мысли. Он встал, потянулся, сделал несколько гимнастических упражнений для рук. Подошел к окну. Небо на востоке вроде бы начинало светлеть.

— Кажется, светает,— обратился он к Марте.

Она не ответила. «Спит». Он нагнулся к ней, ища глазами ложбинку между грудей, легонько расстегнул следующую пуговицу и прижался губами к ее шее. Она шевельнулась, потом запустила ему пальцы в волосы и притянула к себе.

— А совесть тебя не мучит, справедливый человек? — шепотом спросила она.— Взятки брать не хочешь, а миловаться со мной хочешь? — Помолчав, добавила: — А как же твоя невеста?

Игорь поцелуем закрыл ей рот.

— Тут другое дело,— пробормотал он.— Тут нет ничего плохого.

Она легонько оттолкнула его голову.

— Тогда подожди,— и она встала.— Если это другое дело — подожди.

Запахнув халат, Марта быстро вышла. Он с удивлением сел. Волосы его были растрепаны, губы горели. Он знал, что Марта скоро вернется и отдастся ему. Он смотрел на стол, на коньяк, на вещи вокруг; все плясало и расплывалось; и мысли — тоже. Игорь не вполне отдавал себе отчет в том, что он делает, он только испытывал потребность действовать. Собравшись с силами, взял бутылку и пошел к умывальнику. Вылил остатки коньяка, бутылку сполоснул и поставил на пол. Потом открыл окно. «Так вот как начинается борьба за свою правду,— потекли мысли.— Вернее — за общую правду. За честь. За профессию. За себя...»

Перевод А. КОСОРУКОВА

ЯН ПАПП

Братья

Конец октября приносил одни дурные вести. Части танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» вторглись на повстанческую территорию из Венгрии. В Низкие Татры пробивается отборная бронетанковая дивизия «Хорст Вессель». От Ружом-

© Ján Papp, 1974.

берока наступает бригада «Дирлевангер», дивизия «Татра» фронтально растянулась по всей западной линии, а группа «Шиль» рвется к Зволену.

Стальная стена немецких орудий неумолимо окружает горы. Еще, может быть, несколько дней, неделя, от силы две или месяц — и повстанцев оттеснят под самые хребты.

Выше! Потом еще выше! Докуда же? — спросил себя капитан Бела. Он думал о голодных, плохо одетых, больных людях, измученных гнойными нарывами и поносами. Горсть патронов, винтовка или автомат, проклятый дождь, грязь, хлесткий ветер, надвигающиеся холода. И восемь немецких дивизий по пятам!

Он невнятно выругался.

Эту тихую брань Метод Галагия воспринял как укор, что они слишком долго плетутся. Он удлинил и убыстрил шаг — при его небольшой, коренастой фигуре это было удивительно.

Еще немного, сказал он торопливо.

Вот они и у замка. Галагия взбежал по лестнице, быстро пересек правое крыло. Капитан следовал за ним чуть медленнее.

Здесь, капитан, сказал Метод в конце коридора и первым вошел в комнату. Поверх гражданской одежды накинута плащ-палатка, подпоясанная толстой веревкой, захватанной и намокшей. Ее концы болтались у передков болотных сапог. Притворив высокую белую дверь с золотым и светло-зеленым орнаментом, он обернулся к офицеру в форме без знаков различия, молча кивнул головой к противоположной стене и, только удостоверившись, что капитан понял, шепнул значительнее, чем требовалось:

Вон он. Тот бородатый. Над ним висит автомат. Видишь?

Довольный тем, что выполнил задание, он перевел дух и даже улыбнулся.

Капитан Бела посмотрел внимательнее. Так вот он какой, подумал он. Поскреб переносицу, потом глянул на ноготь. Сухие комочки грязи его не удивили.

В просторной комнате отдыхало человек двадцать, а то и двадцать пять, но не больше. Они спали либо неподвижно лежали, растянувшись на бесформенных соломенных тюфяках. Все — одетые. Бородатый тоже. Капитан готов был поклясться, что он единственный с самого начала зорко за ними следит.

Так говоришь, не пойдет?

Я не говорил, что не пойдет. Я сказал, сдается мне, что не пойдет, возразил Метод Галагия и продолжал: Я сказал, что у него есть причины не ходить, но я не утверждал, что он не пойдет. В конце концов откуда мне знать, пойдет он или не пойдет.

В душе он был уверен, что Винцо Грнко ни за что не пойдет. Ведь он-то знает его. Грнко и солдаты. Еще чего!

Атмосфера в комнате была прямо-таки леденящей. Капитан оценил ее такими словами:

Да, невесело тут у вас.

Услыхал его один Галагия: капитаново замечание было тихим, проворчал он его скорей про себя, как бы в отместку за все те хвастливые речи, какими партизаны этого отряда под влиянием Грнко потчевали его солдат. Правда, сейчас никому не до песен. Ни солдатам, ни партизанам. И знаменитое брумендо [1] все реже слыхать.

Мрачное настроение рождало в нем такие же мрачные мысли. Повсюду такое уныние, что немцы, того и гляди, заявятся в горы свежевыбритыми, им не придется даже перебриваться для торжественно-

[1] Тихое пение без слов. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

го банкета в честь победы. SS-Obersturmbannführer Витиска, новый Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD der Slowakei [1] не успеет и обогреться как следует в своей братиславской резиденции на Палисадах, 42, как на груди у него прибавится еще один железный крест. И не только у него. Несомненно, и у генерала Хёффля, нового командующего немецкими войсками в Словакии. Потому что теперь все новое. В том числе с сентября и «людяцкое» правительство [2]. Однако, сказал командир партизанской бригады, все это доказывает, что они нас боятся. Понимаете? Они нас боятся! В противном случае не перепрягали бы лошадей на подъеме!

Наметанный глаз был у командира бригады. И впрямь наметанный. Три месяца назад люди были преданы делу, но неопытны. К тому же чересчур говорливы. Теперь они молчаливы, замкнуты, зато тем опаснее для врага. В особенности когда знают, что худшее впереди. А они это знают.

Они готовы ко всему, сказал Метод Галагия.

Капитан тут же поднял брови — подумал кое-что о чтении чужих мыслей.

Только Винцо все равно не пойдет, заключил Метод.

Он опустил голову, глаза его погрустнели.

Ты же сказал, что не утверждаешь этого.

Ну, сказал. А теперь и утверждаю. Винцо не пойдет.

Значит...

Ничего это не значит, начал Метод, но запнулся, схватился за бедро, потом за плечо — будто из гнезда выпал. А если и значит, сказал он, то только то, что теперь у нас ото всего мурашки по телу. Меня бросает в жар и мутит.

Эх, убили, убили, двух парней без вины...

Песенка взметнулась в трех шагах от них. Голос принадлежал человеку с бледным лицом. Он сидел, привалившись к стене, из-под одеяла торчала одна голова. Он глядел на них и пел низким, усталым голосом:

Эх, двух парней без вины... Одного звали Капустой...

Мог бы найти и более подходящую, то есть — более веселую, сказал капитан и чуть погодя добавил: Впрочем, и на том спасибо.

Галагия дернул плечом:

В мыслях у нас одни свежие могилы, капитан. Имена на них нам до невозможности дороги. А память, сами знаете, лучше всего развязывает язык, чему же вы удивляетесь!

Он то выкал ему, то тыкал. Они знали друг друга недавно.

Капитан перестал слушать песню. Он перенес внимание на гладкую гипсовую стену с бараньей головой, тоже гипсовой. И заставил себя сосредоточиться на этом, потому что разглядеть лицо бородатого ему хотелось позднее. Позднее, когда подойдет к нему совсем близко.

Предыдущие два часа он провел в поисках подходящего проводника. Выбор пал на этого человека. Наговорили ему о нем самое разное. Хорошо еще — не изобразили головорезом. Сказали, что он упрям, неуступчив. И еще добавили очень неприятный, но важный факт: этот партизан более всего не жалует военных. Попросту говоря, их ненавидит. Еще сказали ему... Э, чего только не наговорили! И все-таки сошлись в одном: самый подходящий. Капитан подумал и остановился на нем. Ведь у него неоспоримое преимущество перед другими: он знает этот край как свои пять пальцев. До недавнего времени работал тут лесорубом.

---

[1] Начальник полиции и СД (служба безопасности) в Словакии *(нем.)*.

[2] Клерикально-фашистское правительство так называемого «Словацкого государства».

Пол скрипел. В просторной продолговатой комнате было холодно. Вдобавок сквозило. Только в двух окнах стекла были целы, и то лишь во внутренних рамах. Остальные — заколочены досками. Промеж уцелевших окон, на коротких крепких рогах, висит русский автомат. Не дотянуться до него и самому высокому парню — гипсовая лепка со знаками зодиака в двух с половиной — трех метрах от пола. В замке высокие стены, когда-то они были доверху увешаны охотничьими трофеями. Остались от них только светлые пятна с темными пыльными очертаниями. Знаки зодиака снять не удалось. И хорошо: у Винцо Грнко есть где повесить автомат. Вешает он его с помощью короткой сучковатой палки — она неизменно при нем. Грнко говаривал: хороша в рукопашном бою, сгодится как опора, как вертел, поклажу на ней удобно носить, при переходах через брод незаменима, ну просто — будь душа у нее — лучшего друга не придумаешь.

И об этом ему рассказали.

Винцо Грнко ждал их неподвижно, даже головы не поднял. В щелки меж припухшими веками увидел наконец две пары ног. Одна ему знакома. Английские болотные сапоги тут носит единственный человек — он стащил их с ног графского слуги Мачуги. Только этот Мачуга и остался в замке от прежней роскоши. К сокровищам его не причислили.

Вот капитан хочет потолковать с тобой, Винцо, опасливо начал Галагия.

Грнко и теперь не поднял головы:

Доктор?

Будто топором рубанул.

Нет, ответил капитан, я не доктор.

Грнко открыл глаза пошире, смерил офицера взглядом. Они смотрели друг на друга. Смотрели молча. Смотрели в упор, при этом надо заметить, что у Грнко было явное преимущество: он видел квадратный, ровно поделенный ямкой подбородок, выступающие скулы, короткий нос с большими ноздрями — из них торчали волоски, усталые глаза, почти сросшиеся брови, густые и черные; правая щека и лоб были обрызганы грязью, подсохнув, она осыпалась вдоль морщин и оставила коричневатые пятна, отчего половина лица сильно напоминала индюшечье яйцо. Капитану же пришлось довольствоваться только глазами Грнко: все лицо его тонуло в черной бороде, чуть тронутой сединой, а лоб и виски были по самые брови прикрыты слипшимися волосами.

Значит, не вы его оперировали.

Нет.

В глазах партизана мелькнуло облегчение и тут же пропало — взгляд не изменился, остался твердым.

Стало быть, вы пришли по другой причине?

Капитан собрался было объяснить, зачем пришел, но Грнко опередил его:

Вы пришли сказать, что все в порядке.

На этот раз капитан уже не пытался ничего объяснять. Его глубокий вздох, вероятно, испугал бородача, ибо он сказал:

А, вот оно что. Вы пришли сказать, что он умер.

Ни то, ни другое, ответил капитан. Я не доктор, никого не оперировал, не имею даже представления, о чем ты меня спрашиваешь. Я пришел совершенно по другому делу.

Он был рад, что вступление позади, и, торопясь как-то наладить отношения, сказал:

Почему ты мне выкаешь? В нашем отряде называют друг друга на «ты». Ведь мы с тобой из одного отряда.

В ответ ни звука.

Метод Галагия чувствовал себя хуже некуда и, чтобы прервать неловкое молчание, представил офицера:

Пан капитан из другой половины отряда. Пан капитан командует солдатами. Ты же знаешь, Винцо, с той поры как мы объединились, все равно, что они, что мы. Он пришел просить помощи...

Меня занимает только одно, глухо сказал Грнко, и ты очень хорошо знаешь, что это занимает меня больше всего на свете.

У него дрожали губы. Лихорадка на нижней губе стала сочиться, он прижал ее запястьем правой руки, потом посмотрел на запястье. Несколько раз повторил это движение. Напротив кто-то с присвистом захрапел, и тут же рядом раздалось пощелкивание языком.

Они подождали.

Винцова брата ранило, обернулся Метод Галагия к капитану. Винцов брат тут, с нами. Из последнего боя пришел с целой горстью свинца в груди. Этим часом его должен оперировать врач из бригадного госпиталя.

Галагия взглянул на часы, слегка повернул их — блеснуло стекло — и снова вложил в маленький кармашек на брюках.

Скоро три, сказал он, должно быть, как раз оперируют, потому что за доктором отправились в тринадцать, а дорога занимает час. Час туда, час обратно.

Прости, участливо сказал капитан, не знал я.

Он рассердился, что Галагия и остальные не предупредили его.

Грнко поднялся, он был примерно одного с капитаном роста, только плотнее. Выдернул из-за голенища газету, клочок от нее оторвал — здоровый, почти с ладонь. Скрутил «козью ножку», насыпал мелкого табаку и прикурил. Остаток газеты сложил, сунул за голенище и сказал:

Мне бы надо представиться, чтобы не вышло ошибки.

Он в упор взглянул на Галагию.

Болтают обо мне всякое, а у меня свое понятие о людях. Живу я без робости, надежно, говорю всем, что думаю. Мне не надо ломать голову да вспоминать, что говорил вчера.

Он опять покосился на Галагию, поэтому капитан решил вступиться за него:

Я попросил его проводить меня к тебе, он меня и привел. Вот и все.

Ладно, сказал Грнко.

И следом:

Не люблю я солдат. Учились всему, а воевать не научились.

Затянувшись, он медленно выпускал едкий дым через ноздри и уголки губ. Зеленовато-серый дым запутался в бороде, впитался в нее, потом стал просачиваться наружу — казалось, борода где-то исподнизу тлеет.

Я обязан был вам это сказать, чтобы с самого начала все между нами было ясно.

Он по-прежнему упорно выкал ему.

Винцо...

Тебя не спрашивают, Метод. Если разобраться, ты мужик неплохой, но лучше заткнись. В твоих советах я не нуждаюсь.

Он ногой поправил тюфяк, сучковатой палкой снял автомат и сказал:

Ребята спят. С немецким транспортом здорово пришлось повозиться. Воротились мы только к полудню, хлопцы вдосталь хлебнули. Не надо тревожить их, они умаялись как лошади. Ежели вам от меня что надо, выйдите наружу.

Капитан и Метод сочли это успехом.

Перед охотничьим замком тянулись к небу недавно пересаженные трех-, четырехметровые ели и сосны, крышу замка прикрыли еловыми ветками, к стенам прислонили срубленные деревья — всюду маскировка. По склону позади замка вырыты землянки. Лагерь раскинулся до самого леса. На ближнем пригорке намек на противовоздушную оборону — станковый пулемет на высокой подставке.

Как видите, сказал Грнко, ни одного фургона.

Эти слова вызвали еще один недоумевающий взгляд — капитан Бела не мог понять, куда он клонит.

Что ты этим хочешь сказать, а? — спросил Галагия и про себя подумал: Этот всегда устроит потеху — такую, когда не играют, не танцуют, не поют и о веселье вовсе не помышляют...

Заткнись, оборвал его Грнко и, высморкавшись, продолжал: Говорят, кое-кто из господ офицеров пожаловал на восстание с целым фургоном добра.

Ах, вот что, вырвалось у капитана. Он понял, на что намекает Грнко: слух о большом фургоне, в котором один генерал перевез мебель и ценности из Банска-Бистрицы в Доновалы [1], быстро разнесся повсюду. Кабы с такой скоростью передавались приказы, подумал капитан. Но что поделаешь. Он был бы рад о многом рассказать бородачу: ну хотя бы об успешных до сих пор операциях регулярных частей в восстании, и об отрицательном влиянии официальной «людяцкой» пропаганды на ребят в форме, и о том, как мало коммунистов в армии и, главное, среди офицеров,— в общем, о многом, но времени было в обрез, да и Грнко его все равно бы не понял, потому что не захотел бы понять.

Тут произошло неожиданное: издали долетел грозный гул.

Оба невольно взглянули на небо, да так и застыли, напрягая слух. Капитан встревожился больше. Отношение партизана к армии перестало его занимать, голова была полна одним: он должен выполнить приказ командира бригады.

Двухмоторный «хейнкель-111», сказал он значительно и стиснул зубы. Чуть погодя продолжал: Пузатый, как черепаха, и несет в себе лавину смерти. Кто пережил бомбежку, дружище, тот знает, что это такое. Дождь осколков, воздушной волной разорванные легкие, искалеченные тела, фонтаны земли и камней, перемешанных с деревом, опаляющий воздух, кровь, боль. Смерть! Бомбежка — это свинство, равного которому нет. А они бомбят наших. Наших! Таких, как ты, как Галагия, я, как мы все.

Услыхав про самолет, Галагия с явной опаской уставился в небо, рука на губах, должно быть, зажала выкрик. Она дрожала. На щеках выступили белые и лиловые пятна. Мысль о такой смерти погнала всю кровь его в грудь, сердце не могло с нею справиться. Галагию затрясло. И не из страха перед смертью. Смерти он не боялся. Но самолеты в расчет не принимал. И о такой смерти не думал. Круто повернувшись, он уставился на единственную противовоздушную огневую точку, какая имелась у них,— пехотный пулемет. Голова раскалывалась от боли, до того острой, что он перестал ее чувствовать. Он пришел в ярость: один станковый пулемет, да и тот прикрыт еловыми ветками. Чем занят расчет? Чем заняты остальные? Почему не объявлена тревога? Галагия схватился за сердце. Не услышал его, не почувствовал. Впрочем, он вообще уже ничего не чувствовал — стоял как вкопанный, как окаменелый. Это уже будет не бой! Это будет бойня! Великий боже, настоящая бойня!

---

[1] Банска-Бистрица — центр Словацкого национального восстания. Доновалы — горное село, куда в октябре 1944 г. был перенесен штаб восстания.

Винцо Грнко презрительно на него посмотрел и сплюнул. Затянулся слюнявой самокруткой так сильно, что она вспыхнула пламенем. Он притушил его рукой и стал неторопливо рассказывать о чьей-то жизни и чьих-то мытарствах. Изредка носком сапога ударял по камням у дороги и отшвыривал их вместе с глиной неподалеку в траву. Вдруг Винцо сказал:

Сколько всего просеялось через мои сорок лет. Сколько всего, и ничего хорошего.

Разве только то...— не упустил случая капитан, чтобы как-то утешить его и в то же время заинтересовать приказом, но Грнко не дал ему договорить:

Нас было четверо. Старший погиб в концентрационном лагере, младший борется со смертью.

Он сказал это так, будто внутренне был не причастен к тому, что сейчас происходило довольно далеко от них, но все же не так далеко, чтобы не касаться и их.

Вдруг кто-то впился ему в локоть — будто буравил когтями. Он дернул руку, высвобождая ее, и увидел искаженное лицо Галагии. Запрокинув голову, тот хотел что-то крикнуть, но не мог выдавить ни звука. Наконец это ему удалось, хотя крик его скорей походил на мяукание:

Вот он! Вижу!

Капитан тоже заметил самолет, прикинул расстояние и сказал: Далеко еще.

Метод Галагия был не бог весть каким смекалистым парнем, но прилив страха подсказал ему самое правильное, по его мнению, решение. Он закричал:

В лес, врассыпную!

Грнко покосился на него, высвободил, наконец, руку и крепче ухватил свою сучковатую палку. Совершая эти нужные движения, он угрожающе прошипел Галагии:

Шевельнешься, убью.

Галагия не шевельнулся. На лбу и висках набрякли синие жилы — это было все, на что его хватило. И еще: от корней волос побежали тонкие струйки пота, будто между слипшимися волосами под сдвинутой на затылок ушанкой был родничок, вздумавший как раз в эту минуту доставлять ему неприятности.

С тебя станет: плюнуть на раненых и беспомощных и спасаться бегством. Ты и на такое горазд, выговаривал ему Грнко.

Капитан следил за бомбардировщиком — летел он сравнительно низко и чуть в стороне от них.

Порожний, решил капитан, это, должно быть, тот самый, что лютовал в Старой долине.

«Хейнкель»? — спросил Галагия.

«Хейнкель», подтвердил капитан, но этот нам не опасен. По крайней мере сейчас.

Грнко ухмыльнулся и насмешливо повторил:

По крайней мере сейчас.

Он отвернулся от Галагии. И нахмурившись, сказал:

Хорошенькое утешение — «по крайней мере сейчас». Кому нужно такое утешение, пан капитан? К счастью, мы ваши офицерские утешения опередили, потому как учли и эту возможность. Эту и прочие. Я сказал — опередили, точнее было бы сказать — мы без них обойдемся: как сделал Егоров [1], кажется, на Прашивой, так сделали и

---

[1] А. С. Егоров — Герой Советского Союза, командир партизанской бригады, действовавшей на территории Словакии.

мы. Замок — это одно, землянки с продуктовыми складами выше в горах — другое. Мы их на всякий случай построили. Мы, конечно!

Рослый командир в офицерской форме постарел на глазах. Он как бы вдруг осознал размеры пропасти, через которую ему пока не удается перекинуть мост. Он сказал себе:

Ведь я еще толком даже не начал. И тут же подумал: Зачем? Это все равно ни к чему. Он ненавидит нас сильнее, чем я полагал.

Из кармана гимнастерки капитан достал облезлый металлический портсигар, раскрыл его — под золотистыми резиночками надписью вверх, аккуратным рядком лежали «Голубые Татры». Он поглядел на них, вытащил крайнюю, послюнявил ее, еще поглядел, послюнявил с другой стороны, кончиком постучал о крышку портсигара, прилепил сигарету к нижней губе, портсигар сунул в карман и тут же вытащил спички. Сложив ладони ковшиком, прикурил. Дым от «татры» был голубым, будто летнее небо. И приятно пах. Капитан этого явно не замечал — казалось, курит он бессознательно, автоматически, как курят только страстные курильщики. Но он не принадлежал к их числу. Непривычную рассеянность, которую он силился преодолеть, вызывали неотвязные мысли, ранившие его офицерскую гордость. Он пытался прояснить их для себя, ибо они завели его в тупик — он бился о непреодолимое препятствие. Им была ненависть. Им был эгоизм. Грнкова ненависть, Грнков эгоизм. Он сказал себе: Всем не легко. Всем. У каждого свое пламя, которое испепеляет его, а источник пламени здесь совершенно неважен. Одно все же ясно: каждый лучше чувствует собственную боль, она, разумеется, больнее всего. Сможем ли мы быть другими? Надо бы! Существует ведь что-то и помимо нас, над нами и впереди нас, к чему мы причастны каждый в отдельности и каждый своим особым, возможно, неповторимым образом, но именно тут-то и проходит та разделяющая нас черта, от которой начинается формирование не только мышления, но и поступков. Нами движет некая сила, заставляя держаться за жизнь вопреки страданию, горю, боли и, скажем, даже отчаянию. Была бы эта сила столь действенна, если бы не стояла над нами, как путеводная звезда? Могли бы мы тогда жить? Были бы сейчас тут? Эти мысли капитан не в силах был отогнать, он допустил их, ибо они помогали ему найти точку опоры. Ему любопытно было услышать ответ Грнко на вопрос:

Скажи, почему ты взялся за оружие?

Винцо расставил ноги и привычным движением стал расстегивать прореху. Это было отвратительно, гадко. Он отвернулся, но все равно было противно. Что ж, он оттягивал время, как мог. Вопрос капитана его огорошил — в голове пронеслась уйма ответов. Стоя спиной, он выбрал такой:

Чтобы мне стало лучше.

Ответ устроил его, и он повторил его уже капитану в лицо.

Чтобы тебе стало лучше? — спросил капитан.

Да.

Ну что ж. Тебе так тебе. Ни отцу, ни матери, ни раненому брату, ни младшему. Только тебе.

Только мне, упрямо подтвердил Грнко. И с угрозой в голосе добавил: Родителей не поминай, они на том свете. Брата оставь в покое, потому что он с нами. Тут. Младший — сопляк, мог бы — тоже пришел бы, но раненого не касайся.

Он вдруг перешел на ты. Капитан заметил это и счел дальнейшим успехом, хотя был не очень-то в этом уверен.

Отчего же тебя так мучит боль брата, Винцо? Тебя-то она не касается, это его боль. Его.

Молчание.

Капитан не отступал.

Или я ошибаюсь? Он сделал вид, что ответ ему безразличен; на самом же деле ему очень хотелось услышать его, но он боялся, что припертый к стенке, растерянный Грнко обидится и уйдет. Поэтому капитан, решив облегчить его положение, спросил:

Что, если надежды твои не сбудутся и лучшего ты не дождешься?

Грнко бился еще над первым вопросом — второй не сразу дошел до него. И мысль его неотступно возвращалась к раненому брату. Опустив голову, он смотрел на ямку под ногами, сапогом нагреб в нее земли, потом стал на нее, будто этим хотел дать понять, что он снова хозяин своих решений. До сих пор было просто. Без всяких сложностей. Хотел жить, надо было работать. И баста. Какие там решения? Но этот тип с бело-сине-красной кокардой на бригадирке [1] не дает ему передохнуть.

И такое может случиться, капитан, и такое, ответил Грнко. Но тогда мне некого будет винить. Скажу себе: чего хотел, то и получил. На первый взгляд просто. На первый взгляд. Потому как между тем, что было, и тем, что будет,— великая разница. К тому, что было, я вовсе не стремился, того я не хотел.

До сих пор молчавший Метод Галагия недовольно произнес:

Одна болтовня.

Капитан не согласился.

Галагия сказал:

Не пойдет он. Ну что, угадал я? Ясное дело, не пойдет.

Тем самым он решительно положил конец разговору и стал торопливо потирать руки — это не только напомнило капитану о прибывающем холоде, который все злее добирался и до его тела сквозь скудную одежду, но и подсказало ему, что пора кончать этот пустой разговор — в нем не было проку. Грнко упрям, что баран над его тюфяком, и такой же бесчувственный, и вообще — невозможный.

Мыслимое ли дело, чтобы среди стольких людей не нашелся другой, кто знал бы этот край, кто знал бы особенно те места? И Галагия ткнул большим пальцем через плечо.

Грнко следил за пальцем Галагии. Палец вдруг оказался на груди, Галагия стучал им по плащ-палатке и говорил:

Найдем — хорошо, не найдем — тоже хорошо. Я пойду первым.

Что он — серьезно или только хочет раззадорить Грнко? — думал капитан и без усилия вспомнил, каким был этот Галагия минуту назад, когда над ними пролетал «хейнкель». Но капитан тут же выкинул его из головы. Коснувшись плеча Грнко, сказал:

Говорят, там пещеры и подземные русла. И еще говорят, что если кто их и знает, так только ты, Винцо. Только ты.

Взгляд Грнко сделался вдруг растерянным, и злоба была в нем. Вложил он ее и в резкий взмах руки, от которого дернулось тело.

Ну, выкладывайте, куда я должен идти и что вам от меня надо. А то откуда мне это знать — из пальца, что ли, высосать?

Капитан понял, что предложение Галагии раззадорило Грнко. Так вот он какой! Честолюбивый... Это уж точно, но что до этого «высосать из пальца», он прав, подумал капитан, и потому почти виновато, спокойным голосом извинился:

В самом деле, ведь я тебе до сих пор ничего не сказал.

Он все медлил; отошел к низкому можжевельнику, постоял там, повернувшись боком, долго смотрел в направлении долины, даже сделал несколько шагов, шагов пять, не больше. Видно было уже не так, как полчаса назад, вместе с холодом быстро сгущались сумерки, и этими несколькими шагами он, верно, хотел как бы сократить рас-

[1] Военная фуражка.

стояние. Да, вот самое главное! Эта долина притягивала его. Долина и задание. Он быстро воротился к Винцо и сказал:

По донесению разведки в Старой долине сосредоточилось около тысячи наших солдат...

Слова-то какие — «сосредоточилось»! — насмешливо сказал Грнко, что-то еще заворчал себе под нос, да вдруг осекся — капитан Бела, вытянувшись по стойке «смирно», взревел командирским тоном:

Дисциплина касается тебя точно так же, как и других! Ясно?

Грнко передернуло.

Капитан прикурил еще одну сигарету и продолжал уже более спокойно:

Так вот, тысячу, а то и больше наших солдат фашисты согнали в Старую долину, окруженную войсками Хёффле. И ликвидируют их. Они избрали самый зверский способ: с сегодняшнего дня, точнее с сегодняшнего утра, бомбят их регулярно через каждые три часа. Используют всего один «хейнкель-111», больше для этой цели у них, вероятно, самолетов нет. Может, один и тот же «хейнкель» используют умышленно. Может, и такие длительные интервалы — тоже умышленны. С бомбами они сбрасывают листовки с призывом сдаваться. Обещают солдатам беспрепятственное возвращение домой. Вот и представь, какая там обстановка. Речь идет о том, чтобы этой ночью мы попытались вывести наших из долины. Пробиться к ним нам не удается, для прорыва у нас нет ни людей, ни огневой силы. Попытки солдат вырваться из долины провалились — слишком очевидный маневр. Они внизу, немцы над ними. Лишь нескольким удалось прорваться, двое из них у нас в штабе. Теперь ты знаешь все.

Он судорожно затянулся.

Ты из этих краев, тебе знакомы каждый овражек, тропка, скала, дерево. Говорят — даже подземные ходы между пещерами.

В руках у него появилась карта местности, он разостлал ее на земле, ткнул в одну точку и сказал:

Речка теряется вот здесь.

Он провел пальцем по путанице зеленых пятен разных оттенков и множества линий, значение которых Грнко не понимал.

Она пробивается вот здесь, видишь, совсем на другом склоне, в другой долине. Тут Яловянка, он показал пальцем, и тут Яловянка, он передвинул палец несколько дальше и продолжал, глядя на Грнко: А что между? Что между этими двумя точками? Высота 1109, возвышенность шириной по меньшей мере в восемьсот-девятьсот метров.

Он снова глубоко затянулся, дым выпустил на карту, откуда тот сполз в сырую траву. Затем капитан встал, сложил карту и спрятал ее в планшет. Выплюнув окурок, раздавил его носком сапога.

Теперь очередь за тобой. Мы надеемся на тебя. Солдаты в Старой долине тебя ждут. Их жизнь в твоих руках. Отбери ребят — отделение или взвод — и иди.

Галагия глядел на обоих, Грнко — ни на кого. Он теребил густую бороду, смотрел в землю, на карту, в пространство. Минуту спустя поглядел в карие глаза капитана. И начал:

Антон, это мой старший брат, погиб в концлагере. У него худая малокровная жена и семеро ребятишек, у которых, как назло, нормальные человеческие животы. Жена и дети осиротели. Это начало. У Рудо — четверо. Рудо тот, который был с нами и теперь лежит там, он кивнул головой в сторону замка. Это продолжение.

Грнко глубоко вздохнул.

И еще я. Тоже с четырьмя. Четверо своих, семеро Антоновых, всего одиннадцать. Похоже, что нынче их станет пятнадцать. Дело серьезное. Посерьезнее, чем, наверно, вы думаете. Для меня, конечно.

В голове у него пронеслось множество мыслей, только выразить он их словами не мог, поэтому сказал:

Вернусь домой, так, пожалуй, буду жив. Бог знает. Останусь тут, может, погибну, может, и нет. А пойду туда, в Старую долину — надежды на возвращение почти никакой, это как кинуть камнем в летящего воробья — вряд ли в него попадешь. Вот какая надежда. Смешная.

Опять вздох.

Кое-что я могу взвесить, сказал он, настолько еще ума мне хватает.

Вмешался Метод Галагия:

Я же говорил, что не пойдет.

Бедняга капитан. Он был в незавидном положении. Думал — придет и прикажет. Его сбил с толку Галагия, который знал Грнко и знал, о чем речь. Но постепенно Галагия пришел к выводу, что Винцо откажет. Как он пришел к такому выводу? Да так же, как и капитан, когда узнал все обстоятельства. Только ведь Метод Галагия — рядовой боец. Звучит это пусть глупо и, пожалуй, не совсем точно, но рядовым он останется и в том случае, если найдется десять, а то и все сто более подходящих выражений. Командир есть командир. На нем не только звездочки, но и вся тяжесть ответственности. Ну, если даже не вся, то основная часть — несомненно. Что же теперь? Я командир, я обязан решить. Решить — значит: принять во внимание каждую мелочь, ничего не упустить, найти наилучшее решение, отдать приказ. Итак, еще раз и все по порядку, сказал он себе и снова повторил задание, полученное от командира бригады. Взвесил возможные и непредусмотренные варианты. Он был кадровым офицером, на случайность не полагался, хотя где-то в подсознании верил в нее. Верил и опасался ее, ибо в бою случайность редко когда облегчает дело. Обычно она застигает врасплох. Именно это и есть самое страшное, ибо в бою человек, действует ли он в одиночку или в составе боевого подразделения, подобен заведенной машине. Он идет. Он исполняет приказ. Голова у него занята только тем, что он должен выполнить. Разумеется, он при этом и думает. А как же не думать, когда самые непредвиденные опасности грозят его жизни и он должен защититься от них. Иной раз силы его на исходе, он просто изнемогает, он при последнем издыхании... Тогда его ободряет товарищ или самое обычное воспоминание: о матери, о сыне, о девушке или даже о ручье близ родного дома, где полощутся гуси. И силы чудом возвращаются. Мгновенно. Хуже с мыслями — в такие минуты они мешают, носятся в голове и докучают, точно вороны. Отчаянное чувство безнадежности, пассивная покорность судьбе, безысходное уныние. Налетят — и нет человека. Как с этим Винцо Грнко. В самый неподходящий момент. Едва он допустил мысль, что раненый брат, по всей вероятности, не выживет, в нем проснулось чувство ответственности за семью — ни о чем другом он не думает. Предчувствие гибели брата так его оглушило, что он совсем потерялся. Стоит, глаза зажмурены, суставы сжатых пальцев побелели — видать, перемогает что-то в себе. Что? Что же окажется сильнее? Что возьмет верх? Капитану захотелось помочь ему, он сказал:

Понимаю тебя, Винцо. Могу войти в твое положение, товарищ. И все-таки подумай, нигде ведь не написано, что ты не вернешься. И если брату врач не поможет, то не поможешь и ты. Напрасно терзаешь себя. Конечно, я знаю, что скажешь: что ты ему брат, берешь ответственность за его семью, жену, детей, все так, ты прав, но там, Винцо, там, может быть, тысяча отцов, тысяча братьев, тысяча сыновей, после них останется тысяча, а то и несколько тысяч сирот...

На чувствах играете, загремел Грнко, это мне ни к чему!

Не глядя ни на кого, он повернулся и, по-стариковски опираясь на свою сучковатую палку, собрался было уйти.

Решение Грнко взбесило капитана Белу. В нем настойчиво заговорило чувство долга — оно, верно, перекипело через край, потому как капитан, словно в исступлении, расстегнул кобуру, и в руке его матово блеснул пистолет. Он поднял его на уровень спины Грнко и крикнул:

Стой!

Грнко, не зная, что происходит у него за спиной, ступил правой ногой и, слегка раскорячившись, поворотился. Увидев, что капитан в него целится, он закивал головой, будто хотел сказать только: откуда знать тебе, жалкий человек, что меня ждет? Что ты вообще знаешь о жизни? Потом занес левую ногу, обратил взгляд к замку и медленно зашагал под гору.

Капитан Бела крикнул еще раз:

Стой, Грнко, приказываю тебе, стой. Приказываю тебе выполнить задание! Приказываю тебе!

Галагия отвернулся. Он видел, как гибли многие товарищи, но чтоб так — никогда. Щелкнул предохранитель.

Капитан напряг руку, в прорези нашел голову Грнко. Она покачивалась из стороны в сторону. Что она несла в себе — тяжесть ответственности или страха? Вдруг она исчезла из прорези, капитан стал искать ее, нашел, она снова исчезла. Бежит, трус, петляет, подумал капитан и тут же открыл глаза: медленным, размеренным шагом, пожалуй, тяжелее обычного Грнко направлялся к замку. Плясала рука капитана.

Кто-то тронул его за плечо, потом силой приподнял ему голову.

Галагия.

Нечего стыдиться, капитан. Твое милосердие не сродни слабости или измене. Ты доказал силу своего понимания. А потом, капитан, пуля — ведь это не выход.

Бывший лесоруб больше не оглядывался. Он шел, нога за ногу, каждая весила по меньшей мере пуд. Он был похож на мертвеца, он, собственно, и был уже мертвый; то, что должно было произойти, он пережил уже десятки раз, но никогда оно не наваливалось на него с такой силой, хотя всякий раз он говорил себе: это и есть — смерть. А минует опасность, он громко смеялся и бахвалился: Я что хрен, десять раз меня выруби, а я раз от разу крепче вырастаю. Но ощущение смерти сейчас давило иначе: ноги, дыхание, онемевшие руки и свинцовая голова — все физические признаки смерти или по крайней мере умирания пришли только потом. Потом. Сперва появилось сознание или нечто такое, что делало Грнко самим собой, ибо телу он никогда не придавал особого значения. Он порой говорил: пусть желудку голодно, пусть руки цепенеют, а вздутые жилы пусть обвивают ноги — если бы дело было только в этом, я запросто согласился бы быть хозяйским псом или лошадью. Но моя голова живет завтрашним днем, а моя душа пьет из источника, который существует, хотя пока его я не знаю. Поэтому я терплю, а близорукие мне говорят: служу. Я молчу, и никто не может понять, что я рождаюсь.

Ты ошибаешься, сказал ему Антон, каждый рождается с криком, надо бы тебе это знать. Или ты никогда не был при этом?

Винцо возражал:

Плохо ты меня понял, брат, я еще не родился. А раз не родился, то и кричать не могу.

Старший брат Антон работал на цементном заводе, когда приходил домой, заполнял собою всю горницу, а когда появлялся в корч-

ме — будто все стекла звенели. Без устали убеждал, агитировал, призывал, его было слышно, видно, он был повсюду, всегда самим собой.

В сорок втором, сразу в начале, за ним пришли. Вскорости семья узнала, что из тюрьмы перевезли его в Дахау, где он был «застрелен при попытке к бегству», как сообщили из окружного управления.

Антон!

Тебе, Винцо, и землетрясение нипочем, корил его Рудо. Он был младше Винцо, но как-то само собой стал в семье главарем.

Тебе этого не понять, огрызнулся Винцо.

А бывало, Винцо начинал рассуждать про вулканы и обычно заканчивал так:

Я вулкан. С первого взгляда ничего не увидишь. Это кипит во мне! Когда-нибудь взорвусь и смету всех, кого ненавижу.

Рудо как две капли воды походил на Антона, только действовал осмотрительней.

Мальчишка ты, мальчишка, сказал он ему, отчего Винцо так и взвился. Сиди-ка и слушай, ты недоросль с разумом как у вороны, которая ждет пахаря, чтобы насытиться. Сперва ты болтал о том, что не родился, хотя каждая мать и отец вместе с нею чувствуют плод уже загодя. Теперь что-то выдумываешь о вулкане. А завтра о чем? Если в руки тебе попадалась хрестоматия или календарь, ты мог бы там прочитать еще и о том, что происходит в вулкане до извержения. Ты же, видать, явился на свет с топором; отметят тебе дерево, ты и рубишь его. Один! Еще бы, ты — Винцо Грнко, ты один управишься с любым деревом. Один. Только ты, ты да ты. Для нас же важно не дерево, а лес. Лес, который рос с незапамятных времен. И ты хочешь с ним справиться один на один?

Рудо!

Бог мой, как он умел применяться к местности, как умел действовать с автоматом! И как спокойно, безропотно переносил все тяготы партизанства, как заразительно смеялся.

Антон! Рудо! Братья мои!

Грнко пальцами прочесал густую кудрявую бороду, боли не почувствовал, хотя длинные волосы слиплись, свалялись. Сильные пальцы продирались сквозь них, причиняя боль, но эта боль была мертвой. Что еще? Нет Винцо Грнко. Воистину нет, и не вспомнить ему имена Антоновых и Рудовых детей. Семеро и четверо — одиннадцать. И еще своих четверо. Боже милостивый!

Он шел нога за ногу.

Неужели охотничий замок так далеко?

Охотничий?

Партизанский!

Самый младший — сопляк. Сосунок. Птенец неоперившийся. Этот-то что! Здесь — я, Винцо. Я умер, чтобы жить иной жизнью, жизнью братьев. То есть продолжать их жизнь, потому что моя — мертва. Только сумею ли я жить по их воле? Вот в чем дело.

Он выпрямился, перескакивая через две ступеньки, влетел в двойные двери коридора.

Зеркала, зеркала, зеркала! — услышал он.

Люди метались, собирали маленькие зеркальца.

Доктор говорит, в помещении темно, сказал ему кто-тс на бегу.

Другой остановил его и сказал в свой черед так:

Больше лампочек у нас нету. Мачуга вмонтировал все четыре, но и их не хватает, принесли мы несколько свечек, но и этого мало.

Зеркала! Нужны отражатели света! Больше свету!

К Грнко подошел бывший графский слуга.

Ведь это твой брат. Говорят мне, что он хороший. Этого могли мне

и не говорить. Я знаю его с самого начала. Он не смеялся надо мной, не обзывал графом. Помогал, защищал меня. Иной раз его и не просишь, а он придет и поможет. Больше сделать для него ничего не могу: я включил генератор и вмонтировал еще две лампочки. Последний запас. Рад бы помочь еще чем-нибудь, да не знаю чем. Боже мой, боже мой, почему мороз опаляет плодоносные деревья самыми первыми? Какой это был хороший человек!

Какой это был хороший человек, повторил Винцо.

Был? Его уже нет?

Даже слуга не верит.

Грнко не произносил слов вслух, только губы у него шевелились. Погруженный в себя, он и не заметил, когда Мачуга отошел.

Рудо Грнко или Винцо Грнко, Антон или Людо, шептал он... все мы были или все мы есть хорошие. Так как же: были или есть?

Голос его замирал где-то между колен, когда он поднял голову, слуги действительно не было, а остальные смотрели на него и молчали, недоуменно или участливо качая головами. Никто этому не верит. Никто. Чему? Что его нет? Ерунда какая!

Из-за двери вырвался пронзительный крик, потом другой, последующие не походили на предыдущие, это были какие-то хрипы, искаженные болью.

Все сжали кулаки. Что еще они могли сделать? Кто-то тихо заплакал. Винцо не мог вынести эти громкие вздохи, он представил его себе и страдал вместе с ним. Мысль: жив! — обрадовала его. Но другая, давящая, была по меньшей мере такой же упорной и отзывалась нестерпимой болью. Винцо не знал, как унять ее. Наверное, достаточно было бы небольшого усилия, и он сумел бы. Но он не хотел. Ведь Рудо был ему брат. Опять: был.

Коридор очнулся от мертвенной тишины, откуда-то долетал тихий гул.

«Хейнкель»!

Винцо вздрогнул. Остальные не шелохнулись.

Тьма, равномерный гул, по доскам окна барабанит дождь, хриплые вздохи, как удары, застывшие в ожидании люди. В бездну сверхчеловеческой муки влетел тихий голос, он отражался от стен и проникал прямо в уши Грнко: Там в долине тысячи людей... взрывной волной разорванные легкие... пузатая черепаха несет лавину смерти... фонтаны крови, боли, криков... ты единственный можешь их вывести... ты единственный... ты...

Я?

Люди наклоняются к Винцо и подымают его. Он открыл глаза, но долго не замечал их, не осознавал их присутствия.

Я? — спросил он.

Лихорадка лопнула, по губе стекала сукровица.

Ничего, ничего, сказал кто-то, это пройдет, ты не выспался, устал, выбился из сил, смертельно измучен, а тут еще это, чему удивляться, кто знает, что ждет нас.

Он сказал им:

В роду Грнко никто никогда не уставал, не выбивался из сил и не был смертельно измучен. Никогда. В роду Грнко — никто. И никто не умер. Грнко не вошь, чтобы его раздавил какой-то гитлеришка.

Он держался за чью-то теплую руку, наконец отпустил ее, собрался с силами и спросил:

А «хейнкель»?

Он не различал ясно их лица, скорее чувствовал их замешательство. Наконец кто-то сказал:

Ах, вот что, Винцо, ты имеешь в виду генератор. Он сбил тебя

с толку. Мы велели Мачуге оставить двери открытыми, чтобы знать наверняка, что генератор работает и со светом все в порядке.

А он?

Винцо принял протянутую флягу с водой, влил себе в рот, проглотил, снова влил, зажал флягу между колен, изо рта выпустил струйку воды на руки, ополоснул лицо.

А он?

Не бойся, будет в порядке.

Чиркнула спичка, все увидели, как по густой бороде стекает вода, увидели и другое: твердый, решительный взгляд.

Грнко быстро пошел по коридору, никто не мешал ему. Он спустился в подвал и без дальних слов прямо спросил графского слугу:

Местность хорошо знаешь?

Я-то? Ясное дело, знаю, ответил слуга.

Разбирается еще кто в этом ворохе железа?

Это ты про генератор? Разбирается. Есть один электрик. Вацулькой зовут. Помогал мне, сейчас ждет в коридоре.

Я пришлю его сюда, Мачуга. Схожу наверх и пришлю его. Ты пойдешь со мной, Мачуга, конечно, если захочешь, но я знаю, ты захочешь, потому что ты уже не слуга, Мачуга, ты такой же, как мы, как я. Потому и говорю, что пойдешь. Не забудь взять с собой воды и автомат, Мачуга. Буду ждать тебя на сторожевом посту у оврага.

У оврага сошлось их пятнадцать. Чуть дождило, потом задул ветер. Ребята стали под деревьями, под защиту еловых веток. Никаких резиновых плащей, предупреждал их капитан, они шуршат; все лишнее сбросить с себя. Его послушались. Теперь прячутся от ветра.

Грнко пошел Мачуге навстречу. Мачуга решил, что должен приветствовать его по всей форме: поднес руку ко лбу, пальцами коснулся облезлой бараньей шапки.

Явился по приказанию, Мачуга старался рапортовать по-военному. Прозвучало это смешно, но никто не засмеялся.

Грнко протянул ему руку, Мачуга присоединился к отряду. Со стороны реки подходил человек. Направляясь к нему, Грнко сказал:

Мы договорились, капитан. Не забудь про телефонную линию. Перережь ее точно в назначенное время; ни раньше, ни позже. Жди нас у Ворот и не давай им опомниться. Начинай, как только «хейнкель» сбросит первую бомбу. А будешь в настроении, передай привет тому, в черепахе. Сдается мне, что после налета ему будет не до смеха.

Капитан улыбнулся. Обсудили все до мельчайших подробностей.

Грнко без умолку говорил, ребята таким его не знавали. Он способен был молчать долгими часами с видом оскорбленной невинности. Сегодня вечером он действительно разговорился! В голове у него рождались невероятные планы, он весь светился вдохновением и бодростью. После ухода капитана он стал отдавать приказания так умело, будто был прирожденным командиром.

Худшим оказалось начало, потому что в самом начале он сказал:

Чтобы было ясно, ребята, в этих местах нет никаких подземных ходов, пещер, коридоров и чего там еще, на что вы надеялись.

Они были до крайности ошеломлены. Капитан тоже.

Столь же удивились они, когда Грнко открыл им свой план. План освобождения солдат был не бог весть каким совершенным, но на то с ними был капитан. Он обдумал план, дополнил, кое-где изменил. Окончательный приказ гласил: небольшие группы под командой Грнко и Мачуги, хорошо знающих местность, незаметно проскользнут сквозь кольцо немецких войск. Немцев все-таки не может быть столько, чтобы держаться за руки. И потом, Грнко с Мачугой здесь дома,

кто может знать лучше их эти тропы, укромные уголки, ущелья и самые безопасные проходы?

Под вечер снова упало несколько капель, Мачуга встретил их такими словами:

Дождя не будет.

Он послюнявил палец, подставил ветру и утвердительно кивнул:

Быть сухой грозе, этот ветер я знаю. Самые крепкие деревья и те с трудом устоят.

Ребята вздохнули с облегчением, разговорились — этот ветер с попутным шумом леса будет на их стороне.

К трем часам утра они вывели свыше трехсот солдат.

Плохо дело, капитан, и Грнко злобно выругался, «хейнкель» тут здорово поработал, это верно, только пострадали-то больше нервы и дух наших. Потери невелики. Хуже то, капитан, что солдаты в ожидании очередной бомбежки разбежались по всей долине. Все врассыпную.

Голос в трубке Грнко слышал плохо.

Говори громче, капитан, грохот такой, что уши закладывает, сам себя не слышу!

Я сказал, не бросить ли это дело?

А как же остальные, капитан? А раненые? Я обещал им вернуться. Не в моей привычке не держать слова.

Рад это слышать, Винцо, это я сказал просто так.

Не время шутить, капитан, этот бой — наше дело, в этом бою мы можем потерять все, но только не доверие людей.

Ты прав, Винцо! Действуйте с Мачугой согласно твоему плану. Точно так, как мы договорились. Немецкую форму достали?

Не только форму, капитан, но и живых немцев. Пленных. Уж мы их раздобыли.

Порядок. Кончаю, Винцо, начинайте операцию «Хейнкель»!

Есть, капитан.

Задача была такова: до начала первой бомбардировки подготовить все для переброски солдат и раненых на глазах у немцев. Люди капитана перережут в одном или двух местах телефонную линию, разрыв замаскируют ветками и камнями. Перед самой переброской солдат линия будет нарушена вторично. Солдатам надо будет дождаться второй бомбардировки где-нибудь в безопасности. Об этом позаботятся их офицеры. Перед вторым налетом начнется операция «Хейнкель».

Между бомбежками до сих пор были трехчасовые интервалы, время налетов 9.00 — 12.00 — 15.00. Выдержат ли немцы их и сегодня?

Выдержали, взахлеб рассказывал вечером Мачуга. Немцы как машина. Бог мой, у меня душа в пятки ушла, а я ору как скаженный: Schnell! Los! Los! [1] Немецкая форма висит на мне — меньшей-то я не нашел, зато губы что мои что немца не отличишь. Ору это я, бегаю вдоль колонны, даже тумаками подгоняю солдат... Ох, видели бы вы, братцы, пятьсот солдат...

Пятьсот сорок восемь, поправил парень за его спиной.

Ладно, пусть будет по-твоему, согласился Мачуга, ребята слушали его, рассевшись прямо на земле: Так вот, наши — беглым шагом прямиком через долину, те, что в немецкой форме, поторапливают их, впереди немецкий мотоцикл с коляской, а в нем настоящие немцы.

Мачуга глядел на стену, словно на экран. Только он да те, кто был с ним, видели все как наяву: на мотоцикле Клаус Штрайхер, до той поры арестованный немцами,— его и еще трех других Грнко нашел в погребке маленького деревянного домика.

---

[1] Быстро! Давай! Давай! *(нем.)*

Верить ему или не верить?

Правда, Штрайхер вызвался сам, но что, если вместо условленного «Прекратите огонь! Выполняем приказ штаба — сдавшихся словацких солдат перевести в тот конец долины, откуда их будут отправлять в плен!» — что, если вместо этого Штрайхер откроет правду? Или: что, если людям капитана не удастся вторично повредить немецкую телефонную линию? Или: что, если у кого из перебрасываемых солдат сдадут нервы? И что делать, если немцы не послушают приказа штаба и откроют огонь?

Немецкий лейтенант Клаус Штрайхер стоял в коляске, на заднем сиденье сидел Грнко: всклокоченные волосы скрыты капюшоном немецкого дождевика, борода по самые глаза — темно-зеленым офицерским шарфом, в руках снятый с предохранителя немецкий автомат. Между ним и немецким мотоциклистом к ручке сиденья привязана простыня: она заменяет белый флаг.

Мотоцикл временами останавливался, и Штрайхер кричал или растолковывал солдатам Хёффле, в чем дело. Их все больше сбегалось к дороге. Мотоцикл объезжал солдат, оказываясь то впереди них, то сзади, Штрайхер покрикивал на немцев. Грнко не понимал его. Он только следил за жестами Штрайхера и приглядывался к реакции немецких солдат. Штрайхер отгонял их от пленных, одному даже пригрозил пистолетом — настырный немец хотел стянуть с раненых теплое одеяло.

Почти четвертая часть колонны уже миновала сторожевой пост в конце долины. Один из охраны упорно крутил ручку телефонного аппарата и, прижимая трубку к уху, кричал: Алло, алло, алло!

Мотоцикл повернул, Грнко тоже поторапливал солдат.

Повозки с ранеными были уже в безопасности, если дорогу за пределами долины можно назвать безопасной. По дороге вдоль долины бежало еще примерно с сотню солдат.

Телефонист все вызывает: Алло, алло, алло. Грнко напрягает слух — нет, глухого гула бомбардировщика не слыхать. Неужели плохо рассчитали? Сколько еще: две минуты? Пять минут? Или секунды?.. Алло, алло, алло.

Сегодня это уже во второй раз, сказал начальник сторожевого поста Штрайхеру и виновато повел плечами.

Штрайхер улыбнулся, но тут же, повернувшись к бегущим солдатам, прокричал длинную немецкую фразу, видно, не очень пристойную, потому что начальник сторожевого поста заржал.

Люди выбивались из сил. Бескровные руки, протянутые к небу, опускались, ноги едва плелись, в раскрытых ртах белели зубы, кое с кого свалились шапки, от голов шел пар...

Грнко, не отрывая глаз от неба, искал блестящую точку. Вслушивался — не мог дождаться первой волны самолетного гула. Вдруг он едва не вскрикнул. Увидел его! Слышать не слышал, но вдали ясно различил серебристый блеск самолета.

Еще последняя горстка солдат. Грнко мысленно молил их: ребята, родные мои, соберите все силы, все-все; может, один-единственный шаг спасет вас; обгоните смерть, прибавьте ходу, быстрее, быстрее!

Он почувствовал облегчение.

Алло, алло, алло.

Грнко глянул на телефониста и побледнел: он не кричал алло... алло... алло... он уже... он уже говорил... говорил!

Из глубины долины донесся резкий свисток, потом еще и еще, взлетела белая ракета, где-то раздались короткие пулеметные очереди, одновременно воздух дрогнул от первого взрыва.

Начальник сторожевого поста поднимал автомат...

Бывший лесоруб Винцо Грнко его опередил. Нажал спуск. Короткая очередь, потом вторая. Эту Грнко уже не докончил — мотоциклист резко дал газ, мотоцикл рванул, и Грнко не удержался на сиденье. Он упал навзничь, но тут же вскочил, чуть подался назад и открыл огонь.

Последний караульный поднялся на цыпочки, перегнулся пополам и упал лицом вниз.

Тогда неподалеку от Грнко взорвалась граната.

Долина превратилась в кровавое пекло. Сверху орудовал «хейнкель», с обоих гребней в конце долины — капитановы ребята, сказал Галагия, вдруг появившийся в комнате. Не доведи бог еще раз пережить такое, добавил он, когда ребята повернулись к нему.

Кто-то из них громко рассмеялся — Галагия держал в руках вычищенные до блеска болотные сапоги. Он протискивался между парнями и кого-то искал. Похоже было, нашел — лицо у него прояснилось. Он сказал:

Пропустите меня, пожалуйста.

Парни потеснились, Метод Галагия переступал через них — в комнате яблоку негде было упасть. Отряд разросся и разделился на две части. Командиром стал капитан Бела. Он тоже следил взглядом за Галагией, который протискивался куда-то в угол. Около бывшего графского слуги Метод остановился. Молча поставил перед ним болотные сапоги и, должно быть, что-то хотел сказать, но вместо того тыльной стороной руки отер губы и, отступив, замешался между ребят.

Под окном раздалось тихое пение. Рога на бараньей голове были пустые, Грнков автомат уже на них не висел. Пение усилилось: Мать моя, матушка, за горами-лесами...

В пение врезался скрип дверей, ничего не подозревавший часовой спросил совсем не по-военному:

Здесь командир? Командира ищу...

Один из лежавших поднялся. Он был в офицерской форме без знаков различия.

Я здесь, сказал капитан Бела.

Солдат указал на юношу рядом с ним и громко сказал:

Пан капитан, вот этот паренек не отстает, хочет говорить с командиром, и все тут. Ни с кем другим, только с вами.

Капитан смерил взглядом долговязого паренька. Он стоял под лампой над дверями. Под носом и на подбородке у него белел первый легкий пушок, в руке, прижатой к бедру, он держал замасленную фуражку.

Ты хотел говорить с командиром? Говори! Слушаю тебя, подбодрил его капитан.

Паренек с натугой сглотнул, словно оробел перед таким многолюдьем и перед самим командиром. И только когда капитан обратился к нему во второй раз, сказал:

Зовут меня Людовит Грнко, извиняюсь, пан командир. Мне очень хочется к вам, потому что... знаете... да ведь вы, конечно, знаете, извиняюсь, пан командир, тут мои два старших брата. Винцо и Рудо.

Все подняли на него глаза. Посмотрели и как по команде склонили головы.

Перевод Н. ШУЛЬГИНОЙ

■

ИШТВАН ШИМОН

Перевод с венгерского НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Рапсодия времени

1

О, зыбкая пора безгрозовая...
Межи сезонов словно сметены —
в предзимье их топтали кабаны
и размывала влага дождевая.

Земля робка; лишь суслик, прозревая,
на миг встает из травяной волны —
как чуткий перископ из глубины;
улитка спит еще — полуживая.

И только можжевельника кусты —
как дети в материнские колени —
вцепляются в песчаные пласты,

как будто возглашая: — Не грусти
и время оседлай без промедленья,
оно все более спешит уйти.

2

Оно спешит все больше, нет сомненья;
ускорилась ли жизнь — не разберу:
с тех пор как мать не будит поутру,
я мчусь, не замечая ускоренья.

Но свет включу — привычное движенье,
и память вдруг начнет свою игру:
...горит огонь, колеблясь на ветру,
«Не жги свечу!» — звучит из тьмы забвенья.

Статью о поэте «Дом Иштвана Шимона» см. на стр. 210.

В постели сев, я над свечой колдую,
и все, смеясь, считают, сколько раз
на пляшущее пламя я подую;

и вижу я опять сиянье глаз,
и ощущаю удаль молодую...
Как быстро вспыхивает свет сейчас!

3

Заладил ночью дождик тепловатый;
он утром кончится, меня щадя,
и я пойду немного погодя
приветствовать орешник бородатый.

Знакомый куст, что был нагим когда-то,
расцвел; вдали, в забвенье уходя,
чуть слышно плачут голосом дождя
давным-давно почившие солдаты.

Когда — давно?.. Я увидал однажды
скупую синь над строем пирамид,
пять тысяч лет страдающих от жажды...

Воспоминанье душу леденит,
и образ времени опять встает,
смыкаясь надо мной как тяжкий свод.

4

Порой такой же, зыбкой и зеленой,
я к отмели прибился, как ладья,
и мне мерещилось: земля ничья —
она была чужой и оголенной.

Дом опустел, в саду застыли клены,
и я застыл, сжимая ствол ружья,
живым крестом себе казался я
на кладбище, где спали миллионы.

Я на порог швырнул свою суму,
рыданья застревали в горле комом —
кто с петель дверь сорвал? и почему?..

война иль мир сейчас владеют домом?..
... Пока война грозит земле разгромом,
ответа нет вопросу моему.

5

Однажды время, напрягая силы,
всех затянуло в свой круговорот —
пускай научится плясать народ —
и каждому по дудочке всучило.

А бедная кукушка получила
хоть хриплый, но пророческий фагот
и стала нам вещать — из года в год,—
кому осталось сколько до могилы.

Отца порой поддразнивал сосед:
— Эй, дядя Пишта, излови кукушку!
Да где ж поймать! Кукушки вроде нет...

Теперь разжалась времени ловушка,
ровесники уходят в никуда,
и нам не хочется считать года.

6

О, зыбкая пора безгрозовая!
Межи сезонов словно сметены;
как перископ, из травяной волны
выглядывает суслик, оживая;

усы пригладив, говорит, зевая,
улитке, что досматривает сны:
— Умножились ли кольца у сосны —
работа началась ли годовая?..

И вот — пока корявые кусты,
как дети в материнские колени,
вцепляются в песчаные пласты —

улитка молвит: — Кольца сам сочти,
мне несподручно делать вычисленья —
я времени не чувствую почти.

Рапсодия конца лета

1

Уже не высятся кресты над нивой,
по-рачьи отползли назад кресты,
соломы аккуратные бунты
на смену им явились горделиво.

И если пристально, неторопливо
со мною в прошлое вглядишься ты,
лишь Альпы — поднебесные хребты —
вернут тебя в мой детский край счастливый.

Уходит лето прочь. Лесной шатер
в пару легчайшем, в кружевном наряде,
укрыл восточные отроги гор.

Такую же картину наблюдал,
скажу я, откровенно римфы ради,
с других полей суровый Ганнибал.

2

Неспешное лесное лето мглисто,
в тени листвы представить трудно мне
пунктир ветвей на снежном полотне,
написанный рукой пуантилиста.

Застыл комар на коже стрелолиста
в полуденном ленивом полусне,
паук, уже беззлобный, в тишине
плетет ячейки сети серебристой.

Бежит паук по нитке вверх и вниз,
как будто хочет показать нарочно
всем нам изменчивой судьбы каприз;

как горько человек бы тосковал
(ведь помнит он о ниточке непрочной),
когда б в надежде хлеб не добывал!

3

Гляжу на календарь у нас в столовой:
меж строгих чисел алое число —
не ветром ли в окошке занесло
пылающий тюльпан красноголовый,

чтоб красками ты упивался снова
и, веселясь бездумно и светло,
вдруг понял, повседневности назло:
цветок и праздник — родственных два слова.

Остались в памяти, как сплав чудесный,
открытое окно, цветущий луг,
листок календаря, обед воскресный,

веселье, дальней песни отголоски
и взлеты легкие девичьих рук
от луговых цветов — к цветам в прическе.

4

В день Богородицын, на летней грани,
в полях порою тот цветок мелькал,
он бледным был и матово мерцал
среди ярко-зеленых всходов ранних —

как драгоценный камень в филиграни;
в Риальто видел я такой опал,
когда закат над рынком догорал
и я бродил там без гроша в кармане.

Цветы сурепицы и горицвета
сейчас — как саван, что окутал лето,—
у ног моих колышутся едва.

Они тихи и скромно-блекловаты,
но Бабич[1] нежно их любил когда-то,
и в них его любовь навек жива.

5

Закон земного тяготенья ныне
царит везде; поникли ковыли,
скатившись с грядок, овощи легли
тяжеловесной грудою в ложбине.

Измученные ветви в сонном сплине
под ливнями согнулись до земли,
и хомяки — отъевшись — понесли
зерно в свои подземные твердыни.

Пусть летний плод прощальный путь свершит —
земной закон, тяжелый, словно бремя,
меня, земного, ныне не страшит:

ведь я пространство перерос давно,
я творчеством хочу заполнить время,
которое для жизни мне дано.

6

Кресты нигде не высятся над нивой,
по-рачьи отползли назад кресты,
лежат соломы желтые бунты,
лаская взгляд, суля покой счастливый

Убрали золото, но луч ленивый
все сыплет позолоту с высоты
на опрокинутые в пруд хребты,
на стадо, что пасется у обрыва.

К подсолнуху кривому притулясь,
серпом сгибает спину бабье лето,
и запахом мышиным дышит всласть,

и в землю тычет тенью, как перстом:
мол, если раны не закрылись где-то,
исчезнет все под снеговым пластом.

■

[1] Михай Бабич (1883 - 1941) — известный венгерский поэт.

ТОРНТОН УАЙЛДЕР

Теофил Норт

РОМАН

Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА

На следующее занятие я пришел с целой сумкой. Среди других книг там были три экземпляра школьного издания «Двенадцатой ночи» и три «Как вам это понравится». Я просидел над ними несколько часов, выбирая сцены для совместного чтения.

— Дамы, добрый день. Сегодня мы попробуем кое-что новое.— Я вынул экземпляры «Двенадцатой ночи».

— Нет, Теофил, только не Шекспира! Умоляю!

— Вам не нравятся его пьесы? — спросил я с лицемерным изумлением. Я начал запихивать книжки в сумку.— Меня это удивляет, но, помните, мы с самого начала договорились не читать того, что вам скучно. Извините меня! Я ошибся по неопытности. До сих пор я занимался только с мальчиками и молодыми людьми. Я заметил, что после недолгого сопротивления они кидаются на Шекспира с жадностью. Они у меня разгуливают взад-вперед по классу, изображая Ромео и Джульетту, Шейлока, Порцию... и читают запоем! Помню, как я удивился, когда мистер Грэнберри тоже сказал, что всегда считал Шекспира «пустозвоном». Ну что ж, у меня тут есть еще один роман.

Майра внимательно смотрела на меня.

— Подождите!.. Но пьесы у него какие-то детские. Все время девушки переодеваются мужчинами. Идиотство!

— Да, некоторые переодеваются. Но заметьте, как он к этому подводит. Девушки вынуждены переодеваться, потому что их всего лишили; загнали в угол. Виола потерпела кораблекрушение в чужой стране; Розалинду отправили в изгнание — отправили в лес; Имогену оклеветали в отсутствие мужа. Порция переодевается юристом, чтобы спасти лучшего друга своего мужа. В те дни уважающая себя девушка не могла ходить от двери к двери, выпрашивая работу... Ладно, бог с ним!.. Но что за девушки... красивые, смелые, умные, находчивые! И еще я заметил у них одно качество, которого вам... по-моему... немного... не хватает, Майра.

— Какое?

— Юмористический склад ума.

[1] Окончание. Начало см. в № 6, 7 за 1976 г.

— Что?

— Я не знаю точно, что я хочу этим сказать, но у меня сложилось впечатление, что, наблюдая жизнь так внимательно — при их-то молодости,— они не прячутся от действительности: их нельзя потрясти, нельзя сломать, нельзя сбить с панталыку. Сознание их покоится на такой надежной основе, что даже когда происходит катастрофа, они встречают ее с юмором и весельем. Когда Розалинду прогоняют в разбойничий лес, она говорит двоюродной сестре Селии:

Теперь готовься радостно к уходу:
Идем мы не в изгнанье — на свободу [1].

Хотел бы я слышать, как это произносила Эллен Терри; а вскоре после того, как Виола потеряла брата в кораблекрушении, кто-то спрашивает ее о семье, и она — под видом юноши Цезарио — говорит:

Я нынче, государь,— все сыновья
И дочери отца [2].

Хотел бы я услышать, как это произносила Джулия Марло.

Майра резко спросила:

— Что толку от вашего... замечательного «юмористического склада»?

— Шекспир помещает этих трезвых девушек среди людей, у которых неправильные отношения с действительностью. Как заметил позже один автор: «Большинство людей — дураки, а остальным грозит опасность от них заразиться». Чувство юмора позволяет нам ужиться с их глупостью — и со своей собственной. В этом что-то есть, вы не находите, миссис Каммингс?

— Да, мистер Норт, я думаю, поэтому сестры и смеются, когда они не на дежурстве. Это помогает нам... как бы сказать... выжить.

Майра смотрела на меня невидящим взглядом.

Миссис Каммингс спросила:

— Миссис Грэнберри, может, мы попросим мистера Норта почитать нам немного из Шекспира?

— Ну... если не очень долго.

Я нерешительно опустил руку в сумку.

— У меня была мысль — читать по ролям. То, что Майре, я подчеркнул красным, миссис Каммингс — синим, а остальное читаю я.

— Ох,— воскликнула миссис Каммингс,— я не умею читать стихи. Не могу. Вы уж извините.

— Кора, если мистер Норт так хочет, я думаю, мы должны его послушаться.

— Господи помилуй!

— А теперь помедленнее — только помедленнее!

За неделю мы прочли сцены из этих пьес — по несколько раз меняясь ролями,— и сцену на балконе из «Ромео и Джульетты», и сцену суда из «Венецианского купца». Миссис Каммингс сама себе удивлялась, читая за Шейлока. И не кто иной, как Майра, просила после каждой сцены: «Давайте еще раз!»

Однажды Майра встретила меня у дверей, с трудом скрывая волнение:

— Теофил, я просила мужа прийти сюда в половине пятого. Мы возьмем сцену суда из «Венецианского купца», а его я заставлю играть Шейлока. Вы будете Антонио, я — Порцией, а Кора — за остальных.

[1] «Как вам это понравится». Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

[2] «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Перевод Э. Линецкой.

Давайте раз прорепетируем до его прихода. Кора, не ударьте в грязь лицом, когда будете Герцогом.

— Ох, миссис Грэнберри!

Мы взялись рьяно. Майра знала свою роль наизусть.

Стук в дверь: вошел Джордж Ф. Грэнберри II. Майра проворковала:

— Джордж, милый, мы просим тебя помочь. Пожалуйста, не отказывайся: меня это очень огорчит.

— Что от меня требуется?

Она дала ему раскрытую книгу:

— Джордж, ты должен читать за Шейлока. Только очень медленно и очень кровожадно. Точи нож о подошву. Мистер Норт с распахнутой грудью прислонится к столу, а руки у него связаны за спиной.

— Ну уж уволь, я не актер.

— Ну, Джордж! Это просто игра. Мы прочтем два раза, чтобы ты освоился,— только медленно.

Мы начали, запинаясь, отыскивая свои реплики на странице. Наклонившись ко мне с разрезным ножом из слоновой кости, Шейлок сказал вполголоса:

— Норт, я вам охотно перережу глотку. Мне это все не нравится. Вы тут отравили атмосферу.

— Вы наняли меня для того, чтобы я приохотил вашу жену к чтению и особенно к Шекспиру. Я это сделал и готов покинуть ваш дом, как только вы заплатите по трем полумесячным счетам, которые я посылал вам.

Он поперхнулся.

Во время первой репетиции Майра притворялась, будто читает без интереса, и все время запиналась. Но во второй раз мы играли с полной отдачей. Майра отложила книгу; поначалу ее молодой юрист Бальтазар держался с несколько игривой важностью, но от речи к речи он становился все внушительнее.

Джордж тоже увлекся. Он ревел, требуя «уплаты» и свой фунт мяса. Он опять свирепо навис надо мной с ножом в руке. Затем произошло нечто необычайное.

Порция. Вы признаете вексель?
Антонио. Да.
Порция. Ну, так должен жид быть милосердным.
Шейлок. А по какой причине должен? А?

Тут Джордж почувствовал, что на плечо его опустилась рука, и голос за его спиной — серьезный и важный голос, вещавший из мира зрелости, давно им покинутого, произнес:

— Не действует по принуждению милость;
Как теплый дождь, она спадает с неба...
...Мы в молитве
О милости взываем — и молитва
Нас учит милости...[1]

Джордж выпрямился и бросил костяной нож. Он смущенно пробормотал:

— Продолжайте. Я зайду... в другой раз.— И вышел из комнаты.

Мы переглянулись удивленно и немного виновато. Миссис Каммингс взялась за шитье.

— Мистер Норт, эти спектакли нас чересчур возбуждают. Я не хотела об этом говорить, но миссис Грэнберри все время встает и расхаживает по комнате. Не думаю, что доктору это понравится. Последнее время мы не делали перерыва, чтобы поговорить. Вы обещали рассказать миссис Грэнберри про ваши школьные годы в Китае.

[1] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Я поклялся себе, что сегодня же вечером уволюсь, пока не прогнали,— но и сам не уволился, и меня не прогнали. Я наполовину — даже больше — влюбился в Майру. Я гордился ею и гордился своими достижениями. В понедельник с утренней почтой я получил чек. Мы начали «Гекльберри Финна». В пятницу случилась еще одна неожиданность. Я подъехал на велосипеде к воротам дома. И увидел молодого человека лет двадцати четырех, который ходил по лужайке, нюхая розу на длинном стебле. Он был одет по последней моде: соломенная шляпа, куртка Ньюпортского яхт-клуба, фланелевые брюки и белые туфли. Он подошел ко мне и протянул руку:

— Мистер Норт, я полагаю? Я Цезарь Нилсон, мы с Майрой близнецы. Как поживаете?

Дьявол! Чтоб мне провалиться! Это была Майра.

До чего я ненавижу этих травести! Меня передернуло; но беременной нельзя перечить.

— Мистер Нилсон, ваша сестра дома?

— Мы заказали машину. Мы решили, что было бы очень мило съездить в бухту Наррагансетт и напроситься к вашей приятельнице мадемуазель Демулен на чашку чая.

— Сэр, вы забываете, что меня наняли читать с миссис Грэнберри английскую литературу. Я занимаюсь здесь тем, что оговорено в соглашении. Вы меня извините. Мне неудобно опаздывать на занятия... Не хотите составить нам компанию?

Я поглядел вверх, на окна, и увидел миссис Каммингс и Карела, изумленно наблюдавших за нами из гостиной. Таким же манером высовывалось несколько лиц из окон верхних этажей.

Майра подошла ближе и прошептала:

— Барсуки дерутся за то, чем владеют.

— Да, но поскольку природа родила их маленькими, она родила их умными. Выдержанный барсук или женщина никогда не станут разрушать свой дом, чтобы отстоять его. Прошу вас, идите вперед, мистер Нилсон.

Взволнованная, но не обескураженная, она вошла в дом. Когда я шел за ней по холлу, Карел сказал мне вполголоса:

— Сэр, мистер Грэнберри уже полчаса как дома. Он вернулся по другой дорожке, мимо каретного сарая.

— Вы думаете, он видел представление?

— Не сомневаюсь, сэр.

— Спасибо, Карел.

— Спасибо вам, сэр.

Я вошел в комнату вслед за Майрой и миссис Каммингс.

— Майра, пожалуйста, поскорее переоденьтесь. Мистер Грэнберри дома и через несколько минут может быть здесь. Он, наверно, уволит и меня и миссис Каммингс, и несколько месяцев вам будет очень и очень скучно.

— Шекспировским девушкам было можно.

— Пожалуйста, не прикрывайте плотно дверь гардеробной, чтобы я мог говорить с вами, пока вы переодеваетесь... Вы меня слышите?

Но было уже поздно. Мистер Грэнберри вошел без стука.

— Майра! — крикнул он.

Она появилась в дверях — все еще в обличии Цезаря Нилсона. Она без смущения встретила его сердитый взгляд.

— Вы в штанах! — сказал он.— ВЫ В ШТАНАХ!

— Я такая же эмансипированная женщина, как мисс Демулен.

— Миссис Каммингс, вы покинете этот дом, как только соберете вещи. Мистер Норт, пожалуйте со мной в библиотеку.

Я низко поклонился дамам, широко раскрытыми глазами и улыбкой выражая им свое восхищение.

Мистер Грэнберри уже сидел в библиотеке за столом с видом судьи. Я уселся и спокойно закинул ногу на ногу.

— Вы нарушили свое обещание. Вы рассказали моей жене про Наррагансетт.

— Про Наррагансетт ваша жена мне рассказала. Она получила два анонимных письма.

Он побледнел.

— Вы должны были меня предупредить.

— Вы нанимали меня читать английскую литературу, а не в качестве задушевного друга семьи.

Молчание.

— Вы самый склочный человек в городе. Только и слышишь рассказы о том, как вы перевернули все вверх дном у Босвортов в «Девяти фронтонах». И у мисс Уикофф черт знает что творится. Я жалею, что пригласил вас... Господи, до чего же я ненавижу этих из Йейла!

Молчание.

— Мистер Грэнберри, я ненавижу несправедливость и думаю, что вы — тоже.

— При чем тут это?

— Если вы уволите миссис Каммингс под предлогом ее профессиональной непригодности, честное слово, я напишу письмо доктору— или какая там организация ее прислала — и опишу все, что я тут наблюдал.

— Это шантаж.

— Нет — свидетельское показание по иску о клевете. Миссис Каммингс, без сомнения,— первоклассная сестра. Кроме того, насколько я убедился, в трудное время она была единственным другом и опорой вашей жены.— Я сделал легкое ударение на слове «единственным».

Опять молчание.

Он хмуро посмотрел на меня.

— Что вы предлагаете?

— Я не люблю давать советы, мистер Грэнберри. Я слишком мало знаю.

— Что вы заладили: мистер Грэнберри да мистер Грэнберри! Раз уж мы враги, давайте звать друг друга по имени. Я слышал, вас зовут Тедди.

— Спасибо. Не в качестве совета, Джордж, но мне кажется, вам будет легче, если вы попробуете рассказать мне про ваши дела, как бог на душу положит.

— Черт подери, не могу же я опять полгода жить монахом только потому, что жена находится под наблюдением врача. Я знаю кучу людей, которые держат тайком кого-нибудь вроде Денизы. Что я такого сделал? Дениза была приятельницей моего приятеля; он мне ее уступил. Дениза — милая девушка. Одна с ней беда: половину времени плачет. Французам нужно хоть раз в два года съездить во Францию, иначе они задыхаются, как рыба на льду. Говорит, что скучает по матери. Скучает по запаху парижских улиц — подумать только!.. Ладно, я знаю, о чем вы думаете. Я дам ей пачку наших акций и отправлю в Париж. Но я-то что буду делать, черт подери? *Целый день играть Шекспира?..* Да скажите же что-нибудь. Не сидите как истукан. Черт подери!

— Я пытаюсь что-нибудь придумать. Вы пока продолжайте, пожалуйста, Джордж.

Молчание.

— Вы думаете, я невнимателен к Майре. Правильно, я сам это знаю. А почему? Я... я... Сколько вам лет?

— Тридцать.

— Женаты? Были женаты?

— Нет.

— Я не переношу, когда меня любят... любят? — боготворят! Слишком высокое мнение обо мне меня леденит. Мать моя меня переоценивала, и я с пятнадцати лет не сказал ей ни единого искреннего слова. А теперь Майра! Она страдает, знаю, что страдает. Я вам не лгал, когда сказал, что люблю ее. И разве я был не прав, когда сказал вам, что она умная и всякое такое?

— Да.

— Страдает все время... все четыре года страдает, и на целом свете — только один человек, до которого ей есть дело,— это я. Я не могу этого вынести. Я не могу вынести эту ответственность. При ней я просто коченею. Тедди, вы можете это понять?

— Разрешите задать вам вопрос?

— Давайте. Все равно я уже как каменный.

— Джордж, что вы целыми днями делаете в лаборатории?

Он встал, кинул на меня сердитый взгляд, прошелся по комнате, потом схватился за притолоку над дверью в холл и повис — как мальчишка, когда ему некуда девать энергию (или хочется спрятать лицо).

— Ладно,— сказал он,— я вам отвечу. Прежде всего — прячусь. Жду чего-нибудь, жду, куда все это повернется, к худшему или к лучшему. А чем я занимаюсь? Играю в войну. Я с детства играю в солдатики. На войну я попасть не мог из-за какой-то сердечной недостаточности... У меня десятки книг; разыгрываю битву на Марне и остальные... Разыгрываю сражения Наполеона и Цезаря... Вы тут знамениты тем, что умеете хранить секреты,— так уж и этот сохраните.

На глазах у меня навернулись слезы, я улыбнулся:

— А скоро вам предстоит новое мучение. Года через три маленькая девочка или маленький мальчик придет к вам в комнату и скажет: «Папа, я упала и ушиблась. Посмотри, папа, посмотри!» — и вас будет любить еще один человек. Всякая любовь — переоценка.

— Нет, уж лучше девочка, профессор; мальчика я не вынесу.

— Я знаю, что́ вам нужно. Научитесь принимать любовь — с улыбкой, с усмешкой.

— О господи!

— Позвольте мне быть совсем дураком и дать вам совет.

— Только короче.

— Ступайте через холл к ним в комнату. Станьте в дверях и скажите: «Я отправляю мадемуазель Демулен домой во Францию с хорошим прощальным подарком». Потом подойдите, встаньте на колено у шезлонга и скажите: «Прости меня, Майра». Потом поглядите миссис Каммингс в глаза и скажите: «Простите меня, миссис Каммингс». Женщины не станут прощать нас без конца, но они обожают прощать, когда мы их просим.

— По-вашему, я должен сделать это сейчас?

— Да, да — сейчас... И кстати пригласите ее поужинать в четверг в «Мюнхингер Кинге».

Он удалился.

Я подошел к парадной двери и пожал руку Карелу.

— Сегодня я последний раз у вас в доме. Если представится случай, не откажите выразить миссис Грэнберри и миссис Каммингс мое восхищение... и привязанность. Благодарю вас, Карел.

— Благодарю вас, сэр.

10

Мино

В нижней части Бродвея, на углу Вашингтон-сквера, против старинного Колониального дома был магазинчик, куда я ежедневно ходил. Там продавали газеты, журналы, открытки, дорожные карты для туристов, детские игрушки и даже выкройки. Это был типичный Девятый город. Хозяйничала там семья Матéра: отец, мать, сын и дочь по очереди обслуживали покупателей. Я выяснил, что настоящую их фамилию было гораздо труднее произнести, и, когда родители эмигрировали в Америку, они, чтобы упростить формальности на Эллис-Айленде, заменили фамилию названием родного местечка. Они были выходцами из пустынного обнищавшего подъема на итальянском сапоге, забытого не только правительством в Риме, но, как пишет Карло Леви в своей прекрасной книге «Христос остановился в Эболи», и богом. Смысл заглавия не в том, что Христос любовался в Эболи окрестностями, а в том, что отчаяние помешало ему продолжать свой путь.

Я люблю итальянцев. В начале нашей дружбы я пытался завоевать расположение Матéра беседой на их родном языке, хотя изъяснялся на нем не очень бегло. Они понимали меня с трудом. Тогда, запинаясь еще больше (зато с каким наслаждением!), я заговорил на неаполитанском диалекте; однако говоры Лукании недоступны чужеземцам. И мы стали разговаривать по-английски.

Среди того, чем славится Италия, превыше всего стоят итальянские матери. Всю душу они отдают мужу и детям. И благодаря полнейшей самоотверженности вырастают в самостоятельную прекрасную личность. В их материнской любви нет собственничества; это вечно горящий огонь очага, восторженное изумление перед тем, что дорогие тебе жизни связаны с твоей собственной. Но это чувство может быть ничуть не менее опасным для подрастающей девочки, а особенно для подрастающего мальчика, чем деспотическая материнская страсть, обычная у других народов,— ибо какое же юное существо захочет расстаться с таким теплом, отказаться от такой преданности, веселья и такой еды?

У мамы Матéра любви и веселья хватало с избытком. Я каждый день заходил в магазин, чтобы купить нью-йоркскую газету, карандаши, чернила и прочие мелочи. Я приветствовал родителей с должным почтением, а детей с дружелюбной улыбкой и довольно скоро занял место в щедром сердце синьоры Клары. Все Матéра были смуглыми (кровь сарацинов — завоевателей Калабрии). Двадцатичетырехлетняя Роза, казалось, не сознавала, что ее могут считать некрасивой; помощь родителям и брату заполняла ее жизнь и придавала ей бодрость. Двадцатидвухлетний Бенджи, когда наступал его черед дежурить в лавке, усаживался, скрестив ноги, на полке возле кассы. Все они говорили по-английски, но всякое неитальянское имя было для синьоры Матéра непроизносимо; единственные фамилии, которые она хорошо помнила (и почитала), были: «президенте Вильсон» и «дженерале Перчин». Я только в редких случаях буду копировать произношение синьоры. Через какое-то время перестаешь замечать акцент симпатичного иностранца; дружба ломает языковой барьер.

Как-то под вечер, когда я вернулся в общежитие, дежурный сказал, что в маленькой приемной внизу меня дожидается дама. Каково же было мое удивление, когда я увидел величественно восседавшую

синьору Матéра и в руке у нее — полуторамесячной давности газетную вырезку с моим объявлением. Я радостно с ней поздоровался.

Она была поражена. Она помахала вырезкой:

— Это вы... вы и есть мистер Норт?

— Да, дорогая синьора. Я думал, вы знаете мою фамилию.

Она повторила с искренним облегчением:

— Значит, мистер Норт это вы!

— Ну да, дорогая синьора. Чем могу служить?

— Я пришла от Бенджамино и от себя. Бенджамино хочет брать у вас уроки. Изучать с вами Данте. Он зарабатывает и может вам очень хорошо платить. Он хочет восемь часов читать с вами Данте — это будет шестнадцать долларов. Вы знаете Бенджамино?

— Как же мне не знать Бенджамино!.. Я чуть не каждый день вижу его у вас в магазине и часто — в Народной библиотеке, где он сидит, обложившись дюжиной книг. Но разговаривать нам в библиотеке, конечно, нельзя. Расскажите мне о нем. Почему он всегда сидит на одном и том же месте возле кассы?

— Вы не знаете, что он калека? У него нет ног.

— Нет, синьора. Я этого не знал.

— Когда ему было пять лет, он попал под поезд и потерял ноги.

В ее глазах еще жило воспоминание об ужасном событии, и я его прочел; но с тех пор прошло столько дней, заполненных любовью к сыну и восторженным изумлением, что горе переродилось во что-то иное, о чем она и хотела мне рассказать.

— Бенджи — очень способный мальчик. Он каждую неделю получает призы. Решает все головоломки в газетах. Вы же знаете, сколько у нас газет и журналов. Выигрывает все конкурсы, какие там объявлены. Каждую неделю ему приходят выигрыши: то пять долларов, то десять, а раз даже — двадцать. Он выигрывает часы, велосипеды, целые ящики с кормом для собак. Выиграл поездку в Вашингтон, а когда написал им, что он калека, ему прислали деньгами. Но это не все.— Она дотронулась пальцем до лба.— Он такой умный. Сам составляет головоломки. Газеты в Бостоне и Нью-Йорке платят ему, чтобы он посылал им головоломки, арифметические, шуточные и шахматные. А теперь — еще новость. Выдумал новый вид головоломок. Я их не понимаю. Составляет узоры из слов — как-то вверх и вниз. Sindacatos[1] хотят купить их для воскресных газет. Мистер Норт, почему их зовут sindacatos?

— Понятия не имею.— Для нее sindaco означало мэр или городской чиновник.— А где он учился, синьора?

— Окончил начальную школу; всегда был первым учеником. Но в средней школе — каменная лестница. Он ездил в школу на своей тележке, а тут не захотел, чтобы мальчики носили его вверх и вниз по ступенькам двадцать раз в день. Хотя мальчики его очень любят — Бенджи все любят. Но он такой самостоятельный. И знаете, что он сделал? Написал в отдел просвещения в Провиденсе, чтобы ему прислали уроки и экзаменационные программы для учеников в больницах — туберкулезных и паралитиков. А потом окончил среднюю школу лучше всех в классе. Ему даже прислали диплом с запиской от губернатора!

— Замечательно!

— Да, бог нас не оставил! — сказала она и рассмеялась. Она давно запретила себе плакать — но надо же дать какой-нибудь выход чувствам.

— Бенджамино хочет поступить в университет?

---

[1] Профсоюзы *(итал.)*.

— Нет. Говорит, что теперь может заниматься сам.

— А почему он хочет читать Данте?

— Мистер Норт, по-моему, он хитрит. По-моему, он давно знает, что вы — тот самый мистер Норт из объявления. Наверно, ему понравилось, как вы с ним разговариваете. У него много друзей — одноклассники, учителя, священник, но он говорит, что все разговаривают с ним как с калекой. Он думал, вы знаете, что он безногий, но вы не разговаривали с ним как с калекой. А они похлопывают по плечу и отпускают шуточки. И никто из них будто бы не разговаривает с ним искренне. А вы, наверно, разговаривали как со всеми.— Она понизила голос: — Пожалуйста, не рассказывайте ему, что вы не знали про его беду.

— Не скажу.

— Может, он хочет узнать, что писал Данте о тех, с кем случилась беда, и почему бог посылает несчастья одним, а не другим.

— Синьора, скажите Бенджи, что я не специалист по Данте. Данте — обширная область, которой сотни ученых посвятили свою жизнь. Данте начинен богословием, буквально начинен. А я плохо знаю богословие. Мне будет стыдно. Такой блестящий мальчик, как ваш сын, будет все время задавать вопросы, на которые я не смогу ответить.

Вид у синьоры Матéра был убитый. А я не выношу, когда итальянская мать из-за меня убивается.

— Синьора, когда по воскресеньям вы ходите в церковь?

— К семичасовой мессе. В половине девятого уже надо продавать воскресные газеты.

— В воскресенье у меня уроки с десяти сорока пяти. Вам будет удобно, если я приду посидеть с Бенджамино в девять часов утра?

— Grazie! Grazie![1]

— Но никаких уроков. Никаких денег. Просто поболтаем.

Я был точен. В магазине уже толпились покупатели, пришедшие за воскресными газетами из Бостона и Провиденса. Роза выскользнула из толпы и провела меня в дверь, соединявшую магазин с квартирой. Приложив палец к губам, она показала на комнату брата. Я постучал.

— Войдите.

Комната была маленькой и чистой, как корабельная каюта. Бенджи сидел скрестив ноги на подушке в изголовье кровати. На нем был ловко сшитый капитанский китель с серебряными пуговицами. На коленях лежала чертежная доска: комната была и мастерской. Вдоль трех стен тянулись полки; до левой и правой Бенджи мог достать своими длинными руками. Я увидел словари и разные справочники, пачки клетчатой бумаги для составления головоломок. Бенджи был очень красивый парень, с крупной головой и вьющимися каштановыми волосами; лицо освещали сарацино-итальянские глаза и улыбка Матéра. Если бы не увечье, он был бы необычайно высок. Благодаря твердому взгляду и глубокому басу он выглядел старше своих лет. Для меня в ногах кровати было поставлено кресло.

— Buon giorno, Benjamino!

— Buon giorino, professore [2].

— Вас огорчает, что мы не будем читать Данте? — Он промолчал, но продолжал улыбаться.— Вчера утром я как раз думал о Данте. Поехал на велосипеде полюбоваться рассветом с мыса Брентон, и

[1] Спасибо, спасибо *(итал.)*.

[2] Добрый день, Бенджамино.
— Добрый день, профессор *(итал.)*.

L'alba vinceva l'ora mattutina,
che fuggía innanzi, sì che di lontano
conobbi il tremolar della marina[1].

Вы знаете, откуда это?

— Из начала «Чистилища».

Я оторопел.

— Бенджамино, все вас зовут Бенджи. Для вас это как-то слишком просто, по-уличному. Разрешите звать вас Мино?— Он кивнул.— Вы знаете еще какого-нибудь Мино?

— Мино да Фьезоле.

— А от какого, по-вашему, имени это уменьшительное?

— Может быть, от Джакомино или Бенджамино.

— А что значит Вениамин по древнееврейски?

— Сын моей правой руки.

— Мино, у нас получается что-то вроде школьного экзамена. Надо это прекратить. Но я хочу на минутку вернуться к Данте. Вы когда-нибудь пытались выучить отрывок из Данте наизусть?

Читатель, возможно, осудит меня, но для преподавателя одна из самых больших радостей — наблюдать, как блестящий ученик демонстрирует свои знания. Все равно что пустить по кругу молодого рысака. Хороший ученик этому радуется.

Мино сказал:

— Не очень много, только знаменитые отрывки вроде Паоло и Франчески, Пии и еще кое-что.

— Когда графа Уголино заперли в Голодную башню вместе с сыновьями и внуками и много дней держали там без пищи,— что, по-вашему, означает этот спорный стих: Poscia, più che'l dolor, potè il digiuno[1]? — Мино смотрел на меня.— Как бы вы это перевели?

— Тогда... голод... стал... более властен... чем горе.

— Как, по-вашему, это понять?

— Он... их съел.

— Многие выдающиеся ученые, особенно в последнее столетие, считают, что это значит: «Я умер от голода, который был сильнее даже моего горя». А что дает вам повод думать так, как вы сказали?

Лицо его выражало страстную убежденность:

— Потому что весь отрывок говорит об этом. Сын сказал отцу: «Ты дал нам эту плоть; теперь возьми ее назад!» И все время, пока он говорит — там, во льду на самом дне Ада,— он гложет шею своего врага.

— По-моему, вы правы. Ученые девятнадцатого века не желали признать жестокую правду. «Божественная комедия» была переведена в Кембридже, штат Массачусетс, Чарльзом Элиотом Нортоном, а потом еще раз Генри Уодсвортом Лонгфелло, с примечаниями, и братом Томаса Карлейля в Лондоне; и все они не пожелали прочесть ее так, как читаете вы. Из этого следует, что англосаксы и протестанты никогда не понимали вашей страны. Они хотели сладости без железа — без знаменитого итальянского terribilità[3]. Прятались, отворачивались от жизни с ее многообразием. Разве вы не встречали людей, которые делают вид, будто с вами ничего не случилось?

Он внимательно смотрел на меня, но ничего не отвечал. Я улыбнулся. И он улыбнулся в ответ. Я засмеялся. Засмеялся и он.

— Мино, чего вам больше всего не хватает из-за несчастья с ногами?

---

[1] Уже заря одолевала в споре
нестойкий мрак, и, устремляя взгляд,
Я различал трепещущее море. (Перевод М. Лозинского)

[2] Но злей, чем горе, голод был недугом *(итал.)*.

[3] Ужас *(итал.)*.

— Я не могу ходить на танцы.— Он покраснел. И мы оба расхохотались.

— Ну, а если бы вы потеряли зрение, чего бы тогда вам больше всего не хватало?

Он задумался:

— Что не вижу лиц.

— А не чтения?

— Для чтения есть заменители, а человеческих лиц ничто не заменит.

— Черт возьми! Ваша мать права. Очень жалко, что у вас нет ног, но тут, в голове, у вас полный порядок.

Так вот, читатель, я знаю, о чем он хотел со мной говорить, вы знаете, о чем он хотел со мной говорить (по цене два доллара в час); подозреваю, что и мать его знала, о чем он хочет со мной говорить: она как-то подчеркнуто пожаловалась, с его слов, что знакомые разговаривают с ним «неискренне». Казалось бы, случайно (но чем старше я становлюсь, тем меньше удивляюсь так называемым «случайностям») я пришел на эту беседу подготовленным — во всеоружии опыта, приобретенного пять лет назад.

Рассказ о том, что я испытал в 1921 году,— не праздное отступление.

Когда я демобилизовался (защитив Наррагансеттскую бухту, на которую никто не посягал), я решил продолжить свое образование; потом я поступил учителем в Раританскую школу в Нью-Джерси. В те дни неподалеку от школы размещался госпиталь для ветеранов войны с ампутированными и парализованными конечностями. В госпитале самоотверженно трудился медицинский персонал и те, кто старался развлечь больных. Дамы из соседних городов предлагали свою помощь — мужественные дамы, ибо нелегко бывать там, где чуть ли не каждый из четырехсот мужчин потерял одну или две конечности. Дамы играли с больными в шашки и шахматы; учили играть на гитаре и мандолине; организовали занятия по акварели, ораторскому искусству и хоровому пению; ставили любительские спектакли. Но добровольцев явно не хватало. Четыремстам мужчинам только и оставалось, что по пятнадцать часов в день играть в карты, изводить нянек и сестер и скрывать друг от друга свой страх перед будущим. К тому же мужчин-добровольцев было мало; вернувшись с войны, американцы очертя голову кинулись в работу, наверстывая упущенное время. А никакой мужчина, если он сам не был солдатом, не захочет вступить в джунгли, населенные обезумевшими от отчаяния калеками. Поэтому начальник госпиталя обратился к директорам ближайших частных школ с просьбой прислать бывших военных на помощь заведующему развлечениями. Транспорт будет обеспечен. Несколько учителей Раританской школы (включая отставного капрала береговой артиллерии Т. Т. Норта) каждый понедельник утром и пятницу под вечер грузились в транспортер и тряслись тридцать миль по дороге в госпиталь.

«Господа,— сказал нам заведующий развлечениями,— кое-кто из наших пациентов думает, что им надо обучаться журналистике. Им кажется, что можно заработать миллион, продав в «Сатердей ивнинг пост» свои военные мемуары. Другие не желают вспоминать о войне; но хотят писать и печатать рассказы о Диком Западе или о бандитах и сыщиках. Большинство не кончило средней школы. Они не могут грамотно написать даже список белья для прачечной... Я разделю вас, добровольцев, на отряды. Каждому дается двенадцать больных. Они записались в кружок с большой охотой — об этом можете не беспокоиться. Ваши занятия будут называться: «Журналистика и

литература для заработка». Да, хотят они все, но я вас предостерегаю: внимание у них быстро рассеивается. Сделайте так, чтобы каждые четверть часа они могли поболтать. Большинство — по-настоящему хорошие парни, с дисциплиной у вас будет порядок. Но их гнетет страх перед будущим. Если вам удастся завоевать их доверие, вы такого наслушаетесь... Буду с вами откровенен: им кажется, что ни одна девушка не пойдет за них замуж, и даже проститутка не захочет с ними спать. Им кажется, будто все смотрят на них как на евнухов. У большинства это, конечно, не так, но одно из последствий ампутации — ощущение, что тебя кастрировали. То в одной палате, то в другой ночью кто-нибудь просыпается с криком. В сущности, они поглощены только одним: секс, секс и секс; а кроме того — отчаянный страх, что всю жизнь им придется от кого-то зависеть. Поэтому каждые четверть часа давайте им отдых. Главная ваша задача — разрядка. И еще вот что: весь день и чуть не всю ночь они сквернословят— нью-йоркская похабщина, кентуккийская, оклахомская, калифорнийская. Вам понятно почему, а? У нас тут правило: если они выражаются в присутствии сестер, духовных лиц или вас, добровольцев, на них накладывают взыскание. Лишают части денег на сигареты, ежедневного купания в бассейне или кино. Я хочу, чтобы вы помогли в этом деле. Они вас будут уважать, если вы не станете потакать им,— держитесь построже. Давайте им задания. Скажите, что через неделю каждый из них должен приготовить статью, рассказ или стихотворение. А сейчас мисс Уорринер проведет вас в спортивный зал. Спасибо, господа, что пришли».

— Мино, вы молодец, что сумели стать самостоятельным, сперва решая головоломки, а потом придумывая свои,— скоро вы сможете сами себя содержать. Расскажите, как это у вас получилось.

— Я начал этим заниматься лет с двенадцати. Учение в школе давалось легко, и я много читал. Роза носила мне книги из библиотеки.

— Какие именно?

— Тогда я хотел стать астрономом, но занялся этим чересчур рано. Я еще не был готов к математике. Теперь готов. Потом я задумал стать священником. Конечно, это было невозможно, но я много прочел книг по богословию и по философии. Не все мне было понятно... однако тогда я выучил латынь.

— Неужели вам и посоветоваться было не с кем?

— Я люблю сам до всего докапываться.

— Но, черт возьми, вы же хотели читать Данте со мной!

Покраснев, он пробормотал:

— Это другое дело... Потом я стал решать головоломки, чтобы заработать деньги на покупку книг.

— Покажите головоломки, которые вы придумали сами.

Большинство полок, до которых он мог дотянуться, были похожи на полки в бельевом шкафу. Он вытащил пачку листков — головоломки были написаны тушью на ватмане.

— Opus elegantissimum juvenis![1] — сказал я.— Вам это доставляет удовольствие?

— Нет. Удовольствие мне доставляют деньги.

Я понизил голос:

— Помню, когда я первый раз заработал деньги, во мне все взыграло. Становишься мужчиной. Ваша мать сказала, что сейчас вы придумываете что-то новое.

[1] Изящнейшее творение юности *(лат.)*.

— Я сконструировал три новых игры для взрослых. Вы знаете мистера Олдберга?

— Нет.

— Здешний адвокат. Помогает мне выправлять патенты. В этой отрасли — игр и головоломок — столько жулья. Гоняются за любой свежей выдумкой, украдут что угодно.

Я откинулся в кресле.

— Мино, назовите три самых больших желания, которые могут исполниться, если пойдут настоящие деньги.

Он протянул руку к другой полке и достал фабричный каталог: оборудование для больниц и инвалидные коляски. Открыв, протянул мне; там было изображено кресло на колесах, приводимое в движение мотором; оно было никелированное, со съемным верхом на случай дождя, снега или солнца — прекрасная вещь. Двести семьдесят пять долларов.

Я присвистнул.

— А потом?

Еще один каталог.

— Я присмотрел ботинки-протезы. Они прикрепляются к ногам ремнями над и под коленями. Костыли все равно нужны, но болтаться ноги не будут. И часть веса придется на ноги. Понадобится какая-нибудь трость, чтобы не падать вперед. Думаю, что, когда привыкну к протезам, изобрету что-нибудь поудобнее.

Он настолько владел собой, что можно было подумать, будто разговор идет о покупке нового автомобиля. Однако откровенность шла еще не до конца. Я взял быка за рога:

— А потом хотите снять отдельную квартиру?

— Да,— с удивлением подтвердил он.

— Где сможете принимать друзей?

— Да,— сказал он и пристально на меня посмотрел: догадываюсь ли я, что у него на уме. Я улыбнулся и, глядя ему в глаза, повторил свой вопрос. Он оробел и отвел взгляд.

— Можно посмотреть, что у вас тут за книги?

— Конечно.

Я встал и повернулся к полкам. Книги были подержанные и сильно потрепаны от долгого употребления — более долгого, чем его жизнь. Если он покупал их в Ньюпорте, то, наверно, обошел тех же букинистов, которых обнаружил я, «ведя раскопки» в Пятом городе. Но может быть, он выписывал их по каталогам из городов побольше. На нижней полке стояла Британская энциклопедия (одиннадцатое издание), несколько атласов, звездные карты и разные объемистые справочники. Большинство полок было заставлено книгами по астрономии и математике. Я снял «Начала» Ньютона. Поля были исписаны пометками — мелкий почерк, выгоревшие чернила.

— Это ваши пометки?

— Нет, но они очень толковые.

— А где «Божественная комедия»?

Он показал на две полки рядом с собой; там стояли «Summa» [1], Спиноза, «Энеида», «Мысли» Паскаля, Декарт...

— Вы читаете по-французски?

— Роза без ума от французского. Мы с ней играем в шахматы, в го и в триктрак по-французски.

Я вспомнил Элберта Хьюза. Значит, в Ньюпорте есть еще один полугений, а то и настоящий гений. Может быть — поздний отпрыск Пятого города. Ведь слышал же я, что в Конкорде, штат Массачусетс,

[1] Сокращенное название «Summa Totius Theologiae» (1265—1274) — главного философского трактата св. Фомы Аквинского.

еще сто лет назад люди собирались большими компаниями и посвящали вечера чтению вслух по-итальянски, по-гречески, по-немецки и даже на санскрите. В Беркли, штат Калифорния, моя мать один вечер в неделю читала вслух с миссис Дэй по-итальянски, а другой — с миссис Винсент по-французски. Она посещала немецкие семинары в университете (профессор Пинджер), потому что мы, ее дети, научились этому языку в двух немецких школах Китая.

Я чуть было не спросил Мино, не хочет ли он поступить в один из двух соседних университетов. Я понимал, что природная независимость воспрещает ему полагаться на чужую помощь при ходьбе и что увечье выработало в нем типичный склад ума самоучки («я люблю сам до всего докапываться»). Я вспомнил, как отец Паскаля застал мальчика, с упоением читавшего Первую книгу Эвклида. У отца были совсем другие планы касательно его образования. Он отнял книгу и запер сына в комнате, но Паскаль сам дописал книгу до конца, выведя свойства прямоугольника и треугольника, как шелковичный червь выводит шелковую нить из собственных внутренностей. Однако Мино вызывал у меня невеселые мысли. В двадцатом веке самоучкой далеко не пойдешь, да еще при такой широте интересов. Я уже встречал подобных самоучек — а позже познакомился с новыми,— которые в молодости пренебрегали систематическим обучением, а потом писали «Историю человеческого мышления» и «Основания нравственных ценностей».

Я сел в кресло.

— Мино, вы в последнее время встречались с девушками, которые вам нравятся?

Он поглядел на меня так, будто я его ударил или издеваюсь над ним. Я молча смотрел на него и ждал ответа.

— Нет. Я не знаю никаких девушек.

— Как же? Ведь сестра приводит к вам своих подруг.— Он не мог или не захотел этого отрицать.— И разве я не видел, как вы разговаривали с девушкой — помощницей библиотекаря в журнальном отделе Народной библиотеки? — Он опять не мог или не захотел этого отрицать.

— Они не принимают меня всерьез,— наконец произнес он.

— То есть как это «не принимают всерьез»?

— Поговорят минутку — и тут же торопятся убежать.

— Господи спаси, а вы что думали — что они станут раздеваться?

Руки у него задрожали. Он подложил их под себя, не сводя с меня глаз.

— Нет.

— Вам кажется, что они принужденно с вами разговаривают? А я уверен, что это вы принужденно разговариваете. Такой приятный молодой человек, да еще с головой. Ручаюсь, что вы неверно ведете игру.

Наступило гробовое молчание. Его испуг передавался мне, но я отважно продолжал:

— У вас, конечно, есть изъян, но не такой уж большой, как вы полагаете. Ваше воображение его раздувает. Возьмите себя в руки, Мино. Множество людей с таким же недостатком устроили свою жизнь, женились и народили детей. Хотите расскажу, откуда я это знаю?

— Хочу.

Я рассказал ему о госпитале для ветеранов войны. И кончил довольно резко:

— Четыреста человек в инвалидных креслах и колясках! Кое-кто из них до сих пор шлет мне письма. И семейные фотографии — с

женами и детьми. Особенно на рождество. Тут у меня их нет, но я попрошу, чтобы мне прислали из дому, и покажу вам. Поймите, все эти люди старше вас. Многие из них были старше вас, когда их ранило. Какого же черта вам не терпится? Беда ваша в том, что вы разжигаете в себе тревогу о будущем; голова у вас занята тем, что будет в тридцать шестом и сорок шестом годах, как будто это — завтра. А другая беда: что вам вынь да положь Пламенную Страсть с большой буквы. Мужчина не может жить без женского общества, тут вы правы. Но не испортите дела, не погубите его излишней поспешностью. Начните с дружбы. Послушайте-ка, ведь Шотландское кафе сестер Лафлин — всего девятый дом от вас. Вы там бывали? — Он покачал головой.— Ну вот, сходите туда с Розой. Я приглашаю вас с какой-нибудь вашей знакомой девушкой пообедать там в следующую субботу, ровно в полдень.

— Я не знаком так близко ни с одной девушкой, чтобы пригласить кого-нибудь.

— Ну что ж, если в субботу вы не приведете на обед девушку, мы вообще оставим эту тему. Мне всегда будет приятно прийти к вам, чтобы поговорить о сэре Исааке Ньютоне или епископе Беркли,— очень жаль, что у вас нет на полках ни одного его труда,— но провалиться мне на этом месте, если хоть раз заговорю о девушках. Будем делать вид, что мы евнухи. Я-то думал, что вы для начала пригласите с нами в субботу какую-нибудь приятельницу, а в будущую субботу пригласите, уже без меня, другую приятельницу. Надеюсь, вам это по средствам, правда? Там за семьдесят пять центов подают очень хорошие порционные блюда. Вы же хотели выбросить шестнадцать долларов на дурацкие разговоры о Данте... А еще через неделю я снова устрою обед, и вы пригласите еще какую-нибудь девушку...

В душе его шла мучительная борьба.

— Единственные девушки, каких я знаю... хоть немножко знаю... они близнецы.

— Прекрасно! Веселые?

— Да.

— Как их зовут?

— Авонцино... Филумена и Аньезе.

— Которая вам больше нравится?

— Они совершенно одинаковые.

— Ну что ж, в субботу вы будете сидеть с Аньезе, а я приведу приятеля и посажу его с Филуменой. Вы знаете, что значит Аньезе по-гречески? — Он не ответил. — Это от слова hagne — чистая, целомудренная. Так что оставьте ваши распутные мысли при себе. Ведите себя спокойно. Просто дружеская встреча. Разговор о погоде и о ваших головоломках. Мы потрясем девушек рассказами о ваших новых изобретениях и патентах. Договорились? — Он кивнул.— Не пойдете на попятный, а? — Он помотал головой.— Запомните: лорду Байрону приходилось приторачивать к своей короткой ноге специально сшитый сапог, а половина девушек в Европе обливалась из-за него слезами. Зарубите это себе на носу. Как перевести имя царя Эдипа?

— Распухшая нога.

— На ком он женился?

— На своей матери.

— А как звали его прекрасную дочь?

— Антигона.

Я расхохотался. Мино смущенно усмехнулся.

— Ну, мне пора, Мино. Руку. Увидимся в будущее воскресенье, в это же время, но *сперва я* жду вас в Шотландской кондитерской.

Оденьтесь так же, как сейчас, и не забывайте, что идете веселиться. Учтите: настоящую девушку не завоюешь танцами и теннисом; ты добьешься ее, если ты хороший, честный парень с огоньком в глазах и деньгами в банке, чтобы прокормить маленьких Антигон, Исмен, Полиников и Этеоклов. Все ясно?

Проходя через магазин, я сказал Розе о субботней встрече.

— Вы придете?

— О да! Спасибо.

— Проследите за тем, чтобы Мино передал мое приглашение сестрам Авонцино. Ему может понадобиться ваша помощь, но пусть все-таки сделает это сам... Синьора Матéра, у вас самый талантливый сын на острове Акуиднек.

— А я вам что говорила! — И она поцеловала меня на глазах у всего магазина.

Я пожал руку ее мужу.

— До свидания, дон Маттео! — В южной Италии почтенного главу семьи, даже из рабочего класса, именуют «доном» — след векового испанского владычества.

Я дошел до телефона и, позвонив к Венеблам, попросил барона.

— Grüß Gott, Herr Baron!

— Ach, der Herr Professor! Lobet den Herrn![1]

— Бодо, мы с вами ужинали в Восьмом городе, помните?

— Никогда не забуду.

— А хотели бы вы пообедать в Девятом?

— Schön![2] Когда?

— Вы свободны в субботу в половине первого?

— Могу освободиться.

— Я вас приглашаю. Угощу обедом за семьдесят пять центов в Шотландской кондитерской на Нижнем Бродвее. Ровно в двенадцать тридцать. Вы знаете, где это?

— Видел. А полиция нас не разгонит?

— Бодо! Девятый город — самый благопристойный из всех городов Ньюпорта.

— Вы опять что-то затеваете?

— Да. В общих чертах скажу. Вы там не будете почетным гостем. И даже не будете бароном. Почетный гость — двадцатидвухлетний гений. У него нет ног.

— Как вы сказали?

— Его в детстве переехал поезд. Нет ног. Как и вы, он натощак читает «Summa», Спинозу и Декарта — в подлиннике. Бодо, если бы у вас не было ног, вы бы немножко стеснялись девушек?

— По-о-жалуй. Стеснялся бы немножко.

— Ну вот, там будут три прелестные девушки из Девятого города. Не наряжайтесь слишком шикарно, мистер Штамс. И не смейте напиваться, мистер Штамс.

— Gott hilf uns. Du bist ein verfluchter Kerl.

— Wiederschaun[3].

В субботу утром я зашел в кондитерскую и перемолвился парой слов с моей уважаемой и несгибаемой приятельницей мисс Эйлзой Лафлин.

---

[1] Мир вам, господин барон.
— А-а, герр профессор! Благослови вас бог!

[2] Прекрасно! *(нем.)*

[3] Бог в помощь. Ну ты и пройдоха.
— До скорого *(нем.)*.

— Нас будет шестеро, мисс Эйлза. Можете оставить нам круглый столик в углу?

— Мы не любим, чтобы столики пустовали, мистер Норт. Вам это известно. Опоздаете на пять минут — и будете сидеть с кем придется.

— Когда вы говорите, мисс Эйлза, хочется закрыть глаза — так бы и слушал эту музыку гор.

— Долин, мистер Норт... Я из Эйршира. Лафлины были соседями Робби Бернса.

— Музыка, настоящая музыка! Мы будем точно в половине первого. Чем нас угостят?

— Вы отлично знаете, что летом по субботам у нас пастуший пирог.

— Ах да, agneau en croûte [1]. Не откажите выразить мое смиренное восхищение мисс Дженни.

— Она не поверит, мистер Норт. Считает вас ветрогоном и обманщиком. Вы с мисс Флорой Диленд вели себя здесь возмутительно!

Все мы были точны, но Матéра всех точнее. Они приехали на пять минут раньше, так что мы не видели, как Мино слезает со своего кресла на колесиках, вооружается костылями и входит в кафе, причем Роза помогает ему, придерживая за поясницу. Я появился вовремя и успел их рассадить. Роза была из тех девушек, которые с каждой встречей кажутся привлекательнее: счастье завораживает. Тут же появились мистер Штамс и сестры Авонцино. Филумена и Аньезе были на удивление похожи и так красивы, что мир только выигрывал от этого удвоения. Они оделись пугающе нарядно. Роза, сидевшая справа от меня, сообщила, что платья и шляпки они сшили сами пять лет назад по готовым выкройкам — на свадьбу старшей сестры, где они были подружками. Платья были из абрикосового органди; широкополые шляпы они соорудили из того же материала, натянув его на тонкую проволоку. Когда они шли по людной улице, прохожие выстраивались шпалерами, чтобы поглазеть на них. Сестры вышили на груди инициалы, чтобы их могли различить. Аньезе носила обручальное кольцо. Ее звали миссис Роберт О'Брайен — муж ее, мичман, утонул три года назад.

Я перезнакомил своих гостей.

— Будем называть друг друга по именам. Рядом со мной сидит Роза, за ней Бодо — он австриец; потом Аньезе, потом Мино — брат Розы, а за ним Филумена. Бодо, пожалуйста, повторите имена.

— Все имена, кроме моего, такие красивые, что мне даже неловко. Итак, у нас — Теофил, Роза, бедняга Бодо, Аньезе, Мино и Филумена.

Ему похлопали.

День выдался теплый. Для начала мы выпили по стакану виноградного сока с лимонным шербетом (еще десять центов надбавки). Двое гостей (Мино и Бодо) смущались, зато сестры были потрясающие красавицы и знали, что им все сходит с рук.

— Бодо,— сказала Филумена,— мне ваше имя нравится. Похоже на кличку очень доброй собаки. Да и сами вы похожи на доброго пса.

— О, спасибо!

— Аньезе, вот было бы славно построить на заднем дворе большую будку, тогда Бодо жил бы у нас и отгонял озорников. Мама бы вас полюбила и кормила на славу.

— А мы с Филуменой,— добавила сестра,— плели бы из цветов венки, надевали вместо ошейника и ходили с вами гулять.

Бодо весело залаял, кивая головой.

---

[1] Барашек в тесте *(франц.)*.

Аньезе продолжала:

— Но мама больше всех любит Мино, так что вы не ревнуйте. Мама любит Мино за то, что он знает все на свете. Она сказала ему, какого числа родилась, он поглядел в потолок, а потом говорит: «Это было в понедельник». Папа спросил, почему високосный год бывает раз в четыре года, и Мино объяснил это как дважды два четыре.

Я сказал:

— Мино разрешил открыть вам один его секрет.

— Мино женится! — закричала Филумена.

— Конечно, женится, как и все мы, но пока что он слишком молод. Нет, секрет другой: он выправляет патенты на игры, которые изобрел, и эти игры пойдут по стране не хуже маджонга. В них будут играть в каждом доме, как в триктрак или в бирюльки, и Мино разбогатеет.

— Ого! — закричали девушки.

— Но вы нас не забудете, Мино?

— Что вы...— растерянно сказал он.

— Не забудете, что мы вас любили до того, как вы разбогатели?

— И еще один секрет,— продолжал я.— Он изобретает такой ботинок, в котором сможет лазать по горам, кататься на коньках, а главное — *танцевать*!

Аплодисменты и крики восторга.

Пастуший пирог был объедение.

Аньезе сказала Мино:

— И тогда вы купите Бодо самые лучшие собачьи галеты, а Филумене — швейную машинку, которая не будет все время ломаться.

— Аньезе оплатите уроки пения у маэстро дель Валле,— подхватила Филумена,— а сестре подарите бирюзовую брошку, потому что она родилась в июле. А что вы подарите Теофилу?

— Я знаю, чего мне хочется,— сказал я.— Я хочу, чтобы Мино пригласил нас всех на обед в первую субботу августа тысяча девятьсот двадцать седьмого года — в это же место, в этом же составе, чтобы подали ту же еду и продолжалась та же дружба.

Бодо сказал: «Аминь», все повторили: «Аминь», а Мино пообещал, что так и сделает.

Мы принялись за сливовый крем. Беседа перестала быть общей. Я разговаривал с Розой, а Бодо расспрашивал Аньезе о ее пении. Единственное, что я расслышал, это «Моцарт». Бодо предложил ей загадать Мино загадку. Отгадки он ей не сказал.

— Мино,— сказала она,— угадайте: какая связь между именами того, кто нас сегодня пригласил, и моего любимого композитора Моцарта?

Мино, взглянув на потолок, улыбнулся:

— Теофил по-гречески — тот, кто любит бога, а Амадей — то же самое по-латыни.

Аплодисменты и восторженное удивление, особенно с моей стороны.

— Это Бодо меня научил,— скромно призналась Аньезе.

— И Моцарт хорошо это знал,— добавил Бодо.— Иногда он писал свое второе имя по-гречески, иногда по-латыни, а иногда по-немецки. Как это будет по-немецки, Мино?

— Я не очень хорошо знаю немецкий... liebe... и Gott... ага, понял: Gottlieb.

Все снова захлопали. Мисс Эйлза стояла за моей спиной. Шотландцы любознательны.

Аньезе снова обратилась к Мино:

— А мое имя означает «ягненок»?

Мино кинул на меня взгляд, но тут же снова повернулся к ней:

— Оно может иметь и такое значение, но многие считают, что имя это происходит от более древнего слова, от греческого «hagne», что означает «чистая».

На ее глаза навернулись слезы.

— Филумена, пожалуйста, поцелуй за меня Мино в лоб.

— Сейчас,— сказала Филумена и поцеловала.

Все мы слегка утомились от такого количества чудес и сюрпризов и молчали, пока нам подавали кофе (еще лишних пять центов).

Роза шепнула мне:

— По-моему, вы знаете человека, который сидит там, в углу.

— Хилари Джонса! С кем он?

— С женой. Они снова сошлись. Она — итальянка, но не католичка. Итальянская еврейка. Ближайшая подруга Аньезе. Мы все с ней дружим. Ее зовут Рейчел.

— А как здоровье Линды?

— Она уже дома. Вышла из больницы.

Когда гости поднялись (Бодо шепнул: «Не представляете, какие разговоры я обычно слышу на званых обедах!»), я пошел поздороваться с Хиллом.

— Тедди, познакомьтесь с моей женой Рейчел.

— Очень рад, миссис Джонс. Как здоровье Линды?

— Ей гораздо лучше, гораздо. Она уже дома.

Мы поговорили о Линде, о летней работе Хилла на общественных спортивных площадках, а также о семье Матéра и сестрах Авонцино.

В конце я спросил:

— Мне хочется задать вам один вопрос, Хилл,— и вам, миссис Джонс. Надеюсь, вы поверите, что это не пустое любопытство. Я знаю, что муж Аньезе утонул. В Ньюпорте таких вдов, наверно, много — как и на всем побережье Новой Англии. Но я чувствую, ее гнетет что-то еще, помимо этого. Я прав?

Они как-то растерянно переглянулись.

Хилл сказал:

— Это был ужас... Люди стараются не говорить об этом.

— Простите, что спросил.

— А собственно, почему это надо скрывать от вас? — сказала Рейчел.— Мы ее любим. Ее все любят. Вы, наверно, понимаете, за что ее любят?

— О, да.

— Все мы надеемся, что это ее свойство... и ее замечательный сынишка, и пение — она ведь прекрасно поет — помогут ей забыть о том, что произошло. Хилари, расскажи мистеру Норту.

— Пожалуйста, лучше ты, Рейчел.

— Он плавал на подводной лодке. Где-то на севере, кажется, у Лабрадора. Лодка налетела на риф или что-то еще, и двигатели отказали. Лодку начали давить льды. Отсеки заклинило. Воздух еще оставался, но попасть на камбуз они не могли... Им нечего было есть.

Мы молча смотрели друг на друга.

— Их, конечно, разыскивали самолеты. Потом льды передвинулись, и лодку нашли. Тела привезли домой. Бобби похоронили на кладбище морской базы.

— Благодарю... Я свободен только по воскресеньям после обеда. Могу я зайти к вам через неделю, повидать Линду?

— Конечно! Поужинаете с нами.

— Спасибо, но остаться до ужина я не смогу. Запишите, Хилл, мне ваш адрес. Буду рад повидать вас в половине пятого.

Всю следующую неделю, заходя за нью-йоркской газетой, я встречал то одного, то другого Матéра. Говорили мы по-итальянски. В воскресенье в девять часов утра я пришел к Мино.

— Buon giorno, Mino.

— Buon giorno, professore.

— Мино, я не спрашиваю, выполнили ли вы вчера свое обещание пригласить на обед девушку. Я не хочу об этом слышать. Теперь это ваше личное дело. О чем мы сегодня поговорим?

Он улыбнулся с видом более чем всегда «сам знаю, что делаю», и я понял ответ. Молодые любят, когда их заставляют говорить о себе, любят послушать, как говорят о них, но годам к двадцати возникает какая-то грань, за которую им претит перейти в разговоре. Их поглощенность собой становится чисто внутренней. Поэтому я спросил:

— О чем мы сегодня поговорим?

— Professore, скажите, что дает университетское образование?

Я рассказал, как важно, когда от тебя требуют знания предметов, которые поначалу кажутся далекими от твоих интересов; как важно попасть в среду юношей и девушек твоих лет — многие из них, как и ты, жаждут получить от университета все что можно; как хорошо, если тебе повезет напасть на прирожденных педагогов, и тем более — на великих педагогов. Я напомнил ему о том, как Данте просит своего проводника Вергилия: «Дай мне пищу, которой ты меня раздразнил».

Он смотрел на меня с жадным любопытством.

— Вы считаете, что мне стоит поступить в университет?

— Я пока не могу ответить на этот вопрос. Вы — юноша незаурядный. Возможно, вы переросли то, что способен дать студенту американский университет. Аппетит у вас есть, и вы знаете, где искать пищу. Вы одержали победу над своим физическим недостатком, причем недостаток подстегнул вас к достижению победы. Быть может, вы преодолеете и другой недостаток — отсутствие формального высшего образования.

Понизив голос, он спросил:

— Чего, по-вашему, мне больше всего не хватает?

Засмеявшись, я встал.

— Мино, много веков назад у одного царя недалеко от Греции была дочь, которую он очень любил. Она чахла от какой-то загадочной болезни. И тогда старик отправился с богатыми дарами к великому оракулу в Дельфы и вопросил у него: «Что мне делать, чтобы выздоровела дочь?» И сивилла, пожевав листья лавра, впала в транс и ответила стихами: «Научи ее математике и музыке». Так вот, математику вы знаете, а музыки мне в вас не хватает.

— Музыки?

— Нет, я говорю не о том конкретном, что мы зовем музыкой. Я говорю о той обширной области, где царят музы. Вот тут стоит Данте, но, кроме «Божественной комедии» и «Энеиды», я не вижу ничего, вдохновленного музами.

Он лукаво улыбнулся:

— А разве Урания — не муза астрономии?

— Ах да, про нее я забыл. И все же настаиваю на своем.

Он помолчал.

— Что они для нас?

Я коротко перечислил:

— Школа чувств и страстей, сочувствия и самопознания. Подумайте над этим. Мино, в следующее воскресенье я не смогу быть у

вас, но через воскресенье надеюсь вас увидеть. Ave atque vale[1]. — У дверей я обернулся.— Кстати, сын Аньезе и дочка Рейчел к вам приходят?

— Приходят к Розе и к маме, а ко мне нет.

— Вы знаете, как погиб муж Аньезе?

— Он погиб в море. Больше ничего не знаю.

Мино покраснел. Я догадался, что вчера он приглашал в кафе Аньезе. Весело помахав ему, я сказал:

— Общайтесь с музами. Вы же итальянец из Magna Graecia[2] в вас, наверно, немало и греческой крови. Общайтесь с музами!

Судя по моему Дневнику, чтением которого я освежаю память об этих встречах, я «собирал» портрет Мино, как и многих других персонажей, из отдельных наблюдений. Мне попалась наспех сделанная заметка: «С увечьем Мино связаны лишения, которых я не предвидел. Он не только замечает, что люди не разговаривают с ним «искренне»,— к нему никогда не заходят дети двух лучших подруг его сестры; он их, вероятно, даже не видел. Предполагаю, что взрослые боятся «омрачить» детскую душу его несчастьем. Подобное опасение не могло бы возникнуть в Италии, где уроды, золотушные и калеки у всех на виду среди базарной сутолоки — обычно это нищие. Более того, ему, как видно, не рассказали подробностей смерти мичмана О'Брайена, которые так ужасают семейство Джонсов и невыносимо мучают его вдову. В Америке трагическую изнанку жизни прячут даже от тех, кто соприкоснулся с ней самым непосредственным образом. Надо ли объяснить это Мино?»

В следующее воскресенье после обеда я навестил Линду и ее родителей, запасшись старомодным букетиком цветов, обернутым в кружевную бумагу. Хилари, снова обретя жену, стал счастливым семьянином, что всегда приятно наблюдать. Родители Рейчел приехали из северной Италии — промышленного района возле Турина, где дочерей в рабочих семьях готовят к конторской службе — все расширяющемуся полю деятельности,— а если удастся, то в учительницы. Квартирка была безукоризненно чиста и обставлена строго. Линда еще не окрепла и выглядела бледноватой, но очень обрадовалась гостю. Я с удивлением заметил то, что называлось когда-то «дачным» пианино — без октавы в верхах и в басах.

— Вы играете, Рейчел?

За нее ответил муж:

— Рейчел очень хорошо играет. Ее знают во всех молодежных клубах. Ведь она и поет.

— По воскресеньям после обеда к нам обычно заходит Аньезе с Джонни. Они вам не помешают? — спросила Рейчел.

— Что вы! Мне сестры понравились с первого взгляда. А вы с Аньезе мне споете?

— Да, мы поем дуэты. И я и она два раза в месяц занимаемся с маэстро дель Валле. Он взял с нас обещание никогда не отказываться петь, если всерьез попросят. Вы — серьезно, Теофил?

— Еще бы!

— Тогда вы услышите всех четверых. Дети так наслушались наших упражнений, что запомнили мелодии и теперь поют с нами.

---

[1] Привет храбрецам *(лат.)*.

[2] Великая Греция — древние греческие колонии в южной Италии.

Сперва мы споем одни, потом начнем снова и они вступят. Но, пожалуйста, сделайте вид, что в этом нет ничего особенного. Мы не хотим, чтобы они стеснялись петь.

Вскоре появилась Аньезе с Джонни О'Брайеном, мальчиком лет четырех. Дома он наверняка был живой как ртуть, но, подобно большинству мальчишек, которые растут без отца, оробел в присутствии двух взрослых мужчин. Он сел рядом с матерью, широко раскрыв глаза. Аньезе, без своей жизнерадостной сестры, тоже была какой-то присмиревшей. Мы обсудили обед в Шотландской кондитерской и блестящее будущее Мино, которое я им обрисовал. Я заверил их, что все это истинная правда. Аньезе спросила, кто такой Бодо и кем он «работает». Я рассказал. Каждой женщине нужен хоть один сюрприз в день.

— Ох, как неприлично было сравнивать его с собакой!

— Аньезе, вы же сами видели, что ему понравилось.

Когда мы допили чай, я попросил женщин спеть. Они переглянулись, и Рейчел подошла к пианино. Обе матери, обернувшись к детям и приложив палец к губам, прошептали: «Потом». Они спели «Мы с тобой собирали цветы» Мендельсона. Жаль, что их не слышал Мино.

— А теперь повторим.

Матери тихонько запели; дети вторили им, нисколько не робея. Я поглядел на Хилари. Чуть не лишиться этого из-за Дианы Белл!

Аньезе сказала:

— Мы разучили для церковного благотворительного базара отрывки из «Stabat Mater» Перголезе.

Они спели оттуда два терцета — сначала одни, а потом с детьми. Жаль, что их не слышал Перголезе.

Ньюпорт полон неожиданностей. Постепенно выяснилось, что Девятый город ближе к Пятому, а может, и ко Второму, чем любой другой.

Когда мы распрощались с хозяевами, я проводил Аньезе до дома, держа за руку Джонни.

— У вас прекрасный голос, Аньезе.

— Спасибо.

— Думаю, что маэстро дель Валле возлагает на вас большие надежды.

— Да. Он предложил давать мне уроки бесплатно. При моей пенсии и заработках я могла бы за них платить, но у меня нет честолюбия.

— Нет честолюбия...— задумчиво повторил я.

— Вам когда-нибудь приходилось жестоко страдать?

— Нет.

Она пробормотала:

— Джонни, музыка и покорность воле божией... вот что... меня держит.

Я позволил себе высказать все тем же задумчивым тоном весьма неосторожное замечание:

— Война оставила после себя сотни и сотни тысяч молодых вдов.

Она быстро возразила:

— В смерти мужа есть такие обстоятельства, о которых я ни с кем не могу говорить — ни с Розой, ни с Рейчел, даже с мамой и Филуменой. Прошу вас, не надо...

— Джонни, ты видишь то, что вижу я?

— Что?

Я показал.

— Конфетный магазин?

— И открыт по воскресеньям! Линде я принес подарок. Но я не знал, что ты там будешь. Подойди к окну и погляди, чего бы тебе хотелось.

Это была так называемая «галантерейная» лавка. В углу витрины лежали игрушки: модели самолетов, кораблей и автомобилей.

Джонни запрыгал, показывая на витрину.

— Глядите! Глядите, мистер Норт! Подводная лодка, папочкина подводная лодка! Можно ее купить?

Я обернулся к Аньезе. Она кинула на меня затравленный взгляд и помотала головой.

— Джонни,— сказал я.— Сегодня воскресенье. Когда я был маленький, папа нам не позволял покупать игрушки в воскресенье. По воскресеньям мы ходили в церковь — и никаких игр, никаких игрушек.

Я вошел в лавку и купил шоколадных конфет. Когда мы подошли к их дому, Джонни вежливо со мной попрощался и закрыл за собой дверь.

Аньезе стояла, держась за калитку.

— Наверное, это вы уговорили Бенджи — то есть Мино — пригласить меня в кафе?

— Я уговаривал его пригласить какую-нибудь девушку или девушек в Шотландскую кондитерскую, когда вообще не знал о существовании сестер Авонцино. Потом я уговаривал его пригласить девушку — желательно другую — и в следующую субботу, чтобы расширить круг друзей. Он не докладывал мне, что пригласил вас.

— Мне пришлось сказать ему, что я больше не смогу принимать таких приглашений. Я, как и все, восхищаюсь Мино, но постоянно встречаться с ним в общественных местах мне неудобно... Теофил, никому не говорите того, что я вам скажу: я очень несчастный человек. Я не способна даже на дружбу. Я могу только представляться. Мне помогут, я знаю,— и она подняла палец безжизненной руки к зениту,— но надо набраться терпенья и ждать.

— Ради Джонни, продолжайте представляться. Я не имею в виду обеды с Мино, но время от времени встречайтесь с нами, хотя бы в компании. По-моему, Бодо задумал что-то вроде пикника, но в его машине помещаются только четверо, а я знаю, что он снова хочет встретиться с вами и с Мино...— Она не поднимала глаз; я выжидал; наконец я добавил: — Я не знаю, какое невыносимое бремя вас гнетет, но вы ведь не захотите вечно омрачать жизнь Джонни?

Она взглянула на меня с испугом, потом отрывисто сказала:

— Спасибо, что проводили. Ну да, я буду рада встретиться с Мино — в компании.— Она протянула мне руку.— До свидания.

— До свидания, Аньезе.

В семь часов я позвонил Бодо. Его всегда можно было поймать в это время: он одевался для очередного раута.

— Grüß Gott, Herr Baron.

— Grüß Gott in Ewigkeit [1].

— Когда у вас сегодня званый обед?

— В четверть девятого. А что?

— Можем мы встретиться в «Мюнхингер Кинге», чтобы я вам изложил один план?

— К половине восьмого успеете?

— Договорились.

Дипломаты — люди точные. Бодо был, как говорится, «при

[1] Мир вам, господин барон!
— Мир вам во веки веков *(нем.)*.

полном параде». Его пригласили в военно-морское училище на обед с каким-то приезжим начальством — адмиралами разных стран,— он был весь в орденах (или, на языке нижних чинов, «в насыпухе») и прочем. Внушительное зрелище!

— Что у вас за план? — спросил он с живым любопытством.

— На этот раз дело серьезное. Буду краток. Вы знаете у Данте место про Уголино?

— Конечно.

— Помните Аньезе? Ее муж погиб на подводной лодке.— Я рассказал то немногое, что знал.— Быть может, они умерли через несколько дней от удушья, а может, жили неделю без пищи. Лодку в конце концов освободили изо льдов. Как вы думаете, министерство военно-морского флота осведомило вдов и родителей погибших о том, что там было обнаружено?

Он задумался.

— Если там было что-то ужасное, вряд ли.

— Аньезе эта мысль не дает покоя. Ей жить не хочется. Но она не подозревает, что я знаю о ее страхах.

— Gott hilf uns!

— Она мне сказала, что ее донимают мысли, которыми она не может поделиться ни с сестрой, ни с близкими друзьями, даже с матерью. Когда так говорят, значит, есть потребность кому-то открыться. После той нашей встречи Мино несколько раз приглашал ее в кафе. Она говорит, что больше не может встречаться с ним наедине. Мино вам кажется славным парнем?

— Безусловно.

— Я хочу в следующее воскресенье на закате устроить пикник на Брентонском мысу. Вы свободны от пяти до восьми?

— Да. После воскресенья я уезжаю из Ньюпорта. В девять тридцать в мою честь устраивают прием. Я успею.

— Я обеспечу шампанское, бутерброды и сладкое. Сможете вы, в качестве кавалера Двуглавого Орла, поехать с нами и предоставить свою машину? Вы с Аньезе и Мино сядете впереди, а я с провизией и льдом — на откидном сиденье. Мне не хочется выглядеть хозяином празднества. Вы сможете сыграть эту роль?

— Нет! Как вам не стыдно. Я и буду хозяином. Теперь мне тоже надо говорить покороче. В леднике моего домика всегда лежит несколько бутылок шампанского. Привезу походную кухню с жаровней. Любой швейцарец может за один день оборудовать гостиницу. Нам, австрийцам, на это нужна неделя. Если пойдет дождь или будет холодно, мы сможем укрыться в моем домике. Вам принадлежит идея — и хватит с вас! А теперь изложите свой план. В чем суть?

— Ах, Бодо, не спрашивайте. Это пока лишь надежда.

— Ого! Ну хотя бы намекните.

— Помните «Макбета»?

— Играл в нем Макдуфа, когда учился в Итоне.

— Помните, как Макбет просит врача вылечить леди Макбет от лунатизма?

— Погодите... «Придумай, как удалить из памяти следы гнездящейся печали...» и что-то вроде: «...Средствами, дающими забвение, освободить истерзанную грудь»[1].

— Вот, Бодо, вот чем вы завоюете Персис, вот что мы должны сделать для Аньезе.

Он смотрел на меня.

---

[1] Перевод Б. Пастернака.

— И Персис?..— прошептал он.— Разве ее муж погиб на подводной лодке?

— Подлинно только счастье, отнятое у страдания; все прочее просто так называемые «земные блага».

— Кто это сказал?

— Кто-то из ваших австрийских поэтов, по-моему, Грильпарцер.

— Schön. Мне надо бежать. Черкните, куда заехать за гостями и прочее. Ave atque vale.

Приглашения были разосланы через Розу и приняты.

— Роза, нам так хотелось бы пригласить и вас с Филуменой, но вы знаете, какая тесная у него машина.— По глазам Розы было видно, что она все поняла, быть может, поняла даже мой замысел.— Покажите мне, как вы кладете руку на поясницу Мино, чтобы помочь ему войти и выйти из дверей и из машины?

Мать наблюдала за нами со смехом.

— Не знаю уж, что вы там затеяли, синьор Теофило, а не боюсь!

Знаменательный день настал. Погода стояла превосходная. Умелые руки усадили Мино в машину. Аньезе тоже предпочла отправиться из лавки Матéра — полагаю, для того, чтобы не огорчать сынишку, мечтавшего покататься с ней на машине. Когда мы приехали на Брентонский мыс, великий ресторатор барон Штамс вытащил два складных столика, накрыл их (с шиком) скатертями и принялся откупоривать бутылку. Аньезе и Мино остались в машине с подносами на коленях, а остальные два кавалера устроились на складных стульях рядом.

— Теперь могу вам сказать, что я уже два раза в жизни пил шампанское,— сообщил Мино.— Я попробовал «Асти Спуманте» на свадьбе брата. А до этого я пил шампанское только на твоей свадьбе, Аньезе.

— Тебе было всего пятнадцать лет. Я рада, что тебе удалось тогда попробовать, Мино.— Аньезе говорила так осторожно, словно ступала по тонкому льду.— Семья мужа живет в Олбени, в штате Нью-Йорк. Они тогда приехали и остановились у нас. И привезли три бутылки шампанского... Ты хорошо помнишь Роберта?

— Конечно. Его лодка не так уж часто заходила в бухту, и както раз он спросил, не хочу ли я подняться на борт, а я еще как хотел! Но в тот день разыгрался шторм, и я не смог бы вскарабкаться по лестницам и трапу. Он сказал, что возьмет меня в следующий раз. Роберт был моим кумиром. Мама считала, что более красивого и... приятного человека она в жизни не встречала.

Аньезе горестно отвернулась.

Бодо спросил:

— А начальство дало ему отпуск, когда он женился?

— Он копил увольнительные. Мы поехали в Нью Йорк и все-все там посмотрели. Каждый день катались на метро и по надземной дороге из конца в конец — каждый день по другой линии. Роберт знал, что я люблю музыку, и мы три раза ходили в оперу.— Она повернулась к Мино.— Конечно, нам пришлось сидеть очень высоко, но все было прекрасно видно и слышно... Были в зоопарке и на службе в соборе святого Патрика.— В глазах у нее стояли слезы, но она добавила со смешком: — На Кони-Айленд тоже съездили. Вот где было весело, Мино...

— Представляю себе, Аньезе.

— Ну да... Теофил, а что делает Бодо?

Бодо колдовал над жаровней.

— Готовлю ужин. Пока жарится, выпейте еще по бокалу шампанского.

— Я боюсь захмелеть.

— Оно не очень крепкое.

— Аньезе,— спросил я,— маэстро дель Валле научил вас песням, которые можно петь без аккомпанемента? Вы говорили, что он велел вам петь везде, где вас как следует попросят. Могу заверить, что мы очень этого хотим.

— А-а, я знала одну старинную итальянскую песню... Дайте вспомнить...

Она прикрыла рукой глаза и запела: «Caro mio ben. Caro mio ben» [1] — легко, как лебедь скользит по воде. На второй строфе она запнулась.

— Простите, не могу. Это одна из трех самых любимых его песен... Ах, Теофил, Бодо... он был такой хороший! Совсем еще мальчик и так любил жизнь. Какой ужас... подо льдом, без еды... Как вы думаете, вода-то у них была?.. А есть нечего...

Бодо заговорил очень внятно, но без нажима, не поднимая глаз от жаровни:

— Аньезе, во время войны я четыре дня пролежал без еды в канаве. Был ранен, не мог подняться и поискать воды. То и дело терял сознание. Санитары, которые меня нашли, потом рассказывали, что я несколько раз умирал у них на руках, но улыбался. Можете не сомневаться, что люди в лодке — где так мало воздуха — быстро потеряли сознание. Воздух нужнее пищи и питья.

Она ошеломленно смотрела на Бодо; лицо ее осветилось надеждой. Сжав горло рукой, она прошептала:

— Без воздуха... Без воздуха...— Потом, обхватив руками Мино, прильнула щекой к его лацкану и зарыдала: — Обними меня, Мино! Обними!

Он обнял ее, приговаривая:

— Дорогая, красавица ты моя... дорогая, храбрая моя Аньезе...

— Обними меня!

Мы с Бодо смотрели друг на друга.

Аньезе овладела собой:

— Простите меня, простите, пожалуйста...— И вынула из сумочки носовой платок.

Бодо громко объявил:

— Ужин готов.

11

Алиса

Когда я первый раз жил в Ньюпорте — в форте Адамс, в 1918—1919 годах,— я был обитателем Четвертого города, военно-морского. Теперь же, в 1926 году, было мало шансов — да я их и не искал,— что мне придется соприкоснуться с этим замкнутым миром.

И все же мне довелось, вернее, посчастливилось узнать одного скромного человека, связанного семейными узами с флотом США,— Алису.

[1] О дорогой, сокровище мое *(итал.)*.

Время от времени меня охватывает желание отведать итальянской кухни. Меня приглашали к себе обедать Матёра, Авонцино и Хилари Джонсы, обещая угостить итальянскими блюдами, но читатель знает, что я решил не принимать никаких приглашений. Жизнь у меня была настолько клочковатая и стадная, что только неукоснительное соблюдение этого правила могло уберечь меня от нервного расстройства. Я ел один. В Ньюпорте было три ресторана, считавшихся итальянскими, но, как и тысячи других в нашей стране, они могли предложить лишь жалкое подобие настоящих итальянских блюд. Больше всего мне нравилось «У мамы Карлотты» на Перекрестке первой мили. Там можно было получить чашку домашнего вина, называвшегося в народе «красным даго». Раза два в месяц я проезжал милю до «Мамы Карлотты» и заказывал minestrone, fettucine con salsa [1] и хлеб — хлеб был отличный.

Через дорогу от ресторана находился один из пяти или шести входов на громадную, отгороженную высоким забором морскую базу. Рядом гектары и гектары земли были застроены шестиквартирными бараками, где жили семьи моряков,— многие из них служили на базе и месяцами не появлялись дома. Царь Итаки Улисс двадцать лет был разлучен со своей женой Пенелопой; из них десять он сражался под стенами Трои и десять отнял долгий путь домой. Ньюпортские моряки, их жены и дети жили в густонаселенном районе, в одинаковых строениях, на одинаковых улицах, с одинаковыми школами и детскими площадками — и во власти одинаковых условностей. С 1926 года этот район разросся, но поскольку воздушное сообщение стало делом обычным, служащих чаще отпускают домой и даже семьи их перевозят на время в такие же «лагеря» на Гавайях, Филиппинах и в других местах. В 1926 году здесь были сотни «береговых вдов». Густота населения способствует раздражительности, одиночеству и излишне придирчивому взгляду на чужое поведение; в отгороженном мире базы все это проявлялось особенно остро. Участь Пенелопы была нелегкой, и ее, наверное, окружали жены отсутствующих моряков; но царице, по крайней мере, не приходилось *все время* жить на глазах у женщин, таких же несчастных, как она.

Жителям морской базы разрешалось выходить когда угодно, но они редко выбирались в город — у них были свои продовольственные магазины, свои театры, клубы, больницы, врачи и дантисты. Гражданская жизнь их не привлекала и, может быть, даже пугала. Но они с удовольствием сбегали ненадолго из своего, как они выражались, «муравейника», «гетто», облюбовав за его стенами несколько местечек. «У мамы Карлотты» было одно из тех заведений на Перекрестке первой мили, которые они считали своими. Оно состояло из двух больших параллельных комнат — бара и ресторана. Бар всегда был забит мужчинами, хотя там имелись и столики для дам (которые никогда не приходили в одиночку); в полдень и вечером ресторан тоже не пустовал. В семьях моряков не принято было тратиться на еду в городе, но когда приезжали погостить родители или родственники, их угощали и за цивильным столом. Мичман или старшина выходил сюда — на люди — отпраздновать какую-нибудь годовщину. Среди других родов войск принято считать, что моряки — от адмиралов и ниже — женятся на хорошеньких женщинах, не отличающихся умом, и подбирают их в южных штатах. Я не раз убеждался в справедливости этого смелого обобщения — особенно «У мамы Карлотты».

---

[1] Густой овощной суп, лапшу с подливкой *(итал.)*.

Однажды вечером, вскоре после того, как я снял квартиру, я отправился поесть к «Маме Карлотте». У меня была привычка читать за столом газету или даже книгу. Если человек один, да еще читает, ясно, что это сухопутная крыса. В тот вечер по неизвестным мне причинам я не мог получить вина и пил пиво. Я сидел у всех на виду, один за столиком на четыре персоны, хотя народу было столько, что женщины, которым не нашлось места в баре, переходили в ресторан и стояли парочками, с бокалами в руках, оживленно беседуя.

Эта глава — об Алисе. Фамилии ее по мужу я так и не узнал. За те несколько часов, что мы пробыли вместе, я выяснил, что она родилась в большой, часто голодавшей семье, в угольном районе Западной Виргинии и что в возрасте пятнадцати лет сбежала из дому с одним знакомым джентльменом. Я не буду воспроизводить здесь ее выговор и чересчур выделять недостаток образования.

Алиса и ее подруга Делия (из центральной Джорджии) стояли вплотную к двум пустым стульям у моего стола. Они разговаривали, чтобы видно было, что они разговаривают,— не только мне, но и остальным посетителям. Почти все в зале знали всех, и все за всеми следили. Как сказал один современный автор: «Ад — это *они*». Слух у меня был на редкость острый, и я уловил перемену в их тоне. Понизив голос, они обсуждали, прилично ли будет спросить у меня разрешения занять свободные места за столом. Наконец, старшая, Делия, повернулась ко мне и холодным, официальным тоном осведомилась, заняты ли места. Я привстал и ответил:

— Нет, нет, не заняты. Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо.

Как впоследствии выяснилось, даже то, что я привстал, произвело сильное впечатление. В их кругу мужчины, приветствуя дам, не вставали ни при каких обстоятельствах; так поступали джентльмены в кино — отсюда и впечатление. Я раскурил трубку и продолжал читать. Они повернули свои стулья друг к другу и возобновили разговор. Они обсуждали избрание приятельницы главой комитета, ведающего благотворительным турниром по бинго. Казалось, слушаешь одну из тех старомодных пьес, где для сведения публики два действующих лица сообщают друг другу о событиях, давно им известных.

Так продолжалось некоторое время. Делия заявила, что избрание некоей Доры — смехотворно. Дора, на прежнем высоком посту, начисто сорвала подготовку прощального чаепития для четы, переведенной в Панаму, и т. д.

— Она хочет всех расположить и для этого гадает по руке. Знаешь, что она сказала Джулии Хэкмен?

— Нет.— Перешептываются.— Алиса! Ты это придумала!

— Клянусь чем хочешь.

— Ну, какой ужас! — Театральный смех.

— Она на все готова, лишь бы о ней говорили. Сказала, что за ней один подглядывал, когда она мылась в ванной; тогда она распахнула окно и бросила ему в лицо намыленную губку — прямо в глаза.

— Алиса! Не может быть!

— Делия, она это сама рассказывает. Да она что угодно расскажет, лишь бы прославиться. Голоса зарабатывает. Фамилию-то ее все знают.

Теперь у меня была возможность незаметно разглядеть их. Делия была повыше подруги, статная брюнетка, но недовольная и даже с какой-то озлобленностью; я дал бы ей лет тридцать. Алиса была около полутора метров ростом, лет двадцати восьми. У нее было хорошенькое острое птичье личико, бледность которого говорила о плохом здоровье. Из-под шляпы выбивались пряди тусклых соломенных

волос. Но все это оживляли черные умные глаза и, видимо, отчаянная жажда получить от жизни удовольствие. Недостатков у нее было два: при ее природном уме люди менее смышленые постоянно вызывали у нее раздражение; другим недостатком была невидная фигурка, объяснявшаяся, по-видимому, как и бледность, плохим питанием в детстве. Несмотря на разницу в возрасте, верховодила в этой паре Алиса.

Они осушили свои бокалы. Почти не глядя на них, я спросил вполголоса:

— Могу я предложить дамам пива?

Они смотрели друг на друга окаменев — как будто то, что они услышали, *даже повторить нельзя.* На меня они не смотрели. В полной мере выявив дерзость моего захода, Делия выступила с ответом. Она опустила голову и без улыбки прошептала:

— Очень любезно с вашей стороны.

Я встал, чуть слышным голосом дал заказ официанту и углубился в книгу.

Условность! Условность! Эта строгая властительница всякого человеческого сообщества — от Ватикана до приютской песочницы — особенно сурова с «береговыми вдовами», ибо от их поведения зависит и карьера моряка. За нами наблюдали. Нас взяли на прицел. Условность требовала, чтобы мы не улыбались друг другу. Не дай бог, подумают, что нам весело, ибо в придирчивой морали зависть играет не последнюю роль. Когда пиво было подано, женщины слегка кивнули и продолжали разговор. Но прежде чем я вернулся к книге, глаза Алисы встретились с моими — великолепные черные глаза, которые достались рано старящемуся воробышку. Кровь во мне заиграла. Через несколько минут я нарочно пролил пиво на стол.

— Прошу прощения, дамы,— сказал я, промокая пиво платком.— Извините меня. Видно, пора завести очки. Я вас не облил?

— Нет. Нет.

— Я бы никогда не простил себе, если бы испортил вам платья.— Я сделал вид, будто оттираю полу пиджака.

— У меня тут шарф,— сказала Делия.— Он старый. Вытритесь им. Он легко отстирывается.

— Спасибо, спасибо, мадам,— серьезно сказал я.— Нельзя читать в таких местах. Это вредно для глаз.

— Да, да,— сказала Алиса.— Мой отец читал запоем, даже ночами. Это ужас.

— Да, книжку лучше спрятать. Ей-богу, глаза мне еще пригодятся.

Чинность наша удовлетворила бы самого строгого критика.

Алиса спросила:

— Вы живете в Ньюпорте?

— Да, мадам. Семь лет назад, во время войны, я служил в форте Адамс. Город мне понравился, и я опять приехал — искать работу. Работаю на участке в одном доме.

— На *участке?*

— Я вроде разнорабочего: печки, листья, приборка — всякое такое.

У военных «приборка» — вид наказания, напоминающего каторжные работы; но они решили, что я штатский, и поэтому просто растерялись. Делия спросила:

— Вы живете там, где работаете?

— Нет, живу я сам по себе, в квартирке недалеко от Темза-стрит — вернее, не сам по себе, потому что у меня большая собака. Меня зовут Тедди.

— Собака? У-у, я люблю собак.

— У нас на базе собак держать не разрешают.

Собаку я выдумал. В Америке есть миф, распространяемый кинематографом, что если человек держит *большую* собаку и курит трубку, это достойный человек. События развивались быстро. Я только одного не дал им понять: кто из них мне нравится больше. Мы-то с Алисой знали, но Делия не отличалась сообразительностью.

— Могу я пригласить дам на девятичасовой сеанс в «Оперу»? Оттуда я бы отвез вас домой на такси.

— Ах, нет... Спасибо.

— Это слишком поздно.

— Ах, нет!

Я мог бы поклясться на целой пачке Библий, что Делия толкнула ногой ногу Алисы и Алиса толкнула ногой Делию, согласно условленному коду. Делия сказала:

— Ты иди, Алиса. Мы выйдем с тобой, а джентльмен встретит тебя где-нибудь подальше на улице.

Алиса была в ужасе:

— Что ты выдумала, Делия!

— А что? — поднявшись, величественно ответила Делия.— Мыслям не прикажешь. Я пошла в комнату для девочек. Вы меня извините. Я на минуту.

Мы с Алисой остались одни.

— Вы, наверное, с Юга,— сказал я, впервые за вечер улыбнувшись.

Она не улыбнулась — наоборот, она обожгла меня взглядом. Она подалась вперед и заговорила тихим голосом, но очень отчетливо:

— Не улыбайтесь! Через несколько минут мне придется познакомить вас с нашими девушками. Я скажу, что вы врач, так что будьте готовы — пожалуй, скажу, что вы старый приятель мужа. В Панаме бывали?

— Нет.

— В Норфолке, Виргиния?

— Нет.

— Так где же вы были всю жизнь? Скажу, в Норфолке... Делия в город не пойдет — на той неделе возвращается ее муж, и она ходить боится. *Перестаньте улыбаться!* Это серьезный разговор. Когда мы с Делией будем уходить, вы с нами попрощаетесь. Через пять минут тоже выходите — кухней и черным ходом. Потом идите по дороге — не к Ньюпорту, а в другую сторону,— я вас встречу у трамвайной остановки напротив пекарни Олли.

Эти указания были даны так, как будто она на меня очень сердилась. Я начал кое-что понимать. Что бы дальше ни произошло — это будет опасно.

— Когда я с вами буду прощаться, как мне вас звать?

— Алиса.

— Как зовут вашего мужа?

— Ну, Джордж, конечно.

— Понятно. Я — доктор Коул.

От напряженного руководства и от досады на мою глупость Алиса раскраснелась.

Вернулась Делия. Время от времени женщины здоровались с кем-то из публики. Алиса повысила голос:

— Здравствуй, Барбара, здравствуй, Феба. Я хочу вас познакомить с доктором Коулом, старым приятелем Джорджа.

— Очень приятно.

— Очень приятно познакомиться с вами, Барбара... и с вами, Феба.

— Представляете, Джордж просил его, если он будет в Ньюпорте, позвонить мне. Он позвонил и договорился, что встретится со мной здесь... Здравствуй, Мэрион, познакомься с доктором Коулом, старым приятелем Джорджа... И вот мы с Делией сидим и стараемся угадать, кто тут похож на доктора. Представляете положение? Здравствуй, Аннабелла, познакомься с доктором Коулом, старым приятелем Джорджа, он тут проездом. Он пригласил нас с Делией в кино, но мы, конечно, не можем — и поздно уже, и вообще. Он познакомился с Джорджем в Норфолке еще до меня. Джордж мне рассказывал, что у него есть приятель — доктор. Вы и тогда уже были доктором, Тедди?

— Я учился на последнем курсе в Балтиморе. В Норфолке у меня родственники.

— Подумать только! — сказали Барбара и Мэрион.

— Какое совпадение! — сказала Феба.

— Мир тесен,— сказала Делия.

— Ну, вам, наверное, хочется поговорить о былом,— сказала Барбара.— Рада познакомиться с вами, доктор.

Я встал. Женщины отошли, чтобы посудачить.

— Теперь это пойдет как степной пожар,— сказала Делия.

Алиса встала:

— Допивай свое пиво, Делия. Я пойду поправлю шляпу.

Теперь мы с Делией остались одни.

— Алиса говорит, ваш муж возвращается через неделю? Поздравляю.— Делия посмотрела на меня долгим взглядом и отмахнулась.— Его долго не было?

— Семь месяцев.

— Представляю, сколько волнений.

— Вот именно!

— На каком он корабле?

— У них четыре эсминца... Больше двухсот человек экипажа — и все живут здесь.

— Делия, у вас есть дети?

— Трое.

— А для них какая радость!

— Им не привыкать. Я их отвожу к матери. Она живет в Фолл-Ривере. Мне повезло.

— Не понимаю.

— Доктор, когда они сходят на берег, мы их встречаем и машем им. Понятно? Они целуют нас и так далее. Потом мы идем домой и ждем их. А они идут прямо на Долгий причал.

— А-а...

— Вот вам и «а-а».

Кое-что стало ясно. Улисс вернулся домой инкогнито. Никаких объятий со слезами. Они напиваются в лоск на Долгом причале. Зрелище не для детей. Встреча требует больше мужества, чем расставание. Всевышний создавал институт брака не в расчете на долгую разлуку.

— У Алисы есть дети?

— У Алисы? У Алисы с Джорджем?

— Да.

(Это характерно для таких поселений, как морская база: их жители считают, что местные обычаи и дела как раз и есть центр вселенной; тот, кто не знает их, просто глуп.)

— Пять лет женаты, а детей нет. Алиса вне себя.

— А Джордж?

— Говорит, что слава богу,— и пьет.

— Джордж когда возвращается?

— Он здесь.— Я уставился на нее.— Неделю назад вернулся. Пробыл здесь три дня. Потом поехал в Мэн помочь отцу на ферме. Им дали три недели отпуска. Он скоро вернется.

— Джорджа здесь любят?

Все, что я говорил, ее раздражало. В некоторых слоях общества вопрос «любят — не любят» — если не говорить о законченных злодеях — просто не возникает. Твои соседи, в том числе и твой муж, просто есть — как погода. Они — то, что в математике называется «дано».

— Джордж — ничего. Пьет, конечно, а кто не пьет? — Она имела в виду мужчин. Мужчинам положено пить — это мужественно.— Если Алиса пойдет с вами в кино, смотрите, чтобы она вернулась не позже часу.

— А что будет, если она вернется позже часу?

Взгляд Делии говорил, что терпение ее истощилось. Возвращаются ведь жены позже часа, когда гостят у родителей,— ну, поезд опоздал или что-нибудь еще?

— Убить не убьют, если вы об этом. Но припомнят.— О, это грозное безличное «припомнят».— По-моему, Алиса никогда не задерживалась позже одиннадцати, так что могут и не заметить. Вы задаете чересчур много вопросов.

— Я знаю — более или менее — только береговую артиллерию. А про флот ничего не знаю.

— Ну, так флот лучше всех, учтите.

— Извините, если я вас рассердил, Делия. Я не нарочно.

— Я не сержусь,— отрезала она. Потом она посмотрела мне в лицо и что-то процедила сквозь зубы — что, я не понял.

— Я вас не расслышал.

— Больше всего на свете Алиса хочет одного. Дайте ей это.

— Что?.. Что?

— Ну, ребенка, конечно.

Я опешил. Потом очень заволновался.

— Это она вам велела сказать?

— Да нет, конечно. Вы не знаете Алису.

— Алиса ходила с другими за этим в город?

Я так разгорячился, что толкнул ее коленом под столом. Мне виделись войска и парады.

— Примите свое колено! Она только на прошлой неделе решилась. В тот вечер, когда Джордж уехал в Мэн, мы с Алисой пошли в «Оперу» смотреть фильм. Она разговорилась с соседом. Картина им не понравилась, и они пошли куда-нибудь поесть. Она мне шепнула, чтобы я ее не ждала. Потом она рассказала, что у этого человека была своя лодка на причале возле яхт-клуба. Она пошла с ним, но в лодку не полезла. Говорит, когда они шли, Иисус предостерег ее, что этот человек — бутлегер, контрабандист, он ее свяжет, запустит мотор, и она надолго застрянет на Кубе. Она не пошла по трапу, а когда он стал ее тащить, закричала, стала звать береговой патруль. Он ее отпустил, и она чуть не до самого дома бежала.

— Поклянитесь, что говорите правду.

— Вы мне колено ушибли! На нас все смотрят!

— Поклянитесь!

— В чем поклясться?

— Что говорите правду.

— Клянусь богом!

— И Алиса не узнает, что мне это известно?

— Клянусь богом!

Я откинулся в изнеможении, потом снова наклонился к ней.

— Джордж будет думать, что это его ребенок?

— Он будет самым счастливым человеком на базе.

Вернулась Алиса. Она не зря прихорашивалась — в воздухе засверкали искры.

— Ну, Делия, уже поздно. Пора идти. Рады были встретиться с вами, доктор Коул. Я расскажу Джорджу.

— До свидания, девушки. Я ему напишу.

— Он огорчится, что разминулся с вами.

Каждая из этих реплик повторялась несколько раз. Я сообразил, что рукопожатия будут излишни. Оставшись один, я заказал еще пива, снова раскурил трубку и стал читать. За мой стол сели другие. Когда подошло время, я сделал, как велела Алиса, и крадучись обогнул ресторан, чтобы забрать велосипед. Алиса ждала на трамвайной остановке. Отойдя от меня и почти не повернув головы, она сказала:

— Я сяду впереди. Может, вы поедете на Вашингтон-сквер на велосипеде?

— Нет. Ночью разрешают ехать с велосипедом на задней площадке.

— В кино я не хочу. Я знаю тихий бар, там можно поговорить. Около телеграфа. Если в трамвае будут знакомые, скажу, что еду на телеграф получить перевод от матери. Вы идите за мной по Темза-стрит, но поотстав на квартал.

— Моя квартира всего в нескольких кварталах от телеграфа — может, пойдем ко мне?

— Я не говорила, что мы пойдем к вам! С чего вы взяли?

— Вы сказали, что любите собак.

— Бар называется «Якорь». Пока я буду говорить с телеграфистом, ждите меня в «Якоре» прямо возле двери. Без кавалеров туда не пускают.— Она посмотрела на меня свирепым взглядом.— Это очень опасно, но мне все равно.

— Ах, Алиса, может быть, прямо пойдем ко мне? У меня есть немного виски.

— Сказано вам! Я еще не решила.

С лязгом и скрежетом подъехал трамвай. Алиса чинно вошла и уселась на переднем сиденье. На остановке «Перекресток первой мили» в вагон вошли ее знакомые — флотский старшина с женой.

— *Алиса, дорогая, куда ты?*

Алиса разразилась целой повестью, полной бедствий и чудес. Ее слушали разинув рты. На Вашингтон-сквере все пассажиры вышли. Друзья всячески старались ее подбодрить. «Ничего, все будет хорошо. Спокойной ночи, дорогая. В следующий раз, когда увидимся, все нам расскажи».

Я снова выполнил ее инструкции. Через большое окно телеграфа я видел, как она рассказывает очередную душераздирающую историю дежурному. Наконец, она решительно направилась ко мне, постукивая каблуками по кирпичному тротуару. Вдруг посреди улицы к ней пристали два подгулявших матроса. Алиса ухитрилась сделать три вещи одновременно: подала мне знак скрыться в «Якоре», повернула обратно, словно забыла что-то на телеграфе, и уронила сумочку.

— Алиса, киса! Как ты в город забрела?

— Алиса, а где Джордж? Где наш Джорджи, старый негодяй?

— Боже мой, я потеряла сумочку. Мистер Уилсон, помогите мне найти сумочку. Ой, наверно, забыла на телеграфе. Какой ужас! Я умру! Мистер Вестервельдт, помогите мне найти сумочку.

— Вон она где. Гляди! А за это поцелую — один разок, а?

— Мистер Уилсон! Вот уж не ожидала от вас! На этот раз я Джорджу не скажу, но больше так не говорите. Я ужасно спешила, чтобы отправить перевод *сегодня*, до закрытия. Мистер Вестервельдт, пожалуйста... уберите... вашу... руку. За мной по Темза-стрит шел береговой патруль. По-моему, вам лучше свернуть на Спринг-стрит. Уже десятый час.

Военным морякам ходить по Темза-стрит не разрешалось. Они последовали ее совету и побрели в гору.

С застывшим лицом она решительно вступила в «Якорь», взяла меня под руку — женщин без кавалеров не пускают в таверны на северной стороне Темза-стрит — и повлекла к последней кабинке в глубине зала. Она села у стены, съежилась, сразу став маленькой, как ребенок, и прошептала сквозь зубы:

— Уф, пронесло. Если бы они увидели меня с вами, не знаю что было бы.

Я прошептал:

— Что вам заказать?

На меня опять посмотрели как на слабоумного. Она опустила голову и сказала:

— Ну, «Ромовый поплавок», конечно.

— Алиса, поймите, наконец, я не моряк. Я не знаю морского языка. Пожалуйста, не ведите себя, как Делия. Я не глупый; я просто не сведущий, я не был ни в Норфолке, ни в Панаме. Зато бывал в местах поинтересней.

Она удивилась, но промолчала. Молчала Алиса внушительно; пользуясь школьным выражением — слышно было, как «шарики перекатываются». «Ромовые поплавки» оказались ромом с имбирным пивом — сочетание, которого я не выношу. Она набросилась на свой, словно умирала от жажды.

— Как было в Панаме?

— Жарко... не так, как здесь.

— А что вы делали в Норфолке?

— Работала официанткой в ресторанах.— Она сделалась угрюмой. Я ждал, когда подействует ром. Глядя прямо перед собой, она сказала: — Напрасно я пришла... Вы мне весь вечер врали. Вовсе вы не «прибираете» в этих домах — вы там живете. Вы сами из богатых. Я знаю, что вы обо мне думаете, *доктор Коул*.

— *Вы* мне велели назваться доктором. *Вы* мне велели назваться старым приятелем вашего мужа. Я не богатый. Я учу детей играть в теннис. За это много не платят, можете мне поверить. Не будем ссориться, Алиса. По-моему, вы очень умная женщина — и очень привлекательная. Глаза у вас, например, потрясающие. Вы — натура такая яркая, что от вас все время исходят электрические разряды, как от дверной ручки перед грозой. Алиса, не будем ссориться. Возьмем еще по «Ромовому поплавку», и я отвезу вас к воротам на такси. На площади такси стоят и день и ночь. А что я приглашал вас к себе — выкиньте из головы. Черт подери, я думаю, мы достаточно взрослые люди, чтобы просто быть друзьями. Я вижу, вас что-то огорчает. Забудьте ваши огорчения, пусть они останутся на базе.

Она смотрела на меня безотрывно.

— Что вы на меня смотрите?

— Когда я смотрю на мужчину, я стараюсь сообразить, на какого киноартиста он похож. Почти всегда нахожу сходство. А вы ни

на одного не похожи. Знаете, вы не очень-то красивый. Я говорю не для того, чтобы обидеть; просто это — правда.

— Я знаю, что я некрасивый, но вы не можете сказать, что у меня гнусное, хамское лицо.

— Нет.

Я привлек внимание бармена и поднял два пальца. Потом спросил:

— А на какого киноартиста похож ваш муж?

Она резко повернулась ко мне:

— Не скажу. Он очень интересный мужчина и очень хороший человек.

— Я же не сказал, что нет.

— Он спас мне жизнь, я его люблю. Мне очень повезло... Ох, если бы моряки увидели нас вместе, это было бы ужасно. Я бы себе никогда не простила. Я бы просто умерла, вот и все.

— Что значит — Джордж спас вам жизнь?

Она задумчиво смотрела в пустоту.

— Норфолк страшный город. Хуже Ньюпорта. Меня выгнали из пяти ресторанов. Ужасно трудно было удержаться на работе. На каждое место — миллион девушек. Джордж начал вроде как ухаживать за мной. Приходил и садился всегда за мой столик. Каждый раз оставлял двадцать пять центов!.. Хозяева в ресторанах всегда норовили попользоваться официантками; даже клиентов не стеснялись. Я не хотела, чтобы Джордж такое видел... и когда я совсем уже отчаялась, он сделал мне предложение. И дал двадцать пять долларов — чтобы оделась получше, потому что брат его там же служил. Джордж знал, что он обо мне домой напишет. Я всем обязана Джорджу.— Вдруг она погладила меня по руке.— Я не хотела вас обидеть, когда это сказала. Совсем у вас не гнусное лицо. Я часто говорю такое, что...

Вдруг Алиса исчезла. Она соскользнула со скамьи и съежилась под столом. Я оглядел и увидел, что в зал вошли двое матросов с повязками берегового патруля. Они приветливо поздоровались со многими посетителями и, прислонившись к бару, стали подробно обсуждать какой-то скандал, случившийся вчера вечером. Посетители включились. Беседе, казалось, не будет конца. Вскоре я почувствовал, что мою щиколотку царапают чьи-то ноготки. Я нагнулся и сердито откинул невидимую руку. Бывают мучения, которые человек не в силах перенести. Я услышал смешок. Наконец береговой патруль покинул «Якорь». Я шепнул: «Они ушли»,— и Алиса взобралась на скамью.

— Вы их знаете?

— *Их-то!*

— Алиса, вы всех знаете. Решайте поскорее — отвезти мне вас на базу или вы зайдете ко мне.

Она посмотрела на меня без всякого выражения:

— Я не люблю больших собак.

— Я вас обманул. Нет у меня никакой собаки. Зато есть для вас хорошенький подарок.— У меня было три сестры младше меня. Девушки обожают подарки, особенно неожиданные.

— Какой?

— Не скажу.

— Где вы его взяли?

— В Атлантик-Сити.

— Ну, намекните хотя бы.

— Он ночью светится, как большой светляк. И если вам ночью станет одиноко, он вас будет утешать.

— Это картинка с Христом-младенцем?

— Нет.

— Ох!.. Часики!

— Мне не по карману дарить часы со светящимся циферблатом... Он величиной с подушечку для иголок. Симпатичный.

— Это такая штука, которой прижимают бумаги.

— Да.

— А обручального кольца у вас нет.

— В тех краях, откуда я родом, их носят только католики. Да и женат я никогда не был.

— Если я к вам пойду, вы не будете распускаться и вообще?

Настал мой черед посмотреть на нее пристальным, непроницаемым взглядом.

— Если мне не будут царапать лодыжку.

— Мне просто надоело сидеть на полу.

— Ну, могли бы помолиться.

Она смотрела перед собой в глубокой задумчивости. Слышно было, как «перекатываются шарики». Она прислонилась к моему плечу и спросила:

— А к вам можно дойти кружным путем?

— Да. Дайте только рассчитаюсь. А потом идите за мной.

Мы пришли к дому и взобрались по наружной лестнице. Я открыл дверь, включил свет и сказал:

— Входите, Алиса.

— О-о, большая!

Я положил пресс-папье на стол посреди комнаты и сел. Она как кошка обошла комнату, разглядывая все подряд. И с восхищением что-то приговаривала. Наконец, она взяла пресс-папье — вид променада в Атлантик-Сити, украшенный блестками слюды, под прозрачным куполом.

— Вы это хотели мне подарить? — Я кивнул.— Он не... светится.

— Он и не может светиться — даже при самом слабом дневном или электрическом свете. Ступайте в ванную, закройте дверь, выключите свет, закройте глаза минуты на две, потом откройте.

Я ждал. Она вышла, бросилась ко мне на колени и обняла меня за шею.

— Мне больше никогда не будет одиноко.

Она прошептала мне что-то на ухо. Мне показалось, что я расслышал, но я не был в этом уверен. Ее губы были слишком близко — может быть, робость приглушила слова. Мне послышалось: «Я хочу ребенка». Но мне нужно было подтверждение. Взяв ее за подбородок, я немного отодвинул ухо от ее губ и переспросил:

— Что вы сказали?

И в этот миг она что-то услышала. Как собака слышит звук, неслышный нам, как куры (мальчиком я работал на фермах) видят далекого ястреба, так и Алиса что-то услышала. Она соскользнула с моих колен и сделала вид, будто поправляет прическу; потом взяла шляпу и — до чего же находчивая артистка! — нежно сказала:

— Мне, пожалуй, пора идти. Уже поздно... Вы серьезно сказали, что я могу взять эту картинку?

Я сидел не шевелясь и наблюдал за ее игрой.

Сказал я что-нибудь обидное? Нет.

Неподходящий жест? Нет.

Звук в гавани? Ссора на улице? Соседи-жильцы?

В 1926 году изобретение, называемое радио, постепенно оккупировало и дома моего района. Теплым вечером из открытых окон тянулась паутина музыки, красноречия, драматических и комических

диалогов. Я привык и уже не слышал этого, и Алиса тоже наверняка привыкла у себя на базе.

— Вы были очень хороший. Мне страшно нравится ваша квартира. И ваша кухня.

Я встал.

— Ну что ж, если вам надо идти, Алиса, я провожу вас до площади и заплачу за такси, чтобы вас отвезли прямо к воротам. Вы же не хотите встретить еще кого-нибудь из миллиона ваших знакомых.

— Сидите на месте. Трамваи еще ходят. Если кого-нибудь встречу, скажу, что была на телеграфе.

— Я бы мог вас проводить без всякого риска по Спринг-стрит. Там темнее, и береговой патруль уже, наверно, все подчистил. Сейчас, только заверну пресс-папье.

Миссис Киф обставила мою комнату по своему вкусу, который требовал разнообразных скатерочек, шелковых подстилочек, кружевных салфеточек под вазы и тому подобного. Я взял салфетку и завернул в нее подарок. Открыл дверь. Алиса совсем присмирела и первой стала спускаться.

И тут я услышал другую музыку, ускользнувшую от моего слуха, но не от ее. Этим летом деревянный домик по соседству превратился в Миссию Святого духа — молельню истовой евангелистской секты. Шло молебствие. Работая на фермах в Кентукки и Южной Калифорнии, я часто посещал подобные собрания на открытом воздухе и знал многие гимны, редко звучащие в городских церквах. Да, гимны эти были в крови мальчиков и девочек, выросших в сельских районах Западной Виргинии, где радения — ось религиозной и общественной жизни, а также главное «развлечение». Алиса услышала гимн, который поют перед тем, как «вручают свою жизнь Христу»: «Не поддавайся искушению — рядом Христос».

Мы пошли вверх, к Спринг-стрит. Улица была пуста, я ускорил шаги и нагнал Алису. Она плакала. Я взял ее крохотную руку в свою.

— Жизнь тяжела, милая Алиса.

— Тедди?

— Да?

— Вы верите в ад?

— В какой ад, Алиса?

— Что, если мы плохо поступаем, мы попадем в ад? Когда я была девочкой, я очень плохо себя вела. Когда я жила в Норфолке, мне приходилось плохо поступать. У меня был ребенок, теперь его нет. Еще до того, как я познакомилась с Джорджем,— но я ему рассказала. Когда я вышла за Джорджа, я больше не делала ничего плохого. Честное слово, Тедди. Я вам говорила: Джордж спас мне жизнь.

— Джордж когда-нибудь вас ударил, Алиса?

Она быстро взглянула на меня.

— Сказать правду? Ладно, скажу. Когда он возвращается из долгого плавания, он напивается и бьет меня. Но злости у меня нет. У него есть причина. Он знает, что... что не может сделать ребенка. Он живет со мной, но дети не рождаются. Вас бы это не огорчало?

— Продолжайте.

— Я иногда думала, не родить ли от другого человека, чтобы Джордж не знал. По-моему, если изредка встречаешься с другим мужчиной, ничего тут особенного нет... Хоть это и обман, Джордж бы только радовался. Он хороший человек. Раз ему хочется стать отцом, это ведь не будет очень большой грех, правда? Прелюбодейство, как в Библии называется. Иногда мне кажется, я бы надолго отправилась в ад, чтобы сделать Джорджа счастливым.

Я все время держал ее за руку. Очутившись на Вашингтон-сквере,

мы перешли улицу и сели на скамейку, подальше от фонарей. Я сказал:

— Алиса, мне стыдно за вас.

Она быстро спросила:

— Почему стыдно?

— Вы — зная, что сердце Христа вмещает в себя целый мир,— вы думаете, что Христос отправит вас в ад за маленький грех, который сделал бы Джорджа счастливым, или за маленький грех, который вам пришлось совершить, чтобы выжить в жестоком городе Норфолке.

Она прислонилась головой к моему плечу.

— Не стыдитесь меня, Тедди... Поговорите со мной... Когда я сбежала из дому, отец написал, что не желает меня видеть, покуда у меня на пальце не будет обручального кольца. Когда я написала ему, что вышла замуж, он опять передумал. Написал, что вообще не желает видеть потаскуху в своем доме.

Не буду излагать здесь, что я сказал Алисе почти пятьдесят лет назад. Я напомнил ей кое-какие слова Христа — и, может быть, кое-какие выдумал. А потом сказал:

— Я больше ничего говорить не буду.— Рука ее в моей руке немного успокоилась. Слышно было, как «перекатываются шарики».

Она сказала:

— Пойдемте к фонарю, я хочу вам что-то показать.

Мы пересели на другую скамью. Она вынула что-то из сумочки, но мне не показывала.

— Тедди, я всегда ношу медальон на цепочке, но сегодня, когда мы с Делией уходили, я его сняла. Сами понимаете, кто мне его подарил.

Я посмотрел на фотографию в медальоне. Она была сделана несколько лет назад. Матрос лет восемнадцати — он мог бы послужить моделью для любого плаката с приглашением во флот — смеялся в объектив, одной рукой обнимая Алису. Я представил себе, как это было: «Дамы и господа, подходите! Всего двадцать центов за снимок, и доллар за медальон с цепочкой. Вот вы, двое — молодость бывает только раз. Не упустите случай».

Я смотрел на снимок.

Она смотрела на снимок.

Она опять прошептала мне на ухо:

— Я хочу ребенка — для Джорджа.

Мы встали и пошли ко мне. У лестницы я сказал:

— Очень важно, чтобы Джордж не узнал. В этом весь смысл. Делия не проговорится?

— Нет.

— Вы уверены?

— Да. Делия понимает, как это важно. Она мне сколько раз говорила.

— Алиса, я не знаю вашей фамилии, и вы не знаете моей. Мы больше не будем встречаться.— Она кивнула.— Два раза за нынешний вечер вы были на волоске. Вы можете ходить к «Маме Карлотте» — меня там больше не будет.

Через два часа мы вернулись на площадь. Она заглянула за угол, как будто мы ограбили банк. Шепнула: «Кино кончилось» — и захихикала.

Я оставил ее в подъезде и пошел за такси. Я спросил шофера, сколько стоит доехать до Перекрестка первой мили.

— Пятьдесят центов,— ответил он.

Я вернулся и дал ей полдоллара и двадцать центов.

— А что вы скажете — где вы были?

— Как называется это место, где пели гимны?

Я сказал ей.

— Я постою здесь на углу, пока вы не уедете.

Она поцеловала кончики пальцев и приложила к моей щеке.

— Я, пожалуй, не возьму эту картинку Атлантик Сити.

Она отдала мне пресс-папье. Потом пошла было к такси, но вернулась и сказала:

— Мне ведь больше не будет по ночам одиноко, правда?

И уехала.

Я вдруг подумал: «Конечно, с Пенелопой рядом все эти двадцать лет рос Телемах».

12

«Олений парк»

Эту главу можно было бы назвать «Шаман, или Le Médecin malgré lui» [1].

Однажды я нашел в моем ящике на почте записку с просьбой позвонить по телефону некоей миссис Йенс Скиил по такому-то номеру, в любой день с трех до четырех.

— Миссис Скиил, с вами говорит мистер Норт.

— Добрый день, мистер Норт. Спасибо, что позвонили. Друзья с большой похвалой отзывались о том, как вы читаете детям и взрослым. Не найдется ли у вас время почитать по-французски с моей дочерью Элспет и сыном Артуром? Элспет семнадцать лет, она милая, умная девочка. Нам пришлось забрать ее из школы, потому что она страдает мигренями. Она скучает по школе и особенно по урокам французской литературы. Мои дети учились в Нормандии и в Женеве. Оба хорошо говорят и читают по-французски. Они обожают басни Лафонтена и хотят прочесть с вами всю книгу... Да, у нас есть несколько экземпляров... Да, в начале дня нам очень удобно... С одиннадцати до половины первого, понедельник, среда и пятница — да. Можно послать за вами машину?.. Ах, вы предпочитаете на велосипеде... Мы живем в «Оленьем парке» — вы знаете, где это?.. Хорошо! Значит, можно сказать детям, что завтра вы будете?.. Большое вам спасибо.

«Олений парк» знали все. Отец нынешнего мистера Скиила, датчанин, был судовладельцем. Он создал свой «Олений парк» не в подражание знаменитому копенгагенскому, а как любовное напоминание о нем. Я часто слезал с велосипеда перед высокой чугунной решеткой, охватывавшей широкий луг, который упирался в низкий утес над морем. Под роскошными ньюпортскими деревьями мелькнет бывало то олень, то кролик, то павлин — но, увы, Лафонтен! — ни лисицы, ни волка, ни даже осла.

Миссис Скиил встретила меня в холле. «Элегантность» — слишком пышное слово для такого совершенства. Она была в сером шелковом платье, с серыми жемчугами на шее и в ушах. Изысканность, прелесть — но и что-то еще: мука, скрытая под стоическим самообладанием.

— Вы найдете мою дочь на веранде. По-моему, ей будет приятнее, если вы представитесь сами... Мистер Норт, если вы вдруг за-

[1] Лекарь поневоле *(франц.)*.

метите, что она утомилась, вы не могли бы под каким-нибудь предлогом прекратить урок? Артур вам поможет.

Дочь — вся в мать; только там было страдание, а здесь — еще и крайняя бледность. Я обратился к ней по-французски.

— Мистер Норт, можно мы будем только читать по-французски? Говорить я устаю.— Она слегка прикоснулась к левой стороне лба.— Смотрите! Вон мой брат.

Я обернулся и увидел вдалеке мальчика лет одиннадцати, карабкавшегося по утесу. Я часто встречал его на кортах, хотя занимался он не у меня. Это был живой веснушчатый американский мальчик, каких часто изображают на бакалейных календарях рядом со стихотворением Уиттьера. Его звали Галопом, потому что второе имя у него было Гэллоп и потому что он очень быстро говорил и никогда не ходил шагом, если можно было побежать. Он подлетел к нам и резко остановился. Нас представили, и мы важно обменялись рукопожатиями.

— Мы ведь уже знакомы, Галоп,— сказал я.

— Да, сэр.

— Тебя и здесь так зовут?

— Да, сэр. Элспет зовет.

— Мне нравится. Можно и мне тебя так звать?

— Да, сэр.

— Ты тоже любишь басни?

— Мы с ним очень увлекаемся животными. Галоп часами наблюдает за приливным озерком. Он уже знает там некоторых рыбок и рачков и дал им прозвища. Мы с ним все обсуждаем вместе.

— Я очень рад, мисс Скиил, что вы хотите читать басни. Я довольно давно их не перечитывал, но помню, как восхищался ими в свое время. Они хоть и коротки, но значительны; скромны, но совершенны. Попробуем разобраться, как Лафонтен этого добивается. Однако прежде, чем начнем, будьте добры, позвольте мне немного освоиться в вашем красивом парке — и с вашими друзьями, которых я успел увидеть. Вас не утомит небольшая прогулка?

Она обернулась к медицинской сестре, которая как раз подошла:

— Мисс Чалмерс, можно мне сейчас пойти на утреннюю прогулку?

— Да, мисс Элспет.

Оленям был предоставлен павильон справа, под деревьями; кроличьи клетки образовали небольшой поселок; павлины владели вольером, часть которого служила и зимним убежищем.

— Может, нам захватить печенья?

— Смотритель кормит их несколько раз в день. От нас им ничего не надо. Лучше — так.

Олени следили за нашим приближением, потом медленно подошли поближе.

— Лучше не протягивать руки, пока они первые до нас не дотронутся.— Вскоре олени очутились перед нами, рядом с нами, между нами и позади нас. Мы прогуливались вместе. Даже оленята, лежавшие в тени дерева, поднялись на ноги и присоединились к шествию. Старые начали нас задевать и чуть-чуть подталкивать.

— Больше всего они любят, когда с ними разговаривают. По-моему, в их жизни главное — глаза, уши и нос. *Какая у тебя красивая дочка, Жаклина.* Я помню тебя такой же маленькой. *Смотри чтобы она не упала со скалы, как ты. Помнишь, тебе пришлось ходить в лубках и как они тебе не нравились?.. А-а, мосье Байяр, рога у вас растут быстро.* Они любят, когда их гладят по рожкам. Рожки, наверно, чешутся, когда обрастают бархатом. Кролики тоже ждут, когда

мы к ним зайдем. Они держатся подальше от оленей. Копыт не любят. *Фигаро, какой ты красавчик!* Олени скоро отойдут от нас — общество людей их утомляет... Видите, уже отходят... А четвертого июля на них смотреть жалко. Конечно, в них никто не стрелял, но у них, наверно, в крови память об охотниках — как вы думаете, может так быть?.. Еще рано, мы не увидим, как играют кролики. Когда восходит луна, они носятся как сумасшедшие.

— Мадемуазель, почему олени нас подталкивают?

— Мне кажется... может быть... Вы меня извините, если я на минутку присяду? Садитесь, пожалуйста, тоже. Галоп вам расскажет, что́ мы об этом думаем.

Я уже заметил, что по всему лугу расставлены парами бамбуковые кресла с широкими подлокотниками — в детстве я видел такие в Китае. Мы сели. Галоп ответил за сестру:

— Мы думаем, что надо вспомнить их врагов. У нас в передней есть картина...

— По-моему, это Ландсир.

— ...Олени и лани сбились в кучу, а их окружают волки. До того как на земле появились люди с ружьями, врагами оленей были волки и, может, люди с копьями и дубинами. Олени, конечно, теряли своих, но защищались, как там — вроде стеной из рогов. Они не любят, когда их ласкают и гладят; они любят держаться вместе. У кроликов по-другому. Заяц стучал по земле — предупреждал, что мы идем. Но если рядом нет укрытия, они застывают — «прикидываются мертвыми». У них и на земле есть враги, но больше всего они боятся ястребов. А ястребы охотятся в одиночку. И так, и этак, олени и кролики теряют своих...

— То, что я называю «заложники судьбы».

— Но они делают что могут для своего народа.

Элспет посмотрела на меня.

— Как вам кажется, правильно мы думаем?

Я посмотрел на нее с улыбкой:

— Я ваш ученик. Я хочу вас послушать.

— Ну, я только начинаю, пробую думать. Я стараюсь понять, почему природа такая жестокая и все же такая чудесная. Галоп, расскажи мистеру Норту, что ты видишь в озерке.

Галоп ответил с неохотой:

— Каждый день война. Это... это ужасно.

— Мистер Норт,— сказал Элспет,— почему должно быть так? Разве бог не любит мир?

— Нет, он, конечно, любит. Но поговорим об этом позже.

— Вы не забудете?

— Нет... Мадемуазель, вы когда-нибудь видели оленей в диком — ну, в естественном — состоянии?

— Как же! У моей тети Бенедикты есть домик в Адирондакских горах. Она всегда нас приглашает летом. Там можно встретить оленей, и лис, и даже медведей. И никаких заборов и клеток. Они на воле! И такие красивые!

— Этим летом вы поедете?

— Нет... Отец не любит, чтобы мы туда ездили. Кроме того, я не... я не совсем здорова.

— А что еще вы обсуждаете из жизни животных?

— Вчера мы долго говорили, почему у птиц природа поместила глаза по сторонам головы.

— И почему,— добавил Галоп,— у многих зверей голова пригнута к земле.

— Мы любим всякие ПОЧЕМУ,— сказала его сестра.

— И что вы решили?

Галоп, взглянув на сестру, избавил ее от труда отвечать:

— Мы знаем, что травоядным животным надо смотреть под ноги, на растения, а птицам надо бояться врагов со всех сторон; но мы удивляемся, почему природа не могла устроить лучше — ну, как глаза рачков в моем озерке.

— Думать потому трудно,— промолвила его сестра,— что надо думать о многих вещах сразу.

У нее была с собой книга басен. Книга упала с широкого подлокотника. (Или она ее столкнула?) Мы оба наклонились за ней. Наши руки встретились, и каждая потянула в свою сторону. Элспет судорожно вздохнула и зажмурила глаза. Потом открыла и, заглянув в мои, сказала с необычайной прямотой:

— Галоп говорит, что ваши ученики в казино говорят, будто у вас электрические руки.

Я, наверное, вспыхнул — и разозлился на себя за это.

— Это чепуха, конечно. Совершенная бессмыслица.

Чертовщина! Проклятье!

В Ньюпорте время от времени идет дождь. Случался он и в те два утренних часа, когда я обучал детей теннису в казино. Я никогда не занимался больше чем с четырьмя сразу — остальные ученики играли друг с другом на соседних кортах. Мы прятались от дождя в комнатах за галереей для зрителей. Ученики мои, в возрасте от восьми до четырнадцати лет, являли собой очень приятное зрелище — все в чистом, белом, воспитанные, брызжущие молодостью и энергией. Они окружали меня с криками: «Мистер Норт, расскажите нам еще о Китае!» или: «Расскажите нам еще что-нибудь вроде «Ожерелья» — я помню, как они примолкли и огорчались, слушая этот рассказ Мопассана. Зоркий Билл Уэнтворт — сам отец и дед — прекрасно знал, что дети в этом возрасте обожают сидеть на полу. Он расстилал парусину вокруг «учительского кресла». Галоп, хоть и не был моим учеником, присоединялся к кружку, и даже игроки старшего возраста нерешительно придвигали свои стулья. Именно там я впервые узрел Элоизу Фенвик и ради ее прекрасных глаз и ушек пересказал рассказ Чосера о соколе. А для Галопа я рассказал об открытии Фабра: как оса парализует личинку или гусеницу, а потом откладывает в нее яйца, чтобы она вскармливала будущее насекомое. Не Руссо ли заметил, что главная задача раннего образования — развить в ребенке способность удивляться?

Я не испытывал потребности ласкать окружавших меня детей. Я сам не люблю, когда меня трогают, но детям непременно надо гладить, трепать, щекотать и даже стукать старшего, который завоевал их доверие. Когда ливень кончался, меня тащили в разные стороны: кто на корты, кто назад — остаться и рассказать еще одну историю, потому что «трава мокрая». И один ребенок за другим объявлял, что у меня «электрические» руки, что с моих рук слетают искры. Я относился к этому строго. Я запрещал такие разговоры. «Глупости! Я больше не желаю это слышать». В один прекрасный день это перешло всякие границы. Когда они толпою ринулись на корт, девятилетнюю Аду Николс отбросили в сторону; она ударилась головой о столб и потеряла сознание. Я наклонился над ней, раздвинул волосы на том месте, где была шишка, и несколько раз произнес ее имя. Она открыла глаза, потом снова закрыла. Вся компания смотрела на нее с тревогой. Бормоча: «Еще! Еще!» — она притянула мои руки к своему лбу. Она бессмысленно улыбалась. Наконец, она радостно про-

говорила: «Меня загипностизировали» и затем: «Я — ангел». Я поднял ее и перенес в кабинет Билла Уэнтворта, который часто служил пунктом первой помощи. С этого часа я стал гораздо более строгим и деловитым тренером. Никаких рассказов «дядюшки Теофила». Никакого месмеризма.

Но слухи про Аду распространились.

В первой главе я уже говорил читателю, что обладаю неким даром, который не желаю признавать. Я неоднократно разнимал рассвирепевших собак; я мог успокоить обезумевшую лошадь. Во время войны, да и в мирной жизни, в барах и тавернах мне достаточно было положить руки на плечи задиристых людей и прошептать им несколько слов, чтобы установился мир. Иррациональное, необъяснимое меня не интересует. Я не мистик. Кроме того, я уже понял, что этот дар — «подлинный» он или нет — неизменно вынуждает меня выступать в роли, попахивающей мошенничеством и самозванством. Читатель знает, что я не чужд самозванства, но я желаю прибегать к обману тогда, когда мне хочется, а не тогда, когда меня вынуждают. Я хочу вносить в жизнь дух игры, а не верховодить другими. Не делать их смешными в моих собственных глазах.

И вот злосчастная басня о моих «электрических руках» опять всплыла в «Оленьем парке», в присутствии необыкновенной страдающей девушки и мальчика с острым умом.

ЧЕРТОВЩИНА!

ПРОКЛЯТЬЕ!

Два урока мы читали «Басни» и разбирали их по французской системе, называемой l'explication de texte [1].

Я готовился к занятиям до полуночи. Припомнил все литературоведческие банальности: с каким искусством автор возвышает обыденную речь до поэзии; какой энергии добивается, вставляя короткий стих между длинными (многие выдающиеся современники Лафонтена это осуждали); сколько иронии несет здесь героический александрийский стих; как выразительна простота концовок, где поэт выводит мораль.

Перед третьим уроком меня встретил один Галоп и сказал, что у сестры сегодня мигрень и она не сможет спуститься.

— Ну, а мы, Галоп, будем заниматься?

— Сэр, когда Элспет плохо... я не могу думать о книжках и всяких вещах. Мама просила передать, что мы заплатим, как всегда.

Я пристально посмотрел на него. Он действительно был очень огорчен.

— Галоп, может быть, тебя немного развлечет, если ты уделишь мне полчаса и покажешь свое озерко?

— Конечно, сэр. Элспет тоже хотела, чтобы я вам показал... сэр...— Он оглянулся на дом, что-то прикидывая.— Надо спуститься со скалы за домом смотрителя. Отец у себя, а он не хочет, чтобы я занимался озерком. Он... он хочет, чтобы я занимался делом,— ну, стал судовладельцем.

Мы пошли окольным путем, чуть ли не крадучись. Спускаясь к воде, я спросил его:

— Галоп, ты учишься в военной школе?

— Нет, сэр.

— Тогда почему ты величаешь меня «сэром»?

— Отец любит, чтобы я его так звал. Его отец был датским гра-

[1] Разбор текста *(франц.)*.

фом. Сам он не граф, потому что он американец, но он любит, когда важные люди зовут его «граф». И он хочет, чтобы мы с Элспет были похожи на его отца и мать.

— А, так вы должны быть настоящими леди и джентльменом?

— Да, с... с...

— У тебя бывают головные боли?.. Нет?.. Извини, что задаю столько вопросов. Сейчас ты мне все расскажешь про это озерко. А твоя тетя Бенедикта тоже — настоящая графиня?

— Ну, нет уж. Она нам все позволяет.

Мы встали на колени у озерка. Мы видели, как раскрываются, встречая прилив, анемоны; видели, как зловеще притаились в своих пещерах раки. Он показал мне чудеса защитной окраски: утонувшие палочки — не палочки, гальку — не гальку. Он показал мне, с какой яростью крохотная рыбка бьется за свою икру с хищниками во много раз больше ее. Я тоже воспрял духом от этого потока чудес. И одним из них был маленький профессор. Через полчаса я попросил его проводить меня к выходу. Когда мы встали, я сказал:

— Спасибо, сэр. Меня давно так не волновало соприкосновение с наукой — с тех пор, как я читал «Путешествие на корабле «Бигль».

— Мы считаем, что это самая лучшая книга на свете.

На лугу олени окружили нас, как будто все время нас дожидались. Они подталкивали меня и даже пихали из стороны в сторону. Я остановился и поговорил с ними по-французски. Галоп стоял в стороне и наблюдал. Когда мы пошли дальше, он сказал:

— Со мной они так не делают, и даже со смотрителем — то есть гораздо меньше. Только с вами и с Элспет... Они знают, что у вас электрические руки.

— Галоп! Галоп! Ты же ученый. Ты же знаешь, что этого не бывает.

— Сэр, у природы много тайн, правда?

Я не ответил. У выхода я спросил, не кажется ли ему, что сестре стало немного лучше. Он посмотрел на меня. Он старался не заплакать:

— Они говорят, что ей скоро ехать в Бостон на операцию.

Я попрощался с ним за руку, потом положил ему руку на плечо.

— Да... Да... У природы много тайн. Спасибо за напоминание.— Я наклонился к нему и сказал: — Одну ты скоро увидишь. Твоей сестре станет лучше. Зарубите себе на носу, доктор Скиил: зрение у вашей сестры в полном порядке и она может спуститься со ступенек вашей веранды, не теряя равновесия.

На следующем занятии Элспет выглядела гораздо лучше. Она вызвалась продекламировать басню, которую выучила наизусть. Я взглянул на брата — понял ли он значение этого успеха. Он понял.

Она сказала:

— Галоп, скажешь мистеру Норту, о чем мы вчера решили попросить?

— Мы с сестрой решили, что нам больше неохота читать басни... Нет, они нам очень нравятся, но теперь нам неохота... Нам кажется, они на самом деле не про животных; они про людей, а нам с сестрой не нравится, когда на животных...

Он посмотрел на нее. Она сказала:

— ...Смотрят как на людей. Мы перечли десять самых знаменитых басен и подчеркнули места, где Лафонтен на самом деле присматривается к лисице, к голубю и вороне... и оказалось, их очень мало. Нет, он замечательный, но вы велели Галопу читать Фабра.

И мама выписала книги из Нью-Йорка — не знаю, читали ли мы что-нибудь лучше.

Наступило молчание.

С легким жестом, намекающим на самоустранение, я сказал:

— Ну, чтобы читать Фабра, я вам не нужен.

— Мистер Норт, мы с вами поступили не совсем честно. Галоп убедил маму попросить вас, чтобы вы с нами читали. Галоп хотел, чтобы я с вами познакомилась. Вообще-то мы хотим, чтобы вы просто приходили и разговаривали с нами. Вы не откажетесь? Мы будем делать вид, будто читаем Лафонтена.

Я серьезно смотрел на них, по-прежнему с таким видом, как будто собираюсь встать.

Она храбро добавила:

— И он хочет, чтобы вы положили руки мне на голову. Он рассказал мне про Аду Николс. А у меня почти все время — такая боль... Вы положите мне руки на лоб?

Галоп смотрел на меня еще напряженней, еще настойчивей.

— Мисс Элспет, не годится мне это делать без разрешения вашей медицинской сестры.

Как и прежде, она поманила мисс Чалмерс, и та подошла. Я встал и спустился с веранды на несколько ступенек. Я услышал слова мисс Чалмерс о том, что... «даме неприлично... не могу взять на себя ответственность за такое неподобающее поведение... Вы моя пациентка, и я не хочу, чтобы вы возбуждались... Но если вы настаиваете, вы должны спросить у своей матери. Если она спросит меня, я должна сказать, что решительно не одобряю... Мне кажется, эти занятия вам очень вредят, мисс Элспет».

Мисс Чалмерс удалилась, кипя негодованием. Галоп встал и ушел в дом. Он долго отсутствовал. Я решил, что маме впервые рассказывают о происшествии с Адой Николс. Пока мы ждали, я спросил Элспет, в какой школе она училась и нравилось ли ей там. Она назвала один из самых знаменитых пансионов.

— Все время надо помнить, как ты должна себя вести. Все равно что в клетке — дрессируют, чтобы ты стала дамой... как лошадей вальсу учат... В горах у тети Бенедикты можно встретить настоящего оленя, на воле. Когда олень прыгает, нет ничего на свете красивей, а эти олени никогда по-настоящему и не прыгали. Тут ни места, ни причины нет, чтобы прыгать, правда?.. Мистер Норт, вам когда-нибудь снится, что вы в тюрьме?

— Да, снится. Хуже сна не придумаешь.

— На будущий год отец хочет, чтобы меня, как у них говорится, «вывезли в свет». По-моему, это — не вывезти, а увезти от него. Девочки в школе рассказывали про рождественские и пасхальные каникулы — три бала в вечер и чаепития с танцами... молодые люди стоят стеной и все время на тебя смотрят. Как в зоопарке — правда? Только подумаешь об этом, и голова начинает болеть. А отец хочет, чтобы я звалась «графиней Скиил».

— А вы не пробовали о чем-нибудь думать, чтобы отогнать эти кошмары?

— Я пробовала — о музыке... а потом о книгах, которые мы с Галопом читали, но...— Она приложила ладонь ко лбу.

— Мисс Элспет, я не буду дожидаться разрешения вашей матери. Мисс Чалмерс живет в очень тесной клетке. Я положу вам руку на лоб.— И я встал.

В этот миг появился Галоп. Он направился прямо к мисс Чалмерс и что-то ей сообщил; потом подошел к нашему столу:

— Мама сказала, что вы можете приложить руки ко лбу Элспет на несколько минут.

Что делать?

Изображать шарлатана.

Элспет закрыла глаза и опустила голову.

Я поднялся и деловито сказал:

— Пожалуйста, смотрите на небо, мисс Элспет, и не закрывайте глаза. Галоп, ты можешь приложить руки к правой стороне ее лба.— Сам я осторожно приложил ладони к левой стороне. Заглянув сверху в ее раскрытые глаза, я улыбнулся и сделал одновременно две вещи: усилием воли направил в кончики пальцев «некую энергию» и самым невыразительным тоном стал произносить: — Смотрите на облако... Постарайтесь почувствовать, как земля медленно поворачивается под нами....

Ее руки потянулись к моим запястьям. Глаза у нее сами собой закрывались. Она улыбалась. Она прошептала:

— Так умирают, да? Я умираю?

— Нет, вы ощущаете, как поворачивается земля. Теперь говорите все, что придет на ум... Дайте мне правую руку.— Я сжал ее руку между ладонями.— Говорите все, что взбредет на ум.

— О, mon professeur. Давайте уедем втроем. У меня есть деньги и украшения, которые мне подарили. У тети Бенедикты дом в Адирондакских горах. Она звала приезжать в любое время. Мы убежим тайком от всех. Галоп говорит, что не знает, как это устроить, но вдвоем вы бы придумали. Если меня отвезут в Бостон, меня там убьют. Я не боюсь умереть, но не хочу умирать по их правилам. Мистер Норт, я хочу умереть по-вашему. Разве нет у человека права умереть так, как он хочет?

Я прервал ее, сжав ее руку посильнее:

— Вы поедете в Бостон, но операцию отложат. Головные боли постепенно будут проходить. Остаток лета вы проведете в доме вашей тети Бенедикты.— Затем я заговорил по-французски: — Скажите, пожалуйста, только медленно: «Да, профессор». Помните: вас слушают облака, океан и деревья.

Медленно: «Oui, monsieur le professeur». Затем громче: «Oui, monsieur le professeur!»

Мы не шевелились целую минуту. Меня охватила непреодолимая слабость. Я сомневался, донесут ли меня ноги до двери и до велосипеда. Я снял руки с головы Элспет. Я сделал Галопу знак оставаться на месте и, шатаясь, побрел к выходу. Я мельком увидел мисс Чалмерс — она смотрела на свою пациентку, не двигаясь с места. Дворецкий и слуги смотрели из окна гостиной. Они проводили меня взглядом. Я два раза упал с велосипеда. На дороге мне трудно было держаться правой стороны.

Прошли суббота и воскресенье. В понедельник, в одиннадцать часов утра я позвонил в дверь «Оленьего парка». Я был готов отказаться от работы, но хотел, чтобы меня уволили. В дверях дворецкий сообщил мне, что миссис Скиил ждет меня на веранде. Я поклонился ей. Она протянула мне руку со словами:

— Присядьте, пожалуйста, мистер Норт.

Я сел, не сводя глаз с ее лица.

— Мистер Норт, в первый раз, когда я вам звонила по телефону, я была не совсем откровенна. Я не сказала вам всей правды. Моя дочь Элспет тяжело больна. Последние месяцы мы каждые две недели возим ее в Бостон, к доктору Боско, на осмотр и рентген. Доктор опасается, что у нее опухоль в мозгу, но некоторые симптомы

его озадачивают. Вы, наверно, заметили, что расстройства речи у нее нет, хотя ей больно, если она повышает голос. Ни зрение, ни чувство равновесия у нее не нарушены. У нее бывают выпадения памяти, но это можно объяснить бессонницей и лекарствами, которые ей дают.— Она держалась за подлокотники, словно за спасательный круг.— Доктор Боско решил оперировать ее на следующей неделе. Он хочет, чтобы в четверг она легла в больницу... Дочери кажется, что в этом нет нужды. Она убеждена, что вы способны ее вылечить... Конечно, ассистент доктора мог бы сделать ей укол и ее бы увезли в Бостон... как... как «мумию», по ее выражению. Она говорит, что будет сражаться с ним «как с драконом». Можете себе представить, какое это огорчение для всего дома.

Я хмуро слушал ее.

— Мистер Норт, я хочу обратиться к вам с просьбой не как наниматель, но как страдающая мать страдающего ребенка. Элспет говорит, что согласится поехать в Бостон «миром», если операцию отложат на две недели и если вы дадите обещание навестить ее там два раза.

— Конечно, мадам, если врач разрешит.

— Спасибо. Я уверена, что смогу это устроить; я должна это устроить. В вашем распоряжении будет машина с шофером — оба раза вас привезут и увезут.

— Это лишнее. Я сумею сам добраться до Бостона и до больницы. Пожалуйста, запишите мне часы и длительность посещений и дайте письмо, чтобы меня пустили в больницу. Я пришлю вам отчет о моих расходах, включая оплату занятий, которые мне придется отменить. Кроме этих основных расходов, я никакого вознаграждения не хочу. Мне кажется, нам будет легче разговаривать, если с нами будет ваш сын Артур.

— Да, можете на него рассчитывать.

— Миссис Скиил, после моего прошлого визита, в пятницу, у мисс Элспет повторялись приступы мигрени?

— Ей стало гораздо лучше. Она говорит, что проспала всю ночь «как ангел». У нее улучшился аппетит. Но вчера ночью — в воскресенье — опять началась боль. Это было ужасно. Мне так хотелось позвонить вам. Но тут были мисс Чалмерс и наш ньюпортский врач. Они считают, что во всем виноваты вы. Они забывают, что это происходило множество раз, еще до того, как вы появились. И ее отец был здесь. Скиилы поколениями почти не болели. Я думаю, что он мучается больше меня — ведь я выросла... среди... таких болезней.

— Мы будем сегодня заниматься?

— Она спит. Слава богу, уснула.

— Когда она едет в Бостон?

— Даже если операцию отложат — а я буду на этом настаивать,— она уедет в четверг.

— Пожалуйста, передайте мисс Элспет, что я приду в среду и что навещу ее в Бостоне, когда вы скажете... Миссис Скиил, звоните мне в любой час дня и ночи без колебаний. Днем меня трудно поймать, но я оставлю вам свое расписание с номерами телефонов, где меня можно найти. Вы и мисс Элспет должны набраться смелости не уступать тем, кто возражает против моих посещений.

— Спасибо.

— Мадам, хочу сказать еще одно. Артур — просто замечательный молодой человек.

— Правда ведь? Правда?

И мы рассмеялись, удивляясь самим себе. Тут в дверях появил-

ся джентльмен. Без сомнения — бывший граф Йенс Скиил Скиилский. Он сказал:

— Мэри, будь добра, перейди в библиотеку. Всякой глупости должен быть конец. Это — последний визит французского учителя в наш дом. Не соблаговолит ли французский учитель послать мне как можно скорее счет? Всего хорошего, сэр.

Я лучезарно улыбнулся в лицо разгневанному хозяину.

— Спасибо,— сказал я, поклонившись с видом служащего, которому предоставили долгожданный отпуск.— Всего хорошего, миссис Скиил. Передайте, пожалуйста, мой сердечный привет вашим детям.— Я опять улыбнулся хозяину и поднял руку, как бы говоря: «Не трудитесь меня провожать. Я знаю дорогу». Только первоклассный актер, будучи выгнан из дома, может покинуть его так, как будто ему оказали великую милость — Джон Дрю, например; Сирил Мод; Уильям Жилетт.

Я ожидал ночного звонка, поэтому сидел с книгой. Звонок раздался около половины второго.

— Мистер Норт, вы сказали, что я могу вам позвонить в любой час.

— Ну конечно, миссис Скиил.

— Элспет очень огорчена. Она хочет вас видеть. Ее отец разрешил.

Я покатил к ним. Свет горел во всех окнах. Меня привели в комнату больной. Слуги, в крайнем смятении, но одетые так, как будто это был полдень, притаились в темных углах и за полуоткрытыми дверьми. Миссис Скиил стояла в верхнем холле с врачом. Меня представили ему. Он был очень сердит и холодно пожал мне руку.

— Доктор Эглстон разрешил мне вас вызвать.

В отдалении я увидел мистера Скиила, очень красивого и взбешенного. Миссис Скиил приоткрыла дверь и сказала:

— Элспет, милая, мистер Норт пришел тебя проведать.

Элспет сидела в постели. В глазах ее горела ярость — должно быть, после долгой схватки с отцом и врачом. Я одарил улыбкой всех присутствующих. Мисс Чалмерс не было видно.

— Bonsoir, chère mademoiselle.

— Bonsoir, monsieur le professeur [1].

Я обернулся и сказал деловитым тоном:

— Я хочу, чтобы Галоп был с нами.

Я знал, что где бы он ни был, он меня услышит. Он появился тут же. Поверх пижамы на нем был толстый халат с гербом его школы. На виду у зрителей я вынул часы и положил на столик возле кровати. По моему знаку Галоп распахнул дверь в холл и другую — в следующую комнату, где, наверное, кипела мисс Чалмерс.

— Вам было плохо, мисс Элспет?

— Да, немного. Я не позволила сделать мне *это*.

Я повернулся к двери и спокойно сказал:

— Все желающие могут войти. Я пробуду здесь пять минут. Я прошу только оставить за дверью свой гнев и страх.

Вошла миссис Скиил и села на стул в ногах у Элспет. Пожилая женщина, перебиравшая четки — должно быть, няня Элспет,— вошла с видом человека, бросившего вызов порядкам. По-прежнему перебирая четки, она стала в углу на колени. Я продолжал улыбаться во все стороны, словно это самый обыкновенный визит, а я — старый друг дома. Случай же был настолько из ряда вон выходящий,

---

[1] Добрый вечер, дорогая барышня.
— Добрый вечер, господин учитель *(франц.)*.

что слуги толпились у дверей и никто им не выговаривал. Некоторые даже вошли в комнату и остались стоять.

— Мисс Элспет, когда я ехал на велосипеде по авеню, на улице не было ни души. Точно лунный пейзаж. Очень красиво. Я с нетерпением ждал встречи с вами. Я был слегка exalté [1] и неожиданно для себя запел старую песню, которую вы должны знать: «Каменные стены — еще не темница, железные прутья — не клетка» [2]. Эти строки, написанные почти триста лет назад, служили утешением тысячам мужчин и женщин — и вот мне тоже. А сейчас я вам что-то скажу по-китайски. Вы ведь помните, я вырос в Китае. Потом я переведу. И эр сань — с падающей интонацией. Сы. Цзи-дань-гао — с повышением. У — понижение тона — ли ту бэй. Ну ци фо нью. И так далее.— Первые семь слов — все, что я знаю по-китайски. Означают они: «Раз, два, три, четыре, курица — яйцо — пирожок».— Мадемуазель, это значит: «Вся природа едина. Каждое живое существо тесно связано со всеми другими живыми существами. Природа хочет, чтобы каждое существо было совершенным представителем своего рода и радовалось дару жизни». Это относится и к рыбке Галопа, и к Жаклине, и к Байяру, и ко всем присутствующим, включая вас, Галопа и меня.— Это были не слова Конфуция или Мэн-цзы, а парафраза чего-то из Гёте.

Я наклонился к ней и заговорил тихим голосом:

— Пусть вас отвезут в Бостон. Операцию будут откладывать и откладывать. Я приеду в Бостон не только навестить вас — я повидаюсь с доктором Боско. Он когда-нибудь был здесь, видел «Олений парк»?

— Да. Видел.

— Я скажу ему, что вы — как прекрасный олень в «Оленьем парке», но вам хочется выйти за железную ограду. Ваши головные боли — протест против этих прутьев. Я скажу доктору Боско, чтобы вас отправили к тете Бенедикте, где олени никогда не знали, что такое клетка.

— Скажете?

— О, да.

— Конечно, скажете! А туда вы ко мне приедете?

— Постараюсь. Но вокруг тридцатилетнего человека — клетки и клетки. Так помните: я приеду к вам в Бостон не один раз и все лето буду часто вам писать. У меня осталась одна минута. Я положу вам руку на лоб... всю дорогу домой мои мысли будут над вами, как рука, и вы уснете.

Все стихло... Минута безмолвия на сцене — большой срок.

— Dormez bien, mademoiselle.

— Dormez bien, monsieur le professeur [3].

Руки у меня, возможно, не электрические, но публику наэлектризовать я могу. На этот раз я взял за образец Отиса Скиннера в «Семейной чести» по рассказу Бальзака. Двинувшись к выходу, я властно улыбнулся тем, кто был в комнате и за дверью: заплаканной миссис Скиил, греческому хору слуг, объятых трепетом, рассерженному и уязвленному мистеру Скиилу, доктору Эглстону и мисс Чалмерс, которая к ним присоединилась. Я вырос дюйма на два, на голове у меня возник щеголевато сдвинутый цилиндр. В руке появился короткий хлыст, которым я хлопнул по дверному косяку. Я был сама уверенность на грани наглости — полковник Филипп Бридо.

[1] Взволнован *(франц.)*.

[2] Р. Лавлейс (1618—1658) — «Алфее; из тюрьмы».

[3] Спите крепко, мадемуазель.
— Спите крепко, господин преподаватель *(франц.)*.

— Всего доброго, леди и джентльмены. Всего доброго, Галоп,— Чарльз Дарвин ждет, что каждый из нас выполнит свой долг.

— Да, сэр.

— Всего вам доброго.— Я крикнул в комнату: — Всего доброго, мисс Элспет. «Каменные стены — еще не темница, железные прутья — не клетка». Пожалуйста, скажите: «Нет, не клетка!»

— Non, monsieur le professeur! [1]— прозвенел ее голос.

Я вышел, кланяясь налево и направо, и сбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки и напевая «Хор солдат» из «Фауста».

Надежда — продукт воображения. Отчаяние — тоже. Отчаянию слишком живо рисуются возможные беды; надежда — это энергия, и она побуждает ум испробовать все способы борьбы с ними. Пока я ехал на велосипеде в «Олений парк» — сквозь этот таинственный лунный ландшафт,— у меня возникла идея.

Мы условились, что я приеду в больницу в следующую пятницу, в четыре часа. Я написал доктору Боско и попросил принять меня для пятиминутного разговора о его пациентке, мисс Элспет Скиил. Я написал, что не раз имел счастье беседовать с его выдающимся коллегой и другом доктором де Мартелем из Американского госпиталя в Нейи под Парижем. Доктор де Мартель тоже был одним из трех величайших хирургов современности. Я никогда не встречался с этим знаменитым человеком, но надежда перепрыгивает препятствия. Впрочем, он оперировал одного моего друга — в возрасте шести дней. Кроме того, он был сыном романистки Жип (графини де Мартель), острой и наблюдательной писательницы.

Доктор Боско встретил меня с радушием, которое тут же сменилось профессиональной бесстрастностью. На протяжении всего разговора за его спиной стояла секретарша с раскрытым блокнотом.

— Ваша профессия, мистер Норт?

— Я преподаю английский, французский, немецкий и латынь и обучаю детей теннису в ньюпортском казино. Не буду отнимать у вас время, доктор. Мисс Скиил призналась мне, что боится уснуть: ее одолевают кошмары, будто она в клетке. Она погибает от культурного затворничества.

— Простите?

— Она незаурядная личность, с пытливым и смелым умом. Но на каждом шагу ее встречают табу и вето великосветского общества. Ее отец — ее тюремщик. Если бы я сейчас разговаривал с вашим другом, доктором де Мартелем, я бы сказал: «Доктор де Мартель, ваша замечательная мать не раз описывала эту историю. Она была за эмансипацию молодых женщин».

— Вывод?

— Доктор Боско, можно обратиться к вам с просьбой?

— Только короче.

— У Элспет Скиил есть тетя Бенедикта — бывшая датская графиня Скиил,— и у нее есть дом в Адирондакских горах, где олени бродят на свободе и даже лисы и медведи приходят и уходят, когда им заблагорассудится, где даже семнадцатилетняя девушка никогда не услышит жестокого, враждебного жизни слова.— Я с улыбкой поклонился: — Всего хорошего, доктор Боско. Всего хорошего, мадам.

Я повернулся и вышел из комнаты. Перед тем, как дверь закрылась, я услышал его слова: «Будь я проклят!»

Через несколько минут меня ввели в палату Элспет. Она сидела в кресле у окна, выходившего на реку Чарльз. Мать сидела рядом; брат стоял у кровати. Когда мы поздоровались, Элспет сказала:

---

[1] Нет, господин преподаватель *(франц.)*.

— Мама, сообщи мистеру Норту приятную новость.

— Мистер Норт, операции не будет. Вчера доктор Боско осматривал Элспет. Он считает, что состояние, внушавшее нам тревогу, проходит само по себе.

— Ну, великолепно! Когда вы возвращаетесь в Ньюпорт?

— Мы вообще не возвращаемся в Ньюпорт. Я рассказала доктору Боско о доме моей золовки в горах, и он воскликнул: «Это то, что ей нужно!»

Так что все мое представление, вся эта помпа и плутовство оказались ни к чему. Но я получил удовольствие. И улыбка Элспет, когда мы встретились глазами, была мне достаточной наградой. Улыбка говорила, что у нас есть общая тайна.

Ничего не оставалось делать, как болтать о пустяках: о гребцах из Гарвардского университета, тренирующихся на реке; об отъезде к тете в конце недели; о чудесных здешних сестрах (из Новой Шотландии) — светская болтовня. Мысли мои начали блуждать. Для меня светский разговор — тесная клетка.

В дверях появилась сестра. Она спросила:

— Мистер Норт здесь?

Я представился.

— Звонила секретарь доктора Боско. Доктор будет здесь через несколько минут. Он просил, чтобы вы его подождали.

— Я буду здесь.

Дьявол! Это еще что?

Наконец, появился доктор. Он ничем не выдал, что мы с ним знакомы. Он заговорил с миссис Скиил:

— Миссис Скиил, я думал о состоянии вашей дочери.

— Да, доктор Боско?

— Я считаю, что одного лета в Адирондакских горах мало и что целесообразно обеспечить ей более длительный отдых и перемену обстановки. Рекомендую отправить ее на восемь-десять месяцев за границу, и если можно — в горы. Есть у вас друзья или родственники в швейцарских Альпах или в Тироле?

— Конечно, доктор, мы знаем великолепную школу в Арозе — я могла бы отдать ее туда. Ты бы поехала, Элспет?

— Ну, конечно, мама.— Взгляд ее скользнул и по мне.— Если вы будете мне писать.

— Непременно будем, милая. А на рождественские каникулы я пришлю к тебе Артура. Доктор Боско, вы не будете так любезны написать мистеру Скиилу, что решительно поддерживаете этот план?

— Напишу. Еще раз здравствуйте, мистер Норт.

— Здравствуйте, доктор Боско.

— Миссис Скиил, мистер Норт заслуживает медали. Он просил меня уделить ему пять минут. Он пришел ко мне и уложился в три. За всю мою долгую практику такого не бывало. Мистер Норт, я позвонил жене и сказал, что вы близкий друг нашего друга, доктора де Мартеля. Она любит Тьерри де Мартеля больше, чем меня. Она просила пригласить вас сегодня на ужин.

— Доктор Боско, я солгал. Я никогда не встречался с доктором де Мартелем.

Он обвел взглядом комнату и удивленно покачал головой.

— Ну, все равно приходите. Мы не в первый раз принимаем лгунов.

— Но я боюсь, доктор Боско, что вам будет неинтересно со мной разговаривать.

— Я к этому привык. Будьте любезны, в шесть тридцать ждите у входа в больницу.

Я подчинился. Я слышал много рассказов о докторе Боско и понял, что получил не просто приглашение — приказ.

Когда он вышел, миссис Скиил сказала:

— Это большая честь, мистер Норт.

Элспет добавила:

— Он очень вами заинтересовался, monsieur le professeur. Я рассказала про ваши руки, и как вы избавили меня от головных болей, и как чудесно помогли Аде Николс, и как, говорят, вылечили доктора Босворта от рака. По-моему, ему хочется узнать, *что именно* вы делаете.

Я вытаращил глаза от ужаса, от стыда. ДЬЯВОЛЬЩИНА, ПРОКЛЯТЬЕ!.. Мне надо было выйти из здания. Мне надо было остаться одному и подумать. У меня возникла игривая мысль — броситься в реку Чарльз. (Она слишком мелкая; кроме того, я прекрасно плаваю.) Я поспешно пожал руки Скиилам — с выражениями благодарности и прочего и пожелал им весело отдохнуть в горах у тети Бенедикты. Галопу я шепнул:

— Когда-нибудь ты будешь великим врачом, а пока учись вот так отдавать приказы.

— Да, сэр.

Два с половиной часа я ходил по улицам Бостона. В половине седьмого я ждал в указанном месте. К обочине подъехала скромная машина. Из нее вылез человек лет пятидесяти, похожий скорее на привратника, чем на шофера, и, перейдя тротуар, спросил меня, не я ли мистер Норт.

— Да. Если не возражаете, я сяду впереди, с вами. Меня зовут Тед Норт.

— Очень приятно. Я Фред Спенс.

— Куда мы едем, мистер Спенс?

— Домой к доктору Боско, в Бруклин.

— Доктор Боско уже дома?

— По пятницам, во второй половине дня он не оперирует. Он водит своих студентов по больнице и показывает пациентов. А в пять я за ним приезжаю и отвожу домой. В пятницу он любит пригласить кого-нибудь к ужину. Миссис Боско говорит, что никогда не знаешь, кого он притащит домой.

В этом «притащит» слышался намек на бродячих собак и бездомных кошек.

— Мистер Спенс, меня не приглашали ужинать. Мне приказали. Доктор Боско любит приказывать, да?

— Да, к этому привыкаешь. У доктора характер тяжелый. Я привожу его в больницу к восьми тридцати и отвожу домой в полседьмого. Иной раз за всю дорогу слова не вымолвит. Иной раз без умолку говорит — всюду неполадки, никто ничего не понимает. Это он стал такой, как с войны вернулся. Любит, чтобы в десять гости уходили: ему еще надо все в дневник записать.

— Мистер Спенс, у меня поезд в десять тридцать с Южного вокзала. Как мне туда попасть?

— Доктор Боско распорядился отвезти вас в Ньюпорт или куда вам надо.

— В Ньюпорт! Я буду вам очень обязан, если вы отвезете меня после ужина на Южный вокзал.

В доме меня встретила миссис Боско — могучих пропорций, любезная, но несколько вялая.

— Доктор Боско просит вас к нему в кабинет. Он делает вам свой знаменитый «Старинный» коктейль. Сам он их не пьет, но лю-

бит делать для других. Надеюсь, вы не голодны — доктор не садится за стол раньше чем без четверти восемь.

Днем, во всем белом, он был похож на худого римского сенатора; в темном костюме вид у него был более утонченный — скорее главного викария монашеского ордена. Он молча пожал мне руку и вернулся к своему занятию. Он готовил мне «Старинный». Мне померещился тигель, ступка, пестик, какие-то склянки — Парацельс с алхимическим варевом. Он ушел в это дело с головой. Меня не спросили, хочу ли я «Старинного», и не предложили сесть.

— Попробуйте,— сказал он наконец. Напиток был действительно пряный и необычный. Хозяин повернулся и сел — с какой-то мыслью на уме, как будто и разговор был делом, требующим полной сосредоточенности.

— Мистер Норт, почему вы представились другом доктора де Мартеля?

— Мне казалось важным попасть к вам на несколько минут. Мне казалось, что вам надо знать одну из причин мигреней мисс Скиил — причину, которой никто из домашних вам бы не объяснил. Мне казалось, что выдающийся врач должен знать своего пациента со всех сторон. С тех пор я выяснил, что вы уже рекомендовали ей уехать из дома и что мой визит был излишним.

— Нет, он открыл мне глаза на то, какую роль играет отец в ее угнетенном состоянии.— Он устало провел рукой по глазам.— В моей области мы часто склонны упускать из виду эмоциональную сторону анамнеза. Мы гордимся тем, что мы ученые, и не понимаем, как подступиться с наукой к таким материям, как эмоции... Вас, по-видимому, интересует как раз эта сторона дела.— Я прикинулся, будто не слышал его; но если доктор Боско намеревался о чем-то поговорить, то уклоняться было бесполезно.— Вы *занимаетесь* врачеванием?

— Нет. Нет, доктор Боско. Я никогда на врачевание не замахивался. Некоторые дети рассказывают всякую чепуху про мои «электрические» руки. Я этого не выношу. Я не желаю иметь к этому никакого отношения.

Он пристально посмотрел на меня.

— Я слышал, что благодаря вам доктор Босворт впервые за десять лет смог выйти из дома.

— Доктор, прошу вас, не надо об этом. Я просто прибегнул к здравому смыслу.

Он задумчиво повторил:

— Здравому смыслу, здравому смыслу. А эта история про девочку Аду... Аду, как ее... которая ушиблась головой о столб?

— Доктор, я мошенник. Я шарлатан. Но если у вас на глазах человек страдает, что вы делаете? Вы делаете, что умеете.

— Так *что же* вы делаете? Вы ее гипнотизировали?

— Я в жизни не видел, как гипнотизируют. Я не знаю, что это такое. Я просто успокаивал ее и гладил ушибленное место. Потом я отнес ее к директору казино, у которого большой опыт в оказании первой помощи. Настоящего сотрясения не было. Через два дня она пришла на тренировку.

— Если я позову сюда миссис Боско, вы расскажете всю историю выздоровления доктора Босворта? До обеда еще полчаса.

— Там есть довольно неаппетитные, грубые подробности.

— Миссис Боско привыкла к таким подробностям в моих рассказах.

— Я ваш гость,— обескураженно сказал я.— Постараюсь выполнить ваше желание.

Он опять налил мне и вышел из комнаты. Я услышал, как он зовет: «Люсинда! Люсинда!» (Это было не приглашение, а приказ.) Миссис Боско проскользнула в комнату и села у двери. Доктор уселся за письменный стол.

«Ну, ладно,— сказал я себе,— я им покажу». Я изложил подоплеку Почетного Караула, мою первую беседу с миссис Босворт, описал, как мы читали епископа Беркли, как постепенно обнаруживалось, что это «дом, где слышат стены», как семья пыталась убедить доктора Босворта, что он обречен и сходит с ума, описал мою поездку в Провиденс под видом шофера грузовика, покушение на мою жизнь.

К концу рассказа доктор Боско закрыл лицо руками, но не от скуки. Когда я умолк, он сказал:

— Мне никто ничего не рассказывает... Я специалист, которого приглашают под занавес.

В дверях появился слуга. Миссис Боско сказала:

— Ужин подан.

Ужин был восхитительный. Доктор безмолвствовал. Миссис Боско спросила меня:

— Мистер Норт, если вам не скучно, расскажите о своей жизни и интересах.

Я не пропустил ничего: Висконсин, Китай, Калифорния, Оберлинский колледж, Йейл, Американская академия в Риме, школа в Нью-Джерси и, наконец, Ньюпорт. Упомянул я и о некоторых своих интересах и склонностях (*шамана* опустил).

— Люсинда, пить кофе я приглашу мистера Норта к себе в кабинет.

Было без четверти десять.

— Мистер Норт, я хочу, чтобы в конце лета вы приехали в Бостон. Я назначаю вас одним из своих секретарей. Вы будете сопровождать меня на обходах. Пациентам будет сказано, что я всецело вам доверяю. Вы будете регулярно их посещать. Вы будете докладывать мне интимные подробности биографии каждого из них и причины повышенных психологических нагрузок, если таковые имеются. Вам придется знать каждого из них по имени. Мне редко доводилось узнать имя моего пациента. А ваше как?

— Теофил.

— Ах да, помню. Прекрасное имя. Этимология его когда-то была для меня не только языковой реальностью. Жаль, что теперь это не так. Вы возвращаетесь в Ньюпорт сегодня?

— Да.

— Я условился с Фредом Спенсом, что он вас отвезет.— Это был приказ.— Вот пять долларов — дадите ему, когда приедете. Так вам уютнее будет ехать. На предложение мое сейчас ответа не давайте. Подумайте. Свяжитесь со мной через неделю, считая с нынешнего дня. Спасибо, что пришли.

С миссис Боско я попрощался в передней.

— Спасибо, что пришли, и спасибо вам за ваши умиротворяющие руки. Доктор не часто бывает так терпелив, как сегодня.

Всю дорогу домой я проспал. У дома миссис Киф я уплатил Фреду Спенсу его гонорар и поднялся к себе. Через три дня я написал доктору Боско — с многочисленными реверансами,— что осенью еду в Европу и потому не смогу принять его предложение. Я полагал, что вся эта дурацкая история с шаманством кончилась, но через десять дней увяз в ней по уши.

Мне нравилось мое жилище, но я редко в нем бывал. Работа все усложнялась, и многие вечера я проводил в Народной библиотеке, готовясь к занятиям. В полночь я находил под дверью записки от моей доброй хозяйки: «К вам заходили три дамы и джентльмен. Я разрешила им подождать у меня в гостиной, но в 10 часов мне пришлось их попросить. Своих фамилий и адресов они не оставили. *Миссис Дорис Киф*». В другую ночь — такая же записка о восьми посетителях. «Я не могу пустить в гостиную больше пяти посторонних. Я попросила их уйти. *Миссис Дорис Киф*». Наконец, в четверг вечером, когда я был дома, мне позвонил Джо (Святой Джо), дежурный по ХАМЛ.

— Тед, что происходит? Тут двенадцать человек — в большинстве старухи — ждут вас в комнате для посетителей. Я сказал, что вы тут больше не живете. Я не мог дать ваш новый адрес, потому что вы мне самому его не дали... Вот, еще входят. Чем вы занялись — открыли бюро найма? Придите, пожалуйста, отошлите их и скажите, чтобы больше не приходили. Они каждый вечер понемногу приходят, но сегодня что-то особенное. У нас Христианская ассоциация молодых людей, а не приют для престарелых дам. Давайте сюда и отгоните ваше стадо.

Я поспешил туда. Толпа уже не вмещалась в комнату для посетителей. Некоторых я узнал—слуги из «Девяти фронтонов», «Оленьего парка» и даже из дома миссис Крэнстон. Начались рукопожатия.

— Ох, мистер Норт, совсем ревматизм замучил.

— Ох, мистер Норт, так спина болит, что спать не могу, всю ночь ворочаюсь.

— Мистер Норт, рука — поглядите! Утром час не могу разжать.

— Леди и джентльмены, я не врач. Я не знаю азов медицины. Прошу вас обратиться к настоящему врачу.

Стенания стали громче:

— Ох, сэр, они только деньги берут, а ничего не помогают.

— Мистер Норт, положите руку мне на колено. Бог вас вознаградит.

— Сэр, нога. Шагу ступить не могу.

Часть детства я прожил в Китае, и неизмеримые беды людские были для меня не внове. Что я мог сделать? Во-первых, очистить вестибюль. Я наложил руку там и сям; подержался за одну-другую лодыжку; крепко провел ладонью по чьим-то хребтам. Особенно я налегал на затылки. Я старался сделать пациентам *больно* (они вскрикивали, зато сразу верили, что это «помогает»). Мягко подталкивая их к выходу, я накладывал ладонь на лбы, бормоча по-латыни первые строки «Энеиды». Затем я сказал:

— Это — последний раз. Больше не приходите. Вы должны всегда ходить к своим врачам. Спокойной ночи, и благослови вас бог.

Вернувшись к миссис Киф, я рассеял толпу, собравшуюся и там.

Я страшился воскресного вечера — и не зря. Подходя к «Х», я еще издали увидел, что они опять собрались и привели новых; очередь тянулась из общежития на тротуар. Я собрал их всех вместе и устроил посреди улицы митинг.

— Леди и джентльмены, я ничем не могу вам помочь. Я болен так же, как вы. У меня болит каждая косточка. Пожмем руки и пожелаем друг другу спокойной ночи.

Я побежал обратно к дому миссис Киф, где тоже собралась толпа. Я распустил ее с теми же словами. Миссис Киф наблюдала за нами из окна. Когда посторонние ушли, она отперла мне дверь.

— Ох, мистер Норт, я этого долго не выдержу. Я запираю дверь,

а они ходят вокруг дома и стучат в окна, как будто они нищие, а я их в метель не пускаю погреться. Вот тут вам письмо принесли.

«Дорогой мистер Норт, мне было бы очень приятно увидеться с Вами сегодня вечером в половине одиннадцатого. Ваш искренний друг *Амелия Крэнстон*».

В половине одиннадцатого я прибыл на Спринг-стрит. Комнаты быстро пустели. Наконец, не осталось никого, кроме миссис Крэнстон, мистера Гриффина и миссис Грант, ее главной помощницы по пансиону. Я сел рядом с миссис Крэнстон, которая казалась сегодня особенно крупной, приветливой и благодушной.

— Спасибо, что пришли, мистер Норт.

— Простите, что долго не появлялся. Расписание у меня с каждой неделей все плотнее.

— Да, мне докладывали... в два часа ночи разъезжаете по авеню на велосипеде, подкармливаете диких животных.— Миссис Крэнстон было приятно показывать свое всеведение.— Миссис Грант, будьте добры, скажите Джиму, чтобы принес напитки, которые я поставила в ледник.— Нам подали джин с содовой, а я уже знал, что это — признак чего-то необычайного. Она понизила голос: — У вас неприятности, мистер Норт?

— Да, мадам. Спасибо вам за письмо.

— Вы стали очень знамениты в определенных кругах. В четверг вечером и сегодня мои гости только о вас и говорили. Так или иначе, вы вернули к жизни доктора Босворта, и теперь он скачет по округе, словно пятидесятилетний парнишка. Так или иначе, вы избавили мисс Скиил от головных болей. Слуги внимательно наблюдают за хозяевами, мистер Норт. Сколько пациентов вас ждало сегодня вечером?

— Больше двадцати пяти в одном месте и десяток в другом.

— Через неделю очередь вытянется на квартал.

— Помогите мне, миссис Крэнстон. Я люблю Ньюпорт. Я хочу пробыть здесь до осени. Нет у меня «электрических» рук. Я мошенник и самозванец. В первый вечер я не мог выгнать их из здания. Вы бы видели их глаза — лучше быть мошенником и самозванцем, чем... жестоким. Я же не причинил им вреда, правда?

— Положите руки на стол ладонями кверху.

Она провела по ним кончиками пальцев и, глотнув джина, сказала:

— В вас что-то есть, я сразу это поняла.

Я поспешно спрятал руки. Она продолжала ровным голосом с обычной спокойной улыбкой:

— Мистер Норт, даже у самых счастливых и здоровых женщин — а нас таких мало — где-то сидит постоянный страх перед болезнью. Страх. Даже когда они не думают об этом, они об этом думают. У большинства мужчин не так: вы думаете, что будете жить вечно. Вы думаете, что будете жить вечно, мистер Норт?

— Нет, мадам,— ответил я с улыбкой.— Я скажу: «Руки я обе грел у жизни очага; угаснет он, и я готов к уходу» [1]. Но перед уходом я хотел бы повидать Эдвину.

Она посмотрела на меня с удивлением:

— Странно, что вы об этом заговорили. Эдвина вернулась из плавания. Она уже неделю в Нью-Йорке, занимается приготовлениями к здешнему осеннему сезону. Генри Симмонс поехал за ней в Нью-Йорк. Я жду их сегодня вечером. Эдвина о вас все знает.

— Обо мне?!

— Да, да. Неделю назад я ей написала о ваших затруднениях. И она сразу ответила. Ведь это она придумала, как вам выпутаться

[1] Из стихов английского поэта У. С. Лендора (1775—1864).

из этой истории. А мы с Генри Симмонсом все организовали.— Она взяла со стола конверт и помахала им у меня перед носом, как костью перед собакой.

— О, миссис Крэнстон!

— Но сперва еще два слова о вашем новом положении в Ньюпорте. У женщин никогда нет полного доверия к врачам. Женщины и религиозны, и суеверны. Им непременно подавай чудо. Вы — новейший чудотворец. В городе много массажистов, знахарей и шептунов. У них есть патенты, и они берут деньги за лечение. Слава о вас пошла оттого, что вы не берете. Вы внушаете доверие — гораздо больше, чем любой врач. Если ты врачу платишь, ты покупаешь право его критиковать, словно он обыкновенный торгаш. А чуда купить нельзя, это всем известно,— вот почему вы чудотворец. Что-то не видно, чтобы доктор Босворт или Скиилы подарили вам автомобиль или хотя бы золотые часы,— а ведь подумать только, что вы для них сделали! *Вы все так же ездите на велосипеде!*

Мне не нравился этот разговор. Я не мог отвести глаз от конверта. Я только облизывался на эту косточку. Я понимал, что миссис Крэнстон меня дразнит, может быть, наказывает за то, что я не прибег к ее помощи раньше, за то, что так долго не появлялся в ее доме. Я опустился на одно колено:

— Миссис Крэнстон, простите меня, пожалуйста, за то, что я так долго не приходил. Я вам стольким обязан.

Она рассмеялась и накрыла ладонью мою руку. Благополучные женщины любят прощать, когда их просят.

— В этом конверте лежит документ. Не официальный, но *выглядит* официально. На нем сургуч и ленточки и написан он на бланке медицинской организации, которая давным-давно влилась в другие.— Она вынула его и положила передо мной:

«Всем заинтересованным лицам: мистер Т. Теофил Норт, проживающий в Ньюпорте, штат Род-Айленд, не имеет права оказывать медицинскую помощь какого бы то ни было рода и характера, за исключением случаев, когда пациент может представить ему письменное разрешение врача, официально зарегистрированного в этом городе. Канцелярия Инспектора здравоохранения, ... числа августа месяца, 1926 года».

— Миссис Крэнстон!

— Подождите, в конверте есть еще один документ.

«Настоящим мистеру Т. Теофилу Норту, проживающему в Ньюпорте, штат Род-Айленд, дается разрешение на один визит, длительностью не свыше получаса, к мисс Лизелотте Мюллер, проживающей по адресу: Спринг-стрит, №... для оказания ей помощи и поддержки по его собственному усмотрению».

Подписано было весьма уважаемым городским врачом и датировано вчерашним днем.

Я уставился на нее:

— Мисс Мюллер живет здесь?

— Вы можете зайти к ней сейчас? Этот дом на самом деле — три дома. Третий и четвертый этажи в этом крыле заняты под лазарет для очень старых женщин. Они всю жизнь работали прислугами, и многих бывшие хозяева хорошо обеспечили. Большинство из них не могут одолеть и одного марша лестницы, но у них есть терраса, чтобы погреться на солнышке в хорошую погоду, и для любой

погоды — общие комнаты. Кое-что там будет мучительным для глаз и обоняния, но вы нам рассказывали о своей жизни в Китае, так что опыт у вас есть.— Тут я услышал ее отрывистый, похожий на всхрап смешок.— Вы усвоили истину, что жизнь по большей части тяжела, а последние годы — в особенности. Вы не наивный юнец, мистер Норт. Мужчины редко заходят в лазарет — иногда доктор, пастор, католический священник или родственник. У нас правило — во время таких посещений дверь в палату приоткрыта. Я отправляю вас наверх с моей помощницей и подругой миссис Грант.

Я тихо спросил:

— Вы мне что-нибудь расскажете о мисс Мюллер?

— Тетя Лизелотта родилась в Германии. Она была одиннадцатым ребенком в семье пастора и в семнадцать лет через бюро найма приехала в Америку. Она работала няней в одной семье, очень уважаемой и здесь и в Нью-Йорке, и вырастила три поколения. Она купала и одевала всех этих детишек, целый день была при них, шлепала их по попкам и вытирала эти попки и присыпала. А к ней я потому вас позвала, что она была добра ко мне и много помогала, когда я была молодой, одинокой и напуганной. Она пережила всех своих родственников за границей, которые могли бы принять в ней участие. В доме, где она работала, ее очень любили, но человек она строгий, суровый и, кроме меня, мало с кем дружила. Она в здравом уме; она видит и слышит, но ее мучают ревматические боли. Боли, наверно, невыносимые — она не из тех, кто жалуется.

— А если у меня ничего не получится, миссис Крэнстон?

Она пропустила вопрос мимо ушей. И продолжала:

— Подозреваю, что слава о вас дошла и туда. У наших жильцов много друзей в лазарете. Вести о чудесах разносятся быстро... Миссис Грант, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Нортом.

— Здравствуйте, мистер Норт.

— Миссис Грант, сегодня мы, наверное, будем говорить по-немецки. Вы знаете немецкий?

— Ну, что вы. Ни слова.

— Миссис Крэнстон, после таких сеансов я очень слабею. Если Генри Симмонс вернется до того, как я спущусь, попросите его подождать меня и проводить домой.

— Конечно. Я думаю, Эдвина и Генри Симмонс скоро будут здесь. Эдвина тоже хотела, чтобы вы навестили тетю Лизелотту.

Я был ошеломлен.

В который раз я убеждался: счастлив тот, кому помогают женщины, в фольклоре называемые «ведуньями». Это — урок «Одиссеи».

> Но, подошед ко вратам крепкозданным прекрасного града,
> Встретил он дочь светлоокую Зевса богиню Афину
> В виде несущей скудель молодой феакийския девы [1].

С миссис Грант я поднялся наверх. Женщины, встречавшиеся нам на лестничных площадках и в коридорах, опускали глаза и прижимались к стене. На третьем и четвертом этажах все носили одинаковые халаты в серую и белую полоску. Миссис Грант постучала в приоткрытую дверь и сказала: «Тетя Лизелотта, вас пришел проведать мистер Норт», затем села в углу, сложила руки и опустила глаза.

— Guten Abend, Fräulein Müller.

— Guten Abend, Herr Doktor [2].

---

[1] Перевод В. А. Жуковского.

[2] Добрый вечер, фрейлен Мюллер.
— Добрый вечер, господин доктор! *(нем.)*

Тетя Лизелотта высохла как скелет, но ее большие карие глаза были ясными. Она с трудом могла повернуть голову. На ней был вязаный чепец, на плечах — шарф. Белье и сама комната были безукоризненно чистые. Я продолжал по-немецки:

— Я не доктор и не пастор — просто друг миссис Крэнстон и Эдвины.— Я не знал, что скажу дальше. Я прогнал все мысли.—Можно узнать, где вы родились, тетя Лизелотта?

— Под Штутгартом, сэр.

— А! — сказал я с радостным удивлением.— В Швабии! — Об этой области я знал только то, что там родился Шиллер.— Я потом хочу посмотреть эти фотографии на стенах. Простите, я возьму вас за руку.— Я взял ее прозрачную руку в обе ладони и опустил все три руки на покрывало. Я сосредоточивал всю «энергию», какая была в моем распоряжении.

— Я очень плохо говорю по-немецки, но какой это чудесный язык! Насколько Leiden, Liebe, Sehnsucht красивее, чем «страдания», «любовь» и «желание»! — Я медленно повторил немецкие слова. По руке ее пробежала дрожь.— А ваше имя «Лизелотта» — вместо Елизавета-Шарлотта! И уменьшительные: Mutterchen, Kindlein, Engelein.— У меня возникло побуждение незаметно придвинуть наши руки к ее колену. Ее глаза были расширены и глядели в стену напротив. Она глубоко дышала. Подбородок у нее подергивался.— Я вспоминаю немецкие стихи, которые знаю благодаря музыке Баха: «Ach, Gott, wie manches Herzeleid» и «Halt im Gedächtnis Jesum Christ», «Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt...» [1]. Слова можно перевести, нельзя перевести то, что слышим мы, любящие язык.— Я вспомнил и продекламировал другие. Я дрожал, потому что в голове у меня звучала музыка Баха, в которой присутствует некая множественность — как в волнах и поколениях.

Я слышал шаги на цыпочках в коридоре, но поначалу — без шепота. За дверью уже собирался народ. Подозреваю, что обычай убавлять на ночь свет был нарушен в связи с моим приходом. Я осторожно убрал руки, встал и пустился осматривать комнату, останавливаясь перед картинками. Я задержался перед двумя силуэтами — вероятно, столетней давности — ее родителей. Я взглянул на нее и кивнул. Она провожала меня взглядом. Выцветший голубоватый снимок тети Лизелотты с двумя детскими колясками в Центральном парке. На всех фотографиях — сперва счастливой молодой женщиной с широким простым лицом, затем женщиной средних лет, со склонностью к полноте — она была в форменном платье, напоминающем наряд наших дьяконищ, и в чепце с широкой муслиновой лентой, завязанной под подбородком. Обувалась она в тяжелые «гигиенические» туфли, вызывавшие, наверно, тихий смех на протяжении всей ее долгой жизни.

Тетя Лизелотта в старинном кресле на колесах, в ногах у нее дети — и выцветшими чернилами: «Остенде, 1880».

Германский кайзер с супругой в окружении большой группы на палубе яхты; сбоку — тетя Лизелотта с младенцем на руках, рядом — ее маленькие воспитанники. Словно про себя я произнес:

— Их императорские величества всемилостиво изъявили желание, чтобы я представил им мисс Лизелотту Мюллер, высоко ценимого друга нашего дома. Киль, тысяча восемьсот девяностый год.

Тетя Лизелотта на Скалистой аллее в Ньюпорте — конечно, с детьми.

---

[1] «О, боже, как многи сердечные муки...», «В памяти храни Иисуса Христа», «Подобно тому, как дождь и снег падают с неба...» *(нем.)*

Фотография свадьбы — невеста, жених и Лизелотта: «Нянюшке от Берти и Марианны, с любовью. Июнь 1909». Я произнес вслух по-английски:

— Ты и на папиной свадьбе была, правда, тетя Лизелотта?

Снимки в детской.

— «Няня, можно мы пойдем сегодня за ракушками?» — «Няня, прости меня, что я баловалась утром с галошами...» — «Няня, когда мы ляжем, ты нам расскажешь про ковер-самолет?»

Все мои движения были медленны. При каждой импровизации я глядел ей в глаза. Снова сев на стул, я прислонил наши три руки к ее колену. Она закрыла глаза, но тут же широко раскрыла — то ли в сильной тревоге, то ли от удивления.

Люди, собравшиеся в коридоре, толпились в дверях. Слышны были вздохи и стоны, стук палок. Старуха на костылях потеряла равновесие и упала ничком на пол. Я не обратил на нее внимания. Подошла миссис Грант, подняла ее с пола и с помощью других вывела из комнаты. Во время этого переполоха другая женщина, не пациентка, вошла в комнату и заняла место миссис Грант. Тетя Лизелотта отняла руку и поманила меня, чтобы я наклонился поближе. Она сказала по-немецки:

— Я хочу умереть... Почему бог не дает мне смерти?

— Тетя Лизелотта, вы ведь помните слова,— Бах написал на них музыку,— «Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit» [1].

Она повторила слова:

— Ja... Ja... Ich bin müde. Danke, junger Mann [2].

Я с трудом встал. Едва не засыпая от усталости, я поискал глазами миссис Грант. Взгляд мой упал на женщину, занявшую ее место,— на лицо, которое было одним из девяти самых дорогих лиц в моей жизни, хотя жизнь свела нас совсем ненадолго. Она поднялась с улыбкой. Я сказал:

— Эдвина! — И по моим щекам потекли слезы.

— Теофил,— сказала она,— ступайте вниз, я здесь побуду. Генри ждет вас. Дорогу найдете?

Прислонясь к двери, я услышал голос Эдвины:

— Тетя, милая, где болит?

— Не болит... нигде.

Я хотел выйти на лестницу, но путь был прегражден. Глаза у меня слипались; мне хотелось лечь на пол. Я медленно брел, словно через поле пшеницы. Мне приходилось отрывать чьи-то руки от моих рукавов, от пол пиджака, даже от щиколоток. Между третьим и вторым этажом я сел на ступеньку, прислонил голову к стене и уснул. Не знаю, долго ли я спал, но сон освежил меня, а когда я проснулся, рядом сидела Эдвина. Она взяла меня за руку:

— Вам лучше?

— Да, да.

— Скоро двенадцать. Они нас будут искать. Давайте спустимся. Вы можете двигаться? Пришли в себя?

— Да. Я, кажется, долго спал. Совсем отдохнул.

На площадке второго этажа под лампой, где мы могли разглядеть друг друга, она сказала:

— Вы способны выслушать хорошую новость?

— Да, Эдвина.

— Минут через пять после вашего ухода тетя Лизелотта умерла.

Я улыбнулся и хотел сказать: «Я ее убил», но Эдвина закрыла мне рот ладонью.

---

[1] «Божий срок - - самый лучший срок» *(нем.)*.

[2] Да... да... Я устала. Спасибо, молодой человек *(нем.)*

— Я немного понимаю по-немецки,— сказала она.— «Ich bin müde. Danke, junger Mann».

В гостиную на первом этаже мы вошли вместе.

— Долго вас не было,— сказала миссис Крэнстон.— Миссис Грант рассказала мне, как все кончилось. Вы сотворили ваше последнее чудо, доктор Норт.

— Я провожу вас до дома, дружище,— сказал Генри.

Я попрощался с дамами. Когда я был в дверях, миссис Крэнстон меня окликнула:

— Мистер Норт, вы забыли конверт.

Я вернулся и взял его. И с поклоном сказал:

— Спасибо вам, милостивые государыни.

По дороге домой, воспрянув духом благодаря доброму приятелю Генри и тому, что у меня появился новый друг — Эдвина, я вспомнил одну свою теорию, которую долго и с удовольствием проверял на практике,— теорию «Созвездий»: у человека должно быть три друга-мужчины старше его, три — примерно его возраста и три — младше. У него должно быть три старших друга-женщины, три — его лет и три — моложе. Этих дважды девять друзей я называю его Созвездием.

У женщины тоже должно быть свое Созвездие.

Дружба эта не имеет ничего общего со страстной любовью. Любовь-страсть — чудесное чувство, но у нее свои законы и свои пути. Ничего общего не имеют с этой дружбой и семейные связи, у которых свои законы и свои пути.

Редко (а может быть, и никогда) все эти восемнадцать вакансий бывают заполнены одновременно. Остаются пустые места; у некоторых многие годы — или всю жизнь — бывает лишь один старший или младший друг, а то и ни одного.

Зато какое глубокое удовлетворение мы испытываем, когда заполняется пробел, как в тот вечер — Эдвиной. («И я возликовал, как Звездочет, когда на круг свой выйдет новая планета»[1].)

За эти месяцы в Ньюпорте я приобрел одного надежного старшего друга — Билла Уэнтворта; двух друзей моего возраста: Генри и Бодо; двух молодых друзей: Мино и Галопа; двух старших друзей-женщин: миссис Крэнстон и (хотя виделись мы редко) синьору Матéра; двоих примерно моего возраста: Эдвину и Персис; двух младших: Элоизу и Элспет.

Но нельзя забывать, что мы сами принадлежим к чужим Созвездиям и это частично возмещает неполноту наших. Я, несомненно, был младшим другом, необходимым доктору Босворту, хотя такой эгоцентрик никак не мог удовлетворить мою потребность в старшем друге. От прежнего «Рипа» Ванвинкля и даже от Джорджа Грэнберри остались только тени (проба — смех; запасы смеха в них иссякли или стали мертвым грузом). Надеюсь, что я был старшим другом в Созвездии Чарльза Фенвика, но он мучительно пытался дорасти до своего возраста, и эта борьба мало что оставляла для свободного обмена дружбой.

Конечно, это весьма причудливая теория; не надо принимать ее слишком буквально, но и не стоит отвергать с порога...

В конце лета я встретил в казино Галопа. Как всегда, мы чинно обменялись рукопожатиями.

— Галоп, есть у тебя минута присесть со мной вот тут на галерее?

[1] Дж. Китс (1795—1821). «При первом чтении чапменского Гомера».

— Да, мистер Норт.
— Как поживает твоя семья?
— Очень хорошо.
— Когда сестра и мама уезжают в Европу?
— Послезавтра.
— Передай, пожалуйста, что я им желаю счастливого пути.
— Передам.
Приятное молчание.
— Ты уже не заканчиваешь каждую фразу «сэром», а?
Он поглядел на меня с выражением, которое я не раз наблюдал у него и определил как «внутреннюю улыбку».
— Я сказал отцу, что американские мальчики называют отца «папой».
— Неужели сказал? Он очень рассердился?
— Он поднял руки вверх и сказал, что мир трещит по всем швам... С утра я первый раз называю его «сэр», а потом больше — папой.
— Ему это еще понравится.
Приятное молчание.
— Ты решил, кем ты хочешь быть?
— Я буду врачом... Как вы думаете, мистер Норт, доктор Боско еще будет учить, когда я поступлю в университет?
— А почему бы и нет? Он совсем не старый. А ты способный ученик. Через класс или два перескочишь. Я знаю студента, который недавно кончил Гарвард в девятнадцать лет... Так ты хочешь стать нейрохирургом, а?..
Что ж, это одна из самых трудных профессий на свете — тяжелая физически, тяжелая умственно, тяжелая для души... Домой приходишь ночью, усталый, после четырех- или пятичасовой операции— да и не одной! — на волоске от смерти...
Женись на спокойной девушке. Чтобы она смеялась не вслух, а про себя, как смеешься ты... У многих знаменитых нейрохирургов есть побочные увлечения, чтобы забыться, когда ноша становится непосильной,— вроде музыки или собирания книг по истории медицины...
Многим знаменитым хирургам приходилось возводить стену между собой и пациентами. Чтобы *свое* сердце уберечь. Постарайся не делать этого. Когда говоришь с пациентом, держись к нему поближе. Потрепи его по плечу и улыбнись. Вам ведь вместе идти долиной смертной тени — понимаешь, что я хочу сказать?..
Великий Доктор Костоправ часто... Тебя не обидит такое прозвище?
— Нет.
— Великий Костоправ часто бывает склонен замкнуться в себе. Чтобы сберечь энергию. Становится слишком властным или чудаковатым — верный признак одиночества. Подбери себе друзей — мужчин и женщин, разного возраста. Ты не сможешь уделять им много времени, но это не важно. Ближайший друг доктора Боско живет во Франции. Они видятся раз в три-четыре года, на конференциях. Сбегают и заказывают где-нибудь роскошный ужин. Великие хирурги часто — великие гурманы. А через полчаса оказывается, что они уже хохочут... Ну, мне пора идти.
Мы чинно обменялись рукопожатиями:
— Всего хорошего, Галоп.
— И вам тоже, мистер Норт.

13

Бодо и Персис

Эту главу можно было бы назвать «Девять фронтонов — часть вторая», но удобнее оказалось поместить ее среди последних глав. Поэтому она выпадает из хронологической последовательности. События, о которых будет речь, произошли после поездки с доктором Босвортом и Персис в «Уайтхолл» епископа Беркли (когда я объяснил, что Бодо — не охотник за приданым, а сам — приданое) и перед моим последним посещением «Девяти фронтонов» (и грозным ультиматумом миссис Босворт: «Папа, либо это чудовище покинет дом, либо я!»).

Я еще не нашел квартиры. Я пока живу в ХАМЛ.

По понедельникам вечера у меня были свободны. Как-то в понедельник, поужинав в городе, я часов в восемь вернулся в «Х». Дежурный подал мне письмо, которое лежало в моем ящике. Тут же, возле конторки, я открыл и прочел его. «Уважаемый мистер Норт, я часто катаюсь по вечерам. Мне бы хотелось, чтобы завтра вечером Вы составили мне компанию — если не слишком устанете после чтения с дедушкой. Ваш велосипед можно положить на заднее сиденье, а потом я отвезу Вас домой. У меня к Вам неотложный разговор. Отвечать на это письмо не надо. После занятий я буду ждать Вас у двери «Девяти фронтонов». Ваша *Персис Теннисон*». Я сунул письмо в карман и направился было наверх, но дежурный меня остановил:

— Мистер Норт, тут вас джентльмен дожидается.

Я обернулся — ко мне шел Бодо. Я никогда не видел у него такого строгого, напряженного лица. Мы пожали друг другу руки.

— Grüß Gott, Herr Baron.

— Lobet den Herrn in der Ewigkeit [1],— ответил он без улыбки.— Теофил, я пришел попрощаться. Есть у вас час для разговора? Я хочу слегка напиться.

— Я готов.

— Машину я оставил на углу. У меня две фляги со шнапсом.

Я пошел за ним.

— Куда мы?

— К Доэни, у общественного пляжа. Нужен лед. Шнапс — лучше всего холодный.

Машина тронулась. Он сказал:

— По своей воле больше ни за что не приеду в Ньюпорт.

— Когда вы уезжаете?

— Завтра Венеблы дают в мою честь небольшой ужин. Когда гости разойдутся, я сяду в машину и буду ехать всю ночь до самого Вашингтона.

Мрачность его ощущалась в кабине как тяжелый груз. Я молчал. Доэни держал «сухой» бар, то есть не подавал запрещенных напитков. Шторы на окнах не опускались. Гости могли приносить с собой. Бар был приветлив, как сам мистер Доэни,— и пустовал. Мы сели у открытого окна, попросили две чашки и льду. Поставили в лед и чашки, и фляги. Бодо сказал:

— Данни, мы пройдемся по берегу, пока он стынет.

---

[1] Мир вам, господин барон.
— Благослови вас бог во веки веков *(нем.)*.

— Хорошо, мистер Штамс.

Мы перешли дорогу и, увязая ногами в песке, направились к пляжному павильону, закрытому на ночь. Я следовал за ним, как ученая собака. Бодо поднялся по лестнице на веранду и прислонился спиной к столбу.

— Сядьте, Теофил; я хочу немного подумать вслух.

Я подчинился. На Бодо было тяжело смотреть.

В наше время принято считать, что взрослые мужчины не плачут. Сам я слезлив, но не рыдаю. Я плачу от музыки, плачу над книгами и в кино. Никогда не рыдаю. Я рассказывал в седьмой главе, как Элберт Хьюз — не совсем, правда, взрослый мужчина — плакал словно младенец и как это меня раздражало. В колледже у меня был приятель, которого чуть не исключили из университета за плагиат: он напечатал чужой рассказ в студенческом журнале, где я был редактором. Отец его был священник. Дело пахло страшным скандалом и позором, которые испортили бы ему жизнь. Может быть, стоило бы рассказать эту историю отдельно. Зрелище его унижения было тем более сокрушительным, что обманул он без всякого умысла. А в форте Адамс я знал солдата, попавшего в армию с фермы в Кентукки. Он никогда не уезжал от родителей, от восьми своих братьев и сестер, от своей хибарки с земляным полом дальше центра округа («До армии я и башмаки-то носил только по воскресеньям; мы с братом их по очереди носили — в церковь»). Рыдал от тоски по дому. В Американской академии в Риме я вынул из петли приятеля, который хотел повеситься в ванной, потому что подхватил венерическую болезнь,— он рыдал от ярости.

В мире полным-полно страданий, и малая, но важная часть их не так уж обязательна.

Состояние Бодо было другое — безмолвное, без слез, окаменелое. Даже при рассеянном свете звезд я видел, что зубы у него стиснуты и желваки побелели; взгляд его был устремлен не на меня и не на стену за моей спиной. Он был направлен внутрь. Вот твой ближайший друг — ну, пусть один из двух ближайших, вместе с Генри Симмонсом,— доведен до крайности. Как тут не задуматься.

Наконец, он заговорил:

— Сегодня я заехал попрощаться в «Девять фронтонов». Я носился с дурацкой идеей, что могу — мог бы вообще — сделать Персис предложение. В этот раз она была немного оживленней, чем обычно, но кто из нас не вздохнет с облегчением, если человек, нагоняющий на тебя смертную скуку, пришел попрощаться. Дед же ее, наоборот, впервые отнесся ко мне с интересом: хотел поговорить о философии и о философах; не отпускал меня... Я ее не понимаю... Я могу понять, если я не нравлюсь женщине, но если я не вызываю совсем никакой реакции, этого я понять не могу — только вежливость, только уклончивость и хорошие манеры... Сколько часов мы провели вместе. Нас нарочно сводили — и миссис Венебл, и миссис Босворт, и еще человек пять. Нам *приходилось* разговаривать. Конечно, я приглашал ее пообедать, но на этом острове приличного места нет, кроме чертова «Мюнхингер Кинга», а она говорит, что не любит обедать в общественных местах. Поэтому мы разговаривали на званых обедах. Всякий раз меня потрясает то, что она не только очень красивая женщина, но и редкостный человек. Она все знает о музыке, о живописи и даже об *Австрии*. Говорит на трех языках. Все время читает. Она танцует, как Аделина Жене, и, говорят, поет прекрасно. А главное, я чувствую в ней громадный запас жизни и любви... и жизни. Я ее люблю. Люблю. А она как будто даже не замечает, что я живое, дышащее и, может

быть, любящее человеческое существо. Разговоры, разговоры — и хоть бы искорка чего-то. Вы знаете, как я люблю детей,— и дети меня любят. Я завожу разговор о ее трехлетнем сыне, но и тут — хоть бы искорка... Иногда мне хочется, чтобы она выказала раздражение или прямо антипатию; сказала грубость. Я наблюдаю за ней на вечерах: она такая же со всеми мужчинами... Может быть, она горюет о муже,— но траур давно кончился; может быть, она кого-нибудь любит; может быть — вас. Нет, пока не перебивайте! Я уезжаю из Ньюпорта навсегда. Я вычеркиваю Персис из мыслей и сердца. Я отвергаю то, чего мне никогда не предлагали. Пойдемте посмотрим, остыл ли шнапс.

Вы вернулись за столик. Он вытащил флягу и чашки из ведерка и налил. Мы обменялись сердечным «Zum Wohl!» [1] и выпили.

— Тед, я давно хотел рассеять одно недоразумение. Когда я вам сказал у Флоры Диленд, что я охотник за приданым, вы, наверно, сочли меня мелким прощелыгой, как у вас говорят. Нет, не отвечайте, пока не дослушаете. До того как мы расстанемся, я хочу, чтобы вы мне все сказали начистоту и без церемоний. Положение таково: я глава семьи. Отца состарила и разорила война. Старший брат уехал в Аргентину и торгует автомобилями. Он отказался от титула и принял аргентинское подданство, чтобы наладить дело. У него семья, он не может посылать много денег в Schloss [2], да и родители этого не хотят. Мать оказалась отличной хозяйкой. Летом и особенно зимой она пускает пансионеров. Соседние лыжные курорты привлекают все больше и больше народу. Но работа тяжелая, а доходы маленькие. Замок все время нужно ремонтировать — то крыша, то канализация, то отопление. Попытайтесь это себе представить. У меня три сестры — просто ангелы. Но dots [3] за ними нет, а я должен и хочу прилично и счастливо выдать их за людей их круга. Юридически замок мой; морально и семья — моя. Zum Wohl, Bruder!

— Zum Wohl, Bodl! [4]

— В течение года я женюсь. В Вашингтоне мне все время сватают невест — красивых, очаровательных девушек с осязаемыми pecunia [5]. Я выбрал двух — любую из них я сумею полюбить и сделать счастливой. Мне давно пора жениться. Я хочу, чтобы мои дети застали моих родителей; я хочу, чтобы мои родители успели увидеть моих детей. Мне нужен *дом*... У меня уже два года роман с замужней женщиной, она хочет развестись с мужем и выйти за меня, но я не могу отвезти ее к моим родителям: она два раза была замужем. Она прекрасно воспитана и первый год была прелестна, но теперь все время плачет. И мне надоели маленькие загородные гостиницы, надоело регистрироваться под дурацкими фамилиями. И еще — я католик; мне бы надо... постараться... быть хорошим католиком.

Тут впервые на глазах моего друга показались слезы.

— Zum Wohl, Alter.

— Zum Wohl, Bursche [6].

— Так что в течение года я женюсь на девушке с состоянием. Могу я считать это выполнением сыновнего долга или все равно я прощелыга?

— Я протестант, Бодо. Мой отец и мои предки с величественным

---

[1] Твое здоровье *(нем.)*.
[2] Замок *(нем.)*.
[3] Приданого *(франц.)*.
[4] Твое здоровье, брат!
— Твое здоровье, Бодо! *(нем.)*
[5] Деньгами *(лат.)*.
[6] Твое здоровье, старина.
— Твое здоровье, парень *(нем.)*.

видом объясняли людям, в чем их долг. Надеюсь, что обо мне этого никогда не скажут.

Он, закинув голову, расхохотался.

— Великий боже, до чего приятно бывает поговорить, то есть, вернее — облегчить душу.

— Вы уже напились или вернемся к разговору о Персис? Я не имею права так ее называть, но пока с вами — буду.

— Да, да! Но о чем тут еще говорить?

Я облокотился на стол, сцепил руки и важно поглядел ему в глаза.

— Бодо, не смейтесь над тем, что я скажу. Это гипотетический случай, но я хочу растолковать одну очень важную мысль.

Он выпрямился и посмотрел на меня с некоторым беспокойством.

— Давайте! Что за мысль?

— Предположим — только *предположим,* — что два с половиной года назад в вашем министерстве иностранных дел произошел тихий скандал. Исчезли секретные документы, и возникло подозрение, что кто-то из сотрудников продал их врагу. И предположим, что тень подозрения пала на вас — только тень. Конечно, было проведено тщательное расследование и стало ясно, что вы тут ни при чем. Начальники государственных учреждений расшибаются в лепешку, предлагая вам самые ответственные посты. На высоких совещаниях министр иностранных дел сажает вас рядом с собой. Вас во всеуслышание объявили невиновным. Суда не было, потому что не было обвинений,— но пошли слухи. Один отставной дипломат говорил мне, что из всех городов, где он служил, нет хуже в смысле сплетен и злоязычия, чем Дублин и Вена. Все порочащее вас — действительное или воображаемое — мусолится из десятилетия в десятилетие. У вас была бы «подмоченная репутация», правильно?

— К чему вы ведете?

— Ну, как бы вы поступили?

— Не обращал бы внимания.

— Вы уверены? У вас обостренное чувство чести. Ваша жена и дети тоже скоро почувствуют, что на семье — какое-то пятно. Вы же знаете, как ползут слухи. «Тут все не так просто, как кажется».— «У Штамсов такие связи — они могут замять что угодно!»

— Теофил, к чему вы клоните?

— Может быть, и на Персис Теннисон — такая тень. Вы знаете, и я знаю, и бог тому свидетель: ни на какую низость она не способна. Но как говорит Шекспир, «будь ты... чиста как снег,— не уйти тебе от напраслины».

Бодо встал, глядя на меня не то с яростью, не то с отчаянием. Он заходил по комнате, распахнул дверь на улицу, словно ему не хватало воздуху. Потом вернулся и упал в кресло. Теперь он смотрел на меня, как зверь, попавший в капкан.

— Я не измываюсь над вами, Бодо. Я придумываю, как нам помочь замечательной и несчастной женщине, запертой в «Девяти фронтонах», в этом нехорошем доме, где не знают любви... А как еще может вести себя утонченной души женщина с любым мужчиной, если она его уважает — и, может быть, любит,— а он добивается ее руки? Она не захочет, чтобы пятно легло и на его семью. Подумайте о своей матери!

Он смотрел на меня со страшным напряжением. Я безжалостно продолжал:

— Вы знаете, что ее муж покончил с собой?

— Я знаю только, что он был заядлым игроком. Застрелился из-за каких-то долгов.

— И я больше ничего не знаю. Нам надо узнать больше. Но то, что город полон злобных сплетен,— это мы знаем. «Тут все не так просто, как кажется».— «У Босвортов хватит денег замять что угодно».

— Ах, Теофил! Что же нам делать?

Я вытащил из кармана письмо и положил перед ним.

— Я знаю, о каком важном деле она хочет со мной говорить. Она хочет меня предупредить, что кое-кто из Босвортов замышляет против меня недоброе. Мне это уже известно. Но может быть, она хочет рассказать мне и о смерти мужа — подлинную историю, чтобы я ее распространил. Мужайтесь, не падайте духом. Мы знаем, что миссис Венебл любит и уважает Персис. Миссис Венебл считает себя блюстительницей нравов на острове Акуиднек. Миссис Венебл, по-видимому, знает все факты. И всеми силами старается оградить и защитить Персис. Но, мне кажется, у миссис Венебл недостает воображения понять, что просто взять Персис под крылышко — мало. Вероятно, есть какие-то особые обстоятельства, связанные с Арчером Теннисоном. Она полагает, что молчание — лучшая защита; это не так... Бодо, завтра у меня тяжелый день, я попрошу вас отвезти меня домой. Можно сделать вам предложение?

— Да, конечно.

— В котором часу кончается завтра ваш ужин и вы отправляетесь в Вашингтон?

— Ну... что-нибудь около половины двенадцатого.

— Вы могли бы задержаться еще на два часа? Персис подвезет меня к дому около половины второго. Вы не подождете меня в машине за углом? А вдруг я сообщу вам кое-какие факты. Тогда у нас появится отправная точка. Не кажется ли вам, что спасти молодую даму от несправедливости — одна из самых благородных задач, какие могут выпасть на долю молодого человека?

— Да! Да!

— Поспите в машине. Надеюсь, у вас будет над чем подумать ночью по дороге.

У своего дома я сказал:

— Мы уверены, что Арчер Теннисон покончил с собой не из-за каких-то изъянов в поведении жены, да?

— Да! Да, уверены!

— Так не падайте духом! Надейтесь!.. Какие были последние слова Гёте?

— Mehr Licht! Mehr Licht! [1]

— Его мы сейчас и ищем — света. Спасибо за шнапс. До завтра.

Следующий день был у меня очень загружен. Я приехал в Ньюпорт не для того, чтобы так трудиться, но к ужину я уже заработал четырнадцать долларов. Я немного вздремнул, а потом поехал в «Девять фронтонов» на занятия, начинавшиеся в половине одиннадцатого.

С тех пор как состояние доктора Босворта пугающим образом улучшилось, по вечерам он чувствовал потребность подкрепиться. Подкрепление в виде лечебного отвара и сухариков (я с благодарностями от них отказывался) приносила около половины двенадцатого миссис Тэрнер. От меня не ускользнуло, что этими перерывами в занятиях хозяин пользовался, чтобы поговорить на посторонние темы. Он сгорал от желания поговорить. Мы читали (по причинам, нам од-

[1] Больше света! Больше света! *(нем.)*.

ним известным) «Deux sources de la morale et de la religion» [1] Анри Бергсона, когда появилась с подносом миссис Тэрнер.

То, что за этим последовало, было не просто разговором — это была военная вылазка, дипломатический маневр, с некоторыми чисто шахматными хитростями. Я еще раньше заметил, что он впопыхах спрятал aide-mémoir — записную книжку, какими привык пользоваться во времена своей дипломатической службы. Поэтому я был начеку.

— Мистер Норт, сентябрь в Ньюпорте — самый прекрасный месяц. Надеюсь, вы не собираетесь покинуть остров в сентябре, как многие другие.— Молчание.— Меня бы это очень огорчило. Мне вас будет не хватать.

— Спасибо, доктор Босворт.— И т. д. и т. д.

— Кроме того, у меня есть касательно вас определенные планы, которые обеспечат вам весьма выгодное занятие. Я хочу включить вас в число организаторов нашей академии. Ваша сообразительность и острый ум были бы тут неоценимы.— Я слегка наклонил голову и ничего не ответил.— В зимние месяцы круг моих друзей сужается. Теперь, когда я могу ездить на машине, мне — вернее, нам — открывается в этой части Новой Англии большое поле для исследований. Меня очень радует, что внучке эти поездки тоже доставляют удовольствие. Я стал делиться с нею кое-какими планами насчет того, что я называю моими «Афинами-в-Ньюпорте».— Молчание.— Многим миссис Теннисон кажется человеком скрытным. Это так, но я уверяю вас, что она женщина необычайного ума и широкой образованности. Она превосходная музыкантша — вам это известно?

— Нет, доктор Босворт.

— Зимними вечерами я буду слушать прекрасную музыку. А вы, мистер Норт, любите музыку?

— Да, сэр.

— Ну, конечно. Вплоть до трагической гибели ее мужа она брала уроки у лучших преподавателей в Нью-Йорке и за границей. После этого несчастья она отказывается петь гостям — и у нас дома, и у миссис Венебл. Вы слышали о печальных обстоятельствах смерти мистера Теннисона?

— Я знаю только, что он покончил с собой, мистер Босворт.

— Арчер Теннисон пользовался всеобщим расположением. Он получал от жизни большое удовольствие. Но было в нем, пожалуй, что-то от чудака. Лучше не вспоминать эту злосчастную историю.— Он понизил голос и со значением добавил: — Зимними вечерами мы втроем быстро двинули бы проект нашей академии.

Шахматная партия разыгрывалась стремительно и без оглядки. Всякие тонкости с моей стороны были бы излишни. Я сделал храбрый выпад черным конем:

— Сэр, как вы думаете, миссис Теннисон окончательно рассталась с мыслями о новом замужестве?

— Ах, мистер Норт, она необыкновенная женщина. Ну, кто из молодых людей, окружающих ее здесь — да и в Нью-Йорке! — может быть ей интересен? У нас есть несколько яхтсменов; несколько молодых людей из тех, кого называют «душой общества»,— скучные остроумцы и сплетники. Тетя Элен приглашала ее зимой на несколько недель к себе — она отказывается. Отказывается от приглашений в концерты и в театры. Замкнулась в себе. Живет только своим маленьким сыном, чтением и музыкой и — я счастлив сказать — самыми душевными заботами обо мне.— Он снова понизил голос: — Кроме нее... и академии у меня ничего не осталось. Свою тетю Сару она совершенно

[1] «Два источника морали и религии» *(франц.)*.

вывела из терпения, и я просто в тупике. Я был бы счастлив, если бы она вышла замуж за кого угодно, откуда бы он ни явился.

— У нее должно быть много поклонников, доктор Босворт. Она красивая и обаятельная женщина.

— Правда? — Снова понизив голос, он двинул своего белого ферзя через всю доску: — И разумеется, очень хорошо обеспечена.

— Неужели? — спросил я с удивлением.

— Отец оставил ей большое состояние, муж — тоже.

Я вздохнул:

— Но если дама никак не поощряет... что может сделать джентльмен? У меня такое впечатление, что барон Штамс питает искреннюю и глубокую симпатию к миссис Теннисон.

— О, я думал об этом. В особенности после того, как вы открыли мне глаза на его превосходные качества. Вчера он приходил к нам прощаться. Никогда в жизни я так не ошибался в человеке... и такие интересные связи! Вы знаете, что сестра его матери — английская маркиза? — Я этого не знал и покачал головой.— Это она, как говорится, «устроила» его в Итон. И подумать только — какие познания в философии и о философах. Будь он немного постарше, я бы, пожалуй, назначил его директором нашей академии. Но должен вам сказать, вчера вечером Персис даже рассердилась на меня — и была очень резка,— когда я стал отзываться о нем с большой похвалой. Я сначала не понял. Потом вспомнил, что некоторым нашим друзьям браки с иностранцами — особенно с европейскими аристократами — принесли разочарование. Очень не посчастливилось моей дочери Саре — он был милейший человек, но спал на ходу. Не думаю, что иностранец такая уж желанная партия, мистер Норт.

Сколько можно еще валять дурака! Я начал атаку ладьями и слонами и легкомысленно заметил:

— Мне бы и в голову не пришли такие препятствия, доктор Босворт. Я всего лишь висконсинский крестьянин.— Настал мой черед понизить голос: — Я уже довольно давно помолвлен, но по секрету вам скажу, что постепенно и мучительно расстраиваю помолвку. Молодому человеку надо быть предельно осмотрительным. Даже в моем кругу мужчине трудно решиться на брак с женщиной, чей муж покончил с собой в ее присутствии.

Доктор Босворт разинул рот, как загарпуненный кит:

— Персис при этом не было! Это произошло на пароходе. Он выстрелил себе в голову на верхней палубе. Я же говорил: он был с причудами. Он был чудак. Любил играть огнестрельным оружием. Нашу милую Персис никто ни в чем не укорял.— По щекам его текли слезы.— Спросите кого угодно, мистер Норт. Спросите миссис Венебл — кого угодно... какие-то сумасшедшие рассылали эти анонимные письма — гнусные письма. Они совсем убили бедную девочку.

— Трагическое положение, сэр.

— Ах, мистер Норт, вся жизнь наша — трагедия. Мне почти восемьдесят лет. Я оглядываюсь вокруг. Тридцать лет я служил моей стране — и не в безвестности. Моя семейная жизнь сложилась так, что лучшего и пожелать нельзя. А потом — одно несчастье за другим. Не буду вдаваться в подробности. Что такое жизнь? — Он взял меня за лацкан.— Что такое жизнь? Вы понимаете, почему я хочу основать академию философов? Зачем мы на земле? — Он начал вытирать глаза и щеки огромным носовым платком.— Какая глубина в этой книге Бергсона!.. Увы, время идет, а сколько еще не прочитано!

В дверь постучали.

Вошла Персис в перчатках и вуали для автомобильной прогулки.

— Дедушка, уже четверть первого. Тебе пора спать.

— Мы очень хорошо поговорили, милая Персис. Мне трудно будет заснуть.

— Мистер Норт, нет ли у вас настроения проехаться перед сном? Я могу довезти вас до дому. Ночной воздух чудесно освежает голову после трудного дня.

— Вы очень любезны, миссис Теннисон. Буду рад.

Попрощавшись с доктором Босвортом, я пошел с Персис по длинному холлу. Я уже описывал «Девять фронтонов» как «дом, где слышат стены». Из какой-то комнаты появилась миссис Босворт.

— Персис, что за катание в такой час? Пожелай мистеру Норту спокойной ночи. Он, наверное, устал. Спокойной ночи, мистер Норт.

Персис сказала:

— Спокойной ночи, тетя Салли. Садитесь, мистер Норт.

— Персис! Ты слышишь, что я сказала!

— Мне двадцать восемь лет, тетя Салли. Мистер Норт провел сорок часов в ученых разговорах с дедушкой и давно может считаться другом дома. Спокойной ночи, тетя Салли.

— Двадцать восемь лет! И никакого понятия о приличиях!

Персис запустила мотор и помахала ей рукой. Мы уехали.

Читатель, может быть, помнит по первой главе этой книги, что я страдал «комплексом Чарльза Марло»,— к счастью, не в такой степени, как герой Оливера Голдсмита. Я не краснел, не запинался, не потуплял взгляда в присутствии воспитанных молодых дам, но Персис Теннисон, безусловно, воплощала в себе тот образ (лилия, лебедь), перед которым я робел. Меня мучила раздвоенность, которую считают корнем всякого комплекса: я чрезвычайно восхищался этой женщиной, и мне хотелось быть от нее подальше. Я смущался; я путался; я говорил слишком много и слишком мало.

Она ехала медленно.

— Может быть, поедем и посидим на молу около дома Бадлонгов? — спросила она.

— К концу дня я обычно так устаю, что никуда не хочется ехать. Но сплю я мало. Встаю рано и еду туда смотреть на восход солнца. Затемно. Сперва полиция думала, что я занимаюсь какими-то подозрительными делишками, и следила за мной. Со временем они поняли, что я просто чудак, и теперь мы делаем друг другу ручкой.

— А я часто катаюсь ночью, как сейчас,— и то же самое. Полиция все еще считает нужным за мной приглядывать. Но на рассвете я ни разу не выезжала. Хорошо там?

— Потрясающе.

Она повторила это слово тихо и задумчиво.

— Мистер Норт, к каким чудесам вы прибегли, что дедушка так окреп?

— Никаких чудес, мадам. Я понял: доктора Босворта что-то тяготит. Со мной тоже так бывало. Постепенно выяснилось, что у нас много общих увлечений. Увлечения воодушевляют человека, заставляют забыть о себе. Мы оба помолодели. Вот и все.

Она пробормотала:

— По-моему, все не так просто... Мы вам очень обязаны. Мы с дедушкой хотели бы сделать вам подарок. Только не знаем, чего бы вам хотелось. Может быть, вам хотелось бы иметь автомобиль? — Я не ответил.— Или экземпляр Alciphron'a, который епископ Беркли преподнес Джонатану Свифту? Он был написан в «Уайтхолле».

Я был разочарован. Я скрыл мое горькое разочарование за шумными изъявлениями благодарности и дружелюбным смехом.

— Большое спасибо вам обоим за добрые намерения.— И т. д.

и т. д.— Я стараюсь по возможности обойтись без имущества. Как китаец — миской риса... как древний грек — горстью фиг и оливок.— Я сам посмеялся над этой нелепостью, но дал понять, что мой отказ решителен.

— Но какой-нибудь знак нашей благодарности?

Баловни судьбы не привыкли, чтобы им отвечали отказом.

— Миссис Теннисон, вы пригласили меня на прогулку не для того, чтобы обсуждать со мной подарки, а для важного разговора. Кажется, я знаю какого: в «Девяти фронтонах» и около него есть люди, которые хотят от меня избавиться.

— Да. Да. И к сожалению, это еще не все. Они придумывают, как вам навредить. За креслом дедушки — полка с очень редкими первоизданиями. Я подслушала план: постепенно убрать их и подменить более поздними изданиями тех же работ. За последние годы вы — единственный посетитель этого дома, который понимает их ценность. Они рассчитывают, что подозрение падет на вас.

Я рассмеялся:

— Как увлекательно!

— Я предупредила их хитрость и сама подменила тома. Первые издания — в моем сейфе с драгоценностями. Если начнутся некрасивые разговоры, я их предъявлю. Почему вы сказали «увлекательно»?

— Потому что они раскрыли карты. Они стали делать ошибки. Спасибо, что вы спрятали книги, но даже без этого я был бы рад открытой схватке. Я не воинственный человек, миссис Теннисон, но я ненавижу клевету и злобные сплетни,— а вы?

— Ненавижу. *Как* ненавижу! Люди болтают — болтают гнусно. Милый мистер Норт, скажите, как можно от них защититься?

— Вот и дом Бадлонгов. Давайте выйдем и посидим на молу.

— Не забудьте, что́ вы хотели мне сказать.

— Не забуду.

— На заднем сиденье лежит полость — можно постелить ее на парапет.

Позади нас тянулись заросли одичалого шиповника. Цветы уже начали вянуть, и запах стоял дурманящий. Лучи маяков пробегали по нашим лицам; уши наполнял глухой усыпляющий гул, завывание и звон буев. Небо над головой было как штурманская карта в алмазах. Мы очутились на том самом месте, куда несколько дней назад Бодо привез Аньезе, Мино и меня на пикник.

Как обычно, неподалеку стояли машины, и в них сидели пары моложе нас.

— Вы советуете мне прекратить занятия в «Девяти фронтонах»?

— То, что вы сделали для нас,— благодеяние. А вас там ожидают только опасности — происки некоторых людей.

— И видимо, все свалится на вас.

— О, мне безразлично. Я вытерплю.

— Столько яду? У вас маленький мальчик, надо о нем подумать. Простите меня, но почему вы вообще не уедете из этого дома?

Как она была спокойна!

— По двум причинам: я люблю дедушку, и он любит меня — насколько он способен. И потом — куда уехать? Нью-Йорк я не выношу. В Европу? В Европу мне пока не хочется. Мать давно ушла от отца — он потом умер — и живет с другим, хотя они не женаты, в Париже и на Капри. Она нам редко пишет. Мистер Норт, я часто думаю, что большая часть моей жизни уже позади. Я старая вдова, живу только для сына и дедушки. Унижения, которые мне иногда приходится терпеть, и скука светской жизни меня не трогают. Только

старят... Вы хотели меня научить, как мне справиться со злыми языками. Вы всерьез обещали?

— Да... Поскольку мы говорим о вещах, которые близко вас касаются, можно мне — только этот час — звать вас Персис?

— Конечно.

Я набрал полную грудь воздуха.

— Есть у вас основания полагать, что в некоторых кругах на ваш счет злословят?

Она понурилась, потом вскинула голову.

— Злословят — я знаю.

— Я-то понятия не имею, что эти люди говорят. О вас я не слышал ничего, кроме слов восхищения. Но мне говорили, что ваш муж покончил с собой в море, на верхней палубе судна, и рядом никого не было. Полагаю, что это трагическое событие и положило начало злобным пересудам. Я убежден, что ничего порочащего вам даже приписать нельзя. Вы спросили меня, как можно защититься от клеветы. Прежде всего я бы обнародовал факты — истину. Если в деле замешан кто-то еще, кого вы считаете нужным оградить, то надо прибегнуть к другим мерам. В этой истории кто-нибудь замешан?

— Нет. Нет.

— Персис, может быть, вы хотите прекратить этот разговор?

— Нет, Теофил. Мне не с кем поговорить. Позвольте вам все рассказать.

Я поглядел на звезды.

— Я не люблю секретов — мрачных семейных тайн. Если вы потребуете, чтобы я никому не сказал ни слова, прошу ничего мне не рассказывать.

Она понизила голос:

— Нет, Теофил, я хочу, чтобы все сплетники и сочинители подметных писем и... знали простую истину. Я любила мужа, но в припадке страшного легкомыслия... по существу, безумия... он оставил меня одну — с таким грузом подозрений. Вы можете рассказывать мою историю кому угодно, если сочтете нужным.

Я сложил руки на коленях. При рассеянном свете звезд она могла видеть ободряющую улыбку на моем лице.

— Я слушаю,— сказал я.

— Когда я окончила школу, меня, как говорится, «вывезли в свет». Танцы, балы, вечера, приемы. Я полюбила молодого человека, Арчера Теннисона. Он не попал на войну, потому что в детстве перенес туберкулез и медики его не пропустили. По-моему, с этого все и пошло. Мы поженились. Были счастливы. Только одно меня тревожило: он был сорвиголова, и сначала я этим восхищалась. Он очень быстро водил машину. Однажды на пароходе он специально дождался ночи и полез на мачту. Капитан сделал ему выговор в судовом бюллетене. Постепенно я стала понимать, что он страстный игрок — не только на деньги; на деньги тоже, но не это важно,— он жизнью играл. Жизнью: лыжи, горы, гонки на катерах. Когда мы были в Швейцарских Альпах, он съезжал только по самым опасным склонам. Увлекся тобогганом — тогда это было новинкой: в санях съезжают между стенами спрессованного льда. Однажды меня что-то отвлекло, и он взял нашего годовалого ребенка, посадил между колен и поехал. Тогда я в первый раз поняла, что́ у него на уме: он хотел поднять ставку в игре со смертью; он хотел поставить на карту самое близкое и дорогое, что у него было. Сначала он требовал, чтобы я сидела с ним рядом в машине или на катере; теперь ему понадобился и ребенок. Я со страхом ожидала лета, потому что каждый год он пытался побить свой рекорд езды из Нью-Йорка в Ньюпорт. Он

побил все рекорды скорости на дороге в Палм-Бич, но я с ним не поехала. И он держал пари по любому поводу: скачки, футбольные матчи, президентские выборы. Он садился у окна в клубе на Пятой авеню и держал пари насчет марок проезжавших автомобилей. Все друзья умоляли его пойти работать в маклерскую контору отца, но он не мог усидеть на месте. Под конец он стал учиться водить самолет. Не знаю, становятся ли теперь жены на колени перед мужьями, но я стояла. Больше того: я сказала ему, что если он поднимется в воздух один, я никогда не рожу ему второго ребенка. Он был так изумлен, что действительно бросил летать.

Она умолкла в нерешительности. Я сказал:

— Продолжайте, пожалуйста.

— По сути он не был пьяницей, но без конца сидел в барах, изображая отчаянного гуляку, и... мне неприятно это говорить... хвастал. Вот и вся почти история.

— Можно вас перебить? Прошу вас, не торопитесь. Я хочу знать, что вы сами испытывали все эти годы.

— Я? Я понимала, что он в некотором смысле больной человек. Я все равно любила его, но жалела. Боялась. Вы понимаете, ему нужна была публика, чтобы показывать свою лихость. И мое место было в первом ряду; бóльшая часть представления — хотя и не всё — предназначалась для меня. Жена не может беспрестанно ругаться. Я не хотела пропасти между нами... Он считал это мужеством; я — глупостью... и жестокостью по отношению ко мне. Однажды, когда мы плыли в Европу, мы стояли ночью на палубе и он увидел другой пароход, который шел нам навстречу. Нам сказали, что он пройдет рядом. Муж говорит: «А здорово будет, если я спрыгну и подплыву к нему?» Он скинул бальные туфли и начал раздеваться. Я ударила его, сильно, очень сильно — по одной щеке и по другой. Он был так потрясен, что замер. Я сказала: «Арчер, это не я тебя ударила. Твой сын. Научись быть отцом». Он медленно натянул брюки. Потом поднял с палубы пиджак. Эти слова не вдруг возникли. Я их твердила про себя бессонными ночами. И еще: «Я тебя любила больше, чем ты меня. Ты любишь игру со смертью больше, чем меня. Ты убиваешь мою любовь». Мне нельзя было плакать, но я плакала, ужасно. Он обнял меня и сказал: «Это просто игра, Персис. Забава. Я все прекращу — ты только скажи». ...Сейчас я кончу. Он неминуемо должен был встретить такого же безумца, еще худшего безумца. Это случилось через два дня. Встретились они, конечно, в баре. Тот был ветеран войны, с диким взглядом. Я сидела с ними часа два, и все время этот человек добивал мужа фронтовыми рассказами о том, как он был на волоске от смерти. До чего было весело и прочее! Начинался шторм. Бармен объявил, что бар закрывается, но они ему заплатили, чтобы он не закрывал. Я уговаривала Арчера идти спать, но он не мог отстать от этого человека — ни на рюмку. Жена этого человека отправилась спать, а потом и я, отчаявшись, ушла и легла. Арчера нашли на верхней палубе с револьвером в руке и простреленной головой... Было дознание, следствие... Я показала, что несколько вечеров подряд мой муж и этот майор Майклис говорили как бы шутя о русской рулетке. Но ничего этого в серьезных газетах не появилось и даже в «сенсационных», насколько я знаю,— очень мало. Дедушка пользовался большим уважением. Он лично знал издателей лучших газет. О несчастье кратко сообщали где-то на внутренних страницах. Я еще тогда умоляла дедушку добиться, чтобы опубликовали мои показания; но Майклисы — тоже из старинных семей и, чтобы избежать газетной шумихи, перевернут небо и землю. С этого замалчивания и начались мои неприятности. Следствие было закры-

то — с выводом, что мой муж покончил с собой в состоянии депрессии. Я ни к кому не могла обратиться за советом и помощью — меньше всего к семейству Босвортов. Миссис Венебл мне с детства была близким и дорогим другом. Она утешала меня так же, как родственники: «Если мы помолчим, все скоро забудется». Майклисов она знает. Она иногда гостит в Мэриленде, недалеко от Майклисов. Она знает тамошние рассказы о нем. Соседи жалуются, что он в три часа ночи упражняется в стрельбе из револьвера и вызывает мужчин в своем загородном клубе сыграть в русскую рулетку...

— Миссис Венебл это знает? Определенно знает?

— Она сообщила это по секрету дедушке и тете Салли — наверно, чтобы их утешить.

Я прошелся перед ней взад-вперед.

— Почему она не сообщит это всем — хотя бы на своих знаменитых «вторниках»?.. До чего я ненавижу эту застенчивость, эту круговую поруку вашего так называемого «привилегированного» класса. Она не любит неприятностей. Не любит, когда ее имя связывают с чем-то неприятным, так?

— Теофил, я жалею, что рассказала вам эту историю. Оставим ее в покое. На мне пятно. Теперь уже ничего не поделаешь. Поздно.

— Нет, не поздно. Где сейчас Майклисы?

— Майор в санатории в Чеви-Чейзе. Миссис Майклис, наверно, дома в Мэриленде, это неподалеку.

— Персис, миссис Венебл по существу добрая женщина, правда?

— Да, очень.

— Видит бог, она пользуется влиянием и любит пользоваться влиянием. Вы можете мне объяснить, почему доброта, знание всех обстоятельств дела и чувство справедливости не заставили ее давным-давно рассеять этот туман?

Персис ответила не сразу:

— Вы не знаете Ньюпорт, Теофил. Не знаете тех, кого здесь зовут «старой гвардией». В этих домах даже упоминать нельзя о неприятном и тревожном. Даже на тяжелую болезнь или смерть старых друзей только намекают — шепотом, пожатием руки при прощании.

— Вата, вата... Кто-то мне говорил, что каждый вторник она приглашает ко второму завтраку всю верхушку «Старой гвардии». Некоторые называют их «Синедрион» или «Совет друидов» — это правда? Вы там состоите?

— Нет, я для них молода.

Я швырнул пивную бутылку в море.

— Персис!

— Да?

— Нам нужен посол, который убедит миссис Венебл и «Синедрион», что их обязанность и христианский долг — рассказать *всем*, как случилось несчастье на пароходе... Они должны сделать это ради вашего сына.— Она, как видно, сама часто об этом думала; она стиснула руки, чтобы скрыть их дрожь.— Я думаю, послом должен быть мужчина — такой, к которому миссис Венебл особенно благоволит и к которому прислушаются благодаря его заметному положению в обществе. Я гораздо лучше узнал барона Штамса. Он человек более основательный, чем вам с дедушкой показалось сначала, и, позвольте вас уверить, смертельно ненавидит несправедливость. Вот уже второе лето он приезжает погостить к миссис Венебл. Вы заметили, что она его по-настоящему ценит и любит?

Персис пробормотала:

— Да.

— Кроме того, он искренне восхищается вами. Вы разрешаете рассказать ему всю историю и попросить о посредничестве?.. Хоть он вам и не нравится.

— Не надо... не надо так говорить! Теперь вы понимаете, почему мне приходится вести себя сдержанно и официально. На мне пятно. Довольно об этом... Поступайте... поступайте как знаете.

— Сегодня он собирался уехать из Ньюпорта. Он останется. Завтра утром он побеседует полчаса с миссис Венебл. Вы бы послушали, как он говорит, когда увлечется. Уже поздно. Вы не откажете отвезти меня домой? До дома я сам поведу машину.

Я сложил полость и открыл Персис правую дверцу. Она повернулась ко мне — лунный свет падал на ее лицо. Она улыбалась.

— Я забыла, что такое волнения, рожденные надеждой,— прошептала она.

Я ехал медленно, избрав не самый длинный и не самый короткий путь домой. Полицейская машина ненавязчиво проводила богатую наследницу до города, затем свернула в сторону.

Мы сидели плечом к плечу. Она сказала:

— Теофил, я вас сегодня рассердила, когда предложила вам подарок в знак нашей с дедушкой благодарности. Вы объясните почему?

— Вам интересно?

— Да.

— Что ж, поскольку это будет маленькая утешительная лекция, я буду именовать вас «миссис Теннисон». Позвольте вам объяснить, миссис Теннисон, что каждого из нас формирует воспитание. Я происхожу из средних слоев — можно сказать, из середки средних слоев — и из средней части страны. Мы — врачи, пасторы, учителя, редакторы провинциальных газет, адвокаты с конторами на две комнаты. Когда я был мальчиком, каждая семья имела лошадь и таратайку, и нашим матерям помогала по хозяйству «прислуга за всё». Все сыновья и многие дочери поступали в университеты. В этом мире никто и никогда не получал — и, конечно, не преподносил — дорогих подарков. Подобные подарки считались чем-то унизительным, или, лучше сказать, нелепым. Если мальчик мечтал о велосипеде или пишущей машинке, он зарабатывал деньги, разнося по домам «Сатердей ивнинг пост» или подстригая соседские лужайки. Отцы платили за наше образование, но на личные расходы, неизбежные в университете — например, покупка смокинга или поездка на танцы в женский колледж,— мы зарабатывали летом на фермах или нанимались официантами в гостиницы.

— И в средних слоях не бывает неприятностей?

— Почему же? Люди везде одинаковы. Но одна среда больше способствует устойчивости, другая — меньше.

— Это вы объясняете, почему вас рассердил разговор о подарке?

— Нет.— Я повернулся к ней с улыбкой.— Нет. Я думаю о вашем сыне Фредерике.

— О Фредерике?

— В восемнадцатом году женщина, работавшая на Бельвью авеню — вы должны хорошо ее знать,— сказала мне: «Богатые мальчики никогда не становятся взрослыми — во всяком случае, редко».

— Ну, это... поверхностно. Это не так.

— Бодо вам описывал свою семью — отца, мать, сестер? Провинциальная аристократия. Там замок — наполовину ферма, там слуги живут с семьей из поколения в поколение. Теперь они пускают по-

стояльцев. Все заняты круглый день. А вечером — австрийская музыка и смех. Миссис Теннисон, какая среда для мальчика без отца!

— Он вас послал рассказать об этом?

— Нет, напротив. Он сказал мне, что уезжает из Ньюпорта отчаявшись и по своей воле никогда сюда не вернется.

Мы подъехали к моему дому. Я снял велосипед с заднего сиденья. Она обошла машину, чтобы сесть за руль. Протянув мне руку, она сказала:

— Пока этот туман подозрений не рассеется, мне нечего ответить. Спасибо за компанию. Спасибо, что выслушали мой рассказ. В средних слоях дружеский поцелуй не запрещается?

— Если никто не видит,— сказал я и не торопясь поцеловал ее в щеку. Она ответила мне тем же — как уроженцу Огайо.

Затем я пошел к Бодо. Он не спал и выскочил из машины.

— Бодо, вы могли бы задержаться в Ньюпорте до середины завтрашнего дня?

— Я уже получил разрешение.

— Могли бы вы завтра утром поговорить с миссис Венебл наедине?

— Мы всегда в половине одиннадцатого пьем с ней шоколад по-венски.

Я рассказал ему все и объяснил, какое дело взвалено на его плечи.

— Можете?

— Должен и, честное слово, добьюсь — но, Теофил, балда вы этакая, мы все равно не знаем, может ли Персис меня полюбить.

— Ручаюсь.

— Как?.. Как?.. Как?..

— Не спрашивайте! Я *знаю*. И еще одно: вы вернетесь в Ньюпорт двадцать девятого августа.

— Не могу. А почему?.. Для чего? Откуда вы знаете?

— Вас пошлет ваш начальник. И захватите обручальное кольцо. Вы нашли свою фрау баронессу.

— Вы меня с ума сведете.

— Я вам напишу. Отдохните как следует. Не забудьте помолиться. Я устал как собака. Спокойной ночи.

Я вернулся к себе. У меня родилась идея. Устроить это мне поможет Эдвина.

14

Эдвина

Когда в комнате тети Лизелотты мой взгляд упал на Эдвину и по моим щекам потекли слезы, я ощутил облегчение не только оттого, что кто-то меня заменит,— я увидел старого и любимого друга. Я знал Эдвину — знал ее в 1918 году как Туанетту или миссис Уиллз. Все эти недели у миссис Крэнстон, когда ее так часто вспоминали — невесту Генри и «звезду пансиона» из комнаты над садом,— ее иначе, как Эдвиной, не называли. Однако я сразу понял, что мой старый друг и есть долгожданная Эдвина.

Вот как я с ней познакомился.

Осенью 1918-го мне был двадцать один год и я служил в форте Адамс в Ньюпорте. Меня произвели в капралы и наградили недель-

ным отпуском, чтобы съездить домой и показать мою новую нашивку родителям, сестрам и народу. (Мой брат воевал за океаном.) Я возвращался в часть через Нью-Йорк и сел на пароход линии Фолл-Ривер, шедший в Ньюпорт. Старожилы до сих пор вспоминают эти пароходы с прочувствованными вздохами. По части роскоши и романтики там было все, о чем только можно мечтать. Большинство кают выходили на палубу, и двери были забраны деревянными жалюзи, которые можно было открыть для проветривания. Подобные удобства мы видели только в кинофильмах. Так и казалось, что сейчас постучат в дверь, мы откроем, и прекрасная незнакомка под густой вуалью умоляюще прошепчет: «Пожалуйста, впустите меня и спрячьте. За мной гонятся». Ах! Мы плыли с затемнением. Тусклые синие лампы указывали входы во внутреннюю часть корабля. Я пробыл на палубе час, с трудом различая статую Свободы, береговую линию Лонг-Айленда и, может быть, высокие «американские горы» Кони-Айленда. Все время с холодком в спине я ощущал, что за нашим плаванием следят перископы вражеских подводных лодок — злобных крокодилов, притаившихся под водой,— но понимал, конечно, что из-за такой мелкой рыбешки, как мы, они не будут себя обнаруживать. Потом я спустился вниз, где был громадный, ярко освещенный обеденный салон, бар и несколько гостиных — сплошь резное дерево, надраенная медь, бархатные драпировки — тысяча и одна ночь. Я пошел в бар и заказал безалкогольное пиво. Другие пассажиры, насколько я заметил, подкреплялись из собственных фляжек, носимых в заднем кармане брюк. (Я в те времена не пил, за исключением особо благоприятных случаев, ибо в восьмилетнем возрасте на глазах растроганного папы и представителя Общества трезвости в Мадисоне, штат Висконсин, дал обет пожизненного воздержания.) Я сел ужинать в окружении величаво парящих официантов в белых сюртуках и перчатках. Я воздержался от «черепахи по-балтиморски», обратившись к более дешевым блюдам. Ужин стоил мне полунедельного жалованья, но он его стоил. Солдатское жалованье было ничтожным. Правительство полностью нас обеспечивало; часть жалованья сразу вычитали и посылали близким; у солдата было ощущение, что конец войны, как и собственный зрелый возраст, невообразимо далек. Мне сказали, что пароход набит до отказа. Около девяти он должен причалить в Фолл-Ривере, и там сойдут те, кто едет в Бостон и на север. В Ньюпорте пассажирам предстояло высадиться в шесть утра. Спать мне не хотелось, и, расправившись с черничным пирогом à la mode [1], я вернулся к одному из многочисленных столиков возле бара и опять взял пиво.

За соседним столиком ссорилась элегантная чета. С дамой мы сидели спиной к спине. В ту пору, чтобы как-то разнообразить монотонную жизнь в форту, я усердно вел Дневник и уже сочинял в уме рассказ об этом путешествии. Я не испытываю угрызений, подслушивая чужие разговоры в общественных местах, а чтобы не слушать этот, мне пришлось бы пересесть за другой столик. Мужчина был пьян, но слова выговаривал внятно. У меня создалось впечатление, что он «не в себе», сумасшедший. Его жена сидела очень прямо и, судя по ее замечаниям, пыталась одновременно успокоить его и пожурить. Она уже дошла до точки.

— Ты за этим стояла, все годы. Ты их против меня настраивала.

— Эдгар!

— Все ваши разговоры про мою язву. Нет у меня язвы. Ты пыталась меня отравить. Сговорились всей семейкой.

---

[1] Который был моден *(франц.)*.

— Эдгар! За последние три года я всего несколько раз встречалась с твоей матерью и братьями — и всегда на твоих глазах.

— Ты им звонишь. Когда я ухожу из дома, ты часами с ними разговариваешь.— И т. п.— Это ты забаллотировала меня в клубе, будь он проклят.

— Не представляю, как этого может добиться женщина.

— Ты ловкая. Ты всего добьешься.

— Ты нагрубил самому мистеру Кливленду. Вице-президенту клуба — при всех... Пожалуйста, иди спать, отдохни. Через семь часов нам сходить. Я тут посижу, а когда ты уснешь, тихонько приду в каюту.— К ним подошла женщина.— Вы можете ложиться, Туанетта. Вы мне не понадобитесь, пока не дадут гудок высаживаться.

Туанетта явно мешкала. В ее голосе послышались настойчивые нотки:

— Мне надо заняться шитьем, мадам. Тут светлее. Я посижу часок у эстрады. Я слышала разговор, что сегодня ночью ждут непогоду. Если я вам понадоблюсь, я в семьдесят седьмой каюте.

Мужчина сказал:

— Правильно, Туанетта. Объявите номер своей каюты всему пароходу.

— Завтра, Эдгар, я попрошу тебя извиниться перед Туанеттой. Ты забыл, что тебя воспитывали как джентльмена — и сына сенатора Монтгомери!

— Женские голоса! Женские голоса! Намеки, шпильки! Попреки! Не могу больше. Сиди себе сколько хочешь, пока пароход не утонет. Я иду спать и дверь запру. Твой несессер выставлю в коридор. Можешь ночевать с Туанеттой.

— Туанетта, вот мой ключ от каюты. Будьте добры, соберите мои вещи в несессер. Эдгар, посиди здесь, пожалуйста, пока Туанетта собирает мои вещи. Я не скажу ни слова.

— Где официант? Я хочу рассчитаться. Официант! Официант! Что тебе надо в моем кошельке?

— Если я договорюсь о другой каюте, мне понадобятся деньги. Я твоя жена. И здесь тоже расплачусь.

— Стой! Сколько ты берешь?

— Может быть, мне придется дать казначею за каюту.

Эдгар Монтгомери встал и мрачно прошелся по салону. Я краем глаза увидел его хмурое, страдальческое лицо. Такие усы, как у него, мы называли «плакучей ивой». Он заглянул в игорный зал и в кафе (алый шелк и позолоченные зеркала).

Пришла Туанетта с несессером. Я обернулся и увидел, что она спускается по большой лестнице. Она была, как мне представлялось, в форме французских горничных — зимней, для улицы. Это был строгий шерстяной жакет и юбка темно-синего цвета; поверх, наверное, надевался длинный свободный плащ. Костюм был облегающий, и края оторочены (так, кажется?) черной тесьмой. Если простота вам по вкусу, девушка была чрезвычайно элегантна. Но что меня потрясло — это ее осанка. На двадцать втором году жизни я был не слишком сведущ в таких делах, но еще в шестнадцать я видел в Сан-Франциско танцы труппы «Ла Аргентина», а в Нью-Хейвене копил деньги на концерты испанских танцоров и даже придумал для них собственные характеристики: «стальная спина» испанок, «шаг тигрицы», «надменность недотроги» (по отношению к партнеру). Туанетта спустилась по лестнице, не только не глядя под ноги, но вообще не опуская взора ниже уровня горизонта. Елки! Olé!! Вот это выправка! Вскоре она исчезла из поля зрения.

— Мадам,— сказала она тихо,— мне будет очень приятно, если вы воспользуетесь моей каютой. Скоро утро, а я часто не ложусь всю ночь.

— Ни в коем случае, Туанетта. Вы можете подержать несессер, пока я схожу к казначею? Зря мы затеяли эту поездку. И доктору и мне показалось, что ему гораздо лучше. Туанетта, обо мне не беспокойтесь. Ложитесь, когда вам захочется.

Мистер Монтгомери направился было к ним, но передумал и пошел наверх. По-видимому, в некоторых каютах был выход не только на палубу, но и на галерею. Он вошел в каюту и решительно захлопнул дверь.

Туанетта что-то прошептала на ухо его жене.

— Все предусмотрено, Туанетта. Я сделала, как сказал врач. Я их вытащила и зарядила холостыми.

С минуту миссис Монтгомери сидела молча. Потом обернулась и взглянула на меня — я на нее тоже. Очень красивая женщина. Помолчав, она опять обернулась и сказала:

— Сержант, у вас есть каюта?

— Да, мадам,— ответил я, встав по стойке «смирно».

— Я заплачу вам за нее тридцать долларов.

— Мадам, я сейчас же освобожу ее и отдам вам ключ, но денег не возьму. Соберу вещи и через минуту буду здесь.

— Стойте! Так я не хочу.

Она вышла из зала и поднялась по лестнице к казначею. Я обернулся и впервые увидел Туанетту в фас: очаровательное продолговатое лицо, наверное, средиземноморского происхождения; темные глаза, черные ресницы и выражение шутливой серьезности по поводу огорчительного происшествия, которое нас свело.

— Мадам,— сказал я.— Если я уступлю вам мою каюту, я думаю, она согласится ночевать в вашей. У меня на пароходе приятели. Они не лягут всю ночь и приглашали меня сыграть с ними в карты. Я привык просиживать ночи за картами.

— Капрал, пусть эти люди улаживают свои дела сами.

— Трудно поверить, что мистер Монтгомери — взрослый человек.

— Богатые мальчики никогда не взрослеют — во всяком случае, редко.

Я вздрогнул. Многие годы меня усердно предостерегали от обобщений. Ее обобщение я готов был взвесить.

— Мадам, что это за разговор о патронах?

— Можно узнать ваше имя, сэр?

— Норт, Теодор Норт.

— Меня зовут миссис Уиллз. Можно доверить вам секрет, мистер Норт?

— Да, мадам.

— Мистер Монтгомери любит играть оружием. Правда, насколько я знаю, стреляет он только по картонным мишеням. Он думает, что у него есть враги. Всегда держит револьвер в тумбочке. Как все богатые мальчики. Время от времени у мистера Монтгомери случаются легкие нервные расстройства. На прошлой неделе его врач посоветовал миссис Монтгомери подменить патроны холостыми. Они почти бесшумные — я думаю, просто пробка и перышки. Сегодня он немного расстроен — у нас это так называется. Если миссис Монтгомери откажется лечь, я тоже не буду ложиться.

Я твердо сказал:

— Я тоже не лягу. Извините меня, миссис Уиллз — что, по-вашему, будет дальше?

— Ну, я уверена, что он не заснет. Может быть, через полчаса придет в себя, и ему станет стыдно, что выгнал жену из каюты. Словом, спустится посмотреть, какое впечатление произвела его выходка. Раньше или позже не выдержит — слезы, извинения... Они очень несамостоятельны — такие люди. Согласится на piqûre. Вы знаете, что такое piqûre?

— Укол — то есть инъекция.

— У нас тут все называют ласкательными словами. Мы говорим деликатно: принять снотворное.

— Кто его колет?

— Чаще всего — миссис Монтгомери.

— У вас, я вижу, увлекательная жизнь, мадам.

— Уже нет. Я предупредила миссис Монтгомери, что через две недели ухожу. Пока мы были в Нью-Йорке, я подыскала новую работу.

— Я посижу здесь, посмотрю, как он выйдет на галерею. Если он так, по вашему выражению, расстроен, мы можем увидеть кое-что интересное. Я бы хотел, чтобы вы сидели там, откуда вам тоже будет видно, и чтобы мы могли переглянуться.

— Хорошо. Любите все рассчитать наперед, а, капрал?

— Я об этом никогда не задумывался. Может быть. А теперь — определенно, когда вижу, в какое вы поставлены положение. Даже игрушечные пульки могут наделать неприятностей.

Я не мог отвести от нее глаз, и во взглядах наших, то и дело встречавшихся, мелькали искорки понимания. Я пустил пробный шар:

— Мистер Уиллз, наверно, рад, что вы отказываетесь от такого неприятного места.

— Мистер Уиллз? Это еще одно дело, которым мне пришлось заниматься в Нью-Йорке на прошлой неделе. Я отправила мужа на пароходе в Англию. Он стосковался по Лондону. Ему не нравится Америка, и он запил. Наши ошибки не так уж вредят нам, капрал, когда мы знаем все ходы и выходы.

Моя недоверчивость к обобщениям рассеивалась.

Снова появилась миссис Монтгомери. Видно было, что ей отказали. И я снова предложил ей свой ключ.

— В форте Адамс по субботам всю ночь играют в карты. Я тоже часто играю.

Она посмотрела мне в глаза.

— Вам хочется сыграть?

— Очень. В соседней комнате сидят мои приятели. А если и миссис Уиллз составит нам компанию, нам понадобится только один партнер.

— Я не играю в карты, капрал Норт,— сказала Туанетта.

— Там два хороших игрока, и они будут рады сыграть с дамой.

— Капрал, меня зовут миссис Монтгомери. У моего мужа последнее время было много неприятностей. Когда я вижу, что он в дурном настроении, я часто оставляю его одного, отдохнуть.

— Я схожу за картами и партнерами, миссис Монтгомери. Лучше, если мы будем играть в бридж по маленькой. Когда солдаты возвращаются из отпуска, у них в карманах почти пусто.

На самом деле я опасался, что они обдерут ее как липку.

— Вы очень любезны, капрал.

Люди, которых я выбрал, рвались сыграть с дамой. Я залез в карман и вытащил две десятидолларовые бумажки.

— По маленькой, ребята.— только время провести. Муж у дамы слегка тронутый, но не опасный... Миссис Монтгомери, это старшина Норман Сайкс. Он был ранен в Европе, и его прислали сюда обу-

чать новые кадры. Это — капрал Уилкинс. Он библиотекарь из Терри-Хот в штате Индиана.

Я как бы ненароком сел напротив каюты Монтгомери. Миссис Монтгомери я посадил слева. Повернув голову, она могла видеть дверь каюты; насколько я заметил, она не оглянулась ни разу. Она была очаровательна; старшина — также. Уилкинс побежал за новой колодой.

— А вы из какого штата, старшина Сайкс?

— Я — теннессиец, мадам. В школе проучился всего ничего, но Библию еще в шесть лет читал. В армию поступил на всю жизнь. В плече у меня сидит кусок стали, но армия подыскала мне работу. У меня дома своих трое маленьких теннессийцев. Вы, наверно, знаете, мадам: детишкам нужно много корму... Мне повезло: женился на самой умной, самой хорошенькой учительнице в Теннесси.

— Я думаю, и ей повезло не меньше, старшина.

— Вы очень любезны, мадам. У нас в Теннесси довольно много Монтгомери, и я заметил, что все они — любезные люди.

— К сожалению, это не всегда можно сказать о ньюпортских Монтгомери.

— Ну, что ж,— утешил ее старшина,— кое-кому вежливость нелегко дается.

— Совершенно верно!

Уилкинс принес новые карты, и скоро азартная игра нас захватила. Мы с Туанеттой то и дело переглядывались. Она занималась — или делала вид, что занимается,— не то починкой, не то перешиванием юбки.

Мы оба увидели, как мистер Монтгомери вышел из каюты на галерею. Он переоделся в бордовую вельветовую куртку. Несколько секунд он глядел на нашу теплую компанию. Ничто так не озлобляет задиру, как чужое веселье. Вот вам еще одно обобщение. Я мог поклясться, что миссис Монтгомери тоже знает о его присутствии. Повысив голос, она сказала:

— Тройка не берет! Старшина, нам надо подтянуться.

— Мадам,— сказал он,— я не сразу разыгрываюсь. Мы их еще разденем, извините за выражение.

Мистер Монтгомери медленно прошел по галерее и так же медленно спустился по широкой лестнице. Он остановился у бара, попросил бокал, сунул руку в один карман, в другой и вытащил флягу. Потом налил из нее в бокал и отошел к столику. Он сел лицом к нам и мрачно на нас уставился.

Я сказал себе: «Сваляет дурака».

Большинство пассажиров разошлось по каютам, но в баре еще оставалась большая группа пьющих, которая время от времени поднимала шум. Отчетливо послышались восемь ударов судового колокола.

— Полночь,— сказал старшина.

— Полночь,— сказал я.

Я взглянул на Туанетту. Не переставая улыбаться, она исполнила странную пантомиму. Она нагнулась вправо, едва не упав со стула, а потом выронила шитье из правой руки на пол. Я сразу понял.

— Вам играть, капрал Норт,— сказала миссис Монтгомери.

Игра продолжалась. Но тут мистер Монтгомери сунул руку в правый карман. Его жена встала.

— Извините меня, джентльмены, мне надо поговорить с мужем.

В эту секунду он выстрелил. Пробковый пыж попал мне в правое плечо и отскочил на стол.

Я упал со стула и замертво растянулся на полу.

— Эдгар! — закричала миссис Монтгомери.

— Капрал! — закричала Туанетта и бросилась ко мне.— Он ранен! Капрал! Капрал! Вы меня слышите?

Мистер Монтгомери тяжело дышал. Он согнулся пополам в приступе тошноты. Старшина подошел к нему и вырвал револьвер; потом отвел затвор и выкинул на стол патроны.

— Пукалки! — сказал он.— ПУКАЛКИ!

Туанетта хлопала меня по щекам.

— Капрал, вы меня слышите?

Я сел.

— Кажется, это был просто шок, мадам,— блаженно сказал я.

Рот у бармена раскрылся, как кошелек. Шумные кутилы ничего не заметили.

Миссис Монтгомери наклонилась к мужу:

— Эдгар, ты устал. Мы оба устали. Поездка была приятная, правда? *Но утомительная.* Ты был просто молодец. А сейчас, по-моему, тебе можно принять снотворное. Завтра мы об этом и не вспомним. Пожелай нашим друзьям спокойной ночи. Бармен, пяти долларов за мужа хватит? А вам, старшина,— моя доля нашего проигрыша; если будет излишек, пожертвуйте его вашей церкви.

Мистер Монтгомери поднял голову и озирался.

— Что случилось, Марта? Кого-нибудь ранило?

— Капрал Норт, вы не поддержите мистера Монтгомери с той стороны? Я сама донесу несессер, Туанетта. Вы мне не понадобитесь. Эдгар, не бери фляжку. Оставим ее этим джентльменам, которые любезно приняли меня в игру.

Мистер Монтгомери не нуждался в моей поддержке.

— Сэр, отойдите, пожалуйста... Марта, *что случилось?*

— Все твои детские проказы... Как ты нас насмешил... Направо, Эдгар... Нет, в следующую дверь. Спокойной ночи, джентльмены. Благодарю вас.

— Не нужен мне его револьвер,— сказал старшина,— и виски его тоже. Я дал зарок.

— И я,— сказал капрал.

— Утром ему отдам,— сказала Туанетта, пряча и то и другое в сумку с шитьем.

Капрал сгреб холостые патроны и сказал старшине:

— Пошли отсюда, пока не начались расспросы.

Бармен, наверно, нажал кнопку вызова вахтенных. К нам с Туанеттой подошли двое.

— Что за шум?

— А, вы об этом! — рассмеялся я.— Один пассажир расшалился как школьник. Притащил летучую мышь из резины. Хотел напугать дам... Бармен, можно два стакана содовой?

— Что ни ночь, какой-нибудь номер,— сказал вахтенный и ушел.

Мы сидели вдвоем за столиком, глядя друг другу в глаза. Пара хороших глаз может вывести меня из равновесия. Глаза у миссис Уиллз были необыкновенные во многих отношениях. Во-первых, правый глаз слегка косил, что несправедливо считается изъяном; во-вторых, нельзя было сказать, какого они цвета; в-третьих, они были глубокие, спокойные и веселые. Нырнув в такие глаза, я не всегда отвечаю за свои слова.

— Простите, какого цвета у вас глаза?

— Некоторые говорят, что по утрам они голубые, а ночью карие.

Руки занимают меня почти так же. Позже я узнал, что Туанетта на пять лет старше меня. Ее руки ясно говорили, что в прошлом

они занимались тяжелой работой — может быть, мыли посуду на кухне,— к тому же она, по-видимому, недоедала и с ней плохо обращались. Она страдала, но во всех остальных отношениях — духовно и физически — преодолела эти испытания, выстояла. Для дружеских и любящих глаз грубость ее рук стала одухотворенной. Миссис Уиллз их не прятала.

— Простите за расспросы. Вы англичанка?

— Думаю, что да. Меня нашли.

— Нашли?

— Да, в корзине.

Я был в таком восторге, что эта удача вызвала у меня смех.

— А какие-нибудь предположения у вас...?

— Теодор, опомнитесь. Мне было меньше недели. Вы знаете Сохо?

— Это район Лондона, где много иностранных ресторанов и живут художники. Никогда там не был.— Я смутился. Понятно: приют; понятно: судомойка. Подобно Генри Симмонсу, она выбилась из самых низов лондонской жизни, но — в отличие от Генри — выговор свой исправила. Она говорила по-английски как леди, с легким иностранным акцентом. (Моя гипотеза была — стажировка в дамской парикмахерской, возможно, театральной... она узнала, каково иметь покровителей,— узнала достаточно, чтобы утвердиться в природной своей независимости: понятливая ученица.)

Тонкая золотая проволочка протянулась между нашими глазами, и по ней бежали туда и сюда какие-то токи. Руки мы держали перед собой на столе, как примерные ученики. Но мои постепенно придвигались к ее рукам — плавно, как на планшетке спиритов.

— Думаю, что я помесь еврейки с ирландкой.

Мной снова овладел смех.

— Завидное положение у сироты: получаешь все блага и не надо слушать советов.— Золотая проволочка позванивала.— Отрава семейной жизни — советы.— Кто теперь занимался обобщениями? — Можно спросить, какое новое дело вы себе подыскали?

— Я собираюсь открыть магазин в Нью-Йорке — а потом, может быть, в Ньюпорте. Дамские вещи — не платья, не шляпы, просто красивые вещи. Это будет очень модное место.— Она не выделила слово «очень»; магазин будет очень модный — и все тут. Я сразу отметил в ней эту зрелость суждений.

— Как вы его назовете?

Мои пальцы дотянулись до ее пальцев.

— Не знаю. Я сменю имя. Может быть, выберу какое-нибудь простое, вроде Дженни. В магазине все будет просто, но изысканно. Может быть, в первые недели ничего и не купят, но они вернутся — посмотреть еще разок.

Она поднесла бокал к губам. Потом опустила руку на стол, туда, где она прикасалась к моей.

— Чем вы занимаетесь, мистер Норт?

— Я студент. Когда война кончится, вернусь в колледж.

— Что вы изучаете?

— Языки.

— У вас симпатичные приятели. В форте Адамс много таких?

— Да. По разным причинам нас не отправили за океан. Зрение у меня в порядке, но чуть хуже, чем требуется в действующей армии.

Пальцы моей правой руки уже переплелись с ее пальцами. Сперва глаза, потом руки — я понемногу осваивался.

Она спросила:

— А когда вы научитесь языкам, что будете делать?

Она крепко схватила мою егозливую руку, прижала к столу и накрыла ладонью, чтобы утихомирить.

— Позавчера в Нью-Йорке я был на волосок от гибели. Родственник моей матери занимается импортом китайских шелков. Большая контора. Машинистки бегают на задних лапках, как дрессированные мышки. Он предложил мне место по окончании колледжа. Говорит, что война продлится от силы месяц, то есть я окончу в двадцатом году. Он шотландец и хозяин каждому своему слову. Пообещал, что через пять лет я буду зарабатывать пять тысяч в год. Я минуты три боролся с искушением. Потом поблагодарил его как следует и ушел. На улице я пугал нью-йоркцев криками «Контора! Контора!!» Нет, мне не обязательно сорок лет сидеть на стуле, чтобы заработать деньги.

— Теодор, тише!

— Я буду актером, или сыщиком, или путешественником, или дрессировщиком диких зверей. Заработать я всегда сумею. Чего я хочу — это увидеть миллион лиц. Я хочу разглядеть миллион лиц.

— Тсс... тсс!

Я понизил голос:

— Наверно, я уже видел миллион, и вы — тоже.

Она молча смеялась.

— Но вы — новое лицо, мисс Дженни. Если ты бродишь по свету, тебя поджидают на пути Неаполитанский залив, гора Чимборасо и прочее. Тебя поджидают неожиданности вроде мистера Эдгара Монтгомери... большие неожиданности вроде мисс Дженни.— Я наклонился и поцеловал ей руку. Поцеловал еще раз и еще.

Бармен крикнул:

— Леди и джентльмены, бар закрывается через пять минут. Солдат, у нас эти штучки не положены. Вы слышали, я сказал «леди и джентльмены»,— к вам это тоже относится.

Я гордо поднялся и произнес:

— Бармен, мне не нравится ваш тон. Мы с этой дамой женаты три года. Прошу вас немедленно извиниться перед моей женой, иначе я доложу о вас мистеру Пендлтону, администратору этой линии и моему двоюродному брату.

Меня услышали даже гуляки.

Бармен сказал:

— Я не хотел вас обидеть, мадам, но могу сказать и мистеру Пендлтону и кому угодно: где ваш муж, там всегда какие-то чудеса. Двадцать минут назад он лежал тут замертво.

Миссис Уиллз сказала:

— Спасибо, бармен. Вы, конечно, понимаете, что надо быть снисходительным к солдатам, которые едут на побывку, перед тем как отправиться за океан и проливать за нас кровь.

Гуляки зааплодировали.

Она встала с бокалом в руке и надменно произнесла:

— Мой муж — выдающийся человек. Он говорит на двенадцати языках лучше, чем по-английски.

Новые аплодисменты. Я обнял «женушку» и закричал:

— На ирокезском! На чокто!

— На эскимосском! — крикнула она.

— На верлиокском!

— На бипбармакском!

Раздались крики: «Налейте им!» — «Шпрехензидойч!» — «Моя любит китайска девуска!»

Зардевшись от успеха, мы сели — образец супружеской любви и счастья.

Однако нас неожиданно отодвинули на второй план мировые события. На лестнице появился вахтенный в зюйдвестке, с керосиновым фонарем в руке. В детстве он, видно, слышал глашатаев и заголланил что было сил: «Дамы и господа, прошу внимания! По радио сейчас передали, что война кончилась. Подписано — как его! — перемирие. Капитан велел объявить в салоне, а которые спят, тех не будить. Идет большая волна, мы, наверно, задержимся, причалим в Ньюпорте или Фолл-Ривере... Томми, капитан велел сказать, что линия выставляет бесплатное угощение тем, кто не лег. Я пошел в машинное отделение».

Поднялся адский шум. Гуляки швыряли через весь салон посуду. Плевательницы были тяжелы для метания, зато их удобно было катать. В зал повалили картежники.

— Дженни,— сказал я.

— Что?

— Дженни, давайте не расставаться.

— Я вас не слышала.

— Нет, слышали! Нет, слышали!

— Да что вам взбрело в голову!

— Дженни!

— Да... война у нас не каждый день кончается. Минут через десять приходите в семьдесят седьмую каюту. Будильник у меня поставлен на полшестого.

Я закружил ее в воздухе. Когда я опустил ее на пол, она ушла вниз, в каюты, отведенные для слуг; я пошел наверх и уложил чемодан.

«Charmes d'amour, qui saurait vous peindre?» — написал Бенжамен Констан, рассказывая о подобной встрече. «Очарование любви! Кто может тебя изобразить!» Щедрость женщины, уверенная нежность взрослого мужчины — благодарная хвала природе, раскрывающей себя, хотя и с напоминанием, что конец у всех — смерть, смерть-неизбежность, смерть, соединенная с жизнью в цепи бытия — от первозданного океана до конечной стужи: «Charmes d'amour, qui saurait vous peindre?»

Она, наверно, выключила будильник сразу: звонок меня не разбудил. Проснулся я от пароходного гудка — и не увидел ни ее, ни ее вещей. На зеркале было написано мылом: «Оставайся таким же». Я оделся и хотел уже выйти из каюты, но вместо этого бросился на кровать и зарылся лицом в подушку — один и не один.

Я сошел на берег чуть ли не последним. С трапа мне открылось странное зрелище. На Вашингтон-сквере горел большой костер. Вокруг него плясали сотни наспех одетых мужчин, женщин и детей, а в ногах у них вертелись ошалелые собаки. «Война кончилась! Война кончилась!» Весь Девятый город обнимался и целовался — особенно с военными, которые сошли с парохода или гуляли по городу. Быть может, меня обнимали и целовали Матéра, Авонцино и миссис Киф, Уэнтворты и доктор Эддисон, но это был ноябрь 1918 года, и во всех Девяти городах я знал только семерых штатских. Личный состав ньюпортской пожарной части метался по улицам в бесполезном неистовстве. В сквере, где я расстался с Алисой, в нездоровом соседстве возникали стихийные молебствия и скандальные оргии. В ноч-

ном кафе Николаидиса кончились кофе и булки с сосисками, и его грабила толпа рассвирепевших посетителей. Читатель, это было упоительно!

Нет, я сошел на берег не последним. Я увидел мистера Монтгомери, постаревшего за несколько часов на тридцать лет, едва державшегося на ногах,— его встречали врач, слуга и два шофера. Жена, которая выглядела в соболях просто очаровательно, села с ним рядом. Вторая машина была так набита вещами, что Туанетте пришлось влезть на колени к слуге.

Освободившись от объятий благодарного населения, я — в первых проблесках зари — двинулся к форту Адамс: всего две мили, но более долгого перехода я не помню. На построении после подъема выяснилось, что девять десятых гарнизона — в самовольной отлучке.

Это было знаменитое «Ложное перемирие».

Дисциплина развалилась. В последующие дни, до того как официально был объявлен мир, штабная рота успела составить для проформы увольнительные свидетельства, а я — получить путевые документы и собраться с духом для предстоящего бесконечного мира и ответственного дела — жизни. Я не пытался связаться с домочадцами Монтгомери, предполагая, что у них царит такой же хаос, как вокруг меня.

Вот как случилось, что спустя почти восемь лет не Туанетта и не Дженни, а миссис Эдвина Уиллз покинула вслед за мной комнату тети Лизелотты и нашла меня спящим у стены, между вторым и третьим этажом.

Лето подходило к концу. Многие из моих «учеников» уже строили планы на осень и уроки наши прекратились. Я был рад, что у меня прибавилось досуга. Я проводил дома долгие приятные часы, подгоняя записи в Дневнике, заполняя его «портретами» моих новых знакомых,— и теперь, через столько лет, страницы его освежили мою память и помогают мне писать эту книгу. Я усердно работал, и «профессору» было легко отклонять приглашения бывших учеников, даже самые сердечные.

Эдвину и Генри я видел почти ежедневно. Они собирались пожениться, как только мистер Уиллз упьется до смерти в своем далеком Лондоне на деньги, которые ему посылала супруга. Я любил Эдвину, любил Генри и с гордостью могу сказать, что и они меня любили. Никогда и на разу — ни в обществе, ни наедине — мы с Эдвиной и намеком не показали, что давно знакомы. Даже всевидящая миссис Крэнстон об этом не догадывалась. Эдвина преуспела. Ее магазины — сперва в Нью-Йорке, а потом и в Ньюпорте — пользовались большой популярностью. Она подобрала и обучила помощниц, а потом сделала их директрисами магазинов, потому что для себя нашла более интересное и даже более выгодное занятие. Ему трудно дать название, но она пришла в восторг, когда (из своего багажа в «двенадцать языков») я предложил ей титул arbitrix elegantiarum и разъяснил его смысл: «Женщина, которая устанавливает законы хорошего вкуса», как это делал Петроний Арбитр при дворе императора Нерона. Эдвина продолжала утверждать, что она всего лишь камеристка, но отклоняла все предложения поступить камеристкой к какой-либо даме — и насколько же не соответствовала этой должности роль, которую она играла в Нью-Йорке и Ньюпорте! Ни одного бала, ни одного пышного обеда не обходилось без Эдвины в будуаре, отведенном для приглашенных дам. Многие гостьи привозили с собой своих горничных, но ни одна не могла быть спокойна за свой внешний вид, пока его не

одобрила Эдвина. Ведь это ее строго внушаемое правило «ничего лишнего» так изменило манеру одеваться. Она давала советы только тогда, когда их спрашивали; многие дамы, бесконечно уверенные в себе дома — в Чикаго, Кливленде и даже Нью-Йорке,— гордо плыли вниз по мраморной лестнице, словно галеоны на всех парусах, но вдруг начинали ощущать, что уверенность покидает их с каждым шагом, и поспешно возвращались наверх. Сомнение, хорошо ли ты выглядишь, нередко превращается в муку — особенно в переходную эпоху, когда на смену барокко идет классицизм. Эдвина не создавала нового стиля, она ощущала «всеми фибрами» перемену ветра и неслась на гребне волны.

Эдвина была не только судьей в том, что вам идет или не идет. У нее искали поддержки и утешения, она вселяла бодрость в старых и молодых; она знала или угадывала все: приближающуюся истерику, приступ бешенства, семейные распри, вендетты, столкновения жены с любовницей, страхи новобрачной, впервые представшей пред обществом («если вы устанете, миссис Дюрьи, поднимитесь наверх и посидите со мной немножко»). Вскоре поле ее деятельности стало еще шире. Ее приглашали в дома, чтобы составить списки свадебного приданого или траурной одежды. Дамы звали ее на совет по поводу своего гардероба. Работа ей нравилась и оплачивалась хорошо, но основой ее благоденствия была любовь к Генри и дружба с Амелией Крэнстон.

Вот какую Эдвину я встретил в середине августа. Теперь я мог чаще посещать дом миссис Крэнстон. Каждый день в половине пятого Эдвина устраивала у себя в «квартире над садом» чаепитие, и меня попрекали всякий раз, когда я отсутствовал. Эдвина любила беседы за столом. К нам, если ей позволяли дела, присоединялась и миссис Крэнстон. Разлив чай, Эдвина полулежала на кушетке, прислонясь плечом к плечу Генри, который весь подбирался от гордости.

Я неохотно рассказывал о своих знакомствах на авеню. Не сомневаюсь, что миссис Крэнстон была как-то осведомлена о моих взаимоотношениях с Босвортами, Грэнберри, а возможно, и Ванвинклями; знала она и о моих отношениях со Скиилами. Но она уважала мою скрытность. И когда я уже чувствовал, что летние хлопоты подходят к концу, на меня свалилось самое трудное и близкое мне дело — Персис и Бодо.

Я сам не знаю, что имел в виду, спрашивая Бодо: «Вы вернетесь в Ньюпорт двадцать девятого августа?» У меня бывают такие подсознательные движения. Надо было что-то спешно предпринять — а раз надо, значит можно.

С того дня, когда Бодо уехал из Ньюпорта, мое воображение настойчиво отыскивало выход; искал я его даже во сне. Я уже говорил, что и отчаяние, и надежда связаны с воображением. Побуждаемое надеждой, оно рисует все мыслимые решения вопроса, толкается во все двери, пробует сложить даже самые несоединимые части головоломки. А когда решение найдено, трудно припомнить, как ты к нему пришел: ведь большая часть пути проделана в подсознании. Я чувствовал, что можно как-то доказать пристрастие майора Майклиса к русской рулетке. Я уже мысленно видел, как Бодо возвращается в Ньюпорт, чтобы устроить divertissement [1] на Балу слуг в доме миссис Венебл. Я начинал понимать, что каким-то образом мне поможет Эдвина.

В тот день, когда Бодо уехал, я точно вовремя появился на чаепитии в «квартире над садом».

---

[1] Дивертисмент, развлечение *(франц.)*

— Сегодня, Тедди, у нас будет гость... Да, и очень почтенный гость — начальник полиции Дифендорф. Мы с миссис Крэнстон должны обсудить с ним одно дельце. Хоть мы и бедные, беспомощные женщины, но в ряде случаев сумели оказать начальнику полиции довольно важные услуги, ну и он, конечно, много раз помогал нам.

— Эдвина, милая, еще до того как ты рассталась со своими акулами и пучинами, я позволил себе рассказать нашему приятелю, какой ты замечательный сыщик!

Да, он мне рассказал. Увлекательную историю.

Слуги живут в постоянном страхе, что их вдруг уволят, не дав рекомендации. Обычно этому сопутствует обвинение в краже каких-нибудь ценностей. Читатель знает, что я не люблю обобщений, но уж если их делаю, то без оглядки: люди, владеющие большим наследным состоянием, склонны к неуравновешенности. Со мной и с вами было бы так же. Они ощущают себя как бы вынесенными за скобки, особыми гражданами этого трудового или праздного, большей частью голодного, часто замученного, часто бунтующего мира. Их преследует страх, что дарованное им судьбой, случаем или богом может быть так же таинственно отнято у них судьбой, случаем или богом. Они угнетены сомнением — достойны ли они того, что имеют. И предполагают (иногда основательно, а чаще нет), что являются предметом зависти (одного из смертных грехов), ненависти или издевательства. Они опасливо жмутся друг к другу. Они сознают, что не все в порядке, но кто положил этому начало? И чем это окончится? Копните — и обнаружите истерию.

Хозяева и слуги существуют под одной крышей, в тесном сожительстве, в принудительной близости. Драгоценности хозяйки—внешний, зримый признак того, что кто-то ее любит, хотя бы только бог. Многие дамы с Бельвью авеню больше не доверяют сейфам у себя в спальне. Они заболевают тем, что Эдвина звала «беличьим комплексом». Вернувшись с бала, они суют свои изумруды и бриллианты в старые чулки, за картинные рамы, в настенные бра и забывают, куда засунули. (Профессор Фрейд описал это в одной своей книге.) Наутро они вне себя. Они приказывают слугам собраться в столовой к 10 часам. «Пропала вещь, которая мне очень дорога как память. Вы побудете здесь, пока мы с экономкой обыщем ваши комнаты. Если к полудню вещь не будет найдена или кем-нибудь из вас возвращена, все вы, за исключением Уотсона, Уилсона, Бейтса, Майлза и кухонной прислуги, будете уволены без рекомендации. Когда я выйду, можете сесть». В некоторых случаях хозяйка вызывала полицию, но большинство дам считает полицейских бездельниками и балбесами. Обычно один из заподозренных украдкой выходит из столовой и вызывает полицию. Но полиция вправе лишь позвонить в парадную дверь и попросить разрешения войти. Тогда начальник полиции Дифендорф звонит «мисс Эдвине», которой позволяют войти и весьма тактично принять участие в поисках. В четырех случаях из пяти она быстро обнаруживает пропажу, но еще полчаса делает вид — чтобы не срамить бедную даму,— будто дело безнадежно. Шеф многим обязан Эдвине и относится к ней, как и к миссис Крэнстон, со старомодной почтительностью.

Эдвина потихоньку сообщила мне, что ожидаемый визит начальника вызван не очередной «кражей», а другой неприятностью, которые время от времени случаются в Седьмом городе.

— Дело идет о горничной Бриджет Трихен, к ней приставал хозяин. Она уволилась, но мы с начальником знаем, как добиться от бывшей хозяйки — а она в бешенстве — отличной рекомендации!

— Ну и ну! — благоговейно воскликнул я. Мы кивнули друг дру-

гу.— Эдвина, можно узнать, каковы ваши планы относительно Бала слуг в этом году?

— Вы вообще-то знаете, как проходят эти балы?

— Знаю только, что миссис Венебл предоставляет для них свой бальный зал и что вы с Генри — председатели подготовительного комитета. Знаю также, что два года назад вы с Генри установили правило, что ни один дачник больше не смеет войти, чтобы поглазеть на вас с балкона, как было раньше.

— Тедди, у меня нет никаких планов. Ничего не могу придумать. Маскарады нам надоели. Хватит с нас пиратов и цветочниц-цыганок. Хватит «Веселых девяностых годов», царства газовых фонарей. Среди домашней прислуги все меньше и меньше молодежи. Нам, конечно, будет весело, но хочется чего-нибудь новенького. Тедди, у вас нет идей?

Сами небеса подсказали мне идею. Но я принял равнодушный вид.

— Идеи, правда, нет... но есть мечта. Беда вашего бала, да и многих балов, о которых я слышу, что одни и те же люди приходят танцевать в один и тот же зал с теми же партнерами. Самый веселый бал в Вене называется «Извозчичьим»; это бал городских извозчиков. Но на него с удовольствием ходят люди из высшего общества, и все веселятся вместе. Мечта у меня такая — начните с малого, пригласите сперва хотя бы двух почетных гостей с Бельвью авеню: молодого человека и молодую женщину,— красивых, обаятельных и главное уважаемых за свое дружелюбное отношение к слугам. Окажите им почет, и они будут польщены. Деликатно намекните, что вам было бы приятно, если бы они оделись на бал понаряднее.

— Тедди, вы сошли с ума! Да разве они захотят прийти? Чего ради?

— Потому что такие они люди. Им давно хочется поближе узнать этот мир. Я как раз знаком с таким господином, он часто обедает в доме, где у меня урок. Мы с учеником сидим не в столовой, но я слышу, как этот человек болтает со слугой, принимающим у него пальто. Я слышу, как он по-приятельски здоровается с прислугой. Он не признает барьера между нанимателем и служащим.

— Кто он, Тедди?

— Я знаком с молодой дамой, которая дважды в неделю обедает в том доме, где вы устраиваете бал. Тамошние слуги знают ее с детства. А она всех их зовет по именам и спрашивает, как поживают их родственники. Вас, Эдвина, она тоже хорошо знает и любит. Она не зовет вас «мисс Эдвиной», во всяком случае, говоря со мной; она нежно называет вас «Эдвиной». Кто, не считая вас, самая прелестная женщина на острове Акуиднек?

— Кто, Тедди? Вы — как ребенок, а планы ваши — мыльные пузыри. Не знаю, кто они, но они ни за что не примут нашего приглашения. Генри пусть Тедди скажет, кто у него на уме.

— Тедди, говорите. Кто у вас на уме?

— Барон Штамс и Персис Теннисон.

Генри уставился на меня, а потом хлопнул ладонью по столу.

— Господи спаси, а он прав! Я-то думал, он — про полковника Ванвинкля, но того жена не пустит, а потом подумал о миссис Грэнберри, но она беременная. Барон и миссис Теннисон вряд ли придут, но это самая красивая и безумная мечта, о какой я слышал.

— Вы разрешите забросить удочку или раньше должны посоветоваться с комитетом?

— Да мы и есть комитет,— сказала Эдвина.— Не забудьте, что слугам — и каждому в отдельности, и сообща — редко приходится

проявлять инициативу. Они рады все свалить на нас. Но послушайте, Тедди, ведь от Персис — а я ее очень люблю и фактически это я ее ввела в светское общество...— от нашей милой Персис осталась одна тень после трагической смерти мужа.

Миссис Крэнстон тихо вошла в комнату, отказалась от чая и стала прислушиваться к разговору.

— Миссис Крэнстон, разрешите нарушить правила этого дома и рассказать историю, где все будут названы своими именами? Дама, о которой идет речь, очень просила меня рассказывать правду о том, что по недомыслию замалчивается.

— Мистер Норт, вам я доверяю.

Я рассказал им об игре со смертью, которой предавался Арчер Теннисон, и о печальных ее последствиях. Когда я кончил, они помолчали.

— Так вот что произошло! — сказала, наконец, миссис Крэнстон.

— Бедная девочка! — поднявшись, вздохнула Эдвина.— А теперь ни один порядочный человек не захочет на ней жениться. Миссис Крэнстон, надо поговорить с шефом Дифендорфом. По-моему, тут можно что-то предпринять.

— Эдвина, вы забыли? Он сразу придет сюда, как только освободится на работе.

И тут он постучал в дверь. Мы чинно обменялись приветствиями. От чая он отказался, но попросил разрешения закурить. Обсудив с дамами дело Бриджет Трихен, он вместе с ними разработал план действий.

— Шеф, вы очень спешите? Можно с вами посоветоваться по делу, о котором вам, наверное, следует знать?

— Я весь к вашим услугам.

— До мистера Норта дошли некоторые интересные подробности трагической гибели мистера Арчера Теннисона. Он хочет, чтобы и вы их узнали — вы человек изобретательный и однажды великолепно его выручили. Мистер Норт не расскажете ли вы шефу сами?

Я рассказал. Постарался изложить дело кратко, но вразумительно. И закончил так:

— Теперь я хотел бы, чтобы мисс Эдвина объяснила вам, как отразилась эта игра в русскую рулетку на судьбе вдовы мистера Теннисона.

Эдвина объяснила. Шеф подумал, а потом спросил:

— Могу я поступить так, как если бы дело касалось моей дочери?

— Мы на это и рассчитываем, шеф.

— Разрешите воспользоваться вашим телефоном? Я закажу междугородный разговор, пользуясь кодовым номером полиции. А вы тем временем можете продолжать беседу или, если хотите, помолчать.

Сначала он позвонил к себе на службу.

— Лейтенант, город Чеви-Чейз в Мэриленде находится на границе округа Колумбия. Выясните, пожалуйста, где там ближайший полицейский участок номер телефона и фамилию начальника.— Он вынул записную книжку и все записал. Потом заказал междугородный разговор. Назвал свою фамилию, должность и кодовый номер.— Шеф, простите, что так поздно вас потревожил. Надеюсь, что не очень помешал... Тут у нас возник один вопрос, и мне надо вас спросить, что вам известно о майоре Джеймсе Майклисе.— Разговор длился минут десять. Шеф Дифендорф что-то записывал в книжку.— Благодарю вас, шеф Эриксон, и еще раз простите, что так поздно вас беспокою.

Если вы мне пришлете данные, которые можно огласить, я буду вам очень признателен. Всего хорошего, сэр.

Дифендорф был доволен собой — и не без оснований.

— Леди и джентльмены! Два года назад майору Майклису было предложено покинуть местный клуб, который там называют «Президентским гольф-клубом». Он размахивал в биллиардной револьвером, требуя от других членов клуба сыграть с ним в русскую рулетку. Его исключили и из «Военно-морского клуба» в Вашингтоне. Очевидно, он становился все более и более неуравновешенным. А так как он происходит из влиятельной семьи, никаких сообщений об этом в вашингтонские газеты не просочилось. В прошлом году жена его возбудила дело о разводе. У нее взял интервью репортер газеты, выходящей в Такома-Парке, недалеко от ее местожительства. Одной из главных причин развода она назвала маниакальное увлечение мужа этой отчаянной игрой. Через несколько дней я получу официальные данные по этому делу. Надеюсь, что на душе у миссис Теннисон станет легче.

— И она выберется из этой трясины,— сказала Эдвина.

Через три дня утром я позвонил в «Девять фронтонов» и попросил Виллиса позвать к телефону миссис Теннисон.

— Миссис Теннисон редко бывает здесь по утрам, сэр. Она у себя во флигеле за оранжереями.— Он дал мне номер ее телефона.

— Спасибо, Виллис.

Сколько раз я бывал в «Девяти фронтонах», но даже не слышал, что у Персис есть отдельный дом. У нее были комнаты в доме деда, и она проводила там много времени, но, как выяснилось, больше бывала у себя, в коттедже «Лиственницы»; тут жил ее сын с няней, тут же находились ее книги и ее рояль. Вот еще пример той удушливой скрытности, которую культивировала миссис Босворт в доме отца. Упаси бог проронить лишнее слово, которое прольет свет на семейные дела. Действительно трясина.

— С добрым утром, миссис Теннисон.

— Здравствуйте, Теофил.

— Я оставлю у вас в прихожей кое-какие бумаги. Можно зайти сегодня часов в пять, чтобы обсудить их с вами?

— Конечно, можно. Но хотя бы намекните, что это за бумаги.

— Фредерик здоров?

— Да, спасибо.

— Когда-нибудь он будет рад узнать из официальных источников, что отец его покончил с собой не в припадке депрессии, а понадеявшись на удачу в глупой игре.

В пять часов я подъехал на велосипеде к ее дверям. Коттедж «Лиственницы» был построен в том же стиле, что и «Девять фронтонов», и часто именовался «флигельком». Уменьшительными вообще злоупотребляли в Ньюпорте. Дверь была открыта, и Персис вышла мне навстречу. На ней снова было полотняное платье, но на этот раз бледно-желтое. На шее висели бусы из светлого янтаря. Я не мог — и не очень старался — скрыть свое восхищение. Она привыкла видеть восхищение на лицах и ответила извиняющейся улыбкой, словно говоря: «Ну, что поделаешь!» Сынишка выглянул из-за ее спины и сбежал — юный крепыш с огромными глазами.

— Фредерик стесняется. Сначала будет прятаться где-нибудь поблизости, а потом заведет с вами дружбу... Давайте лучше выпьем чаю, а потом обсудим ваши удивительные документы.

Меня провели в большую гостиную; через распахнутые высокие окна в нее вливался морской воздух. Я часто видел эти окна, прохо-

дя по Скалистой аллее. Две пожилые горничные хлопотали возле чайника, бутербродов и торта.

— Мистер Норт, это мисс Карен Йенсен и мисс Забет Йенсен.

Я поклонился:

— Добрый день. Добрый день.

— Добрый день, сэр.

— Ваше имя хорошо знают в этом доме, мистер Норт.

— По-моему, я имел удовольствие познакомиться с мисс Карен и мисс Забет у миссис Крэнстон.

— Да, сэр. Нас знакомили.

Как отметила миссис Крэнстон, я был весьма знаменитой персоной «в определенных кругах».

Когда убрали со стола, Персис попросила:

— Пожалуйста, объясните, как мне надо отнестись к этим документам и газетным вырезкам.

— Миссис Теннисон, скоро вы почувствуете, что атмосфера, в которой вы живете, меняется. Тем, кто со злорадством — именно со злорадством — приписывал вам некрасивую роль в смерти вашего мужа, теперь придется искать другую жертву. Вы перестали быть женщиной, которая довела мужа до отчаяния; вы — женщина, чей муж неосмотрительно выбирал друзей. Миссис Венебл получила копии этих бумаг; мисс Эдвина, которая бывает во многих здешних домах и всегда старалась вас защитить, *делает все, чтобы воздух стал чище.* Вы попали в положение многих дам, живших лет полтораста назад, чьих мужей убивали на дуэли из-за чепуховой ссоры по поводу карт или скаковой лошади. А сами вы ощущаете в себе какую-нибудь перемену?

— О да, Теофил, но с трудом в это верю. Мне надо привыкнуть.

— Давайте оставим этот разговор.— Я засмеялся.— Можете не сомневаться, что в данную минуту многие разговаривают о том же самом. Но я хотел поговорить с вами о другом. Только раньше...— Я встал.— Не могу видеть на пюпитре ноты и не полюбопытствовать, что тут разучивали.

Я подошел к роялю и увидел транскрипцию Бузони шести хоральных прелюдий Баха. Я взглянул на Персис. С той же «извиняющейся» улыбкой она пояснила:

— Дедушка очень любит Баха. Я готовлю эти прелюдии для наших зимних вечеров.

— На острове Акуиднек редко услышишь хорошую музыку. Я по ней изголодался. Не попробуете ли вы сыграть их при мне?

Она была по-настоящему хорошей пианисткой. Вполне созревшей для замка Штамс. Музыка развеяла память о злоязычии и снисходительном ханжестве, надежду заслониться земными утехами... Под ее пальцами зазвучали колокола «In Dir ist Freude» [1], обрело голос смирение «Wenn wir in höchsten Nöten sein» [2]. Фредерик прокрался в комнату и сел под роялем.

Кончив играть она встала.

— Фредерик,— сказала она.— Я пойду в сад нарвать цветов для дедушки. Не отпускай мистера Норта, пока я не вернусь.— И вышла.

Я нерешительно поднялся со стула.

— Фредерик, как, по-твоему, маме хочется, чтобы я ушел?

— Нет! — громко воскликнул он, вылезая из-под рояля.— Нет... вы останьтесь!

— Тогда давай играть на рояле,— прошептал я заговорщицким тоном.— Садись на банкетку, и мы сыграем колокольный звон. Ты тихонько бери вот эту ноту, так...— Я нажал пальцем «до» малой ок-

[1] «В тебе радость» *(нем.).*

[2] «В час крайней нужды» *(нем.).*

тавы и показал ему, как надо медленно, тихо повторять этот звук по счету. Нажав правую педаль, я дал свободу обертонам, на которые отозвались струны в верхнем регистре. Потом протянул руку и стал ударять по басовому «до». Это старый салонный фокус. У новичка появляется ощущение, что под его пальцами звучит множество нот и комнату заполняет воскресный утренний перезвон.

— Ну, а теперь погромче, Фредерик.

Он посмотрел на меня с благоговением. Как сказал тот француз? «Основа воспитания детей — это развитие в них способности удивляться». В благоговении есть и доля страха. Взгляд Фредерика упал на мать, застывшую в дверях. Он подбежал к ней с криком:

— Мамочка, я играю на рояле!

Но он уже устал от этого непонятного мистера Норта и унесся наверх, к няне.

Персис с улыбкой подошла ко мне:

— Крысолов да и только! Я нарочно придумала, что мне надо в сад. Фредерику редко приходится видеть здесь мужчин. О чем еще вы хотели со мной поговорить?

— Об одной выдумке. Я очень сдружился с Эдвиной Уиллз и Генри Симмонсом. Из этого плавания по Карибскому морю, чуть не кончившегося бедой, Эдвина вернулась с опозданием, и теперь они с Генри срочно готовятся к Балу слуг. Они снова наняли оркестр Крэнстонской школы. Уже продали много билетов, но хотят придумать что-нибудь новое, вдохнуть в это дело жизнь. Я предложил пригласить несколько почетных гостей — начав с шефа полиции и шестерки его отважных молодых подчиненных, а также брандмейстера Далласа и шестерки отважных молодых пожарных. Ведь они — в полном смысле слуги народа.

— Прекрасная мысль!

— Потом я им рассказал о знаменитом венском Извозчичьем бале, где вместе веселятся люди из всех кругов общества. Тогда нам пришла в голову мысль подойти к этому же, но постепенно: сначала пригласить молодого человека и молодую даму из тех, которые проводят здесь лето,— самых красивых и обаятельных, а главное тех, кто особенно приветлив со слугами. Правда, они не очень верят в успех, но комитет обсудил кандидатуру джентльмена и решил единогласно: барон Штамс. Вы заметили, как безукоризненно он ведет себя со всеми без исключения?

— Да.

— Ну вот, я его «прощупал». Не считает ли он, что быть там гостем ниже его достоинства, не боится ли, что ему будет скучно? Наоборот! Оказывается, он давно хотел познакомиться с персоналом миссис Венебл, так сказать «в светском порядке», и с персоналом «Девяти фронтонов», со слугами миссис Эмис-Джонс и других домов, где он часто обедает. Но он не знает, отпустят ли его. Сможет ли посол без него обойтись. А Эдвина смеется. Они с миссис Венебл не только хорошие друзья — они часто затевают вместе всякие увеселения, чтобы Ньюпорт стал приятнее и для тех, кто здесь работает, и для тех, кто развлекается. Эдвина уверена, что ей стоит только намекнуть миссис Венебл, и та позвонит послу. «Дорогой посол, могу я просить ваше превосходительство о маленьком одолжении? Мы хотим устроить нечто вроде Извозчичьего бала. Вы не отпустите барона Штамса, которого здесь назвали самым популярным гостем летнего сезона? Понимаете — Вена-в-Ньюпорте. Это в ваших силах?»

— Чудесная идея!

— Потом комитет обсудил кандидатуру почетной гостьи. И выбрал вас.

— Меня?.. Меня?.. Не может быть! Я почти никуда не выхожу. Они даже не подозревают о моем существовании.

— Персис, вы знаете не хуже меня, что слуги в Ньюпорте от года к году почти не меняются. Они, как молчаливые зрители, жадно наблюдают за блестящим обществом хозяев. А вы, «великие мира сего», поражаетесь, что они столько знают. У них долгая память и стойкие привязанности, такие же стойкие, как и неприязнь. Ваше несчастье их тоже затронуло. Они помнят вас в счастливые времена — это было всего несколько лет назад. Они помнят, что вы с мистером Теннисоном завоевали приз лучших танцоров на благотворительном балу в пользу Ньюпортской больницы. Но главное, они помнят вашу сердечность: вы могли казаться отчужденной и холодной гостям, но никогда не бывали холодны с ними!

Она прижала ладони к щекам.

— Но они будут так разочарованы! Я понимаю, почему они любят Бодо, но я-то — просто унылая старая вдова с «подмоченной репутацией».

— Ну да,— грустно ответил я.— Я им говорил, что вы вряд ли примете их приглашение; тетя Сара сочтет, что вы себя роняете...

— Нет! Нет! Неправда!

— Могу я поподробнее изложить их планы? Торжественное открытие назначено на полночь. Генри и Эдвина выйдут на середину зала под звуки марша Джона Филипа Сузы, а за ними проследуют парами члены комитета. Затем — шеф Дифендорф со своими шестью молодцами и шеф Даллас со своими молодцами в ослепительной форме. Затем, расточая улыбки,— вы и Бодо, в лучших своих нарядах. Когда вы подойдете к передней паре, Генри поднимет свой жезл, подавая знак оркестру, который тихо заиграет вальс «Голубой Дунай». Вы двое сделаете круг по залу. Музыка смолкнет. Мисс Вотроз займет место за роялем, и вы вдвоем пройдете по залу сперва в полонезе, потом в польке, затем в мазурке... Потом снова вступит оркестр с «Голубым Дунаем», и вы, вальсируя, будете приглашать партнеров справа и слева. Наконец, поклонитесь гостям, пожмете руки Генри и Эдвине, и... вы — свободны . Люди этого всю жизнь не забудут.

На глазах у меня были слезы. Счастливее всего я бываю, когда фантазирую. Бодо еще не слышал об этом плане. Послу тоже никто не звонил.

Я просто выдувал мыльные пузыри.

Я просто пускал пробные шары.

Но все сбылось.

Однажды утром Эдвину, Генри, Фредерика и меня пригласили на генеральную репетицию танцев в «Лиственницы». На Персис было платье из множества слоев светло-зеленого тюля, которые вздымались облаком во время вальса, хотя такие платья не были в моде в 1926 году. Когда репетиция кончилась, распорядители бала похвалили танцоров и примолкли. Наконец Генри сказал:

— Эдвина, милая, за такое представление не пришлось бы краснеть на юбилее королевы Виктории в Хрустальном дворце, честное слово.

Фредерик носился по комнате разучивая польку. Он упал и ушибся. Бодо поднял его на руки и отнес наверх к няне — так, словно делал это каждый день.

Когда мы собрались уходить Генри сказал:

— Послушайте, Кусачки неужели вы не можете разок соврать, что были в услужении? Мы выдадим вам билет и пустим на завтрашний праздник.

— Ну нет, Генри. Вы же сами провели черту между теми, кто входит через парадную дверь и кто через нее не входит. Я могу представить себе всех вас в воображении и буду делать это не раз.

Мы стояли перед домом на дорожке, посыпанной гравием. Эдвина спросила:

— По-моему, вы что-то хотите сказать, Тедди?

Я посмотрел ей в глаза. (Правильно: по утрам они были скорее голубыми, чем карими.) И, запинаясь, произнес:

— Мне всегда трудно говорить «прощайте».

— Мне тоже,— сказала Эдвина и поцеловала меня

Мы с Генри молча пожали друг другу руки.

15

Бал слуг

Уже несколько недель в воздухе чувствовалось приближение осени. Листва великолепных ньюпортских деревьев желтела и опадала. Я шептал себе слова Главка из «Илиады»:

> Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков:
> Ветер одни по земле развевает, другие дубрава.
> Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают;
> Так человеки: сии нарождаются, те погибают.

Лето 1926 года подходило к концу. Я зашел в гараж Джосайи Декстера и уплатил два последних взноса за мой велосипед — до дня отъезда из Ньюпорта. Кроме того, я купил у него колымагу, заплатив за нее дороже, чем когда-то за бессердечную «Ханну», которая за это время была воскрешена для дальнейшей службы и наблюдала за нашей сделкой.

— Я вожу ее только сам,— сказал Декстер.— Знаю, как с ней обращаться. Хотите сказать ей несколько слов?

— Нет, мистер Декстер. Я уже не такой шалопай, как раньше.

— Слышал, что не все шло у вас гладко. В Ньюпорте молва быстро бежит.

— Да. Правдивая или нет, а бежит.

— Слышал, что у вас есть теория, будто Ньюпорт похож на Трою: тоже девять городов. Когда я был мальчишкой, наша бейсбольная команда называлась «Троянцы».

— Вы чаще выигрывали или проигрывали?

— Чаще выигрывали. Мальчишки всегда болели за «троянцев», потому что в книге их победили. Мальчишки, они ведь такой народ.

— В какие это были годы?

— В девяносто шестом и седьмом. Все мы учили латынь, а кое-кто и греческий... Когда вы хотите забрать машину?

— В четверг, после ужина. Если вы мне дадите ключи, я смогу уехать, вас не побеспокоив.

— Ну нет, профессор, машина эта не новая и машина недорогая, но если с ней хорошо обходиться, она вам еще послужит. Я бы хотел с вами проехаться и дать кое-какие советы.

— Вы меня очень обяжете. Тогда я приду в восемь и сдам вам велосипед. Мы сможем доехать с вами до миссис Киф, забрать мои вещи и прокатиться. Пожалуйста, поставьте в машину большой бак бензина, я хочу ехать всю ночь до Коннектикута.

И вот в вечер Бала слуг я пригласил миссис Киф и ее невестку в «Церковное собрание» при унитарианской церкви, где кормили курятиной. Я увидел там много новых лиц и был представлен их обладателям. Лица унитариев — хорошая им рекомендация. Мы с миссис Киф очень подружились на новоанглийский манер, поэтому при расставании нам не пришлось произносить прочувствованных слов. Я уложил свои вещи, вынес их к калитке и поехал на велосипеде в гараж Джосайи Декстера.

Он сразу же приступил к уроку и показал мне, как заводить машину и как останавливаться; как подавать назад плавно, словно киваешь соседу; как экономить бензин, беречь тормоза и аккумулятор. Подобно игре на скрипке, тут есть свои секреты, которые может объяснить только маэстро. Когда мы вернулись в гараж, я заплатил за добавочный бензин и поставил бак в машину.

— Вижу, вам не терпится уехать, профессор.

— Отнюдь. Мне нечего делать почти до полуночи, а тогда я хочу проехать под окнами миссис Венебл и послушать торжественный марш на Балу слуг.

— После смерти жены я тут, на чердаке, оборудовал себе второе жилье. Может быть, посидим, выпьем по чарке ямайского рома, чтобы скоротать время?

Я человек непьющий, но могу пить и не пить. Мы вскарабкались по лестнице на чердак. Он был завален частями разобранных автомобилей, но Джосайя выгородил себе аккуратную трехкомнатную квартирку с большим письменным столом, печкой, удобными креслами и плотно набитыми книжными полками. Хозяин вскипятил воды, добавил рому, положил палочку корицы и половинку апельсина. Он наполнил наши кружки, и я приготовился провести часок на молчаливый новоанглийский лад. Сам я решил держать язык за зубами. Хотелось послушать его. Но для этого пришлось запастись терпением.

— А на месте Трои были еще города после тех девяти, что нашел Шлиман?

— Как будто нет. Он нашел убогую деревеньку Гиссарлык — вот и все, что там сегодня осталось. Можно было ожидать, что она разбогатеет, находясь всего в четырех милях от входа в Дарданеллы, но этого не случилось. Видно, там не хватает пресной воды.

Молчание. Чудо, а не ром.

— Это наводит на мысль, что за перемены ждут нас здесь — скажем, лет через сто или тысячу... Английского языка, пожалуй, тогда и не узнаешь... Лошади и сейчас уже почти вымерли; собираются протянуть железную дорогу до Провиденса... — Он взмахнул руками. — Люди будут прилетать и улетать на крыльях, как зонтики... — Проведя ладонью по лбу, он сказал: — Тысяча лет — большой срок. Может, и кожа у нас будет другого цвета... Могут быть землетрясения, стужи, войны, вторжения, поветрия... Вас пугают такие мысли?

— Мистер Декстер, кончив университет, я поехал на год в Рим изучать археологию. Профессор повез нас на несколько дней за город, чтобы научить нас копать. Копали мы, копали. Через некоторое время напали на дорогу — большая была дорога, тысячи две лет назад... Колдобины, дорожные вехи, молельни. Миллион людей, наверно, по ней прошел, смеясь... тревожась... строя планы... горюя. С тех пор я стал другим человеком. Меня это освободило от гнета больших чисел, больших расстояний и больших философских проблем, которых мне не постичь. Я пашу свой клочок земли и не стараюсь поспеть всюду разом.

Он встал и прошелся по комнате. Потом взял с печки кувшин и, снова наполнив кружки, сказал:

— До того, как сюда вернуться и открыть извозчичий двор, я два года посещал университет Брауна.— Он жестом показал на книжные полки.— Читал Гомера, Геродота и Светония и до сих пор читаю. Книги, написанные между двадцать восьмым и восемнадцатым столетиями. Но одно, мистер Норт, мало изменилось с тех пор — люди! — Он взял со стола книгу и положил ее назад.— Сервантес, тысяча шестьсот пятый год. А они все ходят взад и вперед по Темзастрит, «смеясь и тревожась». Будет еще не один Ньюпорт, пока мы выродимся до Гиссарлыка. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом. Меня еще гнетет мысль о времени. После сорока время для нас становится вроде навязчивой идеи.

— Сэр, я приехал на этот остров около четырех месяцев назад. Вы были первым человеком, которого я встретил. Помните, каким я показался вам шалопаем, но на самом деле я был усталым и циничным, не знал, чего хочу. Лето двадцать шестого года очень мне помогло. Я еду в другие края, которые через триста лет, наверно, изменятся до неузнаваемости. Но там тоже будут люди, хотя пока что я не знаю там ни души. Спасибо: вы напомнили мне, что во все времена и повсюду мы встречаем очень похожих людей. Мистер Декстер, могу я попросить вас об одном одолжении? Вы знаете семью Матéра?.. А Уэнтвортов? Понимаете, я трушу, когда надо прощаться. Если вы их встретите, передайте им, пожалуйста, что, покидая Ньюпорт, мне очень хотелось напоследок выразить им мою признательность и симпатию.

— Хорошо.

— Пять человек, которых я люблю, будут сегодня на Балу слуг. Им мои прощальные слова уже сказаны. Сегодняшний вечер, сэр, сохранится как одно из счастливейших моих воспоминаний. — Я встал и протянул ему руку.

— Мистер Норт, прежде чем пожать вашу руку, я должен сделать одно признание. Вы помните: я покупаю старые машины. Младший брат их моет. Бывает, мы покупаем четыре-пять штук в неделю. Он парень непутевый и всякое старье, которое находит под сиденьями, в обивке и под ковриком — самые разные вещи, — сваливает в бочку, чтобы я его потом разобрал. Иногда неделями туда не заглядываю. Месяца полтора назад я нашел что-то вроде рассказа. Без подписи, одно только место названо — Трентон, Нью-Джерси. Номер на вашей машине был нью-гемпширский. Поговорив с вами сегодня, я подумал: не вы ли написали этот рассказ?

Я побагровел. Он протянул руку к нижнему ящику стола и достал оттуда длинный отрывок из моего Дневника — описание интрижки с дочерью сапожника в Трентоне. Я кивнул, и он отдал рукопись мне.

— Вы уж меня извините, мистер Норт.

- - Ерунда! Маракал, чтобы время провести...

Мы молча обменялись взглядами.

— Вы тут довольно живо все описали, мистер Норт. Я бы сказал, что у вас есть способности. А вы не подумывали стать писателем? — Я помотал головой.— Я провожу вас вниз, до машины.

— Спокойной ночи, Джосайя, и спасибо.

— Езжайте осторожно, Теофил.

Я не стал ждать под деревьями у дома миссис Венебл, когда заиграют марш Сузы и «Голубой Дунай».

Память питает воображение. Память и воображение, объединившись, могут придумать Бал слуг и даже написать книгу, если захотят.

■

Литературные иллюстрации

КОБО АБЭ

Человек-ящик

РОМАН

Перевод с японского В. ГРИВНИНА

Реальный мир вымысла

Что есть человек в сегодняшнем японском обществе, что он для общества и что общество для него? Кобо Абэ, известный японский писатель, лауреат многих национальных и зарубежных литературных премий, отвечает на этот вопрос в своих знаменитых романах «Женщина в песках», «Чужое лицо», «Сожженная карта».

«Человек-ящик» — новое произведение Кобо Абэ — вещь достаточно необычная. Необычная не по теме, тема все та же — тема отчуждения, одиночества людей, враждебности буржуазного общества личности человека. Но на сей раз герой романа делает попытку найти убежище, найти спасение от этого мира, отгородившись от него искусственным домиком-коробкой, который он носит на себе и который закрывает его с головы до ног. Можно сказать, человек-улитка: живет в ящике, ходит в ящике, ест в ящике и даже спит в ящике. Человек-ящик, как ему кажется, почти совершенно не обременяет общество и он хочет лишь одного, чтобы и общество не обременяло его.

Абэ приводит в романе небольшую газетную заметку (неважно, настоящая она или придуманная им), в которой говорится о том, что в подземном переходе умер пешеход и никто из нескольких сот тысяч прохожих даже не заметил, что привалившийся к колонне человек мертв. Поразительная картина всеобщего безразличия! Она, на наш взгляд, и объясняет коренную причину, заставившую героя романа надеть на себя ящик.

В творчестве Абэ сцена в подземном переходе встречается не впервые. Напомним эпизод романа «Сожженная карта». В подземном переходе, у колонны, на корточках сидит человек. Но «людей, проходящих мимо, этот странный человек нисколько не беспокоит. Видимо, потому, что для них он не больше чем пустота, исчезающая под ногами, подобно узору на кафеле». Хорошо сказано: «исчезающая под ногами пустота». То есть человек не просто безразличен этим людям, он для них действительно пустое место, куда можно даже ступить ногой.

Эта сцена — крайнее выражение одиночества человека. И совсем не случайно она почти текстуально воспроизведена в «Человеке-ящике». Более того, здесь она подана с безусловностью документа, газетной заметки. Но если в этом эпизоде социальный, обличительный смысл романа выступает с полной несомненностью, то в движении самого образа человека-ящика многое нарочито зашифровано и подчас трудно поддается толкованию. Герои романа связаны не столько сюжетной, сколько усложненной образной связью, они движутся, как в лабиринте магических зеркал, во взаимных отражениях, символических перекличках, так

что читателю порой нелегко следовать за автором по страницам его книги.

«Человек-ящик» — это своего рода разветвленная и материализованная метафора. «Ящик» выступает то в благодатной роли защиты человека от враждебного ему мира, то как стремление к абсолютной самоизоляции, то как символ безразличия, холода и лицемерия, то как средство обороны личности от этого равнодушия и лицемерия. Основного героя — изобретателя «ящика» — начинают окружать другие «люди-ящики», образ двоится, троится, множится, как в дурном сне, поворачиваясь разными сторонами, будто в причудливой фантастической игре теней. Усложненность формы затрудняет проникновение в замысел писателя и порою приводит к результатам, отличным от тех, на которые он рассчитывал.

Может быть, следует тогда поставить под сомнение оправданность самого стержневого образа? Нет, дело, по-видимому, не в экстравагантности самой художественной символики Кобо Абэ. Пусть не покажется читателю слишком неожиданным такое сравнение: хорошо известный всем со школьной скамьи рассказ Чехова «Человек в футляре» несет в себе чем-то родственную японскому писателю мысль: попытка Беликова укрыться, спрятаться от людей в «футляре» — не сродни ли она в чем-то поведению человека-ящика? Чехов поразительно разворачивает символический ряд понятий (зонтик, калоши, гроб) одновременно с описанием событий вполне житейского, реального плана. «Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала». Пожалуй, этот «футляр» стоит «ящика» японского писателя! Однако — и тут уже сравнение не в пользу Кобо Абэ — символ Чехова всегда настолько внятен и бесспорен в своем социально-нравственном наполнении, что не приходится гадать, что символизирует «футляр» в русской застойной жизни 80-х годов прошлого века.

И все же при всей многозначности иносказательных планов романа не будет безнадежной попытка указать на его основной гуманистический смысл.

Если человек не находит силы противопоставить себя всеобщему безразличию, бороться с ним, у него как будто в самом деле не остается другого выхода, как забиться в нору — укрыться в ящике. Общество отвергает меня — ну что ж, я тоже отвергаю общество — такова нехитрая философия человека-ящика. Скажем без недомолвок — философия ущербная, философия слабости.

Герою Абэ хотелось бы чувствовать себя не связанным с другими, независимым от них, как и от условностей внешнего мира, и в этом смысле — свободным, самим собой. Но достигнутая таким необычным путем свобода (жить среди людей и не жить среди них, оставаться невидимкой или неодушевленным предметом, способным разве что к передвижению), подобная микросвобода не дает утешения. В конечном счете герой убеждается в ее иллюзорности.

Герой хотел отстраниться от мира, а в результате втянул этот мир в свой ящик.

На протяжении романа настроение героя мрачное, безнадежное, где-то на грани несуществования. Герой отдает себе отчет: «Хроническая болезнь человека-ящика — это паралич сердца или неспособность сердца к чувству, анемия чувств. Это как морская болезнь... Однако нет неловкости от того, что ты ходишь в ящике. Напротив, у меня такое ощущение, что ящик — это выход в особый мир. Не знаю в какой, но знаю, что в особый».

Особого мира герой не нашел. Он не может преодолеть в себе привязанность к миру живому и реальному. С первых же страниц романа и до последних он думает «о ней». Сначала мечтает, чтобы «она» пришла, как обещала, потом решает, что он должен непременно ее отыскать

Женщина занимает в романе важное место. Собственно, она центр, вокруг которого вращается повествование. Но было бы неверно видеть в ней предмет лишь физического влечения героя, объект любви или вожделения. Она олицетворяет Жизнь. И эта Женщина-Жизнь—единственная, по мнению писателя, кто может спасти человека от изоляции и одиночества, от ящика, дать ему силы, которые позволят противопоставить себя враждебному обществу, выстоять под его ударами. Заметим, что в подобной роли Женщина выступает у Абэ не впервые, тот же символ мы находим и в предыдущих произведениях.

Характерно для Абэ, что через весь его новый роман проходят контрастными темами два образа: образ человека, упрятавшего себя в ящик, и прекрасной обнаженной женщины. Это столкновение «закрытости», боязни соприкосновения с обществом и «открытости» как попытка вернуть утраченные естественные связи с людьми. Природа в первородной непосредственной своей красоте и силе служит укором буржуазной цивилизации. Открытость — словно дом с распахнутыми дверьми в утопическом городе — мечте героя: «Кто хоть раз нарисует в своем воображении безымянный город, существующий лишь для безымянных жителей: двери домов в этом городе, если их вообще можно назвать дверьми, широко распахнуты для всех, любой человек твой друг, и нет нужды всегда быть начеку...»

Но с помощью благородной гуманистической абстракции вряд ли можно решить проблемы, возникающие перед героем Абэ. Как известно, чтобы изменить характер отношений между человеком и обществом, нужно прежде всего изменить характер самого общества. К сожалению, вот так остро и определенно не ставит этого вопроса и сам Абэ, что, разумеется, снижает социальное звучание его произведения.

«Человек-ящик» — современный роман-притча. Форма романа сложная, а иной раз искусственно усложненная. Роман как будто смонтирован из разносильных кусков.

Здесь и скупой репортаж, и документальность на уровне газетной хроники (например, начальная вставка — о мерах, предпринятых полицией по борьбе с бродяжничеством, и последствия: все бродяги, освобожденные из-под ареста, несмотря на строгий запрет, вернулись на прежние места), здесь и лирические и философские размышления, и монологи, и диалоги, и скупые, но выразительные зарисовки природы. Есть что-то в самом построении, в структуре, в ритме романа остросовременное. Воспоминания, наблюдения, почти фотографические записи того, что видит вокруг себя герой, словно съемка «скрытой камерой». И как бывает в фильмах, сделанных скрытой камерой, — факты говорят сами за себя. Никакой риторики. Да, Кобо Абэ современен. Но те, кто знает японскую литературу, обнаруживают в романе и глубокую традицию, уходящую к истокам японской литературы. Близость произведениям типа «дзуй-хицу» (буквально «вслед за кистью») — разрозненной записи всего, вдруг пришедшего на ум или вдруг подмеченного писателем. Близость традиционному жанру дневниковой литературы — «никки» — и так называемой литературе «дзицуроку» — «запись действительных событий». То, что европейцу покажется ультрасовременным, японцу может показаться возрождением былого.

В романах Абэ, в том числе и в «Человеке-ящике», взаимосвязь условного и реального миров существует всегда. При этом скрупулезная точность описаний, психологическая убедительность подробностей обретает такую степень достоверности, что ощущаешь происходящее почти физически. Это особое умение Абэ — вовлечь читателя в свой условный мир и заставить уверовать в его реальность. Читатель верит в реальность вымышленного мира романов Абэ, когда по его спине начинает струиться песок, когда он ощущает на своем лице не дающую ему дышать маску, когда чувствует на своих плечах ящик. И вот тогда-то читателю становится ясна психология человека, упрятанного в песчаную яму, человека, вынужденного надеть маску, человека, бежавшего в никуда, наконец, человека-ящика, решившегося оградить себя от общества.

Т. ГРУШИН

Вчера проведена очистка Уэно от бродяг.
Арестовано 180 человек

Имея в виду усиление охраны в связи с делом № 109 о зверских убийствах с применением огнестрельного оружия, полицейское управление токийского района Уэно в преддверии зимы в ночь на 23-е провело облаву на бродяг в парке Уэно, а также в районе вокзала и станции метро Уэно. За зданием Токийского культурного центра в парке Уэно, в метро и других местах было арестовано в общей сложности 180 человек, которым было предъявлено обвинение в нарушении закона о мелких преступлениях (бродяжничество, нарушение запрета на вход) правил поведения на улице (действия, запрещенные на улицах). Все арестованные были доставлены в указанный полицейский участок. 4 человека, заявившие о том, что они больны, помещены в больницу, 9 человек — в дом для престарелых. Остальные отпущены после того, как дали подписку о «прекращении бродяжничества». Однако уже через час почти все бродяги снова вернулись на прежние места.

ЧТО ПРОИЗОШЛО СО МНОЙ

Это невыдуманные записки о людях-ящиках.

Я начинаю писать их в ящике. В ящике из гофрированного картона, который надет на голову и доходит до пояса.

На этот раз человек-ящик — я сам. Итак, человек-ящик, сидя в ящике, приступает к запискам о людях-ящиках.

МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯЩИКА

Материал:

Пустой ящик из гофрированного картона — 1.

Кусок полиэтилена (полупрозрачного) — 50×50 см.

Клейкая лента (водоотталкивающая) — примерно 2 метра.

Проволока — примерно 2 метра.

Перочинный нож (служащий инструментом).

(Чтобы быть надлежащим образом одетым для выхода на улицу, необходимо, кроме того, обеспечить себя тремя кусками плотной ткани и одной парой резиновых сапог.)

Пустой ящик из гофрированного картона должен быть метр в длину, метр в ширину и метр тридцать в высоту — тогда он подойдет любому. Лучше всего использовать стандартный ящик, называемый обычно «квадратным». Прежде всего, поскольку ящик стандартный, его легко достать. Во-вторых, большинство товаров, для которых используются стандартные ящики, как правило, не имеют строгой формы, например пищевые продукты, легко теряющие товарный вид, и поэтому ящики для них делаются достаточно прочными. В-третьих, и это самая главная причина, отличить такой ящик от других практически невозможно. Действительно, насколько мне известно, почти все люди-ящики, точно существует какой-то сговор, используют именно «квадратные». Причина, видимо, в том, что если ящик чем-то выделяется, это снижает анонимность его владельца.

В последнее время ящики из гофрированного картона, даже самые обычные, стали делать чрезвычайно прочными и обрабатывать водоотталкивающим составом — так что не в сезон дождей выбирать ящик с особой придирчивостью нет необходимости. Наоборот, обычный ящик хорошо вентилируется, он легок и удобен. Тем, кто намерен длительное время пользоваться одним и тем же ящиком, во все времена года, я предлагаю «лягушачье покрытие». Это ящик, обтянутый полиэтиленом и обладающий, как указывает название, повышенной водонепроницаемостью.

Ящики новейшего образца глянцевые, точно покрытые слоем жира, и в них, видимо, легко накапливается статическое электричество, от чего они сразу покрываются слоем пыли, а края получаются толще и более неровными, чем в обычном ящике, и это сразу бросается в глаза.

Я не собираюсь подробно излагать способ подготовки ящика, скажу лишь, что прежде всего необходимо решить, где его верх, а где низ (можно исходить из того, где наклеена этикетка, или считать верхом наименее поврежденную сторону ящика — в общем, каждый решает это по своему усмотрению), и срезать нижнюю крышку. Когда много личных вещей, можно не срезать ее, а завернуть внутрь и, закрепив по углам проволокой или клейкой лентой, использовать как полку. Стыки лучше всего укрепить клейкой лентой (на три шва на крышке и на каждое ребро).

С особой тщательностью необходимо прорезать смотровое окошко. Прежде всего необходимо установить его размер и местоположение, но, поскольку для каждого человека они будут разными, я ограничусь тем, что приведу цифры, которые можно использовать лишь как исходные. Верхний край окошка должен находиться в 14 сантиметрах от крышки ящика, нижний — в 28 сантиметрах, ширина окошка — 42 сантиметра, на мой взгляд, именно такие размеры можно считать оптимальными. Если учесть толщину подкладки, обеспечивающей устойчивость надетого на голову ящика (я привязываю к голове один журнал), линия, находящаяся в 14 сантиметрах от крышки ящика,— примерно на уровне бровей. Может показаться, что окошко в ящике расположено слишком низко, но дело в том, что в повседневной жизни человеку редко нужно смотреть вверх. Вниз же, наоборот, смотреть приходится часто, и поэтому местоположение нижнего края окошка имеет большое значение. Стоящий в полный рост человек должен видеть землю хотя бы на полтора метра перед собой — иначе трудно идти. Что касается ширины окошка, то здесь особых обоснований не требуется. Я установил ее, заботясь лишь о том, чтобы сохранить прочность ящика и не допустить, чтобы в нем гулял ветер. Поскольку дна в ящике нет, окошко может быть и поменьше.

Далее — как укрепить на окошке шторку из полупрозрачного полиэтилена. Здесь тоже есть свой секрет. Лучше всего полиэтиленовую шторку укрепить клейкой лентой у верхнего края окошка с внешней стороны, чтобы она свисала свободно,— нужно при этом не забыть предварительно разрезать полиэтилен вдоль, чтобы шторка состояла из двух половинок. Даже вообразить трудно, какую огромную службу сослужит эта маленькая уловка. Обе половины шторки должны быть одинаковыми и заходить одна на другую на два-три миллиметра. Если ящик находится в вертикальном положении, шторка служит ставней — никто не может заглянуть внутрь. Если же ящик слегка наклонить, между двумя половинками шторки образуется щель, и это позволяет зи-

деть, что делается снаружи. Простое, но в то же время чрезвычайно тонкое приспособление — вот почему нужно с особой внимательностью отнестись к выбору полиэтилена. Желательно, чтобы он был по возможности плотным и в то же время эластичным. Дешевый полиэтилен, который при понижении температуры моментально дубеет, создает массу неудобств. Еще менее пригоден тонкий, непрочный полиэтилен. Плотность и эластичность полиэтилена должны быть такими, чтобы, путем изменения угла наклона ящика, свободно регулировать ширину щели и не страдать от малейшего ветерка. Для человека-ящика прорезь в полиэтилене — это фактически выражение его глаз. Ни в коем случае ее нельзя приравнивать к обычной дырке в заборе, чтобы подсматривать. Чуть увеличивая или уменьшая ширину прорези, можно совершенно явственно выражать свое отношение к происходящему. Разумеется, не добродушное. Это, скорее, мрачный, угрожающий взгляд. Можно без преувеличения сказать, что для беззащитного человека-ящика такой взгляд — одно из немногих средств самообороны. Хотел бы я встретить человека, который останется невозмутимым, глядя на меня.

В случае, если приходится часто попадать в уличную толчею, неплохо проделать дыры и в боковых стенках ящика. Дыры, проткнутые толстой спицей, должны образовать круг диаметром в 15 сантиметров и на таком расстоянии друг от друга, чтобы не нарушить прочности картона. Они будут предоставлять дополнительную возможность для обзора и, кроме того, помогут определять направление звука. Дыры целесообразно проделывать изнутри, и тогда неровности, образовавшиеся снаружи, хотя внешний вид ящика от этого проиграет, будут предохранять от того, чтобы дождь заливался внутрь.

И, наконец, проволока — ее нужно разрезать на небольшие куски по пять, десять и пятнадцать сантиметров и, согнув концы в противоположные стороны, сделать из них крючки. Количество вещей нужно свести до минимума, но все равно существуют совершенно необходимые предметы, которые всегда должны быть под рукой и без которых просто невозможно обойтись: транзистор, чашка, термос, карманный фонарь, полотенце, коробка для мелочей.

Объяснять необходимость резиновых сапог вряд ли нужно. Главное, чтобы они были целыми. Плотная ткань служит для того, чтобы, обмотав ею поясницу, уменьшить пространство между телом и ящиком и чтобы ящик плотнее сидел. Если намотать ее, сложив в три слоя, и впереди сделать разрез, движению она мешать не будет. Не создаст неудобств и при естественных отправлениях.

ЧТО ПРОИЗОШЛО С А

Сделать ящик несложно. На это не потребуется и часа. А вот чтобы надеть его и стать человеком-ящиком — для этого нужно немалое мужество. В тот миг, как человек влезает в ничем не примечательный, обычный картонный ящик и выходит на улицу, исчезают и ящик и человек и появляется совершенно новое существо. Человек-ящик отравлен ядом отвращения. В какой-то степени таким же ядом отравлены и мужчина-медведь, и женщина-змея, нарисованные на вывеске балагана. Но платой за вход яд так или иначе нейтрализуется. Яд же, которым отравлен человек-ящик, не так безобиден.

Видимо, ты стал таким еще до того, как до тебя дошли слухи о человеке-ящике. Да и необходимости в слухах обо мне не было. Дело в том, что я не единственный человек-ящик. Статистики, правда, не существует, но есть косвенные доказательства того, что в самых разных районах страны скрывается немалое число людей-ящиков.

Тем не менее я еще ни разу не слышал, чтобы человек-ящик становился темой обсуждения. Все точно сговорились хранить молчание о людях-ящиках.

И все же я видел...

Хватит притворяться несведущим. Человека-ящика заметить нелегко — это верно. Он подобен мусору под виадуком или за общественной уборной. Но не замечать не значит не мочь увидеть. Человек-ящик явление не такое уж редкое, и поэтому может представиться сколько угодно случаев встретиться с ним. Да и ты несомненно видел его не раз. Но я также хорошо понимаю твое нежелание признать это. Причем не ты один, встретившись с ним, прикидываешься, что не видишь его. И даже если ты делаешь это без всякой задней мысли, все равно инстинктивно, видимо,

непреодолимо хочешь отвести глаза. Это неизбежно; когда глубокой ночью человек надевает темные очки или прикрывает лицо маской, значит, он замышляет что-то дурное или же сам трусит — других объяснений не существует. Тем более это относится к человеку, целиком упрятавшему себя в ящик,— его все подозревают, и против этого нечего возразить.

Кто же, несмотря на это, хочет стать человеком-ящиком, что его на это толкает? Возможно, то, что я скажу, покажется неправдоподобным, но существует немало поводов, совершенно незначительных случаев, которые могут привести к этому. Повод может быть совсем неприметный, который на первый взгляд даже не кажется поводом. Вот что, например, произошло с А.

Однажды под окнами А поселился человек-ящик. Сколько А ни избегал смотреть на него, он все равно без конца попадался ему на глаза. Сколько А ни старался его игнорировать, ему это так и не удалось. Первым чувством, овладевшим А, было раздражение, растерянность — человек незаконно вторгся в его владения, гнев, возмущение оттого, что кто-то посторонний пробрался к нему. Но все же он решил какое-то время ждать, ничего не предпринимая. Пусть это сделает вместо него болтливый мусорщик, каждое утро опорожняющий мусорные ящики. Но сколько А ни ждал, никто не выказывал намерения взяться за это дело. А обратился было к управляющему домом, но безрезультатно. Может быть, человек-ящик виден лишь из его комнаты, и вряд ли люди, которым он не попадается на глаза, займутся этим. Да в общем-то любой с удовольствием прикинется, что не видит его.

В конце концов А решил обратиться в полицию. Когда вышедший к нему полицейский, изобразив на лице озабоченность, предложил написать заявление о причиненном ущербе, А впервые почувствовал нечто похожее на испуг.

«Послушайте, но вы же просто можете сказать ему, чтобы он убирался».

Это брошенное вслед ехидное замечание полицейского заставило его наконец решиться. По дороге из полиции он зашел к приятелю и взял у него духовое ружье. Вернувшись домой, он закурил, успокоился и, не таясь, посмотрел в окно, в которое раньше выглядывал с опаской. Видимо, это произошло чисто случайно, что человек-ящик стоял к нему той стороной, где было прорезано окошко. Их разделяло всего три-четыре метра. Точно увидев растерянность А, он слегка наклонил ящик в сторону, и полупрозрачная полиэтиленовая шторка, прикрывавшая окошко, следуя за наклоном, разошлась посредине, и из глубины ящика на А внимательно посмотрели мутные белесые глаза. Кровь ударила А в голову. Он распахнул окно. Вложил пулю в духовое ружье и прицелился.

Куда же выстрелить? С такого близкого расстояния можно попасть даже в глаз. Но сколько из этого возникнет осложнений. Вполне достаточно просто дать ему понять, чтобы в другой раз не показывался здесь. Какое положение занял человек в своем ящике? Пока А представлял себе очертания его тела, палец, напряженно замерший на спусковом крючке, начал дрожать. Лучше всего, если простая угроза заставит его уйти и вообще стрелять не придется. Совсем не хочется проливать кровь, даже каплю. Но не заставляй ждать до бесконечности. А вдруг он догадался, что это пустая угроза? Все равно теперь уж отступать поздно. Нервничая, А решил подождать еще немного. Снова поднялась злость. Время перекалилось и вспыхнуло. Он потянул спусковой крючок. Ружье, а за ним и ящик издали звук, какой бывает, когда по мокрым брюкам проведешь зонтом.

И в ту же минуту ящик подбросило высоко вверх. Сколько бы усилий ни прилагали, чтобы сделать ящик устойчивым против механических повреждений,— гофрированный картон всего лишь картон. И хотя он успешно выдерживает давление, когда оно распределяется по всей поверхности, против точечного давления он устоять не может. Значит, свинцовая пуля несомненно впилась в тело человека. Но ни вопля, ни даже стона, как ожидал А, не последовало. В ящике, который, подскочив, снова замер, чувствовалось лишь до ужаса тихое, неприметное движение. А растерялся. Целился он на несколько сантиметров левее и ниже линии, соединяющей правый верхний и левый нижний углы окошка. Видимо, он попал в правое плечо. Но не исключено, что из-за

обуявшего его стыда вообще промахнулся? Нет, реакция была слишком уж бурной. На ум пришла ужасная мысль. Совсем не обязательно, чтобы человек-ящик находился в нем лицом к А. Невозможно также определить и его позу из-за того, что нижняя часть туловища обернута плотной материей. Вполне может оказаться, что он сидел, скрестив ноги. Тогда, не исключено, могло произойти худшее — пуля, слегка задев плечо, попала в сонную артерию.

Рот напрягся до онемения. Бег во сне. С надеждой он ждет следующего движения. Не двигается... нет, двигается... в самом деле двигается. Не как секундная стрелка, но быстрее, чем минутная. Наклон ящика действительно увеличивается. Неужели он так вот и упадет? Шуршание, точно растирают сухую глину. Человек-ящик вдруг встает. Какой он высокий. Звук, точно от удара по мокрой брезентовой палатке. Медленно поворачивается, тихо кашляет и потягивается. Идет, слегка раскачивая ящик вправо и влево. Кажется, он немного наклонился вперед — наверно, просто пригнулся от страха. Уходя, кажется, что-то пробормотал, но расслышать не удалось. Пройдя вдоль дома, вышел на улицу и, повернув за угол, исчез.

У А остался неприятный осадок от того, что ему не удалось увидеть, какое выражение лица было у человека-ящика.

Может быть, виной тому было его состояние, но А показалось, что земля на том месте, откуда ушел человек-ящик, чернее, чем вокруг. Пять затоптанных окурков. Пустая бутылка, заткнутая пробкой, свернутой из бумаги. В бутылке — два паука. Один, по-видимому, мертвый. Смятая обертка от шоколада. И тут же три в ряд темных пятна величиной с ноготь большого пальца. Неужели кровь? Нет, вероятно, слюна. Точно извиняющийся фальшивый смешок. Во всяком случае цель достигнута.

Уже через полмесяца А начал забывать о человеке-ящике. Но все еще не избавился от новых привычек: отправляясь на работу, он из-за безотчетной тревоги перестал ходить узким переулком — ближайшей дорогой до станции; каждый раз, вставая утром с постели или вернувшись домой, он прежде всего подходит к окну и выглядывает наружу. И если бы только он не решил купить новый холодильник, то когда-нибудь непременно освободился бы от этой навязчивой идеи...

Купить новый холодильник с морозильной камерой — что может быть естественнее, но холодильник упакован в ящик из гофрированного картона. Причем подходящего размера. Как только из ящика было вынуто содержимое и он стал пустым, сразу же всплыло воспоминание о человеке-ящике. Раздался щелчок, точно стеганули хлыстом. Показалось, что из двухнедельной давности возвратилась пуля духового ружья. А растерялся и твердо решил выбросить ящик. Но вместо этого стал усердно мыть руки, сморкаться, полоскать рот. Видимо, возвратившаяся пуля влетела в черепную коробку и перевернула все внутри. Опасливо озираясь, А задернул на окнах шторы и робко влез в ящик.

В ящике было темно и сладко пахло водоотталкивающей пропиткой. Почему-то сидеть в нем было очень уютно. Неуловимое воспоминание — кажется, вот-вот ухватишь его. Хотелось сидеть в ящике до бесконечности. Но очень скоро А опомнился и вылез из ящика. Чувствуя, что ящик влечет его все настойчивее, он решил покончить с ним, но чуть позже.

На следующий день, вернувшись с работы, А, натянуто улыбаясь, прорезает в ящике окошко и, как тот человек-ящик, надевает его на себя. И тут же сбрасывает ящик с себя — нет, здесь не до смеха. Он и сам как следует не понимает, что произошло. Но бешеное сердцебиение предвещало какую-то опасность. Грубо, но не настолько чтобы испортить ящик, он пинком загнал его в угол комнаты.

Третий день. А немного успокоился и через окошко в ящике стал осматривать комнату. И уже не мог вспомнить, что именно так напугало его в тот вечер. Он чувствует, что в нем произошла какая-то перемена. Но эта перемена лишь радует его. Все вокруг лишилось шипов и кажется гладким и круглым. Привычные и на первый взгляд такие безобидные пятна на стене... Наваленные в беспорядке старые журналы... переносной телевизор с погнутой антенной... на нем пустая банка из-под мясных консервов, доверху набитая окурками...— он впервые заметил, что все эти предметы представлялись ему раньше ощетинившимися шипами, заставляли его бессознательно испытывать напряжение. Видимо, нужно отбросить предубеждение к ящику.

На следующий день А уже смотрел телевизор, надев на себя ящик.

Начиная с пятого дня, он, когда был дома, уже почти безвылазно находился в ящике, снимая его только, чтобы поесть и справить нужду, и спал он еще тоже не в ящике. Он испытывал лишь некоторое смущение, но не чувство, что совершает нечто из ряда вон выходящее. Более того, все, что он делал, представлялось ему естественным и приятным. Даже одиночество, казавшееся ему прежде мучительным, виделось ему теперь, наоборот, счастьем.

Шестой день. Первое воскресенье. Он никого не ждет и сам не собирается выходить из дому. С утра он уже в ящике. Он спокоен, умиротворен, но чего-то ему недостает. Во второй половине дня он, наконец, понимает, что ему нужно. Выходит на улицу и поспешно делает покупки. Ночной горшок, карманный фонарь, термос, корзина для продуктов, которую берут с собой на пикники, клейкая лента, проволока, ручное зеркальце, фломастеры семи цветов, всякая еда, готовая к употреблению. Возвратившись домой, он оборудовал ящик с помощью клейкой ленты и проволоки, взял с собой остальные покупки и укрылся в нем. Он обеспечил себя всем необходимым — и едой, и вещами. На внутренней стенке ящика (слева, если стоять лицом к окошку) А повесил ручное зеркальце и при свете карманного фонаря зеленым фломастером накрасил губы. Потом всеми семью цветами радуги, начиная с красного, нарисовал вокруг глаз широкие круги. Теперь он потерял сходство с человеком и напоминал скорее рыбу или птицу. Его лицо стало похоже на спортивную площадку, какой она видится с вертолета. И на ней — убегающая стремглав его маленькая фигурка. Лучшей раскраски лица, которая бы так подходила для ящика, не найти. Наконец-то он почувствовал, что сроднился с тем, что стало его неотъемлемой частью. И впервые заснул в ящике, привалившись к стенке.

На следующее утро (прошла ровно неделя) А, надев на себя ящик, вышел на улицу. И больше не вернулся домой.

Если А и можно было в чем-то упрекнуть, то лишь в том, что он чуть острее, чем другие, представлял себе сущность человека-ящика. Я не вправе издеваться над ним. Кто хоть раз нарисует в своем воображении безымянный город, существующий лишь для безымянных жителей,— двери домов в этом городе, если их вообще можно назвать дверьми, широко распахнуты для всех, любой человек твой друг, и нет нужды всегда быть начеку, ходи на голове, спи на тротуаре — никто тебя не осудит; чтобы окликнуть человека, не требуется особого разрешения, хочешь похвастаться своим пением — пой где угодно и сколько угодно, а окончив пение, всегда сможешь смешаться с безымянной толпой на улице — кто хоть однажды размечтается об этом, того всегда подстерегает та же опасность, с которой не совладал А.

Поэтому обращать ружье против человека-ящика по меньшей мере опрометчиво.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Возможно, я повторяюсь — теперь я человек-ящик. И здесь мне бы хотелось коротко рассказать о себе.

Как раз сейчас я пишу эти записки, укрывшись от дождя на берегу канала под мостом, по которому проходит префектуральная автострада. Не особенно точные часы показывают девять пятнадцать или девять шестнадцать. Дождь льет с самого утра, и черное вечернее небо волочит свой подол почти по самой земле. Насколько хватает глаз, тянутся склады и штабеля леса рыболовецкого кооператива. Ни одного дома вокруг, ни живой души. Не доходит сюда и свет фар проносящихся по мосту машин. Мне светит лишь карманный фонарь, свисающий с потолка ящика. Может быть, поэтому написанные шариковой ручкой иероглифы, которые, как я знаю, должны быть зелеными, кажутся почти черными.

Дождь на побережье пахнет псиной. Дождь, мелкий, моросящий, летит во все стороны, точно его разбрызгивают из пульверизатора, и поэтому то место, где я укрылся, не спасает от него. Фермы моста слишком высоко. Нет, место это неподходящее не

только для того, чтобы укрываться от дождя. Просто находиться в такое время, в таком месте — совершенно противоестественно для человека-ящика. Одно то, что я сейчас пользуюсь карманным фонарем,— безумная расточительность. Бездомные люди, вроде меня, довольствуются тем, что удается подобрать на улице, а чего не подобрали, без того обходятся, но неиспользованные батарейки, разумеется, на улице не валяются. Непозволительная роскошь — жечь карманный фонарь только для того, чтобы писать какие-то записки. В последнее время и уличных фонарей стало больше, и сами фонари стали ярче, и лампочки мощнее. И если устроиться под фонарем так, чтобы быть укрытым от дождя, то вполне можно даже газету читать.

И вот в таком неподходящем для человека-ящика месте я почему-то сижу уже больше двух часов. Сначала я должен объяснить, почему это произошло. Правда, сколько бы я ни старался объяснить, у меня нет уверенности, что мне удастся убедить тебя. Ты просто мне не поверишь. Но даже если и не поверишь, от фактов никуда не уйдешь. Дело в том, что мой ящик запродан. Я нашел покупателя, который дает за него огромные деньги — пятьдесят тысяч иен. И вот теперь ради этой сделки я сижу здесь, поджидая покупателя. Ты не веришь в это, да и я тоже наполовину верю, наполовину сомневаюсь. Неправдоподобная история, правда? Трудно представить себе, чем руководствуется человек, которому настолько захотелось получить этот истертый картонный ящик, что он готов выложить такие деньги.

Почему же я, не веря в это, принял предложение? Причина проста. Не было повода для сомнений — вот в чем дело. Так бывает, когда останавливаешься, заметив на обочине блестящий предмет. Мой покупатель блестел, как осколок пивной бутылки, на который упал луч вечернего солнца. Ты понимаешь, что осколок не представляет никакой ценности, но все равно преломляющийся в стекле луч света придает ему удивительную прелесть. Мне вдруг начинает казаться, что я проник взглядом в другое время. Ее ноги — они были особенно прекрасны — изящные и стройные, как уходящие вдаль рельсы, когда смотришь на них, стоя на холме. Легкая юная походка, на которую можно смотреть бесконечно, как на бездонное прозрачное небо. Не было повода верить, но в то же время не было и повода для сомнений. Видимо, ее ноги обезоружили меня.

Теперь я, конечно, раскаиваюсь. Хотя лучше, пожалуй, сказать так: я духовно раздавлен предчувствием того, что мне придется пережить боль раскаяния. Жалкое состояние. С какой стороны ни посмотреть, мое поведение так не свойственно человеку-ящику. Меня как бы лишили основной его привилегии. У меня, естественно, есть надежда, но надежда настолько неуловимая, что ее не в состоянии обнаружить даже самый чувствительный анализатор. Неужели в моем ящике начинают происходить какие-то перемены? Не исключено. Действительно, мне кажется, что с тех пор как я забрел в этот город, ящик стал легко ранимым, хрупким. Этот город и в самом деле настроен против меня

Правда, я выбрал это место больше по ее указанию, но все же намекнул о нем я сам. Опасность, грозящая мне, должна быть одновременно и грозящей ей опасностью. У моста стоит высеченный из камня покровитель детей и путников Дзидзо, повязанный красным фланелевым фартучком,— его, наверно, поставили в память об утонувшем ребенке. Чуть выше по течению, у каменных ступеней, спускающихся к пристани, огромный, видимо недавно поставленный, щит, на котором белой краской написано, что купаться здесь запрещено. Хорошо еще, что полиэтиленовая шторка на окошке от дождя намокла и перестала напоминать покрытое изморозью стекло — она стала совершенно прозрачной. Ограждающая канал бетонная дамба четко пересекает окошко наискось. Мертвенно-бледный прожектор стоящего у пристани грузового пароходика, который дрожит мелкой дрожью, борясь с готовым сорвать его мощным течением, тускло освещает пешеходную дорожку вдоль дамбы, и если кто-нибудь пойдет по ней, его сразу же удастся заметить не хуже, чем чернильное пятно на светлом платье.

Вот под прямым углом ее пересекает кошка. Бездомная кошка, грязная и взлохмаченная. Видимо, должна скоро окотиться — раздулась, как икряная селедка. Уши разодраны — в драках, наверно. Даже такие мелочи подмечаю, хотя все время пишу,

не отрываясь,— значит, нервы у меня в порядке. Если кто-то собирается нагрянуть сюда неожиданно, вряд ли это удастся.

Конечно, лучше всего, если она, как мы и договаривались, придет одна. Но все еще так неясно. Пятьдесят тысяч за ящик — этого я никак не могу взять в толк, неестественно и то, что она согласилась совершить сделку в таком месте. Нет повода верить, но нет повода и сомневаться. Нет повода сомневаться, но нет повода и верить. Тонкая шея, бледная, чуть ли не прозрачная. Во всяком случае, переходить границы осторожности нет как будто нужды. В этом единственное средство защиты. Если же случится непредвиденное, останутся эти записки, в качестве вещественного доказательства. Смерть бывает разная — одно могу сказать, у меня и в мыслях нет покончить жизнь самоубийством. И если я умру, это будет не самоубийством, даже если моя смерть окажется похожей на самоубийство, а убийством. Как бы я ни отвергал людей, как бы ни старался укрыться от них в ящике, нужно не забывать, что человек-ящик от...

(Фраза оборвана из-за того, что кончилась паста. Прошло две с половиной минуты, пока я отыскал в коробке для мелочей огрызок карандаша и очинил его. К счастью, меня еще не убили. Доказательством может служить то, что хотя я и заменил шариковую ручку карандашом, почерк остался прежним.)

Да, но какое слово я начал писать? Я остановился на «от...». Возможно, я собирался написать: «человек-ящик отличается от простого бродяги». Правда, люди не в состоянии провести между ними четкую грань, как это способен сделать сам человек-ящик. Действительно, между ними немало общего. Например, у них нет документов, они нигде не работают, не имеют определенного места жительства, неизвестны их имя и возраст, они не имеют определенного времени и места для еды и сна. Затем... да, не стригутся, не чистят зубы, редко ходят в баню, на жизнь им почти совсем не нужны деньги, и так далее, и так далее...

Однако нищие и бродяги прекрасно сознают свое отличие от человека-ящика. Сколько раз они наводили меня на горькие размышления. Если представится случай, я еще напишу об этом,— так вот, особенно враждебно на меня всегда смотрели самые убогие нищие. Стоило мне приблизиться к району, где они обосновались, как я сталкивался не с безразличием, а наоборот — со слишком активной неприязнью с их стороны. Они встречали меня с еще более неприкрытой враждебностью, поливали еще более отвратительной бранью, чем люди, которые имеют свой дом и живут на честно заработанные деньги. В общем, я еще ни разу не слышал, чтобы нищий стал человеком-ящиком. Правда, и человек-ящик не захочет составить компанию нищим — в общем, мы друг друга стоим. Поэтому не следует смотреть на нищих сверху вниз. Как это ни странно, даже нищие входят в число жителей города, и поэтому стать человеком-ящиком означает для них опуститься ниже уровня нищего.

Хроническая болезнь человека-ящика — обостренная чувствительность. Малейшее отклонение земной оси вызывает у него тошноту, как при морской болезни. Не знаю почему, но только это не имеет ничего общего с ощущениями обычного неудачника. Я еще ни разу не стыдился своего ящика. Мне даже кажется, что ящик для меня не тупик, в который я в конце концов забрел, а широко распахнутая дверь в иной мир. Не знаю в какой, но в какой-то иной мир, убеждаю я себя, а сам, с трудом борясь с тошнотой, наблюдаю через окошко, что происходит снаружи, и этот иной мир видится мне все тем же тупиком. Ну ладно, хватит паниковать. Я хочу, чтобы предельно ясно стало одно — у меня еще нет никакого желания умирать.

Что-то она запаздывает. Неужели нарушит свое обещание? Осталось семь спичек. До чего противна отсыревшая сигарета.

Обещание?..

Залью его глотком виски. Мало осталось — меньше трети бутылки.

А, все равно. Если и обманула, что тут удивительного? Наоборот, я бы поразился, если бы она появилась, как обещала. Я боюсь только одного: вдруг она не обманула меня, но в то же время и не придет сама. У меня предчувствие, что так и случится. Вместо себя она пришлет кого-нибудь другого. Я в общем догадываюсь, кто может

быть этим другим. В конце концов, эти подлецы стакнулись. Решили, чтобы она сыграла роль приманки, завлекла меня сюда, и здесь, под мостом, он расправится со мной. Поскольку я прирожденная «жертва убийцы» (и это вполне естественно — человек-ящик равнозначен чему-то не существующему, и поэтому убийство его не будет считаться убийством), «убийцей» автоматически становится противная сторона. Но события совсем не обязательно должны развиваться в соответствии с этим моим построением. Я и сам готов встретить его ударом. Мокрый склон достаточно крутой, и скатиться по нему ничего не стоит. Правда, не исключено, что он сильнее меня. А может быть, в противоположность тому, что я сейчас испытываю, в глубине души мне просто хочется умереть?

В общем, для убийства лучшего времени и места не найти. А о стремительности прилива и говорить нечего. Старой конструкции, неуклюжий, словно разжиревший мост, будто последняя преграда построенный в самой узкой части воронкообразного устья канала, вспухающего во время приливов. Чтобы под ним могли проходить суда, средняя часть моста круто изогнута в виде лука, и поэтому фермы даже почти у самого основания необычайно высокие. Правда, человеку-ящику, путешествующему, точно улитка, вместе со своим водонепроницаемым домом, нечего особенно беспокоиться, если речь идет всего лишь о высоких фермах моста или косом дожде. Но разве это недостаток ящика, что в нем, в отличие от настоящего дома, нет пола? Когда льет дождь да еще поднимается ветер, спастись от них в ящике все равно невозможно. Следовательно, если вдуматься, именно отсутствие пола как раз и позволяет, не обращая никакого внимания на сырость, обосноваться у самого морского побережья, все время переходя с места на место. Когда к приливу прибавляется еще и дождь и уровень воды неожиданно резко повышается, можно выбрать другое место — нужно лишь следить, чтобы вода не залилась в резиновые сапоги. В этом свобода и легкость — непонятные тому, кто сам не испытал подобной жизни. Ничего, скоро прилив кончится. И нечего опасаться, что уровень воды поднимется выше, чем сейчас. Черный пояс гниющих в мазуте водорослей, тянущийся вдоль дамбы, точно по линейке делит пейзаж на две части — верх и низ.

Наползают со всех сторон черные волны, гася легкую рябь на воде. Беспорядочно возникавшие у опор моста огромные и совсем крохотные водовороты, грязные, точно в них растворили неочищенную патоку, начинают постепенно принимать правильную форму. Здесь не особенно глубоко, но все равно обломки деревянных ящиков и плетеных бамбуковых корзин для рыбы, пластмассовые ведра опасливо приближаются к водовороту и, неожиданно захваченные им, начинают бешено вращаться, а потом вдруг теряют скорость и втягиваются в воронку.

Да, в самом крайнем случае присоединю эту тетрадь к обломкам ящиков и корзин. Если на дамбе появится кто-то другой, я вложу свои записки в полиэтиленовый пакет, надую его, зажму верхнюю часть, сложу вдвое и несколько раз перевяжу тонкой проволокой. Это займет двадцать две — двадцать три секунды. Затем поверх проволоки намотаю красную клейкую ленту и оставлю длинный конец, чтобы сразу бросался в глаза. К ленте бумажной веревкой привяжу большой камень. Это — секунд пять. Вся работа — секунд тридцать. В общем, сколько бы я ни мешкал, больше минуты мне вряд ли потребуется. А ему, чтобы сойти по лестнице, ведущей к пристани, спуститься по выложенному каменными плитами склону, на котором легко поскользнуться, и подойти ко мне, как бы он ни спешил, потребуется по меньшей мере две-три минуты. В общем, мне нечего бояться, что опоздаю. И если он поведет себя хоть чуть подозрительно, я сразу же брошу пакет в канал. Привязанный камень позволит закинуть его достаточно далеко. И до пакета ему ни за что не дотянуться. Пакет прямым ходом попадет в водоворот. Предположим, тот человек окажется прекрасным пловцом и бросится в воду — разве ему угнаться за пакетом? Нет, если он прекрасный пловец, то тем более не станет заниматься таким бессмысленным делом. Примерно в течение часа с того момента, как начинается отлив, кататься на лодках здесь тоже запрещено. Даже если он не читал, что написано на том щите, ему должно быть прекрасно известно, как опасны водовороты. Если пакет с записками, оказавшись у водоворота, все же не будет втянут в него, его точно пружиной выбросит в открытое море и он уплывет. Пройдет сколько-то часов или сколько-то дней, бумажная веревка расползется, и ка-

мень пойдет ко дну. Надутый воздухом пакет, подхваченный приливом, будет легко носиться по волнам, недалеко от берега, пока кто-нибудь не заметит красную ленту.

Но предположим — прямо сейчас, в эту самую минуту, он появится... дает ли основание написанное мной до сих пор утверждать, что преступник — он? Вряд ли. Назови я на этих страницах даже его имя — все равно никто не поверит. Если я недостаточно вразумительно объясню, что его к этому побудило, достоверность моих записок значительно уменьшится. Они станут похожи на выдумку. Но мне тоже пальца в рот не клади. В правом верхнем углу на обратной стороне обложки — черно-белая фотография, прикрепленная клейкой бумажной лентой. Возможно, на ней не все вышло четко, но все равно она сможет послужить неопровержимым доказательством. Фигура убегающего мужчины средних лет, прячущего, прижав к боку, духовое ружье, повернутое стволом вниз. Если увеличить снимок, человека удастся рассмотреть детально. Одет небрежно, хотя костюм хороший. Но все же брюки мятые. Толстые и крепкие, но вместе с тем не привыкшие к тяжелой работе пальцы с тщательно подрезанными ногтями. И что прежде всего бросается в глаза — стоптанные, потерявшие форму туфли. Туфли типа мокасин, неглубокие, с дырочками по бокам. Видимо, работа у него такая, что приходится постоянно снимать и надевать их.

Если только подобравший эту тетрадь захочет, она может превратиться для него в состояние.

О, водовороты начали наливаться, точно бицепсы. Нет, прохожие не исчезли — просто нет никакой нужды обращать внимание на их взгляды. По мосту, как раз надо мной, терзая толстые железобетонные плиты и сопровождая громыхание беспрерывными гудками, проносятся огромные машины, тяжело груженные мороженой рыбой, досками,— они поглощены своим собственным ревом и напоминают этим слепых зверей. Идеальное место не только чтобы избавиться от трупа, но и чтобы расправиться с живым человеком. И это идеальное место, чтобы убить, в то же время идеальное место, чтобы быть убитым.

Грифель стерся. Хватит, пора и честь знать. Придет она, наконец, или, может быть, она вообще не собирается приходить?

(Этим тупым ножом и карандаша как следует не очинишь. Завтра, если только останусь жив, нужно обязательно достать пару шариковых ручек, не забыть бы. В тех, что я подбираю у ворот школы, бывает еще много пасты.)

НЕСКОЛЬКО ДОБАВЛЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА — ФОТОСНИМКА, ПРИКЛЕЕННОГО НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ОБЛОЖКИ

Время фотографирования: вечер, примерно неделю или десять дней назад (паралич ощущения времени — тоже одна из хронических болезней человека-ящика).

Место фотографирования: конец упирающегося в косогор длинного черного забора соевого завода. (Тень от этого забора по диагонали перерезает человека на фотоснимке.)

Я как раз мочился. Вдруг раздался резкий щелчок. Он напоминал стук бьющих по ящику камней, которые вылетают из-под колес грузовика. (Часто ночуя на обочине, я наблюдал это неоднократно.) Но, не говоря уж о грузовиках, даже трехколесный автомобиль и то ни один не проехал. И в ту же минуту я почувствовал в левом плече острую боль, похожую на ту, которую испытываешь, когда испорченным зубом надкусишь кусочек льда, и перестал мочиться. Посмотрев в дырки, проделанные в боковой стенке ящика, я увидел, что там, в конце ограды завода, где начинается косогор, а асфальтированная дорога обрывается и переходит в проселочную, на том самом месте, где дорога поворачивает, огибая картофельное поле птицефермы, широко

раскинул ветви старый тутовник (часть его можно увидеть в левом углу кадра). За ним прячется, наклонившись, мужчина (в позе человека, готового бежать). Он отводит от плеча и прижимает к боку какую-то палку примерно с метр длиной, и как раз в этот момент на палку упал луч вечернего солнца и она сверкнула металлическим блеском. Я мгновенно понял, что это духовое ружье. И сразу же схватился за фотоаппарат. (Должен признаться, что прежде чем стать человеком-ящиком, я был независимым фоторепортером. В человека-ящика я превращался постепенно, продолжая заниматься своей работой, поэтому у меня еще сохранился самый необходимый минимум фотоаппаратуры.) Повернув ящик другой стороной, я сделал три снимка подряд (навести на резкость времени уже не было, но так как я поставил выдержку 1/250 секунды и фокусное расстояние — 11, изображение оказалось в фокусе). Мужчина двумя прыжками пересек дорогу и пропал из моего поля зрения.

То, что я говорил до сих пор, содержит факты, которые, если как следует рассмотреть фотоснимки, могут в какой-то степени послужить подтверждением моих слов. Но то, о чем я буду говорить дальше, никаким подтверждением служить не может. И мне остается лишь надеяться, что ты или тот, кто подберет эти записки, поверив моему свидетельству, подтвердите мои слова.

Первые предположения об истинном облике стрелявшего. Предлагаю обратиться к главе «Что произошло с А». В случае, если существование человека-ящика заразило кого-то и он сам хочет стать им, проявление этого желания в такой сверхагрессивной форме, как стрельба из духового ружья, правильнее рассматривать как общую тенденцию. Вот почему я не стал звать на помощь, не бросился в погоню за стрелявшим. Наоборот, я испытал к нему даже родственное чувство, понимая, что ряды жаждущих стать человеком-ящиком пополняются. Боль ушла, и теперь я испытывал в плече сильное жжение. Стрелявшему — вот кому еще много раз придется испытывать боль. И нет никакой необходимости усугублять ее погоней.

Глядя на безлюдную дорогу, круто уходящую вверх, теперь, когда мужчина со своим духовым ружьем исчез, я почувствовал, что сочусь влагой, как испорченный водопроводный кран. Идущий от соевого завода отвратительный сладкий запах, напоминающий запах жженого сахара, рашпилем сглаживает острые края резких теней, рожденных вечерним солнцем. Где-то вдалеке монотонный звук пилы. А еще дальше — бодрый треск мотоцикла. Но проходят две секунды, проходят три секунды — ни живой души. Неужели все здешние жители, точно черви, зарылись в землю? Безмятежный пейзаж, словно специально созданный для того, чтобы звать к человеколюбию. Но от внимательного взгляда человека-ящика ничто не ускользнет. Глядя из ящика, можно рассмотреть и ложь и злой умысел, укрывшиеся в невидимой части пейзажа. Пейзаж выставляет словно напоказ одну-единственную дорогу, на которой не заблудишься, и пытается таким образом привести меня в замешательство, заставить капитулировать — это его тайная цель, но меня этим не проведешь. Для человека-ящика больше подходят привокзальный район или кишащие людьми торговые улицы. Он любит и пейзаж, чистосердечно выдающий свои три-четыре уточки за таинственный лабиринт,— жить в таком месте одно наслаждение. Вот чем плохи маленькие провинциальные городки. Слишком много этих выставленных словно напоказ одних-единственных дорог. Мной овладевает чувство жалости, когда я представляю себе смятение человека с духовым ружьем, который бежит по этой одной-единственной дороге, не зная, где бы ему укрыться.

Рука, зажимавшая рану, вся в крови. Меня вдруг охватывает беспокойство. В каком-нибудь людном месте в Токио — куда ни шло, но на этой, такой благополучной, улице в городе Т вряд ли потерпят появление сразу двух людей-ящиков. Если он во что бы то ни стало хочет стать человеком-ящиком, волей-неволей придется потягаться с ним. Стоит ему узнать, что с помощью духового ружья ему не удалось отделаться от меня, он, не исключено, притащит охотничье. Может быть, я должен был реагировать по-другому? Честно говоря, люди, такие же, как он, уже много раз пытались установить

со мной контакт. Однажды меня даже окликнули. Но всякий раз я через щель в полиэтиленовой шторке лишь молча смотрел на них. И они терялись. Даже полицейские и те трусливо поджимали хвост. Возможно, еще до того, как я вынудил его схватиться за духовое ружье, мне следовало поговорить с ним?

В связи с появлением нового персонажа предположения меняются. Этот новый персонаж приехал на велосипеде. Неожиданно кто-то окликнул меня сзади, когда мое внимание было поглощено мнимоединственной дорогой. «Там, на горе, есть клиника»,— белые пальцы коснулись окошка, и в ящик упало три бумажки по тысяче иен. Когда я повернулся, подумав сначала, что мой ящик использовали как почтовый, фигура, которую я увидел со спины, была уже метрах в десяти. На вид совсем молодая девушка — ей никак не подходит этот низкий, хриплый голос. Не успел я навести фотоаппарат, как она свернула в первый же переулок и скрылась. Я видел ее всего лишь несколько секунд, но движения ее ног, крутивших педали, очень взволновали меня. Тонкие, но не слишком, легкие и в то же время хорошо развитые ноги. Шелковистая кожа на сгибе под коленями, напоминающая внутреннюю сторону двустворчатой раковины. Она вся была такая сверкающая, что я даже не помню, что на ней было надето. Все-таки я не могу сказать, что был полностью обезоружен и подчинен ею. И если бы к вечеру рана на плече не разболелась, я бы ни за что не пошел в клинику на горе и так никогда бы и не узнал, что стрелявший в меня мужчина (тот, которого я сфотографировал) на самом деле врач этой клиники, а девушка на велосипеде — медицинская сестра. Конечно, мне не следовало допускать, чтобы меня втянули в эту глупейшую историю — в таком опасном месте под мостом ждать ее (или того, кого она пришлет вместо себя).

Но единственное, что я сделал,— зажал в зубах сигарету. Я вновь и вновь пересчитывал три тысячеиеновые бумажки, а потом, сложив их втрое, опустил за голенище резинового сапога. Птица в неволе отказывается от пищи и умирает с голоду. Но приговоренный к смертной казни с наслаждением затягивается своей последней сигаретой. Не будучи птицей, я тоже с удовольствием поднес к сигарете огонь — вряд ли нужно думать, что эти двое связаны между собой. Мужчина с духовым ружьем — сам по себе, девушка — сама по себе. А ее поспешное бегство объясняется лишь тем, что она стыдится своей благотворительности...

Однако палач не будет ждать до бесконечности, пока приговоренный курит сигарету за сигаретой. Время казни неотвратимо приближается. На рассвете боль в плече от нагноившейся раны скрутила меня, будто втиснула в слишком узкий резиновый мешок. Я вылез из ящика и отправился в клинику на горе. Меня уже поджидали там велосипедистка со шприцем и стрелявший мужчина со скальпелем. Я нисколько не удивился, наоборот, с самого начала был к этому готов.

Когда я проснулся, лежа на кровати, ко мне, пройдя сквозь запахи витаминов и креозота, заглянула велосипедистка. В белом халате, какой носят медицинские сестры, она способна была остановить время. Если же время остановится, то, естественно, нарушатся причинно-следственные связи, и тогда можно, не опасаясь, что тебя осудят, совершить самый бесстыдный поступок. К сожалению, я не дошел до того, чтобы позволить себе совершить этот бесстыдный поступок, хотя и чувствовал себя свободным настолько, что оказался способным заставить себя забыть о том, что вылез из ящика и выставил свое лицо на всеобщее обозрение. Она с улыбкой кивала, слушая небылицы, которые я рассказывал о себе, и ее улыбка, точно вырезанная в затвердевшем воздухе и окрашенная солнечной кистью, была удивительно привлекательна и в то же время беззащитна, и у меня вдруг возникла галлюцинация, будто она признается мне в любви. Улыбающееся лицо, заставившее даже забыть о том, что халат слишком длинный и ног ее почти не видно. Я захлопал крыльями, как впервые взлетевший в воздух птенец (неумело, суетливо, но в то же время неистово). Поток воздуха, наконец, подхватил мои крылья, и я взлетаю — пьяный от освежающего ветерка ее улыбки, я подумал, что теперь, пожалуй, нет нужды возвращаться в свой ящик. Потом в какой-то момент она легкомысленно договорилась со мной — видимо, и не собираясь выполнять своего обещания — за пятьдесят тысяч иен (я изо всех сил убеждал ее, что можно и даром), поскольку она немного знакома с тем, что такое человек-ящик (вполне естественно),

воспользоваться этим и купить мой ящик. Как я теперь понимаю, нужно было сразу же выяснить, что она собирается делать с ним. Но ее улыбка тогда обезоружила меня. Я даже подумал, что было бы глупо слишком много времени тратить на разговоры о ящике.

В тот момент, когда я покинул клинику, безвозвратно исчезла и ее улыбка. Укрывшись в ящике, я вернулся к себе под мост, пустой желудок дугой выгнул мое тело, и меня долго и тяжело рвало. Возможно, так подействовали на меня наркотики. Наконец я все же понял, что легко попал в ловушку, но почему-то возненавидеть ее так и не смог.

(Здесь сделана приписка на полях — примерно десять строк. Ни почерком, это естественно, ни даже цветом чернил она не отличается от основного текста.)

«Говорят о каком-то нищем, надевшем на себя ящик...»

«Знаю, конечно. Я же фоторепортер. Фоторепортер-соглядатай. Его специальность — везде, где только можно, проделывать дырки, чтобы подглядывать. У него нет никаких моральных принципов».

«Старый ящик из гофрированного картона...»

«Чего доброго, он еще окажется моим товарищем, подумал я тогда. Видимо, я ошибся. Но все же нельзя сказать, что совсем ошибся. Он тоже фоторепортер, и однажды по какому-то совершенно непонятному побуждению... сам не зная, как это произошло, щелкнул затвором... Так он сфотографировал человека-ящика. Его это заинтересовало, и он стал повсюду гоняться за ним, но второй раз встретить его не удалось. Зато ему понравилось фотографировать улицы. Причем скрытую от глаз оборотную сторону улицы, ненавидящую, чтобы на нее смотрели... и поскольку он фотографировал такие места, которые ненавидят, когда на них смотрят, ему приходилось делать это тайно, чтобы никто не заметил. Вдруг его осенила мысль. А что, если надеть на себя ящик, притвориться человеком-ящиком и спокойно фотографировать все, что пожелаешь. Он будет видеть всех, его — никто, и все пойдет превосходно. Действительно, сначала все шло как будто превосходно. Он стал подобием человека-ящика и начал с упоением фотографировать улицы. Однако, когда среди его товарищей пошли разговоры о нем, он исчез. Просто не вернулся к себе домой. По слухам, именно так он и стал настоящим человеком-ящиком».

«А мне все равно, пусть меня видят...»

«Но ведь когда смотрят — будто ножом вырезают твой облик, кажется, что срывают одежду...»

«Я как-то позировала одному фотографу, давно, правда».

«Я говорю серьезно, я готов сделать для тебя все, что в моих силах. Но я ничего не могу. Досадно, но если говорить о том, что я могу, так это только смотреть в видоискатель и щелкать затвором.

Могу еще купать в проявителе твой прозрачный силуэт. Желтовато-зеленая лампа... секундная стрелка часов со светящимися цифрами, показывающими восемь... влажная поверхность фотобумаги, блестящая, точно залитая маслом... всплывающий мягкий силуэт... силуэт, перечеркивающий силуэт... силуэт, громоздящийся на силуэт... и, наконец, очертания твоего обнаженного тела, подобно следам преступника, оставшимся в моем сердце...»

«Я хочу именно тот ящик».

Сто тысяч человек не обратили внимания на упавшего

23-го, около семи часов вечера, в подземном переходе у станции Синдзюку в Токио полицейский патруль обнаружил мертвого нищего, примерно сорока лет, сидевшего, прислонившись к колонне.

По сообщению полиции, умерший не истощен, рост 1м 63 см. На нем была пестрая рубаха с длинными рукавами и рабочие сапоги; волосы не-

стриженые, как у бродяги. Он имел при себе сто двадцать пять иен мелочью и несколько газет, которые собирал, видимо, для подстилки. Никаких документов, которые позволили бы установить его имя, местожительство и другие данные, не обнаружено.

Указанный подземный переход — место весьма оживленное, в день им пользуется до ста тысяч человек (по данным полицейского участка Синдзюку), в нем установлено множество телефонов-автоматов. По рассказам очевидцев, этот человек примерно полдня сидел в одной и той же позе, но в течение шести-семи часов никто не обратил на это внимания и не сообщил о нем полиции, пока сам полицейский патруль не обнаружил его. До ближайшего полицейского поста не более десяти метров, но полицейский утверждает, что за колонной ему не было видно умершего.

ПОТОМ Я МНОГО РАЗ ЗАСЫПАЛ

Кстати, ты когда-нибудь слышала предание о ракушечной траве? Пробивающиеся между камнями, которые устилают склон, где я сейчас сижу, усыпанные колючками пучки листьев — они разлетаются фейерверком — и есть та самая трава.

В предании говорится, что тому, кто понюхает ракушечную траву, приснится, что он превратился в рыбу. Мне кажется, это обман, но и не исключено, что правда. Ракушечная трава любит сырую почву, богатую солью, и особенно легко приживается на морском побережье — вот почему в том, что такое предание появилось, нет ничего удивительного. К тому же существует точка зрения, что алкалоиды, входящие в пыльцу цветов этой травы, вызывают легкую дурноту, напоминающую головокружение, и в то же время раздражают дыхательные пути и слизистую оболочку — это, видимо, и вызывает ощущение, будто погрузился в воду.

Однако этим дело не ограничивается. Тягостен не сон сам по себе, а пробуждение. Каковы ощущения настоящей рыбы, неизвестно, но время для рыбы из сна движется совершенно по-другому, чем наяву. Скорость движения времени резко уменьшается — кажется, что земные секунды растянулись в дни и недели.

Прежде всего поражает необычность ситуации: ты забавляешься с ласковой морской травой, покрывающей утесы, ныряешь между полосами света, которые рисуют линзы волн, гоняешься за стайками беззаботных маленьких рыбок — в общем, наслаждаешься легкостью тела, освободившегося от земного притяжения. Чувствуешь, что ты стал легким, бесконечно легким. Радуешься жизни, будто помолодел по меньшей мере на десять лет. Все телесные страдания, вызванные земным притяжением,— тяжесть в желудке, онемение шеи и плеч, боль в коленных суставах, отек ног — сразу же покидают тебя.

Легкость, точно вино, пьянит рыбу из сна.

Настоящей рыбе это бы давно надоело, и она бы протрезвела. Когда время еле движется, тоска становится непереносимой. И не так уж трудно представить себе, какой обозленной должна быть затосковавшая лжерыба. Ею овладевает чувство покорности, похожее на паралич всех пяти чувств. Легкость освобожденного тела постепенно становится неприятной. Будто все тело крепко скручено и втиснуто в смирительную рубашку, имеющую форму рыбы. Подошвы ног тоскуют по упругой земле, по которой они привыкли ходить. Суставы начинают с нежностью вспоминать тяжесть мышц и тканей, которую они распределяют между собой. Лжерыба мечтает о том, чтобы ходить. Но вдруг с удивлением замечает, что у нее нет необходимых для этого ног.

Отсутствуют не только ноги. Нет ушей, нет шеи, нет плеч... и, главное, нет рук. Непереносимое чувство неполноценности. Конечно потому, что вырваны руки. Любопытство невозможно как следует удовлетворить, не дотронувшись рукой до заинтересовавшего тебя предмета. Невозможно определить, что он собой представляет, не пустив в ход пальцев: не помяв, не пощупав, не покрутив, не повертев. Всегда стремишься вдоволь потрогать и погладить. А тут этот отвратительный чешуйчатый мешок. Собрав все силы, ты пытаешься сорвать его с себя, но единственное, что удается,—

напрягши спинной плавник и широко раскрыв жабры, выжать из себя зеленовато-желтое дерьмо.

Лжерыбой, содрогавшейся от судорог так, что все тело наливается кровью, овладевает роковое подозрение: а вдруг я лжерыба? Но стоит закрасться сомнению, как начинают происходить удивительные вещи. Рыба, у которой не только нет рук и ног, но нет и голосовых связок, испытывает непереносимые муки, когда ей на ум приходят эти слова. Зудящая раздвоенность.

Но разве это происходит не во сне?

Все равно, слишком затянувшийся сон. Бесконечный сон, длящийся так долго, что невозможно вспомнить, когда он начался. Удастся когда-нибудь проснуться или нет?

Способ доказать самому себе во сне, что это сон,— этот способ элементарен, я много раз прибегал к нему, и он действует безотказно — изо всех сил ущипнуть себя за ладонь... Правда, в этом сне у тебя, к сожалению, нет ногтей, чтобы ущипнуть, нет и ладони, которую нужно щипать. Ну что ж, если этот способ не подходит, можно попробовать другой — собрать все свое мужество и броситься вниз с утеса. Помнится, я много раз успешно прибегал к этому способу.

Главное, отсутствие рук и ног не помеха. Но может ли рыба, плавающая в море, упасть, вот в чем вопрос.

Я никогда не слышал, чтобы рыба падала. Мертвая рыба и та всплывает на поверхность. Упасть ей труднее, чем парящему в небе воздушному шару. Падение для рыбы — это антипадение.

Антипадение...

Да, такой способ тоже возможен. Он означает падать не вниз, а, наоборот, к небу, и утонуть в воздухе. А страх разбиться до смерти останется прежним. И, значит, удастся проснуться от этого так же, как от падения на землю.

Когда эта мысль овладела однажды лжерыбой, она пришла в еще большее замешательство, испытав неожиданно приступ трусости, так не свойственной холоднокровным. Стоит только осознать во сне, что это сон, как направляешься к выходу из сна. Что может измениться, если после всего пережитого посмотреть еще немного на происходящее?

Лжерыба решила подождать. Даже воля ее, окрашенная в синеву моря, сжалась, посинев.

Прошло еще сколько-то дней, сколько-то недель, и для лжерыбы тоже пришло время принимать решение. Обрушилась буря. Налетел страшный циклон, какие нередко случаются в тропическом поясе, и до самого дна всколыхнул море. Поднялись такие огромные волны, что они способны вселить мужество даже в нерешительную, трусливую лжерыбу. И не потому, что она стремилась к гибели. Нет, просто она пыталась сопрячь свое тело с волнующимся морем.

Вдруг обрушилась волна — точно ей в бок впилось пятьдесят электрических пил. Она подхватила лжерыбу, понесла и, ударившись о прибрежные скалы, подбросила ее высоко в небо. Утонув в воздухе, лжерыба погибла.

Но пришло ли пробуждение от сна? Нет, сон от ракушечной травы так легко не кончается. Этим он и отличается от обычного сна. Лжерыба, до того как проснуться, погибла, и ей уже больше не было нужды просыпаться. Она должна была досмотреть свой сон о том, что произошло после ее гибели. В конце концов лжерыбе не остается ничего другого, как навсегда остаться лжерыбой, будто ее заморозили новейшим способом.

Буря утихла, и среди рыб, выброшенных на берег, немало несчастных, которые заснули, нанюхавшись ракушечной травы.

Однако я почему-то до сих пор ни разу не превращался в рыбу. Сколько раз засыпал, но так и остался человеком-ящиком. Если вдуматься, между лжерыбой и человеком-ящиком нет, как мне представляется, такого уж большого различия. Надев ящик, я превратился в псевдосебя, не являющегося мной самим. Может быть, у меня, псевдоличности, выработался иммунитет, не позволяющий видеть сон о рыбе. Наверно, сколько бы ни просыпался человек-ящик, он человеком-ящиком и останется.

Обещание выполнено, вместе с пятьюдесятью тысячами иен за ящик с моста было брошено письмо. Это случилось всего пять минут назад. Я приклеиваю здесь это письмо.

Я вам верю. Расписки не нужно. Покончить с ящиком поручаю вам. До того как наступит отлив, прошу вас разорвать ящик и бросить в море.

. . . . . .

Странное дело. Я много раз перечитывал ее письмо. Может быть, его нужно читать как-то по-особому? Нет, сейчас я бессилен толковать его иначе, чем буквально. Я понюхал этот сложенный втрое листок бумаги с голубыми линейками. Он чуть пах креозотом.

Придет врач, старался я убедить себя. И эти действия, все до одного, лишь предваряли его нападение. Однако пришла она сама. Да, она пришла сама. Сама она пришла. Она сама... Не могу понять причину... нет, понимаю... просто она обещала и выполнила обещание. Почему я так растерялся? Может быть, потому, что ждал от нее предательства? Возможно. Во всяком случае, мне бы больше подошла она, предавшая меня. Вот почему я и растерялся, когда она сдержала слово. Хотя подожди, возможно, я упустил что-то важное. Например, стоило бы еще раз основательно взвесить ее отношение ко всему этому делу... ее роль...

...Писать дальше, думается мне, уже нет никакого смысла. Ни я никого не убил, ни меня никто не убил, и поэтому снова начинать все эти объяснения просто бессмысленно.

Прилетевшее с неба письмо без адреса... разорвать и бросить его?..

Спокойно. Ведь здесь пятьдесят тысяч иен. Причем мне никто не говорил, что, получив деньги, я должен разделаться со своими записками. Она требует другого — чтобы я разделался с ящиком. За пятьдесят тысяч иен я передал ей все права на ящик. Уважая ее волю, я, согласно договоренности, должен, естественно, покончить с ящиком. И все-таки никак не могу взять в толк. Предположим, я покончу с ящиком, но кому и какая будет от этого польза? Только за то, чтобы выбросить его в море, пятьдесят тысяч иен... что ни говори, слишком уж щедро... неужели я им как бельмо на глазу? Не нужно придавать своей персоне такое значение — мотивы должны быть более разумными, жизненными, что ли. Должна быть какая-то совершенно определенная веская причина, благодаря которой у них не возникает чувства, что пятьдесят тысяч иен выброшены на ветер...

Что же делать? Просто ума не приложу. Может, решиться и бросить им в лицо эти пятьдесят тысяч иен? Как ошибаются они в своих расчетах, если думают, что я на это не способен!

А вдруг мои рассуждения несостоятельны? Можно предположить, что она замыслила весь этот план, чтобы ящик не попал в руки врача. У врача по какой-то причине возникло непреодолимое желание получить ящик. Возможно, сначала она соглашалась с его планом. Или делала вид, что соглашается. Но постепенно, по мере того как приближалось время его осуществления, стала колебаться. Поразмыслив, она решила, что до добра это не доведет. Но сколько она ни убеждала врача, он и слушать ее не хотел, и ей не оставалось ничего другого, как помешать осуществлению плана. К счастью, ей удалось добиться расположения некоего человека-ящика. И она подумала — а что, если поручить самому человеку-ящику покончить с ящиком? Таким образом, ящика не станет, и врач волей-неволей вынужден будет покориться обстоятельствам.

Да... мне представляется это вполне логичным... независимо от того, какова цель врача, пятьдесят тысяч иен она, видимо, стоит. Положение значительно меняется в зависимости от того, чем продиктовано ее стремление помешать врачу — обыкновенным эгоизмом или заботой о нем, но одно можно утверждать с полной уверенностью — между ними нет единодушия. Ну что ж, надо сказать, симптом неплохой...

И все-таки меня не может не беспокоить перспектива разделаться с ящиком. Я еще не собрал необходимые сведения, чтобы быть спокойным. Видимо, покончить с ящиком я должен лишь после того, как выясню истинные ее намерения. Уж на это-то у меня право есть. К тому же, честно говоря, я ею очень недоволен. То, что она пришла сюда сама,— ничего не скажешь, прекрасно, но повела она себя слишком уж официально. Даже с дамбы не спустилась. На своем легком велосипеде с пятью скоростями (прожектор грузового парохода осветил отливающий серебром плащ... просвечивающие сквозь плащ линии тела... и, наконец, движение обезоруживших меня колен и крепких ног) она стремительно промчалась мимо щита «Купаться запрещено» и, не обращая внимания на судорожные сигналы, которые я подавал карманным фонарем, выехала на префектуральную автостраду. Через некоторое время в двух метрах от меня по земле, дрожа, заскользил круг света. Это был карманный фонарь, которым она светила себе, перегнувшись через перила моста. Для человека-ящика, лишенного возможности смотреть вверх, она была вне поля зрения. Потом какой-то звук... чуть в стороне от круга света что-то упало. Полиэтиленовый мешок, в который вложен камень — для тяжести. В нем лежало то самое письмо и пять свернутых бумажек по десять тысяч иен. С тем она и уехала. Была почти рядом со мной и, не проронив ни слова, уехала. Исчезло в темноте движение крепких ног, потом исчезло сверкание мокрого плаща, исчез, наконец, и красный огонек. Когда я прочел письмо и пересчитал деньги, неожиданно послышалось шуршание моросящего дождя, которое и услышать-то невозможно. Может быть, это звук крови, переливающейся в сосудах головы.

Пятьдесят тысяч иен!.. Я бы хотел объяснить ей... для того, кто их дает, возможно, это пустяк, но для человека-ящика пятьдесят тысяч — огромные деньги, которых он не должен брать. Ей просто ничего не известно о человеке-ящике. Она слишком легко судит о том, что такое ящик для человека-ящика. Я не собираюсь хвастать своими достоинствами. Можно ли ради одного хвастовства в течение трех лет прожить в ящике? Как только рак-отшельник начинает свою жизнь в раковине, его тело сзади срастается с ней, и если силой вытащить его из нее, он тут же погибнет. Только ради того, чтобы вернуться в прежний мир, мне не стоит вылезать из ящика. Я бы покинул его лишь в том случае, если бы смог, как насекомое, с которым произошла метаморфоза, сбросить кожу в другом мире.

Втайне я надеялся: а вдруг встреча с ней даст мне такую возможность, и вот...

Я и представить себе не мог.

Какое появится существо.

Из личинки человека — человека-ящика.

В ЗЕРКАЛЕ

Дождь стал утихать, но поднялся ветер. Порывы ветра веером рассеивают брызги. Непроглядная темень. И лишь красный фонарь на воротах клиники, куда я направляюсь, возможно из-за местоположения здания, виден все время и отовсюду. В темной синеве он точно соринка в глазу. По этой дороге я ходил уже много раз, но впервые — надев на себя ящик. Поэтому дорога кажется бесконечной. Хотя обычно, когда на тебе ящик, любое расстояние не так уж обременительно.

Каждый человек выбирает в пейзаже лишь нужные ему детали и видит только их. Например, прекрасно представляя себе автобусную остановку, можно в то же время не вспомнить, что рядом с ней растет несколько ив. Валяющаяся на дороге стоиеновая монета обязательно бросится в глаза, но будь это ржавый, гнутый гвоздь или пучок придорожной травы, человек пройдет мимо, не заметив, точно там их нет вовсе. Поэтому, если дорога прямая, на ней обычно не сбиваются с пути. Но когда смотришь че-

рез рамку окошка, прорезанного в ящике, все выглядит по-иному. Любые подробности пейзажа становятся однородными, приобретают одинаковую значимость. И окурок сигареты... и след собаки... и окно с колеблющейся занавеской на втором этаже... и вмятины на боках железной бочки... и глубоко врезавшееся в палец обручальное кольцо... и уходящие в бесконечность железнодорожные рельсы... и окаменевший от дождя мешок цемента... и грязь под ногтями... и плохо подогнанная крышка люка...— больше всего я люблю именно такой пейзаж. Возможно, потому, что очертания предметов, расстояние до которых невозможно определить, расплывчаты и имеют много общего с моим положением. Прелесть мусорной свалки. Ни один пейзаж не может надоесть, если смотришь на него из ящика.

Но сейчас эффект ящика был ограничен крутой ночной дорогой, ведущей к клинике на горе. Красный фонарь, который никак не приближался ко мне. Кроваво-красное пятно в закрытых глазах. Под ногами не так черно, как вокруг,— дорога усыпана гравием. Нервирующий человека пейзаж со стертыми деталями. Вдали лишь белесое небо (да, на западе тучи начали расходиться). Может быть, у меня такое состояние потому, что ночь слишком темная (вот почему я и не люблю ночь). Возможно, и потому, что цель слишком уж ясна.

И все же я, слегка покачивая ящик, упорно шел вперед. Но ящик не приспособлен к тому, чтобы спешить. Циркуляция воздуха в нем плохая, и сразу же покрываешься потом. Из-за влажной грязи даже в ушах испытываешь зуд. Туловище наклонено вперед, и ящик, тоже накренившись, слегка постукивает по пояснице. Ящик картонный, и постукивание негромкое.

Вдруг послышалось прерывистое дыхание животного. Огромная дворняга грубо потерлась о мое колено и тут же, зарычав, убежала. Ее мокрая спина казалась окрашенной в красный цвет. Подняв голову, я увидел красный фонарь на воротах. Туман растаял, и показались запертые железные ворота. Покрытый светящейся краской звонок для ночного вызова. Но я не собирался звонить, чтобы мне открыли. Мне не хотелось встречаться с врачом. Перешагнув через живую изгородь, я оказываюсь во дворе. Собака, опередив меня, уже была там, но лаять как будто не собиралась. Я заранее специально подкармливал ее, чтобы приручить. Одно из окон тускло освещено. Высокая жесткая трава цепляется за ноги. Наверно, остатки старой клумбы. Спотыкаюсь об ограждавшие ее камни, и ко мне весело бросается собака, решившая, что я с ней играю. Остановившись, замерев и затаив дыхание, я покрываюсь потом, пот заливает глаза.

Ее комната выходит на противоположную сторону дома, второе окно слева. С того момента не прошло и часа, может быть, она еще не легла. А если и легла, то еще не заснула. И можно не беспокоиться, что она испугается со сна и поднимет крик. Я хочу вернуть ей деньги и ликвидировать наш договор, а если удастся, попытаюсь обо всем поговорить с ней, пусть хоть через окно. Смотря по тому как она себя поведет, чтобы выполнить все это, мне придется избрать и соответствующий способ, не исключено, что я буду вынужден даже прибегнуть к силе.

Да, но что это за освещенное окно, выходящее во двор? Там приемная, потом процедурная, а эта за ней... может быть, в этой комнате стоит аппаратура... Уже первый час, значит, забыли погасить свет, подумал я, но все же забеспокоился. И решил для верности заглянуть внутрь.

Стекла до половины матовые, и виден лишь потолок. Свет, идущий снизу, наверно от настольной лампы, параболой разливается в глубине комнаты. Чтобы выяснить, что там происходит, нужно встать на что-нибудь высокое. Пользоваться карманным фонарем я, конечно, не должен. К счастью, я вспомнил об автомобильном зеркальце, которое лежало у меня на дне коробки для мелочей. Я как-то подобрал его — может пригодиться, подумал я тогда. Стерев с зеркальца пыль, я, чуть наклонив его, поднял над головой и заглянул в него снизу. С помощью высоко поднятого крохотного зеркальца через маленькое окошечко наблюдать за тем, что делается в комнате, труд немалый. Но все же потрудиться стоило. Вопреки ожиданиям (я почему-то решил, что предметы в комнате окажутся перевернутыми вверх ногами), мне удалось увидеть все почти под нормальным углом.

Первое, что я увидел, была лампа, стоявшая на углу большого рабочего стола. Потом — белое пространство. Когда я установил как следует зеркало, белое прост-

ранство разделилось на стену и дверь. Довольно обшарпанные стену и дверь, чего не могли скрыть многочисленные покраски. Высокая, видимо больничная, койка — тоже белая. И набитая книгами и старыми журналами полка, чуть выделяющаяся на фоне стены, выкрашена в тот же белый цвет. Большая, безликая комната — правда, рядом с рабочим столом стоит стерилизатор,— по всей вероятности, это кабинет и одновременно жилая комната врача.

В конце концов, что это за комната, не имеет никакого значения. Позже, когда я приводил в порядок свои воспоминания, она представилась мне именно такой. В комнате находилось два человека. Эти двое сразу же прочно завладели моим вниманием. Все остальное виделось мозаично, точно я насекомое с фасеточными глазами.

Из этих двух одной была она. То, что это происходило в том же помещении, то, что там находилась она,— в этом не было ничего удивительного. Но она была обнаженная. Совершенно обнаженная, она стояла посреди комнаты, чуть наклонившись в мою сторону, и с кем-то разговаривала.

Обращалась она к человеку-ящику. Он сидел на краю кровати, надев на себя точно такой же ящик, как мой. С того места, где я стоял, были видны лишь задняя и правая стенки ящика, но все равно я определил, что и размером — это уж безусловно — и тем, как он был испачкан, даже полустершейся этикеткой с названием товара, это был точь-в-точь мой ящик. Специально выбран такой же ящик — двойник моего. А содержимое... разумеется, врач.

(Я вдруг подумал: помнится, я где-то уже видел точно такую же сцену).

Комната, где только двое — я и она — обнаженная,— даже прикосновение к ней осязаемо всплывает в моей памяти... Когда, где?.. Нечего обманывать себя. Это не воспоминание, а вожделенная мечта. Трудно поверить, что я сейчас пришел сюда только затем, чтобы вернуть пятьдесят тысяч иен. Наверно, в глубине души я тайно надеялся, что стану свидетелем этой сцены. Смотреть на нее — обнаженную... смотреть до тех пор, пока она не покажется мне еще обнаженнее, чем обнаженная, просто сбросившая с себя всю одежду...

(Заметки на полях. Чернила красные. Почему мне так нравится подсматривать? Может быть, из-за излишней робости? Или из-за повышенного любопытства? Если подумать, то не исключено, что стремление удовлетворить свою любовь к подглядыванию и сделало меня человеком-ящиком. У меня страсть везде все высматривать, а так как продырявить весь свет невозможно, я приспособил ящик в качестве такой переносной дырки для подсматривания. У меня появилось желание убежать и, одновременно, появилось желание преследовать. Какое из них возьмет верх?)

Распиравшее меня непреодолимое желание подглядывать за ней так разрослось, что намного превысило объем ящика. Ощущение, точно вспухшие саднящие десны заполнили весь рот. Но не нужно винить во всем одного меня. Она тоже не безгрешна. Даже если оставить в стороне то, что именно через нее врач заплатил мне за ящик пятьдесят тысяч иен, как раз она намекнула на специальную помощь, которую окажет мне как фоторепортеру.

Ее рассказ о себе, который я услышал после того, как она перевязала рану на моем плече, сводился к следующему. До того как стать медсестрой-практиканткой, она была бедной студенткой-художницей (талантливой или нет — сейчас не об этом речь), зарабатывавшей на жизнь позированием в частных художественных школах, клубах живописцев-любителей (горький привкус раскаяния). Два года назад в этой клинике ей делали аборт (она начинает физически жить во мне). Но из-за серьезных осложнений она тогда три месяца бесплатно пролежала в клинике, а тут как раз уволилась работавшая здесь медсестра, и ее взяли вместо нее (что-то в ней, трудно даже было уловить что, раздражало). Работы у нее стало по горло, но ей по возможности шли навстречу. И если не было особо неотложных случаев, по вечерам и в свободные дни у нее оставалось даже время писать картины. Однако, если отвлечься от доходов, больше всего по душе ей была работа натурщицы. И совсем не потому, что позировать — значит бездельничать, простодушно добавила она. Действительно, во время позирова-

ния ничего не делаешь, но это тяжелая работа, требующая немалой выдержки. И к тому же волнение, охватывающее тебя, когда ты стоишь обнаженная, делает жизнь напряженной, подстегивает желание творить. (Врет, подумал я. Картины ее лишены конкретной формы и не имеют никакого отношения к натуре.) Она даже намекнула, что и сейчас продолжала бы позировать, если бы врач решительно не воспротивился этому.

Все произошло потому, что она почувствовала интерес к моей профессии репортера,— это был уже явный вызов. По пуле из духового ружья (вынутой из раны в моем плече), по тому, как я неумело подстрижен, она уже, несомненно, должна была догадаться, что я тот самый человек-ящик, сбросивший свой наряд. Но я прошел мимо этой несообразности. У меня было ощущение, что она с материнским великодушием зализывает мою рану. Тогда-то и полились из моих глаз слезы. Но в конце концов я взял себя в руки — прежде чем кто-то меня сломит, лучше уж самому сломить себя. В веках прорезались зубы. Загорелись глаза, я весь напрягся от дикой идеи впиться в нее этими зубами.

В каком-то смысле мне удалось осуществить свою дикую идею. Обнаженная она... смотрящий я... да, я действительно смотрел на нее, обнаженную. Правда, для меня нагота ее была условной. Нагота, на которую уже смотрел другой — все тот же мой двойник. Я не испытывал никакого удовлетворения, наоборот — бешеную ревность. Когда пересыхает в горле, не остается другого, как представить себе картину, будто пьешь воду. Я подсматриваю за собой подсматривающим. Я вспомнил сон, как, весь содрогаясь от отчаяния, смотрю, взмыв к потолку, на свой собственный труп. Мне стало стыдно, и я начал смеяться над собой. Рука обессилела, угол, под которым я держал зеркало, нарушился, и комната уплыла. Я переменил руку и теперь приладил зеркало, прислонив его к оконной раме. Я прекрасно понимал, что это не более чем мираж, но все равно, когда горло горит огнем, устремляешься даже за призрачной водой.

Те двое стояли лицом друг к другу — их разделяло шага четыре. Она чувствовала себя непринужденно, и нельзя было предположить, что отношения у них враждебные. Может быть, она только что закончила свой отчет о том, что произошло час назад? Если они сообщники, то, наверно, от души смеются сейчас надо мной. Соблюдая договор, я полдня провел под мостом, глядя на водовороты, и дождался наконец — бросили, как собаке, приманку в пятьдесят тысяч иен; укрывшийся в ящике до глупости прямодушный человек... ящичная башка... ящик с испражнениями... упакованное в ящик ничтожество... шлюха в ящике...

Но поскольку передо мной была обнаженная женщина, я совершенно не ощущал ни ее зла, ни ее козней. И хотя по-прежнему испытывал чувство унижения, никакой ненависти к ней во мне не поднималось. Я готов неотступно следовать за ней по пятам. Это мой сосуд, обманом уворованный двойником. Нагота ее во сто крат очаровательнее, чем я предполагал. Естественно. Никакому воображению не угнаться за реальной наготой. Она существует лишь до тех пор, пока смотришь на нее, и страстное желание неотрывно любоваться ею становится непреодолимым. Оторви взгляд, и она исчезнет — нужно сфотографировать ее, перенести на холст. Нагота и плоть — вещи абсолютно разные. Нагота — это произведение, вылепленное вместо пальцев глазами, материалом для которого служит плоть. И хотя плоть принадлежит ей, когда дело касается права владения наготой, я не должен скромно отступить.

Нагота, точно легко качающаяся на волнах, чуть отталкиваясь от дна правой пяткой. Точно волшебная лента, тянущаяся вверх под пальцами фокусника. Пальцы правой ноги опираются о подъем левой, согнутое колено чуть отведено в сторону. Что же так влечет меня в ее ногах? Может быть, намек на нечто сокровенное? Действительно, судя по нынешней моде, это сокровенное связано не столько с торсом, сколько с ногами. Но если бы только это — ведь есть сколько угодно еще более чувственных ног. Жизнь в ящике, когда все время видишь лишь нижнюю половину человека, сделала меня специалистом по ногам. Женственность ног, что бы ни говорили, заключается, видимо, в мягкой плавности их изгиба. И кости, и сухожилия, и суставы должны растопиться в мышцах и никак не влиять на форму ног.

Эти ее ноги, во всяком случае прекрасные зрительно, даже отдаленно не напоминали мужские. В возмездие за то, что мужчина, борясь с земным притяжением, носит на плечах непомерные тяжести, ноги у него служат лишь практической цели, как сред-

ство передвижения,— они жилисты, суставы утолщены и вывернуты. Но сколько я ни присматриваюсь к ее ногам, не могу обнаружить в них и следа усилий удержать тяжесть тела. Бесстыдно вытянутые в струнку грациозные ноги — их можно сравнить с ногами подростка, у которого не начал еще ломаться голос. Они влекут, обещая утолить жажду уставшего от ходьбы мужчины... Ощущение, что они, избавившись от земного притяжения, свободно, как легкую птицу, несут свою владелицу. Своенравные ноги, и не прекратившие движения, как женские, и не продолжающие идти напролом, как мужские. Быстро бегущие ноги всегда распаляют преследователя. Это не значит, что ее ноги были лишены чувственной прелести. В них было заключено и нечто такое, что превосходило обычное физическое влечение. Нашел ли я в ее ногах идеал ног или, может быть, просто пытался подвести их под идеал ног?..

Чуть приподнятое правое бедро очерчивает резкую линию, точно грудная кость птицы. Судя по тому, что прическа — волосы легкие, это видно с первого взгляда: так свободно и неприхотливо они лежат — неподвижна, дует откуда-то снизу. Видимо, вентилятор плохо отрегулирован, и холодный воздух струится по полу. Бедра напряжены, отчего живот слегка выдается вперед и кажется совсем беззащитным. А плечи — наоборот — сильно откинуты, и затылок, образовавший с плечами прямой угол, казалось, поддерживает голову, упавшую вперед, точно ее сорвали с петель. В общем, поза вполне непринужденная, но впечатление такое, будто ее торс пронзает металлический стержень. Она охватила себя руками — правой у пупка, левой — под ложечкой. Под грудью остался след от лифчика. Полоска над бедрами, наверно, след от трусов. Видимо, прошло не так много времени с тех пор, как она разделась. Сброшенная одежда валяется тут же, у ее ног. Черные маленькие трусы на белом медицинском халате кажутся бессильно вытянувшим ножки мертвым паучком.

Женщина слегка покусывает нижнюю губу. Но губа, убегая в сторону, все время ловко увертывается от зубов. Эта растянувшая рот улыбка пронзает мое сердце копьем печали. Не поднимая головы, она исподлобья смотрит на моего двойника — человека-ящика. Тот говорит что-то (видимо, приятное ей), и она, подняв голову, бросает ему в ответ несколько слов. Мышцы на спине у нее вытягиваются в стальную ленту. Это напряжение передается всему телу, до кончиков пальцев, и она направляется к ящику. Не делай этого, кричу я про себя. Диафрагма задубела, как высушенная мокрая кожа, дыхание сперло, мое лицо, по которому потоками льет пот, стало похоже на перезрелую дыню. Она что-то получила от ящика. Это был недопитый стакан пива. Мне совсем не нравилось, что она подносит ко рту тот же стакан, из которого пил лжечеловек-ящик. Мои мышцы готовы были взорваться, и я не разбил стекло и не влетел в комнату, вероятно, еще и потому, что она предала меня (вот прекрасный пример отговорки, свойственной человеку-ящику). Она неловко, точно втягивая лапшу, допила пиво, которого оставалось еще с полстакана. Вернув ящику стакан, она, чуть враскачку, большими шагами отступила назад. Поняв, что лжечеловек-ящик не покинет своего укрытия, я вздохнул с облегчением. Напряжение, сковывавшее плечи и спину, ушло, и я издал звук, будто разматывают клейкую ленту. Вернувшись на прежнее место, она быстро заговорила о чем-то. Потом вдруг умолкла, посмотрела на потолок и стала поглаживать поясницу. Разговором снова завладел человек-ящик, но она, по-видимому, слушала его без особого интереса.

Неожиданно она на пятках повернулась спиной к мужчине. Я весь точно ссохся — остались одни глаза. Лжечеловек-ящик сильно подался вперед и стал медленно покачиваться.

Земля под моими ногами вдруг точно вздыбилась, и я, потеряв равновесие, упал на колени. Мне показалось, что я не издал ни звука. Взвизгнула не земля, а собака, которая, соскучившись, примостилась у моих ног. Тихо прогнать собаку трудно. Я, разумеется, не должен издать ни звука, но и чтобы собака залаяла, тоже не годится. Собака, заволновавшись, стала с силой тыкаться в ящик носом, напоминающим мокрое мыло. Наверно, хочет забраться ко мне. Ничего не поделаешь — я проделал небольшую дырку в банке мясных консервов, которые были у меня припасены, дал ей понюхать, лизнуть и бросил подальше от себя. Теперь бедной собачке придется до утра сражаться с этой банкой.

Поспешно возвращаюсь к окну. Зеркало затуманилось, захватанное грязными ру-

ками. Снова устанавливаю его, быстро протерев рукавом рубахи. В комнате все переменилось. К счастью, то, что по моим предположениям должно было случиться, не случилось.

Лжеящик, не разорванный, не сломанный, продолжал в той же позе сидеть на краю кровати. Она уже не обнажена. Она стоит в углу комнаты, прислонившись к письменному столу, и курит. Слишком длинный для нее халат аккуратно застегнут на все пуговицы, и ног уже не видно. Халат закрывает ноги, и вся она какая-то удивительно безразличная — совсем другой человек. На треть выкурена сигарета. Сурово нахмурены брови. Ногти покрыты перламутровым лаком. Даже не верится, что несколько минут назад она была обнаженной. Неужели то, что отражалось в зеркале, было не более чем видением?

Где-то в кустах тяжелое дыхание собаки, которая, зажав консервную банку в зубах, колотит ею об землю. Чешу затылок, и рука наполняется катышками грязи. Сминая их, я испытываю глубокую тоску. Почему, когда действительно не произошло то, чего ни в коем случае не могло произойти, то, чего я не хотел, чтобы произошло (чтобы ящик овладел ею), я испытываю такую безумную боль? Может быть, потому, что слишком уж часто меня обводят вокруг пальца?

Одной рукой она тушила сигарету, а мизинцем другой прочищала ухо, слегка покачивая головой. Свет настольной лампы бил ей прямо в лицо, и от этого казалось, что расстояние между глазами увеличилось и они чуть косят. Она недоверчиво улыбалась одним ртом, показывая зубы,— она стала похожа на своенравного ребенка. Отрицательно покачав головой, она закрыла рот, и ее выпяченная нижняя губа неожиданно оказалась очень пухлой. Потом, легко изогнувшись, делает движение, будто пинает невидимый воздушный шар. Она пересекает комнату и направляется к двери. Стоило ей пойти, и я понял, что это та самая женщина. Неправдоподобная легкость. Эта ее невесомость соседствовала с потерянностью. Лжечеловек-ящик сполз с кровати. Не оборачиваясь, она открыла дверь и скрылась за ней. Лжечеловек-ящик, бросившийся было вслед, был похож на насекомое с оторванными лапками. На нем не было лишь резиновых сапог — все остальное, даже плотная материя, намотанная на поясницу, точно как у меня. Дверь захлопнулась, и он остановился. Видимо, он не собирается преследовать ее и, качнув ящик и изменив его направление, поплелся на свое место, неловко волоча ноги, точно обмочился. Я увидел переднюю стенку ящика. Окошко, ничуть не отличающееся от моего, прикрывает шторка, ни устройством, ни цветом ничуть не отличающаяся от моей.

Да, ему удалось воспроизвести все, до мелочей, а это потребовало немалых усилий. Все было сделано слишком уж старательно, чтобы объяснить это простой прихотью. Что же он задумал? Теперь, как бы я ни старался вернуть пятьдесят тысяч иен, он не проявит готовности пойти мне навстречу. Пятьдесят тысяч иен я получил и с этой минуты передал свои права настоящего человека-ящика и превратился в поддельного,— видимо, так надо это понимать? Походка робота, пересекающего по диагонали комнату, была точной копией моей походки. Не особенно приятно видеть отражающуюся в зеркале собственную копию, которая, игнорируя волю хозяина, делает все, что ей заблагорассудится. Вот дурак. Почему он не поспешил сбросить с себя ящик?.. Может, он пьяный?.. Если он в ящике давно, то он теперь просто не может вылезти из него. Не хочешь — не вылезай. А то, может, я вылезу вместо тебя. Мне начинает казаться, что речь и в самом деле идет о действиях одного и того же человека. Сделку придумала, конечно, она. Если как следует вникнуть в ее намерение, не исключено, она с самого начала замыслила... упрятать этого человека в ящик. И тогда она свободна. А что, если мне, воспользовавшись этим, развязаться со своим ящиком?

Но пока что я решил уйти отсюда. Делать скоропалительные выводы не следует. Если уж я решусь на это, то смогу в любое время сбросить ящик. После того как я спокойно соберусь с мыслями, хоть завтра, можно будет снова вернуться сюда. Но до того, как уйти, я должен заглянуть в ее комнату. Когда я пересек ведущую к главному входу усыпанную гравием дорожку (на нее нанесло столько земли, что звук шагов скрадывается) и, наклонив ящик, продирался сквозь густые заросли огромных, в рост человека, хризантем, вдруг сверкнуло углубление, напоминающее перламутровую внутренность раковины — видимо, эта ассоциация вызвана поднимавшимися от травы испаре-

ниями. Или, возможно, ее подмышками. Задняя сторона дома обращена на север, и все окна узкие и высокие. А окно в ее комнате к тому же закрыто плотными шторами, сквозь которые чуть пробивается свет,— так что надеяться не на что. А я все равно не ухожу и, малодушно притаившись у окна, стою, ожидая чего-то. Ветер, сотрясая водосточную трубу, осыпает меня крупными брызгами — они громко забарабанили по ящику. Но из ее комнаты не последовало никакой реакции.

Конечно, просто вылезти из ящика ничего не стоит. Но поскольку ничего не стоит, нечего и вылезать попусту. Только, если это возможно, хотелось бы протянуть кому-нибудь руку.

ВСТАВКА НА ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТКАХ

(Отличается не только бумага. Явно отличается и рисунок иероглифов, впервые написанных авторучкой. Если кто-либо когда-нибудь перепишет это в другую тетрадь, то, по всей вероятности, и бумага и почерк совпадут. Но вряд ли стоит проявлять такую щепетильность.)

«Итак, что же дальше?»

«Горло пересохло...»

«Вон стакан. Правда, треснутый».

«Ничего».

«Ну?»

«Разделась. Как договорились...»

«Я спрашиваю, был ли в комнате свет?»

«Пива больше нет?»

«Я снова повторяю вопрос: насколько темно было в комнате?»

«Было совершенно темно. Настолько, что я долго возилась, пока мне удалось снять лифчик».

«Между светом и лифчиком, по-моему, нет никакой связи. Во всяком случае, снять его можно и на ощупь».

«Верно, конечно, но все же...»

«Ну ладно. Что же потом?»

«Ему не терпелось, и он сказал, что поможет мне снять лифчик. Но я не согласилась».

«Странно».

«Почему?»

«Ведь было совершенно темно. Откуда ему было знать, что ты не можешь справиться именно с лифчиком?»

«Он и не знал. Просто наобум...»

«И что же, он настаивал?»

«Да нет».

«Почему?»

«У нас же был уговор. Что он до меня не дотронется... И руки у меня вон какие длинные. Я их свободно могу свести за спиной...»

«Хорошо. Итак, в полной темноте ты стала раздеваться и, раздевшись, зажгла свет. Так было, да?»

«Скорее всего так...»

«Ну, а как же укол?»

«Сделала, конечно».

«Обнаженная?»

«Ничего не поделаешь вскрыть ампулу на ощупь невозможно».

«Достаточно было бы того, что ты показала свою наготу. И делать укол обнаженной было уже совсем ни к чему».

«А что, не все равно?»

«Огромная разница».

«Не нужно так громко».

«Да ладно. Когда начинают раздеваться, нагота выглядит гораздо более вызыва-

ющe, чем после того, как раздевание закончено. Это каждому ясно. То же относится и к уколу. Любое действие обнаженной делает наготу во сто крат откровеннее. Не говори, что ты этого не знала».

«Теперь все понятно. Впредь буду знать».

«Еще раз расскажи мне все по порядку с самого начала».

«Так вот, разделась я, зажгла свет...»

«А до этого, видимо, потушила свет?»

«Так вот, потушила я свет, разделась, снова зажгла свет и потом сделала укол».

«Все равно как-то странно ты рассказываешь. Неужели за все это время вы не промолвили ни слова?»

«Нет, почему же...»

«Не беспокойся, о чем не хочешь рассказывать, не рассказывай».

«Ни о чем таком мы не говорили... Ну, сначала он заговорил о погоде... Вот так, трогая мои волосы...»

«Был же уговор, что он не прикоснется к тебе».

«Но только волосы».

«Все равно что».

«А вдруг он случайно коснулся их...»

«Нечего его выгораживать».

«Это было как раз в тот момент, когда я нагнулась, чтобы зажечь торшер, стоявший у изголовья».

«Торшер?»

«Он пожелал».

«Что?»

«При одном верхнем свете не все можно рассмотреть».

«Прекрати. А то дойдешь неизвестно до чего».

«Хорошо. Больше не буду».

«Что же он потом говорил?»

«Кажется, о дожде. Волосы у меня были как прилизанные...»

«Просто намокли от пота».

«Да, были потные».

«Нет, постой. Значит, еще до разговоров о погоде он пожелал, чтобы светил торшер?»

«Да, сначала речь шла о торшере».

«Теперь я совсем запутался».

«Простите. Я очень устала. Никуда не годится... Посмотрите, как у меня дрожат колени — будто сижу верхом на включенной стиральной машине...»

«Тогда сядь сюда. Мои колени лучше, чем стиральная машина».

«Мне хочется закурить».

«От ночного курения портится кожа».

«Но это же лучше, чем раздеваться».

«Не передергивай. При том отвратительном типе этого действительно не следовало делать. Но ведь в ванной ты сама снимаешь лифчик».

«Вы все время об одном и том же, сэнсэй. У вас прямо навязчивая идея, вы хотите выпытать все до мельчайших подробностей».

«Просто я хочу знать правду».

«А я хочу забыть обо всем, что произошло».

«Значит, было то, что ты хочешь забыть».

«Как это ни печально, ничего из того, что вы предполагаете, сэнсэй, не произошло».

«Если это правда — прекрасно».

«Правда. Он протер гноящиеся глаза и, заставляя принимать разные позы, так вытаращился на меня, будто выискивал драгоценные камни. Но очень скоро укол стал оказывать свое действие — глаза постепенно приобрели странное выражение, и не прошло и пяти минут, как он уставился на люминесцентную лампу, а на меня, казалось, уже не обращал никакого внимания».

«Неужели этот боров не приставал к тебе?»

«Нет, не приставал. Наоборот, заплакал. Испугался чего-то. А плакал он, по-моему, притворно. Только рот скривил и подвывал... И этот отвратительный запах у него изо рта... И сколько он ни канючил, я не поддавалась, только старалась не дышать. А он все больше распалялся».

«И он это чем-нибудь показал?»

«Нет. Наверно, из-за укола. Я только стояла не шелохнувшись. И представляла себя со стороны. Все это было очень странно. Может, это гипноз?.. И не потому, что я вся была на виду, а только от его желания смотреть на меня я и пришла в такое состояние. Стоило мне представить его взгляд, как силы оставили меня».

«Отвратительный тип».

«Сэнсэй, вам не кажется, что вы все преувеличиваете?»

«Возможно».

«Прошу вас, успокойтесь. Я хотела, сэнсэй, по возможности рассказать так, чтобы вы поняли, что все это для меня абсолютно ничего не значит».

«В таком случае поставим на этом точку. Ну иди сюда. Что ты стоишь как истукан... Сними носки или что там...»

«Я без носков».

«Иди ко мне скорей... Послушай, а он точно тебе указал, какую ты должна принять позу?»

«Погасите свет...»

НЕНОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МНОЙ ПИШУЩИМ И МНОЙ ОПИСЫВАЕМЫМ

Поры на моем теле широко раскрыты, я в изнеможении высовываю язык. Подступает тошнота. Невероятное напряжение. Не хватает воздуха. Еще и потому, что не выспался.

И все-таки когда и как я добрался сюда? Я обжулил самого себя. Три часа восемнадцать минут. Здесь, как раз напротив порта Т. на противоположной стороне залива, городской пляж. Безлюдная полоса песка, по которой, шурша, ползают раки-отшельники. Вымокшие на дожде треугольные зеленые флажки, трепещущие на высоких бамбуковых шестах. Хотя дорога шла под гору, взять и просто скатиться вниз было невозможно. Но все время хотелось сделать это.

По правде говоря, именно здесь неделю назад я приводил себя в порядок перед тем, как пойти в клинику, чтобы там занялись моей раной. Лучшего места не найти, где человек-ящик мог бы незамеченным покинуть свое убежище. Прежде всего я хотел искупаться и вымыть голову, хотел побриться, хотел постирать белье и рубаху. На любом вокзале и на любой пристани всегда есть водопровод, которым легко можно воспользоваться, правда, там допоздна толкутся люди, но если с умом выбрать время, то удастся, ни с кем не встретившись, воспользоваться душем в туалетной комнате.

Да и особых причин скрываться у меня нет. Вот только что я все это и проделал. Искупался, вымыл голову, побрился, постирал нижнее белье и рубаху. Я, кажется, был немного простужен, и поэтому, пока сохли белье и рубаха, снова забрался в ящик — самое большее часок потерплю, а потом навсегда покину его. Да я и сейчас уже наполовину покинул его. Чтобы уничтожить предмет, изъеденный жучком, особой решимости не требуется. А там, впереди, уже виднеется выход из тоннеля. Если ящик — передвигающийся тоннель, то обнаженная — ослепительный свет у выхода из тоннеля. И эта поза, словно призывающая к тому, чтобы ею любовались. Последние три года, мне кажется, я ждал именно такого случая.

И эта неожиданная встреча с лжечеловеком-ящиком. Мой двойник, усевшийся на кровати и уставившийся на нее, стоявшую обнаженной (в беззащитной и лишь призывавшей к тому, чтобы на нее смотрели, позе). Никогда еще ящик не казался мне таким безобразным. Все напоминало отвратительный сон, в котором мой дух, воспарив к потолку, разглядывает мой же труп. Неужели это сожаление о ящике? Нет, не сожаление — тоска. Мне нужен тоннель, имеющий выход. А записки — мне безразлично, если они все до последней строчки будут уничтожены.

Я думаю, что его жизнь в ящике началась совсем недавно. Однажды я обнаружил пустой полуразвалившийся ящик из гофрированного картона, небрежно сунутый в узкую щель между общественной уборной и забором. Ящик без хозяина то же, что заброшенный дом,— он быстро ветшает, ветер и дождь окрашивают его в коричневато-красный цвет вялого винограда. Я с первого взгляда понял, что это чье-то брошенное жилище. Прорезанное в ящике окошко... торчащие из него обрывки полиэтиленовой шторки... вздутия на боковых стенках, точно следы кожной болезни,— видимо, набухшие от воды мелкие слуховые отверстия,— из-за всего этого ящик казался полуразрушенным. Я стал обрывать боковую стенку. Ощущение, будто разматывал отсыревший пластырь,— показалась внутренность ящика. Я непроизвольно загородил собой щель, куда был засунут ящик, стараясь скрыть от взглядов прохожих покинутое жилище.

Внутри ящика глубоко запечатлелись, как отпечатки рук на глине, следы пребывания в нем бывшего жильца (назовем его В). Например, разорванные места, укрепленные с помощью палочек для еды и изоляционной ленты. Вырезанная из журнала фотография обнаженной девицы, превратившаяся теперь в грязное пятно цвета птичьего помета. Красный шнурок, с помощью которого ящик, чтобы он не качался, привязывался к поясу. Маленькая пластмассовая коробка, укрепленная под окошком. Бесчисленные надписи, покрывающие почти всю внутреннюю поверхность ящика. Места, где их нет, представляют собой прямоугольник — одни побольше, другие поменьше,— где раньше несомненно висели транзистор, коробка для мелочей, карманный фонарь и другие вещи.

Сейчас ящик мертв. Мне вдруг показалось, что я вижу, как его покидает призрак В. Я вздрагиваю. Я еще ни разу вот так ощутимо не представлял себе моей (ящика) смерти. Мне казалось, что когда придет время, я просто исчезну, как испаряется капля воды. Но вот я столкнулся с действительностью. Каков же был конец В?

Совсем не обязательно, разумеется, смерть ящика должна была означать и физическую гибель самого В. Возможно, он просто выбрался из тоннеля и выбросил свой ящик. И значит, останки ящика — это личинка, из которой вырвалась на волю бабочка. (Пожалуй, «бабочка» слишком романтично, и можно назвать его хотя бы цикадой или поденкой.) Во всяком случае, мне бы хотелось думать именно так. Думать иначе было невыносимо. Но, чтобы так думать, нужны были доказательства. В поисках доказательств я стал внимательно изучать надписи. К сожалению, В пользовался, видимо, смываемым водой фломастером, и поэтому разобрать почти ничего невозможно. Пластмассовая коробка плотно закрыта крышкой. Если существует какая-то путеводная нить — она, безусловно, в ней. Когда я с трудом сорвал крышку, от нее отлетели петли. В коробке лежали две шариковые ручки, сломанный нож, кремни, часы без стекла, с одной минутной стрелкой, и, наконец, небольшая записная книжка с оторванной обложкой. Первая страница начиналась такой записью — к счастью, я сразу же переписал ее на внутренней стороне своего ящика (в то время там оставалось еще много свободного места) и поэтому могу воспроизвести ее дословно:

> «Моя нервозность перешла уже все границы. Стоит мне хоть ненадолго выйти из дома, как меня охватывает беспокойство: вдруг моя комната исчезнет — для меня стало невыносимо покидать дом. Я превратился в заядлого домоседа. Заперся в четырех стенах и ни на минуту не покидаю своей комнаты. В конце концов я умру с голоду или повешусь. Но узнав, что никто еще не опознал тот труп...»

Я попытался перевернуть страницу, но записная книжка рассыпалась под пальцами, как отсыревшее сухое печенье. Вместе с ней рассыпалась и путеводная нить, и я до сих пор не в силах определить, что значил труп того ящика.

Ну что ж, надо проститься с ящиком. Но рубаха и белье почему-то плохо сохнут. Дождь перестал, но из-за низко нависших, набухших водой туч никак не высохнут. К счастью, сидеть голым в ящике не так уж плохо. Может быть, потому, что я тщательно смыл с себя грязь, все тело точно ожило, мне даже было приятно обнимать самого

себя. Но не будешь же всегда оставаться в таком виде. Когда кончается утренний штиль — в этом тоже есть своя прелесть.

Темное мокрое небо и черное море, сливающееся с ним на уровне глаз. Море еще темнее, чем небо. Непроглядная чернота, как в сорвавшемся вниз лифте. Бездонная чернота, которая видна, даже если зажмурить глаза. Слышен шум моря. Видна внутренность собственной черепной коробки. Куполообразный полог, прикрывающий видимый глазу каркас. Точно как в самолете. Постоянное недосыпание отравило кровь, стучит в висках. Хочется спать. Раньше, чем покинуть ящик, я решаю поспать пару часов. Еще плотнее смежаю веки уже закрытых глаз. Я вижу волны. Волны все сужающимися и сужающимися параллельными линиями, ровными, точно их провели по линейке, уходят в бескрайнее море. У каждой волны свои взлеты и падения, взлеты — прекраснее. Пытаясь заглянуть во впадину между волнами, я подаюсь вперед, и в то же мгновение у меня выскакивают оба глаза. С того места, куда они упали, поднимается легкий дымок. Без конца ударяясь друг о друга, глаза катятся между волнами. К горлу подступает тошнота. Я открываю глаза. И море и небо по-прежнему черные и тихие. На мокром твердом песке я чувствую себя жалким и беспомощным. Мне остается одно — сидеть с открытыми глазами и ждать, когда меня настигнет неожиданный сон.

Но даже если я и не смогу уснуть, хотя бы ненадолго, все равно, когда настанет время, придется начать намеченные действия. Покончив с покинутым мной ящиком, я часов в восемь снова пойду в клинику. Прием пациентов начинается там с десяти часов, и я хочу сделать так, чтобы у меня было побольше времени. Но и слишком рано приходить тоже не стоит, а то еще разбудишь своего будущего собеседника и испортишь ему настроение. Я рассчитал, что восемь часов как раз не поздно и не рано — я уже никого не разбужу и на переговоры останется два часа, хотя нельзя сказать, что это так уж много.

Правда, не исключена возможность, что моему собеседнику придется даже отложить на день прием больных, чтобы не прерывать переговоры. Во всяком случае, переговоры могут потребовать массу времени... но какие переговоры?

(Записываю, чтобы не забыть. Только что придумал убийственную фразу, которую я произнесу, если встречу ее: «Я, разумеется, не хочу, чтобы ты смеялась надо мной или злилась на меня. Но предпочитаю, чтобы смеялась и злилась именно ты, а не кто-то другой».)

В общем, сейчас об этом беспокоиться нечего, разберусь на месте. Если мы не прервем наших переговоров, вероятно, удастся договориться, а если не удастся договориться, тогда останется одно — прервать их. Сейчас же нужно наметить порядок, в котором я буду улаживать свои дела с таким расчетом, чтобы успеть к восьми часам. Я говорю «улаживать», но в общем-то особого труда это не составит. Ящик, когда я разорву его на три-четыре части и сомну, превратится в обыкновенный мусор. Как бы медленно я это ни делал, пяти минут и то для этого не потребуется. Разобраться с моим личным имуществом — все эти предметы, которыми я постоянно пользуюсь в своей бродячей жизни,— дело пустяковое. Например, кусок пластмассы, который я сейчас использую как подставку, чтобы писать свои записки. Это всего-навсего кусок истертой, довольно толстой пластмассы молочного цвета размером сорок на сорок пять сантиметров, но это действительно предмет первой необходимости, без которого я не могу обойтись в повседневной жизни. Прежде всего он служит столом. Для еды или игры в карты обязательно нужна устойчивая поверхность. Во время приготовления еды он заменяет кухонную доску. В ветреные зимние ночи он служит ставней, чтобы прикрыть окошко, в безветренные летние ночи — заменяет веер. Когда нужно сесть на влажную землю — он для меня переносная скамья, когда нужно выпотрошить подобранные окурки и свернуть папироску — он служит мне рабочим столом.

Конечно, чтобы настолько упростить вещи, которыми обычно пользуются, должно пройти немало времени. Когда я еще только начинал свою жизнь в ящике, то никак не мог освободиться от общепринятых представлений об удобствах и без конца припасал вещи не только такие, которые, как мне казалось, могли пригодиться, но и такие,

которые даже не представлял, как использовать. Жестяная банка с цветным барельефом трех обнаженных девиц, которые держатся за золотое кольцо (для чего-нибудь обязательно пригодится), диковинный камень (возможно, древняя каменная утварь), шарик рулетки патинко (пригодится, когда нужно иметь в руках тяжелый предмет), карманный англо-японский словарь (когда-нибудь может понадобиться), золотые каблуки от туфель (они интересной формы, а кроме того, их, пожалуй, можно использовать вместо молотка), штепсельная розетка на сто двадцать пять вольт, шесть ампер (плохо, если ее нет, когда она нужна), медная дверная ручка (если привязать к ней веревку, станет грозным оружием), паяльник (наверняка для чего-нибудь пригодится), связка ключей (не исключено, что я наткнусь на замок, к которому один из них подойдет), металлическая гайка диаметром четыре с половиной сантиметра (подвешенная на нитке, она превращается в сейсмограф, удобна и как груз для сушки фотопленки)...— таких предметов насобирал я бесчисленное множество, и когда от их тяжести и от того, что они до отказа забили мой ящик, я уже и шагу ступить не мог, наконец стало совершенно очевидно, что от них следует избавляться. Человеку-ящику нужен не перочинный нож с семью предметами, а скорее умение использовать обычное лезвие безопасной бритвы для самых разных целей. Если какой-либо вещью не пользуешься по меньшей мере три раза в день, с ней нужно безжалостно расстаться.

Но выбрасывать нелегко. Накапливать трудно, выбрасывать еще труднее. Всегда страшно — если не будешь изо всех сил цепляться за свои вещи, их унесет ветром. Например, разве легко человеку, с наслаждением пользующемуся малогабаритным приемником — высококачественным транзистором с прекрасным звучанием, спокойно отказаться от него только ради того, чтобы облегчить свой багаж? Но я и это смог.

Да, я должен обязательно рассказать ей ту историю о радиопередачах. А если нужно, то рассказать и лжечеловеку-ящику. Я хочу, чтобы еще до начала наших переговоров те двое ясно понимали, с кем они имеют дело.

Вы спрашиваете, зачем я пришел в такую рань? (Я обращаюсь только к ней, а врач в своем лжеящике пусть сидит где-нибудь в углу комнаты.) Обычная прогулка. Утренняя прогулка. Крутая дорога, которая ведет сюда от соевого завода, не такая уж живописная, но я люблю ее. Вон те старые узловатые деревья, скудно покрытые листвой, которые растут вдоль дороги,— интересно, как они называются? Или вот эти островерхие крыши, проглядывающие сквозь листву,— как причудливо они громоздятся. Свежевыкрашенные узкие высокие окна, ярко выделяющиеся на потрескавшихся оштукатуренных стенах,— состояние, будто идешь на опасное, страшное дело... Не верите?.. Тогда я скажу по-другому. У меня, правда, нет оснований утверждать, что именно поэтому — пришел потому, что хотел прийти... Опять не годится?.. Я не выгляжу настолько жаждущим? Такое уж у меня лицо от рождения, ничего не поделаешь. Когда у человека тусклые глаза, лицо его производит неблагоприятное впечатление. Ну ладно, так вот, эти пятьдесят тысяч иен (невыносимое отвращение воодушевляет меня, я бросаю их на процедурный стол)... мне всучили эти деньги, но это не значит, что я согласился их принять. Сейчас я как раз обдумываю создавшееся положение. Правда, с ящиком, как меня просили, я уже разделался, так что можете успокоиться. В общем, мы в расчете, хотя нет, скорее всего я немного в долгу. Ну, а как вам живется в ящике? (Я стремительно заглядываю в окошко лжеящика и, не дожидаясь ответа, снова обращаюсь к ней.) Простите, что я сразу перехожу к делу, но, чтобы вы узнали, что представляет собой такой человек, как я, хорошо бы вам выслушать мой рассказ о радиопередачах. Да, о радиопередачах. Я уже давно был отравлен ядом новостей. Понимаете? Я испытывал непреодолимую тревогу, если постоянно, без конца не запасался свежими новостями. Все время меняется военная обстановка на фронтах, без конца женятся и расходятся кинозвезды и певцы... Летит ракета к Марсу, перестает подавать признаки жизни рыболовное судно, послав свой последний SOS... Арестовывают начальника пожарной команды, страдающего манией поджога, в грузе бананов обнаруживают ядовитых змей, стреляется чиновник министерства торговли и промышленности, добивается блистательных успехов или проваливается международная конференция, насилуют трехлетнюю девочку... учреждено общество по разведению стерильных

крыс, на строительстве супермаркета обнаружен замурованный в бетон ребенок, рекордное количество солдат, дезертировавших из всех армий мира... В общем, мир напоминает кипящий котел. И стóит лишь на миг отвлечься, как окажется, что изменилась даже форма земного шара. Все это кончилось тем, что я стал выписывать семь газет, установил два телевизора и три радиоприемника, не выходил из дома без транзистора, даже спать ложился в наушниках. Ведь в одно и то же время разные станции передают разные новости, и поэтому всегда существует опасность пропустить какое-нибудь экстренное сообщение. Трусливые животные настороженно оглядываются по сторонам — вот почему постепенно у жирафа вытянулась такая длинная шея, а обезьяна перестала падать с дерева. Я не шучу, для меня, человека, о котором идет речь, то, что я рассказываю, чрезвычайно серьезно. Я большую часть суток проводил за чтением и слушаньем новостей. Негóдуя на собственное безволие, я плакал, но ни на шаг не отходил от своих радиоприемников и телевизоров. Причем я прекрасно сознавал, что сколько бы ни старался выудить из этих новостей правду, даже приблизиться к ней — и то невозможно. И, сознавая это, был бессилен отказаться от своей привычки. Возможно, мне нужна была не правда, не понимание происходящего, а лишь форма — заключенные в стандартные фразы новости. В общем, я был полностью отравлен ядом новостей.

Но в один прекрасный день я выздоровел. Крохотное событие, настолько крохотное, что так и хотелось наклониться к нему, чтобы получше рассмотреть, явилось противоядием. Оно... действительно, где же оно произошло?.. Точно, на углу широкой улицы между банком и станцией метро... днем прохожих там совсем мало... передо мной размеренно шагал человек средних лет, по виду служащий, вдруг у него подкосились ноги и он стал, как мне показалось, оседать прямо на тротуар, потом повалился на бок и замер. Ну точно как играют с ребенком в медведя. Подбежавший к нему юноша, похожий на студента, иронически глянул на него. «Может, умер?» — обратился он ко мне, вопросительно улыбаясь. Чтобы не продолжать со мной разговора, он, хоть и неохотно, пошел позвонить в табачный магазин через несколько домов. Я, по профессиональной привычке — мне один-два раза в месяц всегда заказывали фотографии для рекламы товаров,— вынул фотоаппарат и начал с разных точек прилаживаться, чтобы сфотографировать мужчину. Но вовремя одумался и не спустил затвора — и совсем не потому, что мне стало жаль умершего и стыдно перед ним. Просто я понял, что этот случай не годится для новостей.

Смерть — это несомненно своего рода цепь изменений. Прежде всего бледнеет кожа. Затем заостряется нос, ссыхается подбородок. Приоткрытый рот напоминает сделанный ножом разрез на коже мандарина, в котором торчит красная вставная челюсть. Меняется даже одежда умершего. Казавшаяся добротной, она прямо на глазах превращается в дешевую, лишь внешне казавшуюся добротной. Все эти факты, конечно, не новости. Но умершему, видимо, нет никакого дела, может все это превратиться в новости или нет. Десятая жертва, попавшая в руки опасного преступника, разыскиваемого по всей стране, умрет так же, как умерли все предыдущие. Меняешься сам, вместе с тобой меняется и внешний мир — никаких других изменений не существует. И изменения эти столь огромны, что за ними не угнаться и самым сенсационным новостям.

Стоило мне так подумать, и сразу же отношение к новостям резко переменилось. Как бы это лучше сказать... У меня не было другого выхода, как приказать себе: «Ты тоже в состоянии покончить с новостями...» И все же, понимаете... почему всем нужны новости?.. Может быть, для того, чтобы в критический момент быть во всеоружии, хотя заранее известно, что все на свете меняется? Раньше я тоже так думал. Но это ложь. Человек слушает новости только для того, чтобы успокоиться. Какую бы потрясающую новость ему ни сообщили, если человек слушает ее, значит, он жив — вот в чем дело. По-настоящему потрясающая новость — это последняя новость, возвещающая о конце света. Заветная мечта каждого — быть в состоянии услышать ее. Потому что это будет означать, что удалось пережить конец света. Если вдуматься, то, как мне представляется, мое отравление было вызвано именно стремлением не прозевать этой последней передачи. Но новости все шли и шли без конца, так и не превращаясь в последнюю. Это значило, что новости все еще не последние. Они будут продолжаться и впредь — лишь стереотипные фразы станут еще короче. Прошлой ночью Б-52 провели самый

крупный в этом году налет на Северный Вьетнам, а ты все-таки остался жив. На газовом заводе произошел пожар, восемь человек получили тяжелые ожоги, а ты не пострадал и остался жив. Новое огромное повышение цен, а ты продолжаешь жить. Из-за выброса промышленных отходов в заливе уничтожена вся рыба, а ты все-таки остался жив.

«Так что же это за рассказ».

— Значит, это рассказ о том, как вам надоело слушать новости...— Она сводит колени (видимо, почувствовала мой интерес к ним) и закуривает новую сигарету. А лжечеловек-ящик мрачно добавляет:

— Не могу понять, почему такая самореклама...

«Среди людей, не интересующихся новостями, злодеев не бывает — вот что вы имеете в виду. Я бросил эти слова в лицо врачу и с прежней улыбкой обратился к ней: не верить в новости — значит не верить в перемены. И вы считаете, что я не должен против вашей воли приносить сюда перемены».

— Все-таки мы просчитались, вам не кажется? — сказал лжечеловек-ящик с откровенностью, которой я от него не ожидал.

— Просчитались?

— Я имею в виду пятьдесят тысяч иен. Деньги, которые мы отдали вам, поверив, что вы близки с человеком-ящиком, чтобы вы купили у него для нас ящик. Выходит, мы просчитались. Откуда нам знать, купите вы у него ящик или нет.

— Что вы придираетесь ко мне.— Я даже растерялся из-за его неожиданной контратаки.— Вы прекрасно знаете, что человек-ящик и я — одно лицо.

— Откуда мне знать?

— Не надо передергивать. Есть достаточно веские доказательства.— Чтобы успокоиться, я сделал несколько глубоких вдохов.— Неделю назад в то утро, когда я пришел сюда, чтобы мне перевязали рану, вы должны были все понять. Неумело подстриженные волосы... плохо выбритое лицо, с бесчисленными порезами... обветренная, шелушащаяся кожа на шее и руках, несмотря на острый запах мыла...

— Знаете, среди фоторепортеров попадается немало чудаков.— Тон беспечный, явно свидетельствующий о том, что моя игра проиграна. В конце концов она, видимо, стакнулась с врачом, и они решили просто воспользоваться мной.

— Но ведь ты же признала тогда, сама же признала, что мое плечо ранено пулей из духового ружья?..

— Ну и что же. У очень многих есть духовые ружья. Хорьки повадились в курятники, просто беда с ними.

— Один добросердечный человек, случайно оказавшийся свидетелем моего ранения, посоветовал мне эту клинику. Более того, он даже дал мне деньги, чтобы я оплатил счет за лечение. Три тысячи иен, бумажки чуть попахивали креозотом.— Я пристально посмотрел ей в глаза. Мне и в голову не могло прийти, что она так легко переметнется на сторону противника. Ведь она совершенно определенно обещала мне даже позировать. Когда она позирует, ощущая на себе взгляд художника, это, видимо, наэлектризовывает ее. И в таком возбужденном состоянии или... возможно, сейчас она просто старается выгородить врача. Да мне и не особенно хочется, чтобы врач начал здесь препираться с ней. Нужно еще подумать, стоит ли так упорно преследовать ее — это может только ухудшить ее положение.—...Какая-то девушка в мини-юбке на велосипеде новейшей конструкции... Возможно, эта девушка... к сожалению, я видел ее только со спины, но ноги у нее были очень красивые. Ноги — однажды увидев, ни за что не забудешь. Когда долгие годы живешь в ящике и перед глазами лишь нижняя часть тела прохожих, пресыщаешься видом бесконечного количества ног.

Мне показалось, что она надула щеки, чтобы сдержать улыбку. Но рассмеялся во весь голос лжечеловек-ящик.

— Ну, разумеется, одно дело разглядывать ящик, другое — надеть его на себя; разница громадная.

— Я только хочу напомнить, что права на владение ящиком я вам еще не передавал.

— Просто колоссальная разница,— повторил лжечеловек-ящик спокойно, точно понял, наконец, суть этой разницы.— Вчера я впервые всю ночь провел в ящике. Это нечто потрясающее. Нет, не зря я стремился стать человеком-ящиком...

— Я не собираюсь насильно удерживать вас от этого шага.

— А я и не принадлежу к тем, кого можно удержать. Разве это не ясно?

В самоуверенном голосе лжечеловека-ящика притаился смешок. Добродушный и в то же время ехидный — не нравится он мне. Я окончательно расстроился. Кажется, с самого начала нужно было подружиться с ним. Он и в самом деле совсем не собирался вступать со мной в борьбу. Мне бы удалось более спокойно поговорить с ним, если бы я коснулся тем, близких человеку-ящику, когда он впервые появляется на улице: способы добывания пищи, места, где можно достать вполне пригодные к употреблению старые вещи, способы бесплатного проезда на большие расстояния, места, где обитают бродячие собаки, которых нужно избегать. И все-таки мало приятного жить вместе с еще одним человеком-ящиком. Понятно, что он — не настоящий, но сейчас уже слишком поздно об этом говорить. Если бы я мог все это предвидеть, мне, возможно, следовало прийти сюда в своем ящике и потягаться с ним. Я вызывающе обращаюсь к ней:

— Ну, а что бы ты сделала на моем месте? Удержала бы его или позволила поступать как ему заблагорассудится?

Продолжая стоять слегка прислонившись к процедурному столу, она исподлобья взглянула на меня. Губы чуть растянуты, и от этого казалось, что она улыбается, но глаза совсем не смеялись.

— Я думаю только о том, что если сейчас вывесить вдруг табличку: «Приема нет», пациенты, наверно, забеспокоятся.

Пожалуй, это верно. Двусмысленный ответ, который можно толковать и так и этак. Но пока что мне следует удовлетвориться им. Подожду, пока вывод сделает лжечеловек-ящик.

Ящик издал какой-то звук, привлекший мое внимание, и заметно накренился. Шторка на окошке разошлась, и показались глаза. Просто смотрящие глаза, лишенные всякого выражения. Глаза, гордые тем, что вынудили меня посмотреть в них. Когда ему удалось научиться этому приему? Образец — я, это безусловно. Я подавлен. Тот, кто смотрит,— я; тот, на кого смотрят,— тоже я.

— Сколько бы ты ни разглагольствовал, это бесполезно.— Голос у лжечеловека-ящика тонкий, не соответствующий его наружности.— Но я вижу, ты не веришь.

— Чему?

— Совсем не веришь, что я уйду отсюда вместо тебя. В глубине души хочешь этого, но не веришь.

— Да ведь фактически и нет, видимо, такой необходимости — уходить отсюда...

— На небольшой компромисс я готов.— Лжечеловек-ящик откашлялся, прочищая горло, и продолжал заискивающим тоном: — Например, как бы ты посмотрел на такое мое предложение. Ты получаешь возможность делать в этом доме все, что тебе заблагорассудится. Какие бы отношения ты ни установил с ней, я вмешиваться не буду. Не буду мешать, не скажу ни слова, не буду мозолить вам глаза. Но только при одном условии. Я получаю возможность наблюдать за вами. Только наблюдать, и все. Конечно, из ящика. Я имею в виду отношения, в которых мы, трое, оказались сейчас. Мне достаточно, если разрешат вот так, из угла, следить за тем, что вы делаете. Когда вы к этому привыкнете, я превращусь для вас в нечто, напоминающее корзину для бумаг.

У меня было такое чувство, что предложение, которое должно было исходить от меня, сделал мой двойник. А она, следя за происходящим, быстро перебирала пальцами, точно самозабвенно играла без нитки в «колыбель для кошки». Она не спеша переступила с ноги на ногу. Полы свежевыглаженного белого халата разошлись, и выглянуло колено, которое так и хотелось погладить. А вдруг под халатом она совершенно нагая? Чувство, будто неосмотрительно проглоченный крохотный воздушный шарик начал вдруг раздуваться во мне. Неужели у меня хватит смелости попросить ее раздеться на глазах этого лжечеловека-ящика?

— Колебаться нечего,— подгонял меня лжечеловек-ящик.— Что такое человек-ящик, если не принимать близко к сердцу его судьбу? Дуновение ветра, пыль, не более. Со мной самим произошел связанный с этим чрезвычайно интересный случай. Однажды я стал проявлять какой-то снимок, сделанный совершенно случайно, и вдруг во весь кадр всплыло изображение, увидеть которое я даже не предполагал. По улице спокойно, без стеснения шел человек, надевший на себя ящик из гофрированного картона. Я не такой специалист, как ты, поэтому у меня дешевый детский фотоаппаратик, и все такое. Что же я собирался тогда сфотографировать? Дело давнее, но я думаю, скорее всего похороны. Я всегда стараюсь сфотографировать на память похороны своих пациентов. Я был потрясен. Как можно было не заметить этого человека-ящика — ведь фотографировал я с такого близкого расстояния. Но я совершенно не помню его. Невидимый, но кажущийся видимым призрак — значит, это просто антисуществование. И с тех пор, да, с тех пор я и начал испытывать интерес к людям-ящикам. Я стал приглядываться и обнаружил, что по улицам бродят люди точно такого вида, как на моей фотографии. Я заметил также, что никто не обращает на них никакого внимания. Значит, не я один просмотрел их. Человек-ящик заходит, например, в продовольственную лавку. Высовывает из дырки руку и начинает тащить все подряд. Помидоры, молоко, сухие соевые бобы — не такая уж ценность, но все же. Но вот что смешно: ни покупатели, ни обслуживающий их продавец, стоящие тут же, рядом, не только не ругают, но даже не замечают его. Человек-невидимка, да и только. Ходить, упаковав себя как товар,— это не просто вести себя подозрительно, но более того, оскорбительно для людей. И все-таки существование человека-ящика никому не причиняет вреда — если есть желание игнорировать его, можно спокойно игнорировать. Ты тоже должен относиться ко мне с полнейшим безразличием.

Лжечеловек-ящик, неожиданно вздохнув, умолк, точно проглотил последние слова, и я вслед за ним тоже глубоко вздохнул. Может быть, в самом деле его условия не так уж плохи. Я-то уж лучше всех знаю, что существование человека-ящика никому не причиняет вреда. Место не особенно удобно, но поскольку он открыл свою клинику, значит, у него должны быть сбережения, так что неудобство может, наоборот, обернуться для нас возможностью быть подальше от людей. В общем, теперь проблема в том, как на все это посмотрит она. Если только удастся добиться ее согласия, мы, не исключено, прекрасно заживем втроем. Нет, не втроем, а вдвоем. А если вообразить, хоть это и нелегко, что корзина для бумаг — это клетка с обезьяной, стоящая в спальне, то тогда вообще все будет в порядке.

— Ну а ты как, не возражаешь?

— Я? — Она пристально посмотрела на меня, потом перевела взгляд на лжечеловека-ящика. Пока она переводила взгляд, на лице ее появилась улыбка, вызвавшая у меня острую ревность.— Зря спрашиваете... Я ни за что не отвечу так, чтобы потом всю вину взвалили на меня... Сами подумайте — это же все равно что уронить на ногу ножницы, сесть со всего размаха на стакан... Сколько сейчас времени?

— Без двадцати четырех десять,— поспешно ответил лжечеловек-ящик, а я, снедаемый нерешительностью, почувствовал угрызения совести. Она же, продолжая наступать, отрывисто бросила:

— Послушайте, сколько вам лет? Только по правде.

— По метрике двадцать девять, а по правде года тридцать два — тридцать три.

Попавшись на удочку, я ответил сразу, не задумываясь, но тут же понял, что спрашивала она с каким-то тайным умыслом. Не успел я ответить, как она, повернувшись ко мне спиной, начала наводить порядок на процедурном столе. Этим, видимо, она хочет, не говоря ни слова, показать, что вопрос об отмене приема еще не решен. Пожалуй, это самое честное, что она может сделать. Но и порядок на процедурном столе она не наводила по-настоящему. Она просто перекладывала с места на место инструменты, переставляла стеклянные пробирки. Может быть, это нужно рассматривать как пассивное согласие? Или наоборот, расценить как несогласие. Но то, что она специально тянет время, можно понять как стремление заставить меня на что-то решиться. И, я чувствую, мне действительно нужно принимать решение. Стоит сказать ей одно слово, попросить ее раздеться, и в то же мгновение произойдет такая сцена... Она расстегнет перламутровые пуговицы на халате, потом помедлит пару секунд... И вот она обна-

женная. Меньше чем в трех метрах от меня. Расстояние, на которое движение воздуха в комнате донесет ее запах. Ну что ж... однако сумеет ли она сыграть эту столь трудную роль так, как мне хотелось бы?

(Мне вдруг приходит на ум одно неприятное воспоминание. Это случилось на школьном вечере. Мне поручили, хотя у меня не было и тени популярности, крохотную роль, скорее всего потому, что никого другого на нее не нашлось. Я должен был исполнять роль лошади, которую звали Тупица, и, помнится, от возбуждения и радости не чувствовал под собой ног. Но выйдя на сцену, не знаю почему, не мог произнести ни слова из своей коротенькой роли. Когда я в отчаянии покидал сцену, мой соученик, игравший хозяина лошади, разозлившись, изо всех сил пнул меня ногой. Тут и я разозлился и пнул его в ответ — он стукнулся головой об пол и потерял сознание. Что было потом, как прервали спектакль, я совершенно не помню. Знаю только, что вскоре после этого у меня развилась близорукость и родители заставили носить очки. Это потому, что я стал в укромных полутемных уголках читать, приблизив к самым глазам книги и журналы, напечатанные мелким шрифтом. Мне хотелось укрыться, чтобы ни на кого не смотреть и чтобы никто на меня не смотрел.)

Я прекрасно сознаю свое безобразие. И не настолько бесстыден, чтобы демонстрировать другим свою наготу. Разумеется, безобразен не я один — девяносто девять процентов людей имеют недостатки. Я убежден, что люди изобрели одежду не из-за утраты волосяного покрова, а, осознав свое безобразие, постарались скрыть его с помощью одежды, и уже от этого у них вылезли волосы. (Я знаю, что мое утверждение противоречит фактам, но все равно убежден в своей правоте.) Люди в состоянии жить, с трудом вынося взгляды окружающих, только потому, что надеются на несовершенство их зрения и оптический обман. Люди придумывают самые разные уловки, чтобы не отличаться от других,— стараются по возможности одинаково одеваться, одинаково стричься. А некоторые всю жизнь живут потупившись, мол, я не буду никого откровенно разглядывать, и они тоже постесняются разглядывать меня. Вот почему в старину преступника выставляли к позорному столбу, но это наказание было слишком жестоким, настолько жестоким, что в цивилизованном обществе оно было отменено. Действие, именуемое подглядыванием, обычно означает рассматривание осуждающим взглядом — поэтому я не хочу, чтобы за мной подглядывали. Когда человека ставят в такое положение, что ему неизбежно приходится подглядывать, от него требуют соответствующей компенсации — это общепринято. Действительно, в театре и кино тот, кто смотрит, платит деньги, а тот, на кого смотрят,— получает деньги. Но каждый хочет сам смотреть и не хочет, чтобы смотрели на него. И бесконечная продажа все новых и новых средств подсматривания — радиоприемников, телевизоров — лишь доказывает, что девяносто девять процентов людей осознают свое безобразие. Близорукость заставила меня стать завсегдатаем стриптизов, потом я поступил учеником к фотографу... а уж оттуда до человека-ящика — шаг совершенно естественный.

(Снова примечание, сделанное красными чернилами. Существование такой болезни, как эксгибиционизм, категорически противоречит утверждениям одного автора, считающего, что выставлять себя напоказ — обычная склонность всех людей. Эксгибиционизм часто смешивают с гипертрофией полового влечения, которое не может быть удовлетворено обычным актом, но в действительности чаще всего он представляет собой проявление постоянно сдерживаемого полового влечения. Один пациент, например, признавался, что важнейшее условие результативности эксгибиционирования состоит в том, чтобы тот, перед которым ты обнажаешься, был незнакомым человеком противоположного пола. Во-вторых, между тобой и им должна сохраняться определенная дистанция, чтобы приближение не нарушило связи, заключающейся в том, что ты смотришь и одновременно смотрят на тебя. В-третьих, быть не в состоянии различать лиц

друг друга. В качестве конкретного места, удовлетворяющего всем трем условиям, пациент назвал, например, густо засаженный деревьями внутренний двор женского общежития. Подобная склонность пациента указывала на то, что он, питая острый интерес к лицам противоположного пола вообще, испытывал в то же время болезненную застенчивость по отношению к отдельному индивиду противоположного пола. Если прибегнуть к аргументации названного выше автора, это можно объяснить как осознание своего безобразия.)

— Нет, ты и в самом деле ни рыба ни мясо,— резко заговорил лжечеловек-ящик хриплым голосом.— Такое тебе предлагают... а ты растерялся... Я б на твоем месте не раздумывая согласился.

— А ты здесь будешь торчать как бельмо на глазу.

— Ну и что ж...

— Я на своей собственной шкуре испытал, что такое человек-ящик,— мне известно о нем гораздо больше, чем тебе. Когда люди игнорируют человека-ящика, они не знают, что за человек составляет содержимое ящика. А я тебя вижу насквозь. Я даже представляю себе твой взгляд, каким ты сейчас смотришь на меня. Мне противно. Я терпеть не могу, когда за мной постоянно следят.

— Но ведь я заплатил тебе пятьдесят тысяч иен.

— Я сам привык подсматривать, но чтобы за мной подсматривали — к этому я не привык...

Лжечеловек-ящик все время покачивался. И вдруг, наклонившись резко вперед, встал во весь рост с легкостью, которую трудно было предположить. Задняя сторона ящика проскребла по стене, и послышался неприятный шуршащий звук, который обычно издает при этом пересохший гофрированный картон. В общем, подделка есть подделка. Она не идет ни в какое сравнение с настоящим ящиком, чуть влажным от долгого употребления.

— Ну ладно, хватит болтать,— веселым голосом сказал лжечеловек-ящик, стоявший широко расставив ноги. Поросшие волосами мускулистые босые ноги. Неужели он без штанов? — Я не так уж голоден, но взять что-нибудь в рот не откажусь.— Потом он окликнул ее по имени и сказал: — Послушай, покажись-ка ему голой, а?

Я растерялся. Наверно, и она испытала неловкость от того, что ей приказали раздеться, да еще назвали по имени. Я не решаюсь даже сейчас написать здесь ее имя. Я вновь остро ощутил, как много значит она для меня. Пусть случайно, но поскольку она оказалась единственным человеком противоположного пола, с которым мне удалось наконец встретиться, и у меня не было другого объекта, чтобы сравнивать ее с ним, меня вполне удовлетворяло наличие местоимений, позволяющих различать пол.

— Прямо сейчас?

В голосе, каким она спросила это, не слышалось особого удовольствия. Не было в нем и тени сомнения. Все гладко, будто жирной ладонью гладят яйцо. Так она и в самом деле обнажится без всякого стеснения. Я молчал в полной растерянности. Свело губы, я не мог вымолвить ни слова.

— Не возражаете?

— Не возражаю, но...

Короткий деловой разговор.

— Спичек не найдется?

Понуждаемая лжечеловеком-ящиком, она, проскользнув мимо меня, пересекла комнату. Походка идеального, точно отрегулированного механизма, не оставляющая ощущения, что она требует хотя бы малейших усилий. Она достала из кармана белого халата коробку спичек и, держа ее двумя пальцами, бросила в окошко ящика. Я вдруг почувствовал ее запах. Он напоминал запах арахисового поля, который я улавливал на морском берегу. Сердце бешено забилось. Может быть, от ревности к лжечеловеку-ящику? Возвращаясь на прежнее место, она сразу же начала расстегивать халат. После второй пуговицы она бросила на меня быстрый взгляд. Такой легкий — он бы за полдня мог свободно улететь высоко в небо — взгляд, что я не только не отвел глаз, но даже не моргнул (очень важно заметить, что сколько она ни смотрела на меня, я поч-

ти не ощущал, что она на меня смотрит). Казалось, ее освещает внутренний свет. Она совершенно спокойна, закушенная нижняя губа влажно выглядывает между зубов. Открытое выражение лица. Может быть, это она для меня распахнула ставни? Третья пуговица. Потом четвертая. Если она в самом деле хочет до конца узнать меня... если этой своей позой, которую она вчера демонстрировала лжечеловеку-ящику, собирается поймать меня... то действительно хорошо, что на мне нет ящика. Людям, лишенным безобразия, которое нужно скрывать, безобразие других не видно. Если человек-ящик профессиональный «подглядыватель», то женщина по своей природе «подглядываемая». (Меня тревожит одно: что заставило врача, жившего бок о бок с ней, такой женщиной, запереть себя в ящик?) И вот, наконец, последняя пуговица.

К счастью, халат был надет не на голое тело, я вздохнул с облегчением. Под ним была шелковая оранжевая блузка. Крохотными ягодками вниз сбегали мелкие пуговицы того же цвета. Короткая желтая юбка, застегнутая сбоку на три черные пуговицы сантиметра два в диаметре. Из ящика послышалось трение спички о коробок. Про себя я решил, что она белокожая, но теперь, сравнивая ее тело с желтой юбкой, я бы назвал ее скорее смуглой. Но пальцы, взявшиеся за пуговицы юбки, были действительно белыми. И вот сейчас, глядя на нее, я не мог понять, какая же она на самом деле. Пальцы, лежавшие на юбке, вдруг замерли и, словно передумав, переместились к ягодкам на блузке. Конечно же, нужно начинать с них. По мне, чем дольше все это будет продолжаться, тем лучше. Запахло табаком. Если на прошлой неделе я уже однажды встретил ее, ее, которая, не зная сомнений, как ребенок, одним взмахом стерла все обязательства, подобно тому, как выводит пятна мощный агрегат для чистки одежды, то, не исключено, мне удастся где-то снова встретиться с ней. И ей, за которой я подглядывал вчера, ей, терпимой, точно она слепая, к чужому безобразию, напоминающей установку для утоления жажды, освобождающей, подобно алкоголю или наркотику, от чувства неполноценности, тоже когда-нибудь снова представится случай встретиться со мной. Трудно поверить, что действительно существует характер, в котором слились два этих качества. Правда, я не настолько хорошо знаю ее, чтобы иметь право критиковать. И все же. Но то, что узнаешь с помощью правого глаза и с помощью левого глаза, наверно, чего-то стоит. Самое главное — доверие, которое позволит даже бессознательно обращать внимание на одни и те же вещи и совершенно естественно сделает интерес нашим общим достоянием. Расстегнута третья пуговица-ягодка. Блузка, кажется, надета на голое тело. Хотя и доносится запах табака, дыма не видно. Так курить не годится. И тут из всех щелей, из окошка ящика вдруг повалил дым — значит, внутри столько дыма, что глаза невозможно открыть.

— Нужно и тебе приготовиться, как ты считаешь? — сказал лжечеловек-ящик торжественно.— Она... посмотри, она не обращает на меня ни малейшего внимания.

Расстегивая пятую пуговицу, она чуть улыбнулась. Улыбнулась так, будто оступилась. Осталось еще семь пуговиц-ягодок.

— Если хотите фотографировать, фотографируйте, пожалуйста.

Я был поражен. Действительно, я договаривался с ней, что она будет мне позировать. Она раздевается, но это совсем не значит, что и я должен раздеваться вместе с ней. Может быть, и разденусь, но зачем же сразу. Наверно, я просто боялся того, к чему это приведет. Чтобы сгладить неловкость, я протянул было руку к вещевому мешку, где лежал фотоаппарат, но потом раздумал доставать его. Если бы я достал и установил фотоаппарат, это бы означало молчаливое согласие жить вместе с лжечеловеком-ящиком. Правда, вместо того, чтобы раздеться, я бы предпочел установить фотоаппарат, но это было равносильно тому, чтобы отдать второй ключ от своей собственной комнаты.

— Смотри, какой воинственный вид...

Расстегивая седьмую пуговицу, она отвернулась вполоборота к стене. Блузка распахнулась, и показался лифчик. Угольного цвета лифчик, выстроченный лучеобразно, как мяч для регби. Пожалуй, и правда вид воинственный. Стеклянный шкафчик со стерильными инструментами. Узенькая кушетка для осмотра больных. Эмалированный таз, стоящий на подставке с широко расставленными тонкими металлическими ножками. Жутковатое медицинское кресло, похожее на зубоврачебное, но чем-то отличающееся от него. Интересно, для чего оно? В подборе этих предметов было нечто эротическое,

как в картине ада. Для фотографирования места лучше не придумаешь — как только солнце станет повыше, вряд ли удастся избежать соблазна пощелкать.

— Если хочешь, можно переменить место. А я уйду вон туда...— любезно предложил лжечеловек-ящик.

— Наоборот, не нужно. Иначе свет будет падать сзади.

Молчание, молчание... Сейчас любая моя грубость приведет к поражению... Она взялась за девятую пуговицу — еще три, и блузка будет снята...

— Однако, как мне удалось заметить, здесь ждут от тебя не фотографирования, а более решительных действий.— Притворная веселость. Лжечеловек-ящик начал замазкой болтовни заделывать щель, образованную моим молчанием.— Если бы спросили меня, я выбрал бы именно такие действия. Только не трепись, что она не возбуждает тебя. А фотографию можно сделать когда угодно, и фотографировать, что хочешь. Если же ты думаешь, что это будет неприятно мне, можешь не беспокоиться. Я отказался от всех своих прав. Примерно год назад. Когда она пришла, чтобы прервать беременность, я прямо влюбился в нее. Сделал ей операцию, а она мне так спокойно говорит: денег у меня нет, давайте я у вас поработаю и расплачусь. И это наивное лицо... Я был поражен... Но решение принял моментально. Я, естественно, не стал выспрашивать ее ни о том, как зовут ее приятеля, ни о родственниках. Мне удалось привлечь ее тем, что я игнорировал ее прошлое.

— Если бы спросили, я думаю, ответила бы.

— Это не значит, что я ни о чем не спрашивал совершенно сознательно.

— И все же хорошо, что не спрашивали.

— Медсестра, которая работала здесь раньше, не была особенно привлекательной. А эта производила впечатление девушки бывалой и вполне доступной.

— А на самом деле какой была?

— Сначала мне показалось, крайне недоверчивой. Потом показалось, наоборот, чересчур доверчивой. Ты все делаешь слишком импульсивно. А когда тебя ругают, ты легко просишь прощения. Видимо, ты убеждена, что попросишь прощения, и любая вина забыта.

— Сколько хлопот я доставила.— Она берется за последнюю пуговицу.

— Ничего, я прощаю тебя. А то, что я сначала не расспросил тебя о прошлом, теперь мне представляется дурацким легкомыслием. В общем, тебе удалось пройти по снегу и скрыться, не оставив следов.

Чуть растянув губы, она коротко рассмеялась, вытянула из юбки полы расстегнутой блузки и, плавным движением сняв ее, бросила на край кушетки. Когда она поворачивалась, на талии образовалось несколько тонких складок. Она не казалась особенно худой, но и слой подкожного жира, видимо, не такой уж толстый. Эти складки кожи что-то напоминают. Но что? Вспомнил — замшу для протирки объектива.

— А все-таки получилось у нас неплохо, правда?

— Слишком хорошо,— насмешливо фыркнул лжечеловек-ящик.— Но я был ужасно самонадеян. Я считал, что могу делать все, что хочу, потому что у меня была возможность удерживать ее... Отвратительно. Как мерзкий соблазнитель, я брился два раза в день — утром и вечером... И к тому же отношения между врачом и пациентом, обратившимся к нему, чтобы сделать выскабливание. А дальше история с ньютоновым яблоком — закон тяготения. Тут еще и служившая до этого медсестра ушла, да еще так неожиданно...

(На полях красными чернилами сделана приписка и стрелкой указано, к чему она относится.

— Откуда мне было знать, что это его жена...

— Если бы и знала, ничего бы не изменилось. Да и ей самой опротивела роль, которую она вынуждена была играть.)

— Я ужасно не люблю быть свидетелем того, как ранят человека.

— А как ты такое объяснишь? Однажды я спросил тебя: представь себе, что земной шар вот-вот погибнет, согласилась ли бы ты провести со мной последние мгно-

венья? Ответ был такой: если бы мне удалось, я бы хотела в одиночестве смотреть на море...

— Неправда. Я, должно быть, сказала другое: хочу быть вместе с толпой в каком-нибудь оживленном месте... на вокзале, в универмаге — вот где.

— Действительно, нечто подобное.

— Я не думаю, что земной шар погибнет так просто.

— Во всяком случае, все, кто должен был мне, уплатили сполна. И теперь мне никто не должен ни иены...

Желтая юбка кольцом упала к ее ногам. Левой ногой она переступила через юбку, а правой поддела ее и легко вскинула вверх. Юбка двигалась удивительно уныло и упала на пол перед кушеткой. Пуговицы стукнулись друг о друга и издали звук, будто раздавили маленькую ракушку. Светло-голубые трусы — немыслимо маленькие — плотно облегают бедра. Чуть согнув колени, она прижала ладони к ляжкам. Ее поза напоминала позу ныряльщицы, казалось, она дурачится. Каждое ее движение прочерчивало пространство, делало его контрастным, меняющимся, рисовало какой-то особый мир. Вдруг во мне просыпается жалость — точно от насморка защекотало в носу. Может быть, я испытал это странное чувство, потому что видел такое впервые.

— Подожди,— остановил ее лжечеловек-ящик, когда она взялась за резинку трусов. Она замерла, устремив взгляд поверх моей головы, в какую-то далекую точку.— Почему ты не смотришь на нее как следует? Ведь она для тебя раздевается. Ты должен пожирать ее глазами. Ты когда-нибудь видел, как делают искусственный жемчуг? У меня ощущение, будто ее шея и плечи из такого жемчуга... Точно он еще льется нескончаемым потоком перед тем, как застыть... Мне очень нравится этот изгиб, идущий от талии к бедрам. И юная кожа — ее ведь не сбросишь, как это делает змея,— еще сохранила свою свежесть...

— Что меня особенно привлекает, так это ноги. По мне...— Сказав это, я напряг подбородок и стиснул зубы. Веки отяжелели, я не в силах поднять их, чтобы посмотреть ей в лицо. Интересно, какое у нее сейчас выражение лица? Подозрительно, что из ящика не струится дым, а лжечеловек-ящик даже не закашлялся ни разу.— Да я, в общем, ничего в этом не понимаю. Хорошие ноги, плохие ноги... Это все равно что заставить человека читать книгу на незнакомом ему иностранном языке... Сам не пойму, почему меня вдруг привлекли ее ноги.

— Наверно, потому, что они ближе всего к тому месту, которое тебя волнует.

— Ничего подобного. Если бы только это, мне было бы безразлично, какие ноги. Может быть, это связано с бегущими ногами? За быстро бегущими ногами всегда хочется броситься вслед...

— Явная натяжка. Объяснить тебе, в чем дело? Расстояние слишком велико. Ты не можешь решиться сделать хотя бы полшага и поэтому бессилен заставить себя поднять голову. Почему ты не можешь сделать эти полшага? Я объясню.— Лжечеловек-ящик заговорил другим тоном и, отойдя от стены, занял место вершины воображаемого равнобедренного треугольника, основанием которого служила линия, связывающая меня и ее.— И рыбы, и птицы, и звери перед тем, как спариться, совершают особый любовный обряд. По мнению специалистов, он скорее всего представляет собой трансформацию угрозы или нападения. В общем, каждое живое существо имеет собственный, четко очерченный участок, и оно инстинктивно готово атаковать агрессора, нарушившего его границы. Но, атакуя всех подряд, спариться невозможно. Для этого нужно, чтобы граница была прорвана, двери открыты. Вот тут-то и возникает то, что на первый взгляд похоже на атаку, но отличное от нее: рождается особое искусство всем своим видом, своими телодвижениями усыпить оборонительный инстинкт партнера. То же самое и у людей. Ухаживание — это все тот же наступательный инстинкт, лишь подкрашенный и принаряженный. Во всяком случае конечная цель и у животного и у человека одна и та же — прорвать границу и напасть. По своему опыту знаю, что у людей граница проходит в радиусе двух с половиной метров. И если удастся переступить эту тщательно охраняемую черту, неважно как — уговорами или заставив отступить с помощью яркой электрической лампочки,— противник побежден. И хотя с такого близкого расстояния противника можно прекрасно рассмотреть, определить, что он собой представляет, трудно. Здесь могут сослужить службу лишь осязание и обоняние.

— Что ты в конце концов хочешь сказать?

— Если ты сделаешь еще хоть полшага, то как раз наступишь на эту черту.

— И что тогда?

— Нет, ты действительно ни рыба ни мясо. Ты же умолил ее и получил разрешение на свободный проход через охраняемую черту. Тебе достаточно сделать еще полшага — и, хочешь не хочешь, от тебя потребуют представить это разрешение на проход. Разумеется, пропуск на свободный проход. Но тогда, естественно, тебе придется отказаться от права, а вместе с ним и от всяких предлогов снова возвратиться в свой ящик. Ты больше всего боишься признать это. Вот и тянешь время. И ее связал по рукам и ногам. Ты остановил часы.

Честно говоря, он прав. Она стояла неподвижно в нерешительной позе, по-прежнему держась руками за резинку трусов. И ее глаза, блуждавшие в пространстве, точно что-то выискивая у меня над головой, были широко раскрыты, как искусственные.

— Так что же делать?

— Среди тех, кто ненавидит новости, злодеев не бывает...— Лжечеловек-ящик оборвал фразу и высморкался.— Ты, так не верящий в перемены, противоречишь самому себе — боясь осуществления того, о чем сам же молил, ты остановил часы...

— Видимо, на такое рискованное дело я просто не способен.

— Я как-то прочел об одном человеке, который сделал из своей возлюбленной чучело и жил с этим чучелом. Конечно, чучело преданнее и вернее, чем живая возлюбленная.

— К сожалению, у меня нет такой склонности.

— Ну что ж, прекрасно. Вывод напрашивается сам собой. Совершенно ясно, что ты не собираешься вылезать из своего ящика.

— Я же сказал, что с ящиком покончено.

— ...Тогда я спрошу: где и что ты делаешь сейчас, в эту самую минуту?

— Ты сам видишь. Стою здесь и болтаю с тобой.

— Прекрасно... Тогда где и кто пишет эти записки? Разве их не написал Некто в ящике при неверном свете лампочки, без абажура, свисающей с потолка туалетной комнаты на побережье?

— Наверно, можно и так сказать. Но в этом случае придется признать, что и ты тоже плод моей фантазии.

— В общем, верно.

— Бесспорно.

— Действительно, реально существует лишь один человек. Некто, пишущий сейчас эти записки. Все принадлежит одному этому Некто. Ты не можешь не признать, что я прав. И поскольку этот Некто-сан продолжает отчаянно цепляться за свой ящик, он намерен бесконечно писать свои записки.

— Ты слишком подозрителен. Я ведь только жду, пока высохнет белье. Я собираюсь отправиться в путь, как только оно высохнет. Я вымылся слишком тщательно, и меня всего продуло до костей. Я ненадолго укрылся в ящике с единственной целью — спастись от ветра. А совсем не потому, что не могу оторваться от своих записок. Вот только допишу эту последнюю строчку...

— Ты в самом деле собираешься прийти сюда, чтобы встретиться с нами, когда высохнет белье?

— Что мне стоит собраться? У меня почти ничего нет. Честно говоря, чтобы покинуть ящик, совершенно необходима... только одна вещь... и если ее нет, из ящика не вылезешь... понимаешь... брюки. Брюки... Когда есть брюки, можно спокойно смешаться с толпой... Даже если ты босой, по пояс голый, но в брюках — все в порядке... И наоборот, если ты появишься на улице в самых модных ботинках, в дорогом пиджаке, но без брюк, это вызовет переполох. Цивилизованное общество — своего рода брючное общество. К счастью, я подготовился на этот случай и запасся наимоднейшими брюками. Первый раз я надел их на прошлой неделе, когда отправился в клинику, чтобы мне оказали помощь. Вешалку, на которой они висят на потолке ящика, можно сложить — много места она не займет. Возьму еще мой профессиональный инвентарь — фотоаппарат со всеми принадлежностями... А все остальные вещи не так уж мне необходимы, и если они будут мне мешать, я без всякого сожаления выброшу их.

А может, не выбрасывать? Может, лучше отдать их тебе? Умывальные принадлежности, лезвия безопасной бритвы, спички, бумажные стаканы, затычки в уши, термос, автомобильное зеркальце, водонепроницаемая резиновая лента... А вот закрепляющее, глазные капли и другие лекарства — это по твоей части,— их, конечно, можно выбросить... Шесть фотографий, вырезанных из второго тома «Новейшего собрания лучших фотографий обнаженной натуры», трубка для рассматривания этих фотографий... Как пользоваться ею, понять не трудно — достаточно взять ее в руки... Наконец, карманный фонарь, шариковая ручка, ну еще лист пластмассы, моток проволоки и всякие другие предметы, которыми каждый день приходится пользоваться, не знаю даже, как они называются... Казалось бы, никчемные вещи, но все они составляют жизненно необходимый минимум, без которого невозможно просуществовать в ящике. Я не жду благодарности — пусть это будет моим прощальным подарком новому человеку-ящику. В первое время, наверно, хорошо бы иметь транзисторный приемник. Если выработается, как у меня, иммунитет против яда новостей, тогда другое дело, но пока не привыкнешь, временами испытываешь непреодолимое чувство одиночества...

— В самом деле, есть хоть малейшая надежда, что твое выстиранное белье высохнет наконец?

— Только что кончился дождь, и воздух пропитан влагой. Но все равно белье уже почти сухое, и когда к утру направление ветра переменится, оно моментально высохнет.

— Выходит, у тебя там еще темно?

— Как раз сейчас на горизонте что-то сверкнуло. Наверно, подходит судно, промышляющее каракатиц. Это его время. Значит, вот-вот рассветет.

— Белье, говоришь, уже почти сухое — нечего привередничать, надевай его и все. Когда, бывает, немного обмочишь трусы — потерпишь, они и высохнут естественным образом. Поторапливайся, а то нам надоест тебя ждать.

— Я немного простужен. Может быть, оттого, что недоспал, меня знобит, а ноги почему-то горят... Зарыл ноги в песок — почувствовал себя лучше... Но стало еще холодней... Слишком долго стоял под душем — это несомненно. На прошлой неделе, когда я пришел сюда, рана болела нестерпимо, поэтому мне и в голову не приходило помыться, а вот сейчас я решил смыть наконец с себя трехлетнюю грязь... Смылил целый кусол душистого мыла. Ты бы посмотрел, какой кусок мыла. Изготовленного по особому заказу... Лучше сказать, оно так и просилось, чтобы из него что-нибудь сделали. Всю эту неделю я о многом передумал и поэтому... даже попытался вырезать из него женское тело. Обыкновенное женское тело... Хотел сделать похожим на ее тело, но мне это оказалось не под силу. Получилась не женщина, а какая-то лягушка, хотя я стремился к предельной реалистичности. Да, мыло было удивительно приятной формы, с торговым знаком, подтверждающим его высококачественность. Сначала я долго стоял под душем, потом, намылив вместо губки трусы, стал изо всех сил тереть себя. Тщательно, до боли, скреб себя ногтями и снова стал под душ. Так я повторил четыре раза, пока с меня не полилась совершенно чистая вода. После четвертого раза волосы распушились как пена. Пора было заканчивать мытье. Я ожидал, что у меня будет ощущение, точно я вожу рукой по отполированному стакану, как это бывает после долгой ванны... Ничего подобного... Я извел все мыло, устал так, что не мог шевельнуть рукой, тело саднило, будто с него содрали кожу... Ощущение такое, точно меня вывоpотило... Действительно, глупо было надеяться, что с трехлетней грязью удастся справиться одним куском мыла. Видимо, оставил только кости, превратившиеся в окаменевшие комья грязи... Когда я снова выполз на песок, над головой послышался звук, будто на меня летит самосвал, груженный галькой. Чепуха, это работал насос. Вот в чем дело — спростоволосился я,— вода-то соленая, из колодца, вырытого прямо здесь, на берегу. Так что хоть еще три года мойся, хоть кожу сотри до костей, мыло здесь не поможет...

— Интересно, что наступает раньше — усталость, когда сам болтаешь, или усталость, когда слушаешь болтовню?

— Вот ты как? Наконец-то я понял, что ты собой представляешь. Ты решил, что я слишком бесцеремонно обращаюсь с фактами, выдавая обыкновенный вымысел за правду. Но ведь только от того, что тот или иной факт не является вымыслом, ранг его

не повышается. Да и сам этот процедурный кабинет, включая вас двоих,— это ведь записи на стенках моего ящика. Обыкновенные записи. Сидя в своем ящике, ты даже представить себе этого не можешь — вот в чем разница между настоящей вещью и подделкой. Убежище на одного человека, где я сейчас обитаю, осматриваясь по сторонам... Никто меня не видит, и поэтому мне не нужно притворяться — на моем лице написано все... Стенки моего картонного ящика, продубленные потом и дыханием, сплошь испещрены моими записями... Это мои мемуары... Там есть и схемы улиц, где можно добыть еду, и сделанные на память заметки... Есть рисунки и цифры, значения которых я и сам не понимаю как следует... В общем, здесь собраны самые нужные сведения.

— Сколько сейчас времени на твоих часах?

— Пять... без восьми минут...

— А начал ты писать свои записки точно в три часа восемнадцать минут. Противные часы. Они показывают, что с того момента прошел всего один час тридцать четыре минуты.

— Тебе бы не мешало помнить, что это всего лишь мои записки. Ты считаешь, что я слишком привязан к ящику? В тот миг, как я по твоему совету разделаюсь с ящиком, исчезнут и эти записки, а вместе с ними и ты.

— О, ты тоже порядочный оптимист.

— Благодаря тебе я стал к тому же и порядочным самоненавистником.

— Давай подсчитаем. Всего в твоих записках пятьдесят девять страниц. За один час тридцать четыре минуты — пятьдесят девять страниц... Что ни говори, это немыслимо... Сколько раз я предупреждал тебя — не болтай глупостей. Я бы хотел, чтобы ты вспомнил свой прежний опыт. Сколько в среднем страниц ты можешь написать за час? В среднем и страницы не напишешь. Даже когда пишешь с невероятной скоростью, самое большее напишешь четыре страницы. Но это уже будет совершеннейшая мазня.

— Нет, иногда я писал и побольше.

— Хорошо, давай считать пять страниц в час, согласен? Разделим пятьдесят девять на пять и получим одиннадцать и в остатке четыре... Одиннадцать часов пятьдесят минут, верно?.. Округлив, получим двенадцать часов. То есть еле-еле можно уложиться в двенадцать часов, строча беспрерывно, не отрываясь на то, чтобы попить и поесть. Значит, если ты начал писать в три часа ночи, то не мог бы закончить работу раньше трех часов дня.

— Прости, но это мои записки. И я волен был писать их так, как мне заблагорассудится.

— При определенных обстоятельствах это возможно. Например, если бы ты, не знаю с какой тайной целью, решил писать вздор. Или если бы более двадцати четырех часов ты находился в бессознательном состоянии. Или же если бы произошла невиданная катастрофа, в результате которой вращение земного шара замедлилось. Но чем договариваться до такого, лучше вообще выдвинуть совершенно другую гипотезу. Нет никакой необходимости считать автором записок именно тебя. Кто мешает предположить, что автор записок не ты, а кто-то другой?

— Хватит придираться. Пишу все это я. Темное побережье, окутанное запахом моря. В туалетной комнате запыленную лампочку без абажура, висящую у меня над головой, будто дымом, заволокла крохотная мошкара. Вдруг по ящику что-то застучало, точно брызнуло дождем, и я понял, что эти насекомые крупнее, чем я предполагал. Сейчас я зажал в зубах сигарету... зажег спичку... ее пламя осветило мои голые колени... приблизил огонек сигареты к коленям... почувствовал тепло... В любом случае это факт несомненный. Если бы я сейчас здесь перестал писать, то не появился бы следующий иероглиф, следующая фраза.

— ...Возможно, пишет кто-то другой в каком-то другом месте.

— Кто?

— Например, я.

— Ты?

— Да, не исключено, что пишу именно я. Не исключено, что пишу я, представляя себе тебя, который пишет, представляя себе меня.

— Для чего?

— Может быть, для того, чтобы обличить человека-ящика, ты хочешь создать впечатление, что он существует в действительности.

— Но результат же будет прямо противоположным. Если считать автором тебя, то человек-ящик сразу же превращается в продукт твоей фантазии.

— В таком случае, возможно, для того чтобы доказать, что человек-ящик — вымысел, ты хочешь создать впечатление, что он не существует в действительности.

— Я так и предполагал, что ты подумаешь нечто подобное. Но сколько бы ты ни хитрил, ничего этим не добьешься. У меня есть неопровержимые вещественные доказательства. Перед тем как вступить с тобой в переговоры, мне, наверно, следовало заранее предостеречь тебя. Если бы ты знал, что я кое-чем запасся, то не смог бы вести себя так неосмотрительно... Нет, я не собираюсь использовать это во зло. Если бы собирался сделать это, то сделал бы давно... Но советую — проявляй на переговорах добрую волю. А вещественное доказательство я могу передать тебе в любое время.

— Весьма любезно, но я представить себе не могу, на что ты намекаешь.

— Оставь меня в покое, и так я все время недосыпаю и поэтому весь взвинчен. Так и быть, скажу. Кто стрелял в меня из духового ружья? Вот здесь все точно запечатлено.

— Ну и что же? У очень многих есть духовые ружья. Хорьки повадились в курятники, просто беда с ними.— Неожиданно она повторила фразу, которую я от нее уже слышал. Я поразился — значит, время все-таки шло. Я не хотел обижать ее, но нельзя было допустить и того, чтобы она держала сторону лжечеловека-ящика.

— Сожалею, но существует неопровержимое доказательство. В ту самую секунду, когда в меня выстрелили, я по профессиональной привычке спустил затвор. Я проявил пленку в тот же день. Снимок получился прекрасный. Человек, правда со спины, прижав к боку духовое ружье и согнувшись в три погибели, чтобы спрятать его, убегает вверх по крутой дороге. Специфическая стрижка, костюм, сшитый на заказ, чтобы скрыть сутулость, помятые брюки, хотя и из дорогого материала, и, наконец, своеобразные полуботинки типа мокасин...— Я резко меняю тон и обращаюсь к ней одной: — Давай поиграем в сообразительность. Стрижка, по которой видно, что человеку не приходится считаться с окружающими, что он материально обеспечен, что ему много приходится сидеть, что его работа связана с частым надеванием и сниманием туфель... Что бы ты подумала? Вопрос не такой уж трудный. Любому на ум сразу же придет врач, принимающий больных. И к тому же крутая дорога на фотографии проходит рядом с соевым заводом, здесь, внизу...

Тут обстановка резко меняется. Лжечеловек-ящик, тот самый лжечеловек-ящик, который до сих пор стоял спокойно и бесстрастно, как корзина для бумаг, у которой выросли ноги, издал какой-то отвратительный звук и качнул своим ящиком. Полиэтиленовая шторка, прикрывающая окошко, разошлась, и оттуда высунулась длинная палка. Духовое ружье. Оно было наведено на мой левый глаз.

— Перестань...— одернул я его шутливым, беззаботным тоном.— Я страдаю боязнью тонких длинных предметов — это моя слабость...

— Отдашь пленку?

— Я и не собирался приносить ее сюда. Это же единственное, что дает мне возможность говорить с тобой на равных.

— Обыщи его,— резко приказал ей лжечеловек-ящик.

Она колеблется. Умоляюще смотрит на меня. Скрещивает на груди руки, стараясь поправить сзади воротник, и, теряя устойчивость, наклоняется вперед. Полы белого свежевыглаженного халата (когда она успела снова его надеть?) расходятся. Он застегнут на одну верхнюю пуговицу. Халат надет на голое тело. Я это предполагал, но все же был застигнут врасплох. Нагота под халатом еще более откровенная, чем просто нагота. Халат выглядит не халатом — он превратился в торжественное облачение, в котором совершают жертвоприношение. Напряженная изогнутая поверхность, испытывающая внутреннее давление, соблазнительна — она напоминает какой-то механизм, с которым неизвестно как обращаться. Только маленький подбородок и округлая нижняя часть живота выглядят по-детски беззащитными. Я копаюсь в своей памяти. Пере-

ворачиваю в ней все вверх дном, будто роюсь в чужом чемодане. Чтобы сохранить устойчивость, она выставляет вперед левую ногу. В ту же минуту поле зрения сужается и во мне пробуждается боевой дух. Причины я и сам не могу понять.

— Хорошо. Я сам это сделаю, можешь не затрудняться.— Я иду к вешалке у двери, раскрываю тот самый вещевой мешок, которым пользуются при восхождении на гору (возможно, он был куплен еще во времена американской оккупации), и достаю игрушечного крокодила.— Во всяком случае я понял, что передо мной у вас совесть нечиста. Это видно с первого взгляда. Мне сразу показалось, что слишком уж сладко вы поете...

Игрушечный зеленый крокодил, которого я вынул, был длиной около полуметра и шириной шестнадцать сантиметров, с красной разинутой пастью, коричневатыми бугорками на спине и на концах лап, с белыми пластмассовыми глазами и клыками. Кто бы ни увидел эту наивную непритязательную игрушку, испытывал странную опустошенность. Не вызывая болезненного страха, как у детей, эта игрушка лишь парализует у взрослых враждебные намерения. Конечно, это была не обыкновенная кукла. Это была дубинка, изобретенная мной в расчете на ее психологическое воздействие. Дубинка была не игрушечной, а прославленным орудием убийства, к которому любит прибегать мафия и тайная полиция. Я вытряхнул из куклы опилки и губку, которыми она была набита, и обычно носил ее с собой как пустой мешок. Но сегодня утром, предчувствуя недоброе, набил морским песком. Достаточно взять крокодила за хвост и покрутить им над головой — любой испугается. Если стукнуть как следует, можно свободно проломить череп. Я, естественно, не собираюсь нападать с таким ожесточением. Удобство дубинки в том и состоит, что, не оставляя почти никаких следов, ею можно нанести смертельный удар. После этого лучше всего вынуть затычку в животе крокодила и высыпать песок у какого-нибудь двора. И в случае чего никому и в голову не придет, что обыкновенный тряпичный мешок послужил орудием убийства.

И вот, нехотя, делая вид, что показываю лжечеловеку-ящику тряпичного крокодила, я что было сил снизу вверх ударил по ружейному стволу. Удар получился немыслимой силы — видимо, благодаря резкости. Ружье врезалось в верхний край окошка, и ящик подпрыгнул. Послышался яростный стон застигнутого врасплох врача. И, одновременно, звук выстрела — будто гвоздем прокололи автомобильную шину. Пуля полетела к потолку, но я не слышал, как она стукнулась в него. Я рванул к себе ружье. Врач, не сдаваясь, высунул руки из окошка и с неожиданной силой вцепился мне в правую щеку, как в лепешку. Крокодилом, набитым песком, я ударил его по ногам. Послышался тяжелый чавкающий звук — точно топор вгрызся в живое дерево. С воплем врач отдернул руку. Меня бросило в пот от этого нечеловеческого вопля, в котором смешались все гласные звуки. Чтобы заставить его замолчать, я замахнулся, пытаясь через ящик стукнуть его по голове, но заколебался. Пожалел ящик. Я стал бить его по ногам, теперь уже расчетливо (мне неинтересно, чтобы он остался здесь из-за того, что я переломал ему ноги), и врач, сжавшись в своем ящике, снова превратился в корзину для бумаг. Из ящика слышался лишь звук, какой издает водопровод, когда выключают воду,— даже представить было невозможно, что там спрятался человек. Я впервые стал смотреть на ящик с полным безразличием. Проникающие сквозь окно слабые солнечные лучи — еще только десять часов утра,— залив выкрашенные известью стены, наполняют комнату, и ящик выглядит вырытой в ней норой.

И если даже сейчас пишу эти записки не я (я тоже не могу не признать отмеченное лжечеловеком-ящиком временно́е противоречие), то независимо от того, кто их пишет, рассказ движется, кажется мне, предельно бестолково. Во всяком случае, следующая сцена могла бы быть только такой. Я оборачиваюсь и смотрю на нее. Какую позицию по отношению к ней должен избрать пишущий? В зависимости от ее реакции волей-неволей придется решать, что я приобрету и что потеряю, порвав с ящиком. Например, встретит ли она меня, расстегнув пуговицы своего белого халата или в полном одеянии... Нет, пуговицы не могут служить критерием... Не исключено, что она забудет застегнуться от испуга, или, наоборот, совсем не исключено, что она будет застегнута на все пуговицы, стремясь встретить меня торжественно, не упрощая цере-

монии их расстегивания. Находясь в двух с половиной метрах от нее, я, несомненно, смогу уловить выражение ее лица. Если на ее лице будет разлит покой, которого не скрыть, даже когда оно напряжено, значит, между ею и врачом полный разрыв и я спас ее от тирании и притеснений врача, если же она, напротив, будет испугана, значит, они с самого начала были сообщниками и я чудом уцелел...

Ну, хватит. Все это глупость, о которой и говорить не стоит. Хуже всего не то, что рассказанная мной история звучит неубедительно, а то, что она звучит слишком убедительно. Действительность, подобно мозаичной картине с недостающими кусками, фрагментарнее, не такая плавная. Все-таки какой ему смысл, утверждая, что я, возможно, не я, до сих пор оставлять меня в живых? Я, наверно, повторяюсь — человек-ящик идеальный объект для убийства. Будь я на месте врача, я бы сразу угостил своего гостя чашкой чая. Для человека его профессии влить туда каплю яда ничего не стоит. Или же... А вдруг... он напоил меня такой чашкой чая? Не исключено. Вполне возможно. В самом деле, нет никаких доказательств, что я еще жив.

(Окончание следует)

Литературное наследие

ТРИСТАН КОРБЬЕР

Перевод с французского и вступление
МИХАИЛА КУДИНОВА

«Старшим братом Артюра Рембо» назвал его Поль Верлен, который первым открыл никому не ведомого поэта по имени Тристан Корбьер. Правда, он тут же оговорился: «Старший — это не значит больший». По-видимому, Верлен считал их равными или почти равными по таланту, но когда он выступил в печати со своим открытием, это сравнение Корбьера с Рембо мало что говорило уму и сердцу читателя: Рембо в то время был известен только очень узкому кругу литераторов, его мировая слава была еще далеко впереди. Так же, как и слава Корбьера, который в наше время признан одним из крупнейших поэтов XIX века. Теперь во Франции его имя называют в одном ряду с такими именами, как Нерваль, Бодлер и Рембо. Его творчеству посвящают обширные монографии (причем не только во Франции, но и за рубежом), а его единственная книга «Желтая любовь» постоянно переиздается.

Корбьер умер в 1875 году. Небольшая книжка Верлена «Про́клятые поэты», благодаря которой и был открыт Корбьер, вышла почти через десять лет после его смерти и в первом издании состояла из трех очерков, посвященных трем поэтам: Корбьеру (на первом месте), Рембо и Малларме. Выражение «про́клятые поэты», впервые прозвучавшее в этой книге, получило впоследствии широкое распространение, и его стали сочетать (иногда без достаточного на то основания) с другими именами. Но у Верлена оно значило только одно: неизвестные или малоизвестные и вследствие этого непризнанные поэты — в этом смысле Корбьер по праву занимал первое место.

«Желтая любовь» вышла в свет ничтожным тиражом в 1873 году, то есть за два года до смерти Корбьера, а второе издание появилось только в 1891 году. Корбьером стали интересоваться, преимущественно в литературной среде, хотя отзывы о его творчестве были сдержанны и противоречивы. Фактически к широкому читателю новые переиздания книги дошли в двадцатые годы нашего века, то есть тогда же, когда по достоинству оценили поэзию Артюра Рембо и Жерара де Нерваля.

Эдуар-Жоакен Корбьер родился в 1845 году в Бретани, недалеко от города Морле. Тристан — его литературное имя. Отец будущего поэта Эдуар-Антуан Корбьер был незаурядной личностью и довольно известным литератором. В юности он служил в наполеоновском флоте, в 1812 году попал в плен к англичанам, в годы Реставрации, выйдя в отставку, основал в Бресте либеральный журнал, в котором выступал против правления Бурбонов. За нападки на правительство и церковь Эдуар-Антуан был посажен в тюрьму. По выходе на свободу его снова потянуло к морю — он стал капитаном торгового судна и шесть лет провел в дальних плаваниях. Его вольтерьянство и атеизм

отлично уживались с духом авантюризма и предприимчивости. Расставшись с морем, он выпустил в свет несколько романов, лучшим из которых считается «Невольничье судно». Обосновавшись в Морле и заняв пост председателя торговой палаты, он в пятьдесят с лишним лет женился на восемнадцатилетней девушке, ставшей матерью его троих детей. Тристан Корбьер был его первенцем. Личность отца, его взгляды и морские романы, видимо, оказали на Корбьера определенное влияние, о чем можно судить и по стихам поэта, и по тому посвящению, которое предпослано его книге: «Автору «Невольничьего судна»

Детство Тристана Корбьера прошло в обеспеченной и благополучной среде. Известно, что он рано стал увлекаться литературой и проявлял способности к рисованию. Родители определили его в лицей, но учение не было доведено до конца: Корбьер тяжело заболел и вынужден был прервать занятия. Видимо, подозревали чахотку. Мать увезла его на юг, к Средиземному морю, но больному лучше не стало. По совету врача они вернулись в Бретань. Там, в нескольких километрах от Морле, на берегу океана, в поселке Роскоф у отца Корбьера был дом, где и поселился больной юноша.

Он мужественно боролся со своим недугом. Рухнула его давняя мечта стать моряком и увидеть дальние страны. Но в конце концов, несмотря на болезнь, он сумел приучить себя к одиноким морским прогулкам на подаренной ему отцом одномачтовой яхте, которую он окрестил «Невольничьим судном». Длинный, худой, с необычайно бледным лицом, он вскоре превратился в местную достопримечательность. За глаза его стали называть «ан анку» На бретонском диалекте это значило: призрак смерти. Считая себя уродом, он всячески старался подчеркнуть свое безобразие и при случае смущал обывателей эксцентричными выходками. Но это была показная сторона его существования. Он много и жадно читал и внимательно приглядывался к жизни местных рыбаков и матросов. Он восхищался их мужеством и горячо сочувствовал их тяжелой доле. Личное несчастье как бы породнило этого отпрыска состоятельной семьи с его обездоленными земляками. Поэзия для него из детского увлечения превращалась в подлинное призвание.

Известно, что у Корбьера были дружеские связи с молодыми художниками, наезжавшими в Роскоф из Парижа, и сам он был способным рисовальщиком. В конце 1869 года он с двумя своими приятелями-художниками совершил путешествие в Италию. Два года спустя Корбьер познакомился в Роскофе с одной итальянской актрисой и полюбил ее. Через год он последовал за нею в Париж и поселился на Монмартре. Отношения с итальянской актрисой, которую в своих стихах он называл Марселлой, складывались для Корбьера мучительно: она была близка с другим человеком. Полный неуспех его книги, которую в 1873 году он издал за свой счет (вернее, за счет своего отца), кажется, не очень его обескуражил. Он продолжал работать и мечтал создать новую книгу. Приступ болезни прервал все его планы. Мать увезла его в Морле, где зимою 1875 года Тристан Корбьер скончался.

Книга Корбьера «Желтая любовь» состоит из семи циклов, включающих в себя сто стихотворений. Первыми обратили на себя внимание стихи бретонского цикла и стихи из цикла «Люди моря». Корбьер впервые ввел в обиход французской поэзии Бретань с ее дикой природой и мужественными людьми; а его моряки и обитатели приморья, с их тяжелой работой, с их мыслями и страстями, впервые предстали без романтического покрова в своей суровой будничности, в которой не оставалось места для экзотики. Но и «парижские» стихи Корбьера представляли собой нечто новое и необычное во французской поэзии. Впоследствии критики отказались от этого искусственного деления поэзии Корбьера, при котором его «бретонские» и «морские» стихи противопоставлялись «парижским».

У первых читателей Корбьера его поэзия скорее всего вызвала чувство раздражения: в семидесятые годы прошлого столетия в литературе были еще сильны традиции романтизма, а в поэзии господствовали поэты-парнасцы, стихи которых отличались чеканной формой, описательностью и тягой к экзотике. Семидесятые годы были также отмечены зарождением и формированием символизма. На этом фоне книга Корбьера была похожа на вызов, на своеобразную «пощечину общественному вкусу».

Вместо чеканных строк, выдержанных в канонах классического стихосложения,— прерывистые, неровные ритмы, эллиптические фразы, нелитературные, чисто разговорные слова и выражения. Первое, что приходило в голову критику, воспитанному на романтических и парнасских традициях: «поэт, не овладевший своим ремеслом». В порыве раздражения можно было и не заметить, что, когда поэт находил это нужным, из-под его пера выливались удивительно музыкальные строки, стихи, от начала до конца выдержанные в правилах классического стихосложения.

Таким образом, поэзия Корбьера была явным и полным разрывом и с романтической традицией, и с Парнасом, и со все еще модным «искусством для искусства». Если романтиков и парнасцев привлекали экзотика, далекие страны, красочность стилизованной истории, то Корбьер — весь в современности, он пишет только о том, что видит и знает: о бедах и язвах Парижа, о людях своей родной Бретани, о моряках, бродягах, солдатах, которых он нисколько не приукрашает и не поэтизирует. Придуманные романтическим воображением Италия и Испания, все эти серенады, гитары, благород-

ные идальго и нежные сеньориты, вызывают у поэта язвительную насмешку. Он всегда стремится быть правдивым и часто бывает ироничен. Такова вся его поэзия. В нем странным образом сочетаются ирония и, пользуясь выражением его соотечественников, «горький бретонский пафос».

Тристан Корбьер — трудный поэт, если брать его творчество в целом, а не судить о нем только по журнальной подборке. У него есть и ненужные длинноты, и темные места, и строки, рассчитанные на эпатаж буржуазного читателя. Уже в двадцатых годах нашего столетия один из его исследователей писал: «Сперва он сбивает с толку, даже отталкивает. К нему надо привыкнуть». Так и случилось: французский читатель привык к нему. И не только привык, но и полюбил. Сегодня его непочтительное обращение с правилами классического стихосложения никого не шокирует и не удивляет: теперь поэты и не то себе позволяют. Но наших современников не перестают волновать и трогать его мысли и чувства, его горечь и ирония, его демократизм и уважение к людям труда.

Дневной Париж

Взгляни, как медный чан сверкает в небе ярко!
То милостивый бог извечной занят варкой,
Дежурным блюдом нас он потчует, и вот
В его стряпню любовь подмешана и пот.

Ждут нищие, когда наступит их черед,
Вдыхают запахи прогорклого приварка,
Пьянчуги тоже здесь с протянутою чаркой,
Заморыш, вздрагивая, очереди ждет.

Ты думаешь, для всех жар солнца щедро жарит
Объедки жирные? Всем золото он дарит?
Нет! Капает с небес собачий суп на нас.

Одним лучи, а нам — труб водосточных жижа,
Черны у нас горшки от копоти Парижа,
А есть хотим — нас желчь питает всякий раз.

Из цикла «Париж»

I

Под щелканье хлыста здесь жить;
Кружить в фиакре; за решеткой
Кружить; бессмысленной трещоткой
Трещать... И голову сложить.

Нет, маленький! Чтоб не тужить,
Ты стань большим... С душою кроткой
Бедняк безвестный, надо плеткой
Безвестность и беду крушить.

Всех именем своим пугая,
Заставь любого попугая
Его воспеть иль освистать.

О, музыка! Вот рай, где скоры
На драку боги-сутенеры
И где для гурий — благодать.

Смеешься? Что ж! Познай сомненье
И горечь... О насмешник, пей!
Стакан абсенту! Губы в пене...
Нет, сердце настежь: так верней.

Посмертное произведенье
Из жизни сотвори своей.
Миазмы славы в опьяненье
Вдыхай, томись, любовь убей...

Ну что еще? Довольно бредней!
Уйди! С тобою друг последний —
Твой пистолет с пустым стволом.

Или останься. Будь в порядке.
И жизни допивай остатки
За необслуженным столом.

Падение

Как был хорош собой! Как юность в нем бурлила!
Он жить спешил... Гоп-ля! И улыбался мило.
Как весело терял он голову порой!
Как часто уходил с поникшей головой!

В те дни он был Ничто... Но, ничего не знача,
Теперь он стал другим: пришла к нему Удача;
Зато улыбка с губ исчезла у него:
Он знает, чем платил и как достиг всего.

Он ожирел душой, привержен к низкой прозе,
В пальто укутанный, не мерзнет на морозе,
Верхами признанный, вознесся высоко;

И славою своей, как трауром, покрытый,
Идет он конченый, банальный, знаменитый..
Хоть вам он незнаком, узнать его легко.

Старый Роскоф

КОЛЫБЕЛЬНАЯ В НОРД-ВЕСТ МИНОРЕ

Гнездо пиратское! Нора
Корсара! В неуемных шквалах
Ты сном гранитным до утра
Спишь на сырых своих подвалах.

Ты спишь под бризом, как при штиле,
Твой длинный рог гуманы скрыли,
У ног твоих — прибоев след.

Спи! В праве он теперь закрыться,
Твой глаз кривого, что косится
На англичан три сотни лет.

Спи, старый остов на приколе!
Бакланы, эти барды бурь,
Когда начнет светлеть лазурь,
Тебе споют о дикой воле.

Матросов старая любовь,
Спи! Опьянить не сможет вновь
Тебя прибой, чей пояс пышный
Сверкал в ночах твоих хмельных,
В ночах кровавых, огневых...
Спи! Звона золота не слышно.

Где имена парней лихих,
Искавших славы непреклонно?
Безумно море... Слава их —
Плевок из пасти мушкетона.

Где флаги, что со всех сторон
Твой рвали в клочья небосклон?
На дюнах спишь ты, и свинцово
Нависло небо. Ядер вой
Над колокольнею немой
Не будет раздаваться снова.

Спи! Чуть слышны в лачугах вздохи
Твоих детей, их сны легки:
Вздыхают юнги-старики,
Осколки сказочной эпохи.

И, вся луной изъязвлена,
Чугунная спит пушка тоже;
Тяжелым, ржавым сном она
Спит в рытвине, на брюхе лежа.

Ну что же, спи! И на ветру
Храпи, нацелив пасть свирепо
На англичан... Обвил нелепо
Тебя морской камыш в цвету.

Растерянность

Как истинный поэт, стихов он не имел.
Мертвец, он день любил и презирал стенанья.
Художник, он забыл искусство рисованья:
Все видеть — слепота. А видеть он умел.

Бесплодный фантазер, в мечту он погружался,
Но форму ей придать отнюдь не собирался,
Чтоб не раскрыть себя, не обнажить свой тыл.

Романа персонаж, он был влюблен в брюнетку,
Которая была блондинкой — что нередко.
Он видел, но молчал: он слишком занят был.

Здесь, где так тяжек труд, искатель неуемный,
Он на трудяг взирал с высот души огромной,
И тех, кто хорошо трудился, он жалел.

Идеи рудокоп, свой лоб он скреб и темя,
Чтоб обнаружить прыщ или помочь проблеме
Прийти в движение. Такой уж был удел.

Он говорил не раз: «Бесплодна ваша Муза,
Дочь проституции и праздности она.
В семейном чреве ей не продохнуть от груза
Производителя, чья взмылена спина.

О вы, кто портит все! О каменщики мысли!
Вы, прикоснувшиеся к Музе невзначай,
Едва пришел рассвет — и вы уже раскисли,
Но лжете простакам, что дали ей на чай.

Она царапалась, как тонущая кошка,
Вы рвали крылья ей, чтоб только обладать
Пером обломанным или урвать немножко
Волос, которые могли бы кистью стать».

Он говорил не раз: «О, детскость Океана!
Здесь ни поэтов, ни художников. Но странно,
Что кто-то рисовал и кто-то песни пел,
Пел и в палитру бил, как в кожу барабана,
И рисовал своей свирелью неустанно...
Искусство это?»
Он, под всхлипы урагана,
Свое тщеславие здесь утопить хотел.

Юнга

— Кто, юнга, твой отец? — На свете
Уж нет его. Он был рыбак.
Уплыл однажды на рассвете
И сгинул в море. Вот ведь как.

У матери остались дети.
Два малыша. Запас иссяк.
Теперь уж я за них в ответе:
Нельзя без хлеба им никак.

— Скажи, хоть что-нибудь вернули
На берег волны после бури?
— Футляр от трубки и башмак.

Мать плачет все. Не свыклась с горем.
А я... я поквитаюсь с морем:
Как только подрасту — моряк!

Конец

О, сколько было их! Матросы, капитаны,
Что плыли весело в неведомые страны,
За сумрачной чертой исчезли навсегда...

(В. Гюго. «Осеапо пох»)

Да! Эти моряки — матросы, капитаны —
Навек поглощены пучиною морской...
Беспечно в дальние они уплыли страны,
Но так же встретили и час последний свой.

Что ж! Это ремесло такое. Умирали
В плаще и в сапогах... С морской водой мешали
Свой бужарон... А смерть... Не все пред ней равны.
Пусть только с вами спит, пусть будет вам женою,—
Они же целиком поглощены волною
Иль шквалом сметены.

Шквал... Разве это смерть? То паруса зловеще
Бьют по воде, что вдруг им преграждает путь.
Удар свинцовый. Треск. По волнам мачта хлещет.
И называется все это так: тонуть.

Тонуть... Постигли смысл? Смерть ваша будет бледной
В сравненье с бурею, трубящей в рог победный,
В сравненье с горькою улыбкой моряка,
Что борется с волной... Простерлась мгла над ними...
Смерть — это просто смерч: лишь изменила имя
Она слегка.

Утопленники? Нет! Те в пресных водах тонут.
А эти — вплоть до юнг — идут в бездонный омут,
И на устах у них проклятье, а не стон;
И как плевок в лицо — предсмертный хрип; и с пеной
Настой соленый пьют, как пили свой отменный
Матросский бужарон.

Ни крыс кладбищенских, ни холмиков с крестами...
Там их акулы ждут... Матросская душа
Не в клубнях и корнях — слилась она с волнами,
В любой из них дыша.

Смотри: колышется поверхность океана,
Как похотью снедаемый живот
Продажной женщины, наполовину пьяной...
Но ты не видишь их во мгле соленых вод.

Ты слышишь рев глухой? То буря в океане.
То годовщина их, что длится круглый год.
Оставь же при себе, поэт, свои стенанья:
Им ураган отходную поет.

Пусть в девственный простор уносит их теченье,
Зеленых и нагих...
Ни гроба, ни свечей, ни слез, ни песнопений...
Земные выскочки, вам дела нет до них!

Ярмарочная сказительница и паломничество к Святой Анне

(Ля Палюд, 27 августа, день Паломничества)

ФРАГМЕНТЫ

Бесплодный берег океана.
Все голо — как морская гладь.
В часовне ждет Святая Анна,
Чтоб утешать и ободрять.

Она добра, святая эта,
И внуком Иисус ей был;
Теперь она в парчу одета,
А деревянный торс подгнил.

С ней рядом маленькая Дева
Сидит с веретеном своим;
Иосиф скромный в угол слева
Забился: свят он, но не чтим.

Паломники... По травам тощим
Они шагают. Шум и гам.
Святая Анна — радость тещам
И утешение мужьям

Из всех приходов, без оглядки,
Из Плугастеля Лок-Тюди,
Идут, чтоб здесь разбить палатки:
Три дня, три ночи впереди.

Три странных дня три ночи странных,
Так повелось уж с давних пор,
Хор ангельский и песня пьяных
В один сливаться будут хор.

. . . . . .

Но вот пронзительная нота,
Трепещущий под ветром звук
Возник. И блеющее что-то
Чистилище притихло вдруг.

В толпе подобье человека
Стоит и воет у креста...
На юбке — грязь. Запало веко:
Глазница мертвая пуста.

Кто это? Ярмарок рапсоды
Сродни ей: за один лиар
В их песнях страсти, и невзгоды,
И Вечный Жид, и Абеляр.

И длинные, как день без хлеба,
Как стоны голода в ночи,
Те песни под открытым небом
Вслед за собой она влачит.

Поет, как дышит,— словно птица,
Но нет ни перьев, ни гнезда;
Близ каменных крестов кружится,
Влечет инстинкт ее всегда.

И может думать, и немного
Порою может говорить,
И вечно перед ней дорога,
А есть два су — спешит пропить.

Да, женщина она! И юбка
Висит лохмотьями на ней,
В гнилых зубах зажата трубка
Потухшая. Но так теплей.

Как звать? Зовется Нищетою!
На свет случайно рождена,
Бездомная, порой глухою
Покинет этот мир она.

Поэт, коль встретишься ты с нею,
С бредущей вдаль издалека,—
Она сестра нам, будь добрее:
Дай ей немного табака.

Лицо, где кожа лишь да кости,
Вдруг озарит улыбки свет,
И бледная рука в коросте
Благословит тебя, поэт.

Жаба

Звук песни в духоте ночной...
Металл, разбрызганный луной,
На листьях оставляет знаки.

Звук.. Словно эхо, что живьем
В земле погребено... Идем!
Смелее! Это там, во мраке.

— Ой, жаба! Прочь уйдем! — О нет!
Я рядом. Страх отбрось напрасный.
То соловей болот...— Ужасно!
Поэт бескрылый...— Ужас! Бред!

Бред? Почему, любовь моя?
Взгляни: в глазах у жабы пламень.
Нет, уползла она под камень:
Прощай... А жаба — это я.

Сонет сэру Бобу

псу легкомысленной женщины,
чистокровному английскому сеттеру.

Когда я вижу, пес, тебя с хозяйкой вместе
И ты к ней ластишься, я зарычать готов...
Причина? У меня, скажу тебе по чести,
Совсем хозяйки нет, и сам я не из псов.

О Боб, счастливый Боб! Да на твоем бы месте
Я выл от радости, ее услышав зов!
Но чистых ты кровей, а я из жалких бестий
С христьянской примесью, наследием отцов.

Давай меняться, Боб! Я так обмен рисую:
Тебе — мои стихи, мне — шерсть твою густую,
Шерсть вместе с блохами или без них, чтоб стал

Я сэром Бобом вдруг... Она меня б ласкала,
Дворняг бросало б в дрожь от моего оскала,
И с именем Ее ошейник я б таскал.

Гитара

Могу свернуть влюбленность эту,
Как сигарету;
Взять блюдо — и в рулон свернуть,
Девиц — в обертку завернуть.

Не бойся верности унылой:
Я не двуногий, я двукрылый;
Сова любви, исчезну я
При свете дня.

Психею знаешь? А Меркурий
Тебе знаком? В моей натуре
Все, что присуще было им.
Но я незрим.

Тебя перед зарей-невежей
Оставлю я такой же свежей,
Как в яслях Иисус-дитя...
Уродлив я!

Могу спалить, как сигарету,
Влюбленность эту,
Могу обертку я спалить,
Девиц на блюдо положить.

Часы

Бродяге — щедрость подаянья!
Злой взгляд — в ответ на злобный взгляд!
На нож убийцы — нож и яд!
Сегодня в сердце ад и нет в нем состраданья.

Я из Памплоны сумасшедший,
Мне страшен смех луны взошедшей,
Луны, надевшей черный креп...
Огни потушены. О ужас! Мир ослеп.

Я слышу, как в ночи скрежещут
И бьют часы: удар зловещий
Скатился в пустоту... Удар... Удар опять.

Четырнадцать их в ночь упало.
Слезами стало... Ты устало,
Ты плачешь, сердце... Пой! И перестань считать.

Рондель

Спи, похититель искр: уже совсем стемнело.
Нет ни ночей, ни дней, сливаются года.
Спи в ожиданье тех, чьи губы то и дело
Твердили: никогда! Твердили: навсегда!

Ты слышишь их шаги? Уходят кто куда.
Есть крылья у любви: вспорхнет и улетела.
Спи, похититель искр: уже совсем стемнело.

Ты слышишь голоса? Или журчит вода?
Спи! Иммортелей груз не тягостен для тела.
Глух подземелья мрак, и не придут сюда
Медведи верные с их дружбой неумелой...
Спи, похититель искр: уже совсем стемнело.

■

Критика

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЕ ВАНДАЛЫ

Египетский музей в Берлине. Налеты американской авиации во время второй мировой войны разрушили его почти до основания. А в студенческие годы я не раз любовался в его залах прекрасной Нефертити и ее дочерью Тийей — творениями древнеегипетского скульптора Тутмоса. Над фасадом музея золотом горели буквы латинской надписи: Artem non odit nisi ignarus — лишь невежда ненавидит искусство. Сколь часто впоследствии, брошенный по приказу гитлеровских палачей на одиннадцать лет за колючую проволоку, я повторял про себя эти слова, слыша о том, как объявляют вне закона и сжигают произведения Томаса Манна и Генриха Гейне, как продают за океан собранные в бывшем дворце кронпринца чудесные полотна современной живописи, чтобы получить валюту на приобретение оружия, которое опустошит Европу; слыша, как гестапо преследует, пытает, уничтожает европейских писателей и поэтов.

Настал день, и все это — благодаря героизму советских людей — кануло в бездну истории, кануло навечно, и в 1945 году судьба вновь привела меня к той надписи. Буквально все вокруг лежало в развалинах, и только латинская надпись сияла, как прежде, и сияет по сей день: Artem non odit nisi ignarus — лишь невежда ненавидит искусство. Я много раз видел ее, но прежде, читая эти слова, воспринимал их как нечто заурядно-избитое и просто ненужное. Теперь же они внезапно поставили передо мной множество жгучих вопросов. Неужели действительно есть люди, ненавидящие искусство? Можно ли на самом деле ненавидеть искусство? Что происходит в умах и сердцах ненавистников искусства? Как могло случиться, что не где-нибудь, а именно на земле Гёте и Шиллера сумели захватить власть ненавистники искусства? На некоторые из этих вопросов я и поныне не в состоянии дать удовлетворительный ответ. Как же можно ненавидеть *само* искусство? Убивать его создателей? Разрушать музеи? И в то же время приказывать беспрерывно исполнять Вагнера и свозить со всей Европы награбленные художественные сокровища? Что творится в душах таких людей? Я помнил, конечно, о византийских иконоборцах VIII века, о протестантских фанатиках века XVI, помнил, что пекинские императоры веками держали под запретом и объявляли вне закона великолепный роман Ши Найаня «Речные заводи», написанный в XIV столетии, помнил и все же пытался заглушить тревогу: ведь всех этих людей поглотило Ничто! История вынесла им приговор, и в 1945 году я весьма наивно полагал, что повториться такое никак не может.

Но вот в 1956 году швейцарский литературовед Вальтер Мушг опубликовал ставшее знаменитым эссе «Разрушение немецкой литературы». Начинается оно словами: «Вздумай кто-нибудь лет тридцать назад, скажем в 1920 году, предсказать, что немецкая литература окажется в нынешнем состоянии, его сочли бы глупцом». Могут возразить, пишет далее Мушг, что подобные жалобы и обвинения запоздали или, наоборот, преждевременны, так как с прошлым-де покончено, а современность историка якобы не касается. Ответ Мушга таков: *события, которые имеются в виду, еще не закончились*. И теперь я задаю себе вопрос: не слишком ли я поторопился в 1945 году со своей оптимистической верой? В самом ли деле нет сейчас людей,

ненавидящих искусство? Так ли уж беспредметно предостережение Мушга? Уверенности сорок пятого года я более уже не могу себе позволить. Правда, с гитлеровскими головорезами было покончено, и Страна Советов, коммунистическое движение превратились в определяющий фактор нашей эпохи, стали главным компонентом всемирно-исторического процесса. Это во-первых. А второе — и легкомысленно было бы не видеть этого,— второе заключается в том, что нынешний вандализм ополчился не просто против демократической и социалистической литературы, как некогда Коричневый дом на Изаре, но против *литературы и искусства вообще*. Чудовищно гипертрофированный призыв к уничтожению всякого искусства и литературы! И насколько опаснее это иконоборчество, коварно маскирующее свою разрушительную работу вывеской фальсифицированных идей Маркса и Ленина и возглашающее, что вся созданная до сего дня литература является особой формой выражения взглядов и интересов эксплуататорских классов, а потому абсолютно не пригодна и даже вредна как средство выражения революционно-социалистического мировоззрения.

Так, на страницах «левого» западноберлинского журнала «Альтернативе» (№ 90) некий Гюнтер Штрак объявил, что «пользоваться литературой для разоблачения противоречий капитала абсурдно». Еще более четко формулирует программу разрушения литературы американский литературовед Жак Эрман, напечатавший в журнале Виргинского университета «Нью литерари хистори» (№ 3, 1971) статью под знаменательным заголовком «Гибель литературы». Он пишет: «Литературе, этой свалке нежных чувств, этому музею «belles-lettres», пришел конец». А что мы читали в 1968 году на стенах университета в Нантере под Парижем? «Искусство мертво — свободу будням!», «Искусство мертво — довольно глодать его труп!», «Искусство — это академический невроз!» Западногерманский журнал «Курсбух-15» — в то время его возглавлял Ганс Магнус Энценсбергер — также постулировал конец всякого искусства. Один из лидеров структурализма, Ролан Барт, достаточно однозначно заявил, что речь действительно идет о *разрушении* искусства («Плезир дю текст»): «Когда искусство скомпрометировано перед историей и обществом, в самих художниках рождается стремление *разрушить* его». А Норман Мейлер зловеще писал 27 октября 1968 года в «Нью-Йорк таймс», что «мы переступили через ту ступень цивилизации, на которой что-то можно еще считать произведением искусства». Говоря о разрушении искусства, Ролан Барт, очевидно, имеет в виду возведенную в абсолют «эстетику разрушения», крестным отцом которой является некий Жан Тэнгле и иже с ним. Наиболее яркое свое выражение она нашла в многократно цитированной надписи, появившейся в Париже во время майских событий 1968 года: «L'art c'est la merde» — «Искусство — это дерьмо». «Дерьмо» — ибо не может непосредственно изменить материальную действительность, не может непосредственно вызвать переворот в соотношении политических сил. Еще несколькими годами раньше, в 1964 году, Ролан Барт в своих «Критических эссе» обозвал литературу «constitutivement réactionnaire», то есть реакционной изначально и по сути! Исходя из бесспорно правильного положения о том, что господствующие классы эксплуататорского общества рассматривали искусство и культуру как орудие классового угнетения и поддержания традиционного соотношения сил, американский филолог Луис Кэмпф утверждает (и при этом мнит себя великим ррреволюционером), что если существующая эстетика коренится в прибавочной стоимости, то в наше время «нельзя позволить ни одному театральному спектаклю идти без перерыва», «на статуи нужно — так он буквально и пишет! — мочиться, а стены пачкать дерьмом» («The New Left», Boston, 1969). Луис Кэмпф — председатель «Модерн лэнгвиджиз ассошиэйшн». По поводу этих modern languages уместно вспомнить высказывание Карла Маркса в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта»: «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса»[1]. После трагедии разрушения немецкой литературы в удавке Гиммлера ныне разыгрывается фарс абсолютного разрушения искусства, да еще вдобавок во имя *истинной* революции под прикрытием фальсифицированных идей Маркса и Ленина, превращаемых тем самым в карикатуру. Что сказал бы Гегель, случись ему узнать, что он со своим пророчеством «конца искусства» угодил в объятия эдаких Луисов Кэмпфов и Жанов Тэнгле? Последний, между прочим, строит саморазрушающиеся машины и именует их вершиной «антибуржуазного» искусства. Кстати, Гегель отнюдь не первый (абстрагируясь от государственно-политического недоверия Платона к этой форме духовного выражения человеческого) с высокомерием всеведущего гносеолога изгонял искусства из райских кущ познания. Враждебность к искусствам, стало быть, имеет известные теоретические предпосылки в буржуазной философии. Однако до разработанной теории, а тем паче до практики разрушения еще весьма далеко. Как от убийства в романе до настоящего убийства.

Но можно ли отмахиваться от нынешней угрозы всемирного вандализма как от пустого фарса (ведь именно так отнеслись многие критики 20-х и 30-х годов к нацистскому варварству)? Уже тот фарс, о котором в 1852 году писал Маркс, был кровавым, и разве можно легкомысленно относиться к этой опасности ныне, когда «лева-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, т. 8, стр. 119.

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС
ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЕ ВАНДАЛЫ

ки» по сути дела подпевают той силе, которая, владея восьмисотмиллионным людским потенциалом, не только уничтожает великую художественную традицию собственной страны под флагом так называемой «культурной революции», но одновременно считает себя вправе от имени якобы истинного марксизма-ленинизма расправляться с художественной традицией Европы. «Музыка Моцарта, Шумана, Бетховена,— безапелляционно объявила 14 января 1974 года пекинская газета «Женьминь жибао»,—прославляет кровавые отбросы капитализма», а в сонате № 17 Бетховена якобы выражает «теоретические воззрения класса капиталистов на человеческую природу». Стало быть, долой Бетховена, Моцарта, Шумана!

Однако палитра мировой стратегии разрушения не одноцветна, не всегда она выступает на сцене столь контрастно, в черно-белом, так сказать, варианте. Главной мишенью артиллерии разрушения — в Китае, равно как и в США и Западной Европе (за исключением, пожалуй, Франции) — является то, что мы давно для себя удостоили титула классической литературы, классического искусства. «Классическую» методику этой фланговой стратегии изложил в сентябрьском номере 1974 года парижский журнал «Этюд жерманик», опубликовав статью некоего Манфреда Виндфура из Дюссельдорфского университета. В свое время профессорско-преподавательский состав этого университета отклонил предложение о присвоении данному учебному заведению имени Генриха Гейне, причем никто из германистов сей alma mater даже не попытался протестовать и тем более не отказался от должности. Господин Виндфур — очевидно, в неуемном стремлении поддержать марку своего печального учреждения — вознамерился, по его собственным словам, «разделаться с понятием классики», притом с поистине германской основательностью, которая ныне, как и 150 лет назад, предполагает «исторический» подход. Этот германский блюститель литературы признает, разумеется, лишь *немецкую* классическую литературу и с самого начала наотрез отказывается уделить хоть чуточку внимания эллинской, арабской, французской или русской классике. Для «исторического», так сказать, подкрепления своих представлений о генезисе понятия классического Виндфур обращается к кому угодно, только не к Гегелю. Между тем именно Гегель впервые попытался выявить историко-системное значение данной эстетической категории и посвятил этому ни много ни мало 85 страниц своей «Эстетики» Правда, если вспомнить о традиционно враждебном отношении позитивистского литературного анализа к философии, то этот факт едва ли может вызвать удивление. «Рыцарь» печального университета Виндфур венчает свое «историческое» определение классического следующей фразой: «Хорошо то, что мертво, а лучше всего — прусское! К этой формуле в конечном счете сводится развитие понятия классики во второй половине XIX века».

Ну до чего же ррradикально и ррреволюционно! За одно это Виндфура стоило бы незамедлительно принять в «орден святого Герострата», если б подобный существовал. А ведь есть еще такой «пруссак» Фридрих Энгельс, который включил понятие классического как признак эпохи в название фундаментального философского исследования именно этой второй половины XIX века. Но наш печальный рыцарь «ррradикализма» не имеет об этом ни малейшего понятия. Равно как и о том, что — опять-таки во второй половине XIX века! — некто Карл Маркс (тоже ведь немец, и уж его-то произведения западногерманский профессор германистики тоже мог бы прочесть!) писал о классических формах искусства, составляющих эпоху в мировой истории, например, об эпосе («Введение к критике политической экономии», 1858). Как мы увидим, этот тезис Карла Маркса отнюдь не «случаен». Напротив, за ним стоит целая философия классического! Предоставлю советскому читателю судить об образовательном уровне профессора литературы, который не знает не то что Маркса и Энгельса, но даже Гегеля и с наивностью свежеиспеченного монастырского послушника совершенно серьезно намеревается «разделаться с понятием классики». «Канонизация писателя как классика,— пишет он,— означает его дисквалификацию как живого автора и препятствует чтению его произведений». Каков храбрец наш рыцарь печального университета! Выступил, задирая нос, в героический поход «против запугивания классикой», а сам в панике шарахается от легчайшего дуновения радикальных словес.

Едва ли стоило бы уделять столько внимания этой псевдорадикальной позе, если бы очень значительная часть западноевропейской молодежи в искреннем стремлении к революционным действиям не давала ослепить себя такими мниморадикальными фразами, чтобы затем — когда ход истории обнажит всю пустоту этой позиции — впасть в тем более глубокий пессимизм. При всей неразберихе ясно одно: нам необходима солидная марксистско-ленинская разработка теории классического. Причем нужна теория не эмпирико-исторического или школярски-нормативного свойства, а теория, толкующая классическое и классику — отнюдь не путая с классицизмом — как стадию исторического развития, на которой достигают максимальной отчетливости и выразительности скрытые возможности, заложенные во всяком значительном общественно-историческом движении, их противоречия и сила всемирно-исторического воздействия; как состояние, когда *типичные* проявления этого движения выступают возможно более ярко и в чистом виде, то есть, говоря языком теории информации, сопровождаются минимумом избыточной информации и шума. И тут, мне кажется, нам вовсе незачем пускаться в умозрительные рассуждения Ведь тот специфический метод, которым Маркс воспользовался в исследовании экономических категорий и о котором Энгельс в своей ра-

боте «Карл Маркс. «К критике политической экономии» писал как о единстве историзма и логики при доминировании логического фактора, по смыслу приложим к любому другому *историческому* феномену, а классические решения всегда суть именно исторические феномены.

По замечанию Энгельса, логический метод «является не чем иным, как тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей. С чего начинает история, с того же должен начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический процесс, причем каждый момент может рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает полной зрелости, своей классической формы»[1]. Запомним: классическая форма соответствует той точке развития, где процесс достигает полной зрелости. Возражение, что эта теоретическая посылка (то есть классическое есть значительное историческое движение в момент полной зрелости) справедлива и для реакционных процессов истории, не учитывает, что реакция *всегда* является тормозом исторического развития.

В этом смысле можно говорить о классических решениях в готической архитектуре (например, о внутреннем убранстве Амьенского собора), равно как и о классиках критического реализма — говорят же физики о классической механике Ньютона, а Маркс и Ленин — о классических английской политэкономии и немецкой философии.

В то же время, на мой взгляд, весьма бессмысленно переубеждать тех, кто поставил перед собой задачу «разделаться с классикой» и с «классическим». Такие люди неискренни. Они вознамерились расправиться с *понятием*, чтобы поразить *суть*. Их аргументы — на самом деле движущие ими мотивы, и собираются они «разделаться с классическим», ибо желали бы потихоньку, исподволь навязать нам как аксиому свои собственные мелочные масштабы ценностей. Они стремятся внушить нам, что *современных* писателей можно ценить, только умаляя заслуги писателей *прошлого*, в особенности классиков всех времен и народов. Такая предубежденность метит узаконить новую догму вместо старой.

Художник, удостоившийся титула классика, представляется им слишком заносчивым, они чувствуют себя обманутыми его уверенностью. Пра-Фауст — да, Фауст, вторая часть — нет. Под гладкой поверхностью потока они не ощущают его глубины, вот и ищут себе собратьев: то нытиков, то революционных фразеров, а иной раз тех и других сразу. Сейчас — по крайней мере в ФРГ — модно сочинять романы о том, что не умеешь их писать. Такая меланхолия бессилия является последним детищем мировой скорби. Если кто-нибудь умел или еще умеет писать романы, он подозрителен: еще, чего доброго, стоит в стороне от голгофы модерна. Такой писатель «аффирмативен», а в наше время это грех противу духа. Диалектика утверждения и отрицания остается для противников классики книгой за семью печатями, хотя само слово «диалектика» не сходит у них с языка. Милое франкфуртское словцо «аффирмативный» обязано внушать трепет. Так оно и делает. Но приличествует ли вокабуле — в нашем случае понятию классического — функционально-категориальная ценность в развитии общества или нет, можно определить лишь в той мере, в какой эта вокабула является параметром феноменов исторической *производительности*. Причем последняя в толковании мирового и исторического процесса Марксом, Энгельсом и Лениным никоим образом не соотносится лишь с философией и искусством; она столь же применима к государственным формам, конституциям, революциям, развитию социально-экономических систем. Всякий истинный феномен искусства - это не просто значительное выражение духовных производительных сил в ходе общественного развития человечества. Подобно материальным производительным силам, он образует *революционную потенцию* духовного развития человечества. Только нельзя толковать революционность по-прусски ограниченно и косно, в стиле твердолобых школьных наставников, взращенных под сенью вильгельмова скипетра или тупиц царской охранки.

Специфически революционное гуманистическое воздействие искусства заключается в том, чтобы пробудить в человеческой личности стремление изменить мир и свое собственное существо. Правда, искусство способно реально поддержать такие стремления лишь там, где созрели объективные условия революционного процесса.

Маркс по праву называет Шелли революционером, однако на родине Шелли в то время едва ли сложилась революционная ситуация. Внутренняя революционная сущность произведений искусства подчас проявляется спустя века. Вот этой-то революционной потенции, присущей всякому подлинному искусству, и не замечают нетерпеливые и упрямые «революционеры» с раскатистым «ррр». Они видят лишь материал, сюжет, поверхностную семантику и неспособны понять, как это Шекспир XVI века может нести в себе зародыш революции, который только теперь, в эпоху социализма, высвобождает свою внутреннюю энергию, ибо лишь в нашу эпоху народные массы начали осознавать свою историческую миссию и в состоянии воспринять скрытый смысл художественного послания прошлого.

Юношескую пылкость пьянит радикальное отрицание литературного наследия, эдакая необычайно радикально-революцион-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, т. 13, стр. 497.

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС
ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЕ ВАНДАЛЫ

ная демонстрация силы, разрушающая-де идеологические оковы империализма. Юношеский пыл предпочитает драматические эффекты противостояния нарастающей гигантской революционной волны и мирового империализма. Но до чего же трудно таким людям понять, что мировой социалистической революции, не в пример революциям буржуазным, не свойственна, как ярко показал Маркс в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», та восторженность, когда сменяются «драматические эффекты один ослепительнее другого, люди и вещи как бы озарены бенгальским огнем»[1]. Буржуазные революции недолговечны, зато мировая социалистическая революция, выражаясь поэтически, является доныне величайшим всемирно-историческим эпосом. Более того, современная социалистическая революция, эпохальным началом которой был Великий Октябрь, есть вершина всех революций, свершившихся в предыстории нашего времени, их наивысшая сумма, кульминация всех внутренних переворотов — в экономике, политике, мировоззрении,— интеграл всех революционных замыслов человеческой истории (как высказанных, так и дремлющих покуда в лоне человечества). В ней их совершенство и свершение, ибо она заключает собой предысторию человечества.

Разве человечество сумело бы реально воплотить заложенные в его истории возможности, не овладев внутренним революционным потенциалом развития собственного вида, потенциалом, таящимся именно в великих мечтаниях поэтических провидцев. Не побоюсь сказать, что этот потенциал образует глубинную основу, источник заразительной силы всех поэтических видений прошлого и настоящего. Ибо всякое подлинное произведение искусства предъявляет требование к человеку как таковому, и это требование неотвратимо ложет совесть человечества; всякий исторический акт исполнения этого требования порождает его в новой форме, с возросшей силой, зовя к восхождению на новую ступень уже самим этим свершением. Не осмысливая для себя исторической глубины коллективного становления человечества, воплотившегося именно в поэтическом творчестве всех времен и народов, не присовокупляя к своему историческому мировоззрению образ человека, сложившийся из чувствований мыслей, надежд и деяний нашего вида,— как же тогда пробудить к жизни революционно-творческие силы, дремлющие в нашей эпохе? Разве аскетически высокомерный отказ от подлинного историзма не будет неизбежно суживать сферу революционного воздействия? Ведь на деле такой отказ означает отступление перед вызовом, который бросают нам достижения искусства прошлых эпох. Разве именно *долговременное* глубинное воздействие не является непременной заповедью социалистических революций? Разве Маркс и Ленин не стремились неустанно внушать нам это в борьбе с оппортунизмом, падким на нестойкие, большей частью мнимые успехи-однодневки?

И так ли уж случайно, что отрицание искусства — от тотального уничтожения до более «утонченных» форм отрицания всех художественных традиций и утверждения единственно документальности и репортажа — сопряжено с тенденцией многих романистов Запада писать романы только о том, что больше нельзя их писать?

Не буду расходовать бумагу на «воздаяние по заслугам» той эскалации некрофильских пророчеств в адрес литературы, которые доходят до наших ушей из кухни структурной лингвистики. Назову лишь имена Луи Лакана, Ролана Барта, Мориса Бланшо, Мишеля Фуко, Сьюзен Зонтаг. Это, так сказать, стремительная кавалерия, западногерманская пехота тяжеловесно топает следом: язык-де — обманчивое средство коммуникации, сущность его — ложь. Кто станет, мол, оспаривать, что так бывало не раз и в любой момент может случиться снова! Порождение классового общества — язык является-де элементом человеческой лжи. Пользуясь универсальными коммуникативными идиомами, утверждают структуралисты, язык поэзии становится сообщником языка власти, опутывающей всех нас, даже когда этот язык в своей поверхностной семантической структуре оборачивается против самой этой власти. Мир, как они говорят, невыразим, слова не суть вещи, все разговоры минувших эпох лишь предваряют конечный вывод о том, что всякая речь только видимость. Упразднение языка есть якобы конечная возможность выражения, молчание — предел мудрости, погруженность в молчание — предел религиозности. Можно подумать, что на наших глазах возрождается во всемирно-историческом масштабе новая конгрегация траппистов, если бы болтливость сих новоявленных апостолов молчания до смешного не контрастировала с их евангелием. Правда, им, очевидно, в самом деле нечего сказать, и римская пословица: «O si tacuisses philosophus mansisses!»[1]— тут как нельзя более уместна.

Зато гораздо менее забавно течение, которое в теории и на практике присягнуло на верность догме, гласящей, что драма, трагедия, комедия, роман, рассказ,— словом, все окрыленные фантазией формы искусства созданы эксплуататорским обществом на потребу и для развлечения изнывающих от скуки паразитических классов, чтобы увлечь от действительности в райский элизий, а потому эти формы искусства непригодны для воплощения социально-революционного действия. Одни лишь зонги, очерки репортажи, протоколы, документы суть выразительные формы, пригодные, дескать, для изменения действительности. Однако в настоящее время все очевиднее становится колоссальный вред, наносимый этой догмой. «Нам не нужна литература как вид искусства, нам нужна действительность» — так в свое время, в 1969 году, заявил один вполне благонамеренный сторонник этого

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, т. 8, стр. 122.

[1] О, если бы ты промолчал, то остался бы философом (*лат.*).

тезиса, теперь, кстати, от него отошедший,— я имею в виду Вальрафа. Разумеется, чрезвычайно ценно — более того, необходимо — находить и развивать все новые и более эффективные формы литературного выражения классовой борьбы.

Документальный жанр — если позволительно для простоты воспользоваться этим термином — занимает в литературе вполне определенное место. Как известно, поиск новых форм в годы после Великой Октябрьской революции в тогдашней Советской России, да и в Германии помог накопить в этой области большой положительный опыт. К сожалению, одни из этих находок были незаслуженно преданы забвению, другие попадали временами в тиски догмы. Но почему ради новых или отчасти не столь уж новых форм нужно отказываться от традиционных способов выражения, от возможностей их дальнейшего развития? Я допускаю наличие воли к революционному преобразованию мира, но зачем нужно отказываться от *преобразования* форм искусства? Столь категоричное неприятие творческих достижений прошлого означает прежде всего возведение баррикад на пути всякой попытки революционно-критически выплавить из них то действенное, что окажется полезным для формирования будущего. Критика, которая лишь отрицает, лишена всякого смысла. А в том сколь жизненно способной может внезапно стать классика, мы недавно убедились на собственном опыте: вспомним бурную дискуссию вокруг проблемы Вертера.

Новейшие тенденции к уничтожению литературы, как видите, являют собой широкий диапазон от абсолютного «нет» всем искусствам до анафемы в адрес традиционных видов искусства (таких как драма роман), в адрес классического и классики. Эту анафему вполне можно считать частью нынешнего вандализма. В Китае процесс опустошения литературы пульсирует и резкие вспышки сменяются периодами замедленной эрозии.

Быть может, в Китае многое можно объяснить тысячелетним пребыванием жизни и литературы под игом мандаринов. Но не в том суть, ибо в противном случае все это осталось бы внутренним делом Китая. Но так как раз и не получилось. В Западной Европе и в США этот бунт отречения в значительной степени парализовал литературные силы. Многим галантливым писателям кажется бессмысленным художественное бытие во враждебном искусству мире, искусство без перспективы.

Неспособность к творческому овладению литературным прошлым — уязвимое место в культурном сознании отнюдь не незначительной части западноевропейской интеллигенции. Именно по нему, словно Хаген фон Тронье в легенде о Зигфриде, бьет стратегия располагающих более чем восьмисотмиллионным людским потенциалом пекинских руководителей, стремящихся отравить и парализовать ненавистью к Советскому Союзу и другим социалистическим странам молодежь и интеллигенцию. Эта ослепленная ненавистью и проникнутая мелкобуржуазной ограниченностью идеология объявляет Советский Союз и ГДР бастионами «буржуазного закоснения» только потому, что *мы* глубоко чтим литературное наследие Пушкина, Толстого, Гёте, равно как и великую классическую литературу Китая. Протест против литературного прошлого, прежде всего против традиций классики, разжигание антисоветского психоза — вот в конечном счете истинная направленность этого прикидывающегося необычайно современным вандализма. При таком положении вещей тешить себя иллюзиями было бы попросту пагубно, потому что нынешние герострать в противоположность 1933 году коварно прячут свое истинное лицо под маской марксизма-ленинизма. Откровенно говоря, у меня не сложилось впечатления, что наши литературоведческие и литературно-критические круги полностью осознают значение этой опасности. Не следует упускать из виду, что та сила, которая оказывает мощную поддержку тенденциям распада в литературе Западной Европы якобы во имя Маркса и Энгельса,— какая гнусность! — эта сила одновременно вступает в заговор с разными франками йозефами штраусами. Для человека мыслящего столь странная коалиция антилитературной и военно-политической агрессивности может стать доказательством того, насколько важно для социалистического гуманизма его отношение к искусству прошлых эпох. Ведь такого рода ограниченность и раздражительность, вырастающие из чувства неполноценности и находящие выход в оргиях ненависти к достижениям прошлого, ни в коей мере не должны проникать в наше представление об искусстве. Конечно, благодаря чрезвычайной жизнеспособности социализма человечество так или иначе справится с этим очагом заразы, но непонятно, почему за переход на более высокий уровень исторического развития мы должны платить столь же дорогой ценой, как много лет назад. Существует же общая ответственность литературы и литературоведения, обязывающая нас противостоять угрозе. Нужно противопоставить истерическим воплям «дерьмо!» волю и целеустремленность художника, качество его произведений: в литературе и в науке о литературе качество является оружием. Дешевым товаром можно сломать таможенный барьер, но не барьер духовный. Китайская стена наших дней, которая тщится отрезать мир от будущего, сложена не из камней как прежде, она сложена из ненависти к миру социализма и в первую очередь к его сильнейшему бастиону — Стране Советов.

Перевод с немецкого Н. МИХАЙЛОВОЙ

◆

В. ЛАКШИН

ДОМ ИШТВАНА ШИМОНА

Нет ничего более знакомого и, казалось бы, исчерпанного в поэзии, чем тема времени.

Время, как глубь и даль истории. Время, как победная и всеисцеляющая сила жизни вечное обновление, надежда завтрашнего дня. И время — как чувство уходящей жизни, боязнь не успеть и тревожный расчет с тем что сделано доныне тобою.

«Время» — ключевое слово в цикле сонетов Иштвана Шимона которые пришли к нам год спустя после смерти поэта:

...и время оседлай без промедленья,
оно все более спешит уйти.

. . . . . .

...и образ времени опять встает,
смыкаясь надо мной, как гяжкий свод

. . . . . .

Теперь разжалась времени ловушка
ровесники уходят в никуда,
и нам не хочется считать года.

Негромкий, но внятный сосредоточенный голос говорит простые слова, и, прислушиваясь к нему, мы понимаем, что эта вечная и неоригинальная тема поразительно нова, как нова каждая человеческая судьба, как ново осознание для себя поэтом бега времени. Вдруг в известном возрасте, на каком-то рубеже лет чувство времени охватывает тебя с почти физической ощутимостью, будто эти секунды часы, года ты держишь в ладонях как полную горсть песка, утекающего сквозь пальцы.

Конечно, это только тогда тема поэзии, а не сентиментальной риторики, когда ее тайно поверяет более крупный исторический и человеческий масштаб. К тому же надо, чтобы она оказалась бесспорно твоей, особенной и неподменной в своем биении, темой. Такова она в сонетах Иштвана Шимона.

Просыпается земля весною — и своевольный, верткий суслик, встающий «на миг из травяной волны, как чуткий перископ из глубины», и сонная, ленивая улитка, которая «времени не чувствует почти» подчиняются ритму неслышной годовой работы. Шимону эти милые, чуть смешные персонажи его деревенского детства как артисты на просцениуме, помогут приподнять полог над минувшим и ожидаемым и незаметно, по-свойски ввести нас под гулкие своды времени.

Иштван Шимон свободно сближает века и пространства. Мать, отец — «дядя Пишта» огонек свечи дождик над крышей, «орешник бородатый» — и вдруг, «скупая синь над строем пирамид», и поднебесные хребты Альп, и «суровый Ганнибал» попавший вопреки самоиронии поэта в этот стих не только «рифмы ради» (далекая мера времени, другой край истории),— все это волшебно раздвигает степь родного дома.

Вот он видит себя мальчиком проснувшимся зимним рассветом в бревенчатой избе: свеча, свет, пляшущий в темных углах, склонившееся над ним молодое лицо матери, тепло дома и радость пробужденья. А теперь — стоит протянуть руку в темноте и щелкнуть выключателем... «Как быстро вспыхивает свет сейчас!» — и вот уже две соседние строки разделила пунктирная лента четырех десятилетий.

Впрочем, нет напраснее занятия, чем пересказывать стихи, смысл которых не в сюжете, а в движении чувства, музыке слов, открывающей нежданные оттенки смысла в простом и привычном. (Справедливость

требует сразу сказать: переводчик двух циклов сонетов Н. Горская оказала И. Шимону лучшую услугу, какую только поэт одной страны может оказать поэту другой,— представила его стихи на своем родном языке так, словно они на нем были написаны.) Благодаря этому я читаю сонеты Шимона — и узнаю его: его голос, лицо, взгляд, его дом, близких и друзей, его село, край и страну. Будто снова встречаюсь с ним, будто механизм времени, к которому своевольно прикоснулся поэт, зацепил своим маятником и меня, потянул вспять — и вот январь 1969 года зимний Будапешт, с неба сыплет то ли дождь, то ли снег, и невысокий, быстрый, похожий на подростка, с гладко причесанными волосами, с очень внимательным, живым взглядом и неожиданно озорной улыбкой человек жмет мне руку, знакомясь: «Шимон».

Я верю примете: важно, что за человек откроет вам первым дверь на пороге незнакомого дома. Иштван Шимон, известный мне тогда понаслышке, и то скорее как редактор «Кортарша», чем как поэт отворил мне дверь в Венгрию, и спустя час я чувствовал себя с ним так точно мы знакомы годы.

Январь в Будапеште — сырой и тяжелый, трудно в такие дни угадать лицо этого красивейшего европейского города. В холле гостиницы «Астория» приятная сухая теплота и вечный вечер электрических ламп, но стоит раздвинуть глухие кожаные занавеси за вертушкой входа и нырнуть из душноватого ароматного тепла на улицу, как тебя придавливает к тротуару дымный туман и сырость зимнего утра, гарь из тысяч городских печей, все еще топящихся каменным углем и окутывающих низину Пешта плотной пеленой «смога». Воздух не идет в легкие, хочется кашлять. Среди дня машины включают фары, загораются неоновые огни на улице Ракоци. По Дунаю медленно плывут в тумане грязные льдины, высокий берег Буды не виден, и лишь цепочка огней тянется по невидимой горе Геллерт ввысь, будто висит в небе без опор. Благоразумные будапештцы, если их не выгоняют на улицу дела, в такие дни предпочитают сидеть дома.

Шимон, казалось, был смущен тем, что город встретил его гостей так сумрачно и, поглядывая на грязно-желтое небо, все говорил, что если подует северный ветер, с города снесет шапку сырой гари и мы увидим голубое небо, солнце и убедимся, как прекрасен этот город. Но ветры с севера все не дули. К досаде нашего доброго хозяина, и его городская квартира неподалеку от Кёрута, куда он нас несколько смущенно, но гостеприимно зазвал, несла на себе черты холостяцкого беспорядка и, казалось была накануне ремонта: мы сидели за круглым столиком в углу огромной пустой комнаты книги были свалены кучами на полу, а лампа под высоким потолком свисала без абажура, и тут Пишта — он разрешил себя так называть — воскликнул горячо: «Мы поедем ко мне в деревню. Я вам покажу настоящий мой дом». И потом весь вечер повторял, будто радуясь своему решению: «Поедем в Бажи, а? Поедем в Бажи!»

Дорога на родину Шимона идет через Секешфехервар и Веспрем чуть повыше северного берега Балатона. Ехали долго, с остановками, разговорами. Ходили по развалинам Alba regia в древней столице Венгрии, любовались крепостью на доломитовых скалах в Веспреме, разглядывали фрески в часовне Гизеллы...

Но главное ждало нас впереди. Когда пустынное шоссе повернуло на северо-запад от Балатона, в ветровом стекле машины открылся вдруг силуэт старинного холма-крепости. Это было как на забытой детской картинке к какой-то сказке Андерсена или братьев Гримм: гора, возникшая на черте горизонта, и зубчатая стена, бегущая неровной лентой по ее склону, а за стеной — с каждым километром ближе, виднее — островерхие с зеленой патиной крыши и шпиль собора. Да, в этаком месте можно было, пожалуй, заразиться домашним отношением к истории!

Шюмег — город отрочества и юности Шимона, крохотное местечко, вроде нашего Переславля-Залесского или Судиславля, провинциальный городок с угасшей древней славой. От Шимона я услышал его историю. Город пережил две эпохи взлета: XII—XIII века, когда была построена крепость на скале, и XVIII — начало XIX века, когда здесь, после поры разорения и упадка, был возведен пышный епископский дворец и собор на главной площади украсился фресками Маульберча. Только в Шюмеге сохранилась во всей полноте и первозданности пылающая небывало яркими красками стенная живопись Маульберча, этого австрийского Эль Греко. Его огненные фигуры (он любил красный, алый, пурпурный цвет) зажглись перед нами в своем праздничном великолепии, когда добрый знакомый Шимона аббат Ласло, звеня связкой тяжелых ключей, открыл нам пустой собор — и вспыхнул свет у алтаря и в боковых пределах, пробежал по стенам золотой и красной волной, явив редкостную экспрессию лиц и фигур не будто вчера писанных фресках.

А из собора — в корчму... Эта разбойничья чарда разместилась у дороги, недалеко за городом. Когда-то в этих местах у отца Шимона, Пишты-старшего, был виноградник. Мы сидели за некрашеным длинным столом, с пятнами от кружек угощались золотистым фречем, разглядывали оружие на стенах и — в рамке под стеклом — императорский указ о поимке разбойников. Шимон говорил, что чарда эта не декоративная, а подлинно разбойничья. Разбойники в этих краях объявились после 1848 года, когда было подавлено венгерское восстание. Это были нежелавшие возвращаться в свои дома под опеку помещика крестьяне этакие вен-

---

В ЛАКШИН
ДОМ ИШТВАНА ШИМОНА

герские Робин Гуды. Рядом с чардой до сих пор, скромным холмиком под ветлами, сохранилась могила двух знаменитых разбойников (бетяров), убитых тут в перестрелке с жандармами. Пишта уверял с самым серьезным лицом, что еще в 1940 году встретил тут одного старого разбойника.

Эта же чарда была ему памятна и вот чем: как-то, когда он возвращался с отцовского виноградника, его загнал сюда ливень, и за этим столом, пережидая дождь, он сочинил одно из первых своих стихотворений, принесших потом ему известность.

Показывая и рассказывая все это, Шимон соединял в себе стремительность гида и скромность волшебника, намеренного преподнести гостю еще не один сюрприз. В голубых его глазах часто скакал бесенок невинного озорства, но с детской короткостью переходов от смеха к печали он вдруг становился неожиданно серьезен.

Здесь, в Шюмеге, он учился, каждый день проделывал путь пешком или на велосипеде — восемь километров в гимназию и обратно. Здесь ему досталась честь первого публичного выступления: учитель словесности поручил ему говорить перед выстроенными в шеренги на площади гимназистами речь памяти поэта-романтика Шандора Кишфалуди. (Его домик, которым гордятся в Шюмеге, показывал мне Шимон.) Дело было в конце октября 1944 года, и над площадью кружили английские самолеты, заглушая слова речи. А совсем скоро после этого старших гимназистов, и Шимона в том числе, мобилизовали и отправили на восточный фронт, где молодые ребята, не желавшие умирать за Гитлера и Хорти, побросали оружие и сдались в плен.

В «Рапсодии времени» хорошо видно, что отвращение к войне у Шимона не книжное, органическое; война — что-то очень ему чужое, насильственное для его человеческой природы.

Стоит поэту выйти из дома в ненастную погоду на одинокую прогулку когда дождевые капли шелестят в молодой листве, и почудится ему,

чуть слышно плачут голосом дождя
давным-давно погибшие солдаты...

Это и те, кого знал он сам в минувшую войну, и те, кого встречал его отец — дядя Пишта, солдат первой мировой, и миллионы убитых в несчетные былые войны. В опустевшем саду, среди старых кленов, его фигура с ружьем наперевес кажется почти скульптурной:

живым крестом себе казался я
на кладбище, где спали миллионы...

И как мучительно это видение поэтического сна, этот призрак или грозный кошмар: пустой дом, голый сад, сорванная с петель дверь...

В Шимоне жило народное, крестьянское чувство преданности своей земле, дому и ужаса перед их разорением.

А отчего дома Шимона я никогда не забуду. Шюмег — это все же не дом, а только ворота к родному дому. Дом — это Бажи, небольшое село под городом в полутора часах ходьбы, а машиной — минут пятнадцать, переехать узкоколейку.

Мы, конечно, прибыли туда с опозданием, и мать с утра уже ждала и волновалась, что приготовленный к обеду паприкаш остыл.

Связка лука на стене в сенях, просторная, но темноватая горница, кадки с геранями на полу у окна. Родители Шимона еще оба были живы. Мать Пишты, состарившаяся до срока, лицо платком черным повязано, как у всех деревенских старух, и руки все в морщинах; и отец, Пишта-бачи, голубоглазый, как сын, но с роскошными усами — на лбу ни морщины, крепкий прямой посадки старик с румянчиком на щеках. Тут был и брат Иштвана — деревенский конюх Лаци («Ох, уж этот Лаци!» — вспомнился задорный рефрен в посвященных ему стихах Шимона), в отца крепкий, здоровый, румянец во всю щеку, и такой застенчивый, что рядом с ним скромнейший Пишта казался неслыханно развязным. Он и его жена стояли у стены в избе, празднично одетые, молча улыбались и никак не хотели сесть. Мать тоже — то хлопотала у стола, угощая нас, то стояла в сторонке, почтительно, по-крестьянски, сложив руки на вышитом фартуке, слушала разговор мужчин и не отрывала взгляда от сына.

Старик Пишта выпил с нами рюмку палинки, разогрелся и, чтобы показать русскому гостю свою симпатию, стал рассказывать, как в 1914 году узнал русских, когда сторожил крепостной замок в Братиславе. Тщетно Иштван пытался объяснить ему, что словаки и русские хоть и родственные народы, но не совсем одно,— старик соглашался, но не верил.

Видно было, что отца Шимон уважал — за его строгую доброту и крестьянское, чуть патриархальное достоинство. С матерью же его связывали особые узы нежной привязанности. Он обращался к ней ласково и почтительно — на «вы» и «мама»,— послушный сын, немного смущенный своим долгим отсутствием и непонятным матери суетным столичным образом жизни, да еще с какой-то непоседливостью, частыми поездками в другие города и страны и все новыми друзьями, которых он изредка привозит к ней в Бажи. Мать особенно волновалась, что он вот-вот опять полетит в Москву на самолете. «А как высоко, сынок?» — спрашивала она беспокойно. «Семь-восемь километров над землей мама»,— отвечал Шимон. «Пожалел бы ты меня, летал чуть пониже»,— просила она робко; ей казалось, ближе к земле — надежнее. Шимон смеялся и обнимал ее рукой за плечи.

Милые его старики, они не долго прожили, умерли один за другим — и, слава богу, не увидели смерти сына. Но остались в его стихах благодарной памятью:

...с тех пор, как мать не будит поутру,
я мчусь, не замечая ускоренья.

. . . . . .

Отца порой поддразнивал сосед:
— Эй, дядя Пишта, излови кукушку!
Да где ж поймать! Кукушки вроде нет...

Теперь разжалась времени ловушка...

Осталось навсегда в поэзии Шимона и унаследованное им уважение к труду, земле, дому.

Видно было, как хотелось Пиште, чтобы гостю понравилось в доме его детства,— он то и дело ревниво взглядывал на меня. Мы провели в Бажи и Шюмеге три дня, исходили окрестные поля, ездили на заснеженные виноградники и, главное встречались с друзьями Шимона по всей округе.

Мы побывали в гостях у «Президента Бажи», председателя местного кооператива, бывшего городского портного, ставшего крепким и дельным сельским хозяином; у врача местной больницы; наконец, у священника, отца Ласло, того самого, что показывал нам собор. Он оказался человеком вполне современным и лишенным некоторых клерикальных предрассудков — активный деятель Народного фронта и прекрасный собеседник за столом. В больнице доктора Мессароша, воздвигнутой (с помощью крестьян) его бескорыстным энтузиазмом и оборудованной на европейский лад, мы, подогреваемые желанием гостеприимного хозяина показать и рассказать нам все о своем детище, обошли операционные, процедурные кабинеты и палаты. И надо было видеть, как встречали тут Шимона и, главное, каков был он сам. Знакомые старики крестьяне тянули ему руки со своих коек во время этого необычного обхода, окликали на «ты» и он едва ли не всех узнавал, с каждым перекидывался несколькими словами: «Здравствуйте, матушка Мария!», «Тебе не полегче, дядя Михай?»; сочувственно качал головой, шутил с больными и обнимал, смеясь, молоденькую сестричку в белом халате. «И ты здесь, Марика?»

Шимон не водил меня по своей родине как по музею своего имени («вот тут мне явилась такая-то строфа, а это отражено в таком-то сонете»). Нет, он просто жил радостью встречи с родными местами и радовался, что может разделить это со мной.

В Будапеште, в редакции его журнала, в литературных домах мы много говорили, пытаясь лучше узнать друг друга. Но своим безошибочным инстинктом он понял, как без слов рассказать о себе главное. И он повез меня в Шюмег и Бажи, где не было кабинетных бесед через переводчика, с вежливыми расспросами, салонной эрудицией и другими невинными способами произвести впечатление на собеседника. Его исконный мир — мать, отец, брат Ласло, друзья по Шюмегу и мир природы, невысоких холмов, леса, полей, окружающих Бажи.

Но свою «малую родину», по выражению Твардовского, можно лучше оценить, побродив по большому свету и впитав в себя его надежды, боль и тревоги. Истоптав мостовые десятка европейских столиц, налетав тысячи километров по воздуху, узнав коротко множество людей разных национальностей и профессий и уже устав немного от шума и пестроты мира,— лучше услышишь негромкую мелодию родных скромных мест и голос людей, там живущих. Тишину вообще нельзя оценить, не услыхав прежде шума. В городе лучше поется о тишине полей.

Но и не в шуме дело, а в объеме впечатлений, дали обзора. Вобрав в себя, поймав, пользуясь толстовским словом, в «паутину любви» других людей, узнав их сердечнее и короче, художник и в себе нечто более глубокое откроет.

Оттого, я думаю, дружеские встречи, долгие, за полночь, разговоры, а главное, сближение соединение прежде далеких людей были вторым призванием Шимона. Это было заметно и здесь, в Шюмеге, и в Будапеште, где я мог наблюдать его в обществе Дюлы Ийеша, Дьердя Лукача или Антала Гидаша. Шимон не был задиристым спорщиком, каков, например, блестящий Ийеш. Он не говорил длинными умными монологами, роняя на костюм пепел сигары, как Лукач. Он умел слушать. Глаза его были неизменно внимательны к собеседнику, и я заметил, что он иногда кивал головой, поощряя к высказыванию, даже когда потом хотел возразить. Он говорил не для того, чтобы отличиться, слушал не с тем, чтобы дождаться паузы, куда вставить слово.

Особенность его незаурядного природного ума была та, что он никогда не афишировал себя, мог показаться даже простоватым. Но такое впечатление было обманчиво. Он вбирал в себя всякое новое серьезное знание как губка. Народность его была повенчана с широким образованием, настоящей культурой, и в нашу последнюю встречу он показывал мне с гордостью верстку толстого тома «Истории венгерской литературы». Об этой книге он давно говорил мне что мечтал бы написать ее так, чтобы она оказалась интересной и будапештскому студенту, и крестьянину из Бажи.

Так и в последних своих циклах сонетов, которые мы читаем сегодня, он соединил изощренную и трудную европейскую форму с глубоко человечным и народным содержанием.

«Рапсодия конца лета» — это прекрасные картины природы и сельского труда, времени жатвы и сбора плодов. Но сельский пейзаж — бунты соломы на убранном поле, блеклые цветы сурепицы и горицвета нужны в этих стихах не как красивый костюм, эстетическая декорация, облегчающая путь к мысли. Мысль и картина раздельно не существуют.

Я перечитал сейчас сборники молодого Шимона. В них тоже можно сыскать немало поэтических картин. Вот хоть эта:

Дядина телега спит в песке,
Уронив оглобли, точно руки.
И сума, повиснув на задке,
Бахромою шевелит от скуки.

(Перевод Ю. Вронского)

Или еще:

И потом на всех полях вокруг,
Пляшет дождик миллионом рук.
Акробат рожденный в облаках,
В чистом поле пляшет на руках.

(Перевод Д. Самойлова)

В. ЛАКШИН
ДОМ ИШТВАНА ШИМОНА

Но когда молодой поэт хотел придать значение стиху, у него получалось нередко что-то условное — бесспорное, но риторическое: «Борьба, горенье дня и ночи!», простая антитеза добра и зла, черного и белого, света и тьмы, старины и новизны. Поэтическая картина и выжатый из нее волевым усилием смысл существовали рядом, но порознь, бок о бок. Чувствовался разрыв между тем, что лично пережито молодым поэтом и только названо в стихах.

В поздних сонетах Шимона картины природы, деревни не иллюстрируют мысль: это предмет поэта, его счастливое созерцание и воспоминание, связанное с чувством жизни в нем. А то, что из этих самоценных картин поля, леса, деревенского детства прорастают мысли о времени, о труде, о цели жизни — естественно, как дыхание.

Застыл комар на ножке стрелолиста
в полуденном ленивом полусне.
паук, уже беззлобный, в тишине,
плетет ячейки сети серебристой...

Движение паука вверх и вниз по нити рождает сравнение с неусыпным трудом крестьянина, всякого трудового человека. Есть что-то досадное в том, чтобы вот так весь век свой сновать по нити дней, добывая хлеб. Но, наверное, если б не было этой мороки, человека легче подстерегало другое несчастье — опустошенности. Пустой воз труднее везти, чем привычно груженный, хотя, быть может, вольготнее гулять вовсе без упряжи. И, однако, в этом мире «повседневности назло» есть и праздник, есть поэзия и красота, которые тоже порой совсем рядом: «цветок и праздник — родственных два слова».

При воспоминании о детстве, «счастливом крае», у Шимона является праздничное чувство благодарности жизни за все ее дары:

...открытое окно, цветущий луг,
листок календаря, обед воскресный,
веселье, дальней песни отголоски
и взлеты легкие девичьих рук
от луговых цветов — к цветам в прическе.

Какого безупречного изящества жест завершает этот, напоенный счастьем жизни сонет! В который раз понимаешь: поэт не тот, кто, придумав афоризм, параболу или подобие острой мысли, «оформляет» их в рифмованные строки. Нет: поэт вдохновляется конкретностью жизни, он страстно хочет лишь удержать и запечатлеть лицо, картину, чувство или пейзаж, а мысль, владеющая им, является будто нечаянно сама собою.

Так мы, читая «Рапсодию конца лета», сонет за сонетом, вдруг с несомненностью понимаем, что это не просто картины близкой осени приметы сезона, когда поникают ковыли и серебрится паутина на меже,— это и чувство зрелости поэта, когда еще вся сила при нем, но уже забрезжила первыми заморозками старость и надо трезво оценить прожитое, вступая в новую, предзимнюю пору.

Может, оттого еще мне так близки эти сонеты, что я слышу в них перекличку с лирикой поздних лет Твардовского. Шимон знал эти его стихи, мы вместе с ним читали их вслух, я пробовал толковать ему иные из них.

Еще прежде, чем Шимон, увлекся лирикой Твардовского другой венгерский поэт — Михай Ваци, ровесник Шимона («Ровесники уходят в никуда» — не о нем ли?). У Ваци было больное сердце, приводившее его не раз на грань катастрофы, и однажды в Москве он рассказал мне: в минуту уныния и слабости к нему в больничную палату принесли томик Твардовского, и, чтобы провести время, он взялся за перевод некоторых его стихов. «Он меня спас: переводить трудно было, но как легко и интересно стало жить»,— говорил Ваци.

С Шимоном Твардовский был знаком и ему симпатизировал, мгновенно переиначив на русский лад его имя и называя «Степа Шимон». Иштван в свою очередь относился к нему с трогательным уважением. Он уговорил Дюлу Ийеша перевести на венгерский язык последний лирический цикл Твардовского, и вот почему еще в Венгрии есть теперь первоклассные, как мне говорили, переводы лирики русского поэта.

Но это внешняя сторона дела, поскольку при сближении имен двух самобытных поэтов речь должна идти не о влиянии, а о сходстве, то есть о непредугаданной встрече на родственных путях. Что-то было в судьбе и психологическом складе Шимона, что делало для него Твардовского кровно близким поэтом. Быть может, то же сознание жизни — дома, детства, природы, близкой старости — с очень личным и искренним отношением к пережитому. И еще то, что поэт деревни, поэт земли становится человеком всей страны, всего бескрайнего мира, освобождается от риторики узкого «народолюбства», но, прислушиваясь к себе, открывает нечто общезначимое.

Кто вечно слушал только себя, наверное, не много услышал. Но кто всю жизнь слушал других людей, вглядывался в мир, удивлялся и ужасался ему, тот в зрелые годы, приклонив ухо к своей груди способен услышать важное для всех. И вот теперь, в посмертно пришедших к нам сонетах Шимона, увиделось мне то же душевное движение, что и в поздней лирике Твардовского — тот же зрелый, печальный, но не сумеречный взгляд. Это пушкинская с в е т л а я п е ч а л ь, какая бывает лишь у очень хороших людей, проживших жизнь трудно, празднично и честно и за это ей же, жизни благодарных.

Я думаю, близок Иштван Шимон Твардовскому и в своем понимании народности, в национальном чувстве.

В привязанности Шимона к своей стране Венгрии, не было ни капли позы и афиши. Он не принадлежал к числу литераторов, для которых любовь к деревне, к родному краю, превращается в напряженную и надуманную (чисто литературную) тему.

«Когда я был в плену у вас, на Кавказе,— рассказывал Шимон,— старшина-кавказец,

очень гордившийся своим краем, как-то показал на небо и сказал, что нигде луна не бывает так прекрасна, как над этими горами. Тогда мы, молодые ребята, венгры, решили над ним подшутить и — чем похвалиться? — с самым серьезным видом объявили ему, что зато в Венгрии — две луны! Он было поверил, а когда понял, что над ним подшутили, вкатил мне наряд вне очереди. Я на всю жизнь запомнил, что национальное чувство должно быть скромно»,— смеялся Шимон. И, перейдя в серьезный тон: «Кто по-настоящему любит Венгрию, не станет напоказ на каждом перекрестке декламировать о своей любви к ней».

Есть, очевидно, две стадии постижения народности — и в национальной литературе в целом, и в творчестве одного поэта. Сначала народность бессознательная, как любовь к тому краю, где родился, дому, долу, обиходу. Крестьянский мир обычно прочнее связан с этим чувством, чем городской,— там ближе земля и древнейшее занятие в мире — скотоводство и землепашество,— там устойчивость быта, родовых и семейных традиций, которые легче перемалываются в сутолоке города. Город не только отрывает от земли, он несет такую смену влияний, традиций, такое приближение к главным ритмам жизни страны, а вместе с тем такую круговерть людей и впечатлений что мало оставляет места былой спокойной сосредоточенности и устойчивости.

И есть народность другая, зрелая и широкая, уже впитавшая в себя общее — нравственное, социальное — представление о мире. Сознание поэта ширится — от любви к родному очагу, к отчему дому и краю до любви к стране и людям разных краев и стран, пониманию своего неожиданного единства, общности с ними. И тогда, снова вернувшись к своим истокам, к местам, где родился и рос, поэт вдруг получает другой обзор глаз, признает другую меру ценности за тем, что знал и стихийно, нутром любил с младенческих ранних лет. Такое понимание народности явственно различимо в поздних сонетах Шимона.

Этой осенью Иштвану Шимону исполнилось бы пятьдесят лет. Он умер внезапно, но, как то бывает с поэтами, вернее и раньше врачей предчувствовал свою довременную гибель.

Он торопился жить, брал себе нагрузки не под силу, летал из страны в страну, с конгресса на конгресс, уставал мучился. В Москве и Будапеште я видел его часто спешащим на какое-то собрание или заседание, встречал на вокзалах, в редакциях, в пути но всегда было ощущение, что это временно, это по необходимости, а главное дело жизни — творчество — терпеливо ждет своего тихого часа. Порой он будто надолго бросал писать стихи, выпускал одну за другой книги путевых очерков, статей. Но поэт всегда жил в нем и перед концом пути открылся вновь с неожиданной щедростью.

И Шимон стал пристрастнее и тревожнее выяснять свои отношения с быстротекущим временем:

...ведь я пространство перерос давно,
я творчеством хочу заполнить время,
которое для жизни мне дано.

В его отношении к времени было беспокойство, но не было суетливости. Он знал, что время безжалостно пожирает не только события и людей, но и саму память о них, а он его не возненавидел.

Для человека слишком эгоцентрического время — холодное и беспощадное НИЧТО, и почти безнадежно пытаться заглянуть в его черные, бездонные зрачки. Ведь не будет нас, не будет тебя, и меня, и всех наших современников и соплеменников исчезнет все, что мы лелеем и любим. Но тут выход — либо в проклятии всему сущему, когда душа срывается с тормозов и начинает крушить что попало; либо мужественное сознание законности обновления жизни, попытка преодолеть временность сознанием вечности, тем преимуществом человеческого ума и сердца, что помогает нам не отчаяться:

...мол, если раны не закрылись где-то,
исчезнет все под снеговым пластом.

Время не только ведет в страну забвенья, время и учит, и лечит, и ободряет, внушает мужество и надежду. Что же до беспокойства художника, то кто из серьезных писателей не проверял на себе истинность суровых слов Толстого:

«Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах... Он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям; избавило бы их от страдания, дало утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет... Гладких, жирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает».

Я узнал о смерти Шимона с опозданием, где-то на исходе минувшего лета, и не смог с ним проститься. Прощаюсь сейчас — этими строчками.

В Бажи, где он просил похоронить себя, собрались крестьяне со всей округи. Он был сыном этой земли. Говорили что за гробом шло около двадцати тысяч человек.

◆

Критика

Д. ХАЧАТУРЯН

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

О некоторых тенденциях в современной шведской документальной прозе

Примерно с середины 60-х годов в шведской литературе, как и в литературах многих развитых стран Запада, ощущается особый интерес к документальным жанрам. И по сей день ничто не предвещает спада волны документальных романов, репортажей, книг-интервью. К документальной литературе сегодня обращаются самые разные по силе художественного таланта и мировоззрению писатели. Для некоторых из них это новое веяние обусловило известный поворот в творческом развитии.

После серии философских романов, отличающихся подчеркнутой субъективностью повествования и усложненной символикой, к жанру политического романа-репортажа обращается один из крупнейших современных шведских прозаиков С. Дельбланк. Опубликовав роман-притчу «Пятая зима магнетизера» (1964), другой крупный прозаик, П. У. Энквист, создает документальный роман «Легионеры» (1968), в котором, возвращаясь к нашумевшему делу о выдаче СССР шведскими властями нацистских преступников, разоблачает методы антисоветской пропаганды, столь широко распространенные в послевоенной буржуазной прессе. Вскоре после этого он публикует репортажную по форме книгу рассказов «Кафедральный собор в Мюнхене» (1972), направленную против коммерциализации спорта в современном буржуазном обществе.

Для других писателей — и особенно для П. У. Сюндмана — обращение к документализму более органично вытекало из их художественной манеры письма. Тяготение к предельной объективности повествования, «открытой» художественной структуре, отчетливо наметившееся еще в ранних произведениях Сюндмана, определяет характер и его недавних книг — романа «Воздушное путешествие инженера Андре» (1967), документальных повестей «Ни страха, ни надежды» (1968), «Луфутен, лето» (1973), повествование в которых развертывается вокруг полярной экспедиции, предпринятой в конце прошлого века известным шведским ученым и исследователем Севера Соломоном Августом Андре.

Движение шведской литературы в 60-е годы к документу, факту было, как думается, далеко не случайным. «Аполитичность, летаргия и идиллия 50-х годов отступили. Настала пора пробуждения, беспокойства»,— констатировал известный шведский писатель и публицист А. Лундквист. Во второй половине 60-х — начале 70-х годов в Швеции, стране, широко рекламируемой на Западе как пример «социальной стабильности», обостряются классовые противоречия, усиливается диктат капитала в сфере духовных ценностей. Это приводит к тому, что все более широкие слои населения начинают задумываться над социальными проблемами.

Относительно спокойный политический климат в так называемом обществе «всеобщего благоденствия» сменяется теперь далеко не спокойными годами острой политической борьбы, резкого идеологического размежевания. Одним из непосредственных и наиболее мощных факторов, которые способствовали сдвигам в общественном мнении, явилась борьба против агрессии США во Вьетнаме, а также освободительные движения в странах «третьего мира», оказав-

ние огромное воздействие на культурную жизнь Швеции. «Ежечасно и ежеминутно,— заметил известный в стране критик П. Халлберг,— перед нами предстает картина человеческой нужды и смерти, причем в массовом масштабе. Мы оказались лицом к лицу с народами, у которых совершенно иное видение мира, иное представление о нем. Сопоставление культур неизбежно вело к изменению нашего собственного отношения к родной стране, к миру в целом»[1].

В ответ на события 60—70-х годов интерес шведских литераторов к социальной, политической реальности несомненно усилился. Он находит выражение не только в публичных выступлениях многих писателей, непосредственно участвовавших в демократических акциях, но и в их творчестве.

Размышляя над проблемами документализма в шведской литературе, поэт и публицист Б. Хоканссон метко определил облик современного писателя: «Писатель — это правдоискатель, одухотворенный обращением к фактам. Он полагается на свои чувства, на аутентичный документ, эмпирические исследования; его не занимают нелепые фантазии, пассивные размышления, метафизика... Литература,— добавил он,— должна заставить людей видеть то, на что они склонны закрывать глаза. Она должна обличать рутину, грязь, предрассудки, фальшь в обществе»[2].

Литература последних лет явственно свидетельствует о стремлении целого ряда писателей создавать искусство ангажированное, поднимающее важнейшие вопросы шведской, да и не только шведской, действительности. В поле их внимания, что знаменательно, оказываются иные, ранее недостаточно или вовсе не исследовавшиеся литературой проблемы. Книги-интервью А. Рундберга, Ф. Исакссона, С. Чельберга, повествующие о жизни современного рабочего в Швеции, репортажи П. Вестберга, С. Лидман, с тревогой размышляющих о трагической судьбе трудящихся в странах «третьего мира»,— убедительный пример того, как тематически обогатилась шведская литература за последнее десятилетие.

Вместе с тем документализм в современной шведской литературе включает в себя самые различные тенденции. И хотя само по себе это явление во многом свидетельствует о процессах демократического развития литературы, о жизнестойкости реалистических традиций, сегодня оно включает в себя не только документальные полотна значительных социальных обобщений, большого гражданского и политического звучания. Находится место и для политически тенденциозных, промаоистских репортажей Я. Мюрдаля и С. Линдквиста, создают предельно формализованные коллажи Т. Экбум и Л. Нюлен.

В начале 60-х годов на страницах журнала «Рондо», центрального органа шведских «поэтов-конкретистов»[1], появилась серия статей молодого прозаика и публициста Т. Экбума, в которых он попытался не только сформулировать свое творческое кредо, но и выступил с претензией на создание «новой» эстетики.

Обоснование своих «новаторских» идей автор начинает с крикливых лозунгов об абсолютной несостоятельности реалистического искусства, его неспособности отобразить «грандиозный хаос современной эпохи»[2]. «В настоящее время,— пишет он,— предназначение литературы не в создании произведений, более точно, чем традиционный роман, отображающих действительность, а в написании такого романа, который функционировал бы как суверенное произведение искусства».

В реалистическом искусстве Экбума прежде всего не удовлетворяет этическое начало. Неоправданно противопоставляя эстетическое, понятое как простое воспроизведение художественных форм, этическому, он предпринимает далеко не новую попытку «деидеологизации» литературы, устранения в ней мировоззренческих моментов. «Ангажированность как в политическом, так и в нравственном смысле этого слова всегда сковывала меня, мешала осуществлению творческих планов»,— замечает он в одном из интервью. Первостепенную задачу писателя Экбум видит не в том, чтобы «активно воздействовать», а в том, чтобы, «сохраняя нравственный нейтралитет, создавать художественные модели». Отсюда следует далеко идущее заявление: «Я полагаю, что художник не ответствен ни морально, ни юридически за те идеи, которые он провозглашает в своем произведении»[3].

Выход из тупика «однобокого морализаторства», в котором оказалось, по его мнению, реалистическое искусство, Экбум видит в «экспериментах» поп-арта и в художественной практике французского «нового романа», оказавшего значительное влияние на его творчество.

В 1969 году он публикует книгу «Торжественный вечер в Опере», основное действие которой приурочено к описанию трех дворцовых залов на выставке, организованной 28 февраля 1897 года в Лондоне.

[1] Hallberg, P. Dokument — engagemangfiktion. См.: "Nordisk tidskrift", 1970, № 2, s. 79.

[2] Hakansson, B. Författarmakt. Inlägg och essäer om litteratur i politik och politik i litteratur. Sthm, 1970, s. 117.

[1] Судьбы «конкретной поэзии» в Швеции связаны с поэтическим творчеством начала 60-х годов Л. Нюлена, Т. Расмуссона, Т. Экбума.

[2] Ощущение абсурдности бытия, хаотичности окружающего мира — центральная тема писателя. Испытав сильное воздействие философских идей Юма, Т. Экбум вслед за английским философом провозглашает тотальное отсутствие в мире причинных связей. «При более пристальном прочтении его (Юма.— **Д. Х.**) произведений,— констатировал он,— меня все сильнее охватывало чувство абсурдности бытия» и далее: «Думается, что оно есть закономерное следствие все более глубокого осознания положения индивидуума в современном мире».

[3] Ekbom, T. Engagemang och estetik. "Dagens Nyheter", 25. 8. 65.

Д. ХАЧАТУРЯН
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Создавая, как писала шведская критика, сплошной строго документированный коллаж, автор представляет действительность подобно инвентарному списку вещей, которые воспринимаются в определенном порядке, по ходу следования из одного зала в другой. Фиксируя внимание читателя на подробнейшем описании экспонатов, выставленных для обозрения посетителей, Экбум нарочито «объективизирует» повествование снимает все субъективные, оценочные категории, все то, что содержит какой-то намек на авторскую позицию. Стремясь к предельной «открытости» художественного текста, он оставляет на страницах своей книги лишь изображение обезличенной действительности. Только домысливая очень многое уже за рамками произведения, можно угадать горькую иронию автора перед лицом все более усиливающейся «материализации» мира, которая ежечасно и ежеминутно подавляет человека, вытравляя из него духовное начало. Но из-за отсутствия логической связи между случайно подогнанными частями произведения читателю, по сути дела, невозможно выбраться из предлагаемого его вниманию беспорядочного лабиринта вещей.

На внутреннюю слабость подобных произведений указал Бонде Йенсен, один из известных датских критиков. Тревожные тенденции в «литературе факта» он справедливо связывает с тем, что писатели нередко ограничиваются лишь беспристрастной фиксацией фактов, забывая о том, что сам по себе документ не обеспечивает правдивости изображения. «Истина в искусстве,— продолжает он,— достижима только тогда, когда художник постигает факты в их совокупности, когда в каждом конкретном факте он видит возможность широкого обобщения. Лишь разгадывая «структуру» фактов, можно постичь их подлинное значение»[1].

Тенденции предельно объективизировать литературу, документально воссоздавая обезличенную «вещность» окружающего мира, в шведской прозе последних лет резко противостоит тенденция другая — изображать отношение «личность — общество», «личность — действительность» в богатстве их взаимодействия, не умаляя ни субъективного, ни объективного начала. Особенно отчетливо эта линия прослеживается в произведениях тех писателей, которые в последнее время все чаще обращаются к больным вопросам общества «всеобщего благоденствия» — изображению жизни социальных низов, фактам социального бесправия, а нередко и классовой борьбы. Особый интерес в этой связи представляет документальная книга-интервью «Рудник»[2] (1968) известной шведской писательницы С. Лидман.

Замысел произведения о шведских рабочих-шахтерах родился у Лидман осенью 1967 года, когда она запланировала поездку в один из северных районов Швеции. Перед самым отъездом ее разыскал О. Урбум, неизвестный фотограф, который обратился к ней с просьбой написать комментарий к фотографиям, незадолго до этого отснятым в шахтерских поселках Лапландии. Лидман дает согласие и во время поездки в район Свappавары приступает к созданию этого необычного по форме произведения. Беседы с шахтерами она записывает на магнитофон. Впоследствии, производя тщательный отбор материала, писательница вынесет на страницы книги лишь наиболее типичные, с ее точки зрения, интервью. «Материал разрастался,— говорила Лидман.— Я никогда еще так долго не работала ни над одним своим произведением. Каждое интервью представляло для меня ценность, но кое-что неизбежно повторялось. У меня было много высказываний о несчастных случаях. Я выбрала то, что казалось наиболее характерным»[1].

Рассказы шахтеров, составившие основу книги, отобраны и смонтированы таким образом, что, отображая разные, часто совершенно противоположные точки зрения, они в целом создают картину жизни современного шведского рабочего. Судьба горняков, рассказанная непосредственными участниками событий на руднике, позволяет выделить в произведении две различные категории рабочих, столь широко распространенные в современной Швеции. К первой относятся преимущественно шахтеры старшего поколения, которые если и высказывают критические замечания в адрес руководителей предприятия или профсоюза, то в основном, однако, примирились с обстоятельствами, способны ради материальной выгоды пойти на уступки администрации. «Я всегда соглашался на любую работу, какую мне предлагали... Я всегда работал столько времени, сколько требовало начальство»,— восклицает один. «Я за себя спокоен»,— вторит ему другой.

Свидетельства «довольных» с их предельной самоуспокоенностью, крайне нетребовательным отношением к жизни убедительно дополняют рассказы «недовольных», глубоко обеспокоенных разъединенностью рабочих, отсутствием в их среде товарищества и солидарности. И о чем бы ни говорили их «свидетельские показания» — нарушение элементарных правил охраны труда и связанная с этим настораживающая частота профессиональных заболеваний, искусное сохранение руководителями предприятия «языкового» барьера (для многих шахтеров родной язык — финский),— повсюду заметно фактическое бесправие шахтеров.

Воссоздав картину экономического, политического и духовного угнетения рабочего, книга С. Лидман получила широкий резонанс в стране. Пожалуй, ни одно из произведений шведской литературы последних лет не обсуждалось столь широко в прессе, по радио, телевидению, на предприятиях.

Однако значение книги С. Лидман не только в том, что она способствовала изменению условий труда шахтеров, оно шире. В книге С. Лидман как бы намечаются но-

[1] Bonde Jensen, Jörgen. Vindhosen: Det arbejdsdelte kulturliv om dokumentarisma. "Vindrosen", 1970, 2/3, s. 166.

[2] Опубликована в «Иностранной литературе» № 5, 1969.

[1] Thygesen, M. Jan Mydral og Sara Lidman. Rapportgenren i svensk 60-tals litteratur. Malmö, 1971, s. 47.

вые тенденции в развитии реалистической литературы, прежде всего социальной прозы в Швеции конца 60-х—начала 70-х годов.

И не случайно в 70-е годы усиливается стремление многих шведских писателей анализировать современную действительность, исследовать конкретные жизненные ситуации и характеры, поднимать острые социально-политические проблемы. О судьбе рабочего в современном буржуазном обществе повествует роман Н. Парлинга «Западня» (1974), воспринятый прогрессивной шведской критикой как гневно-обличительный документ против монополий, против беспощадной эксплуатации, против оскорбления чести и достоинства рабочего человека. Острой социальной проблеме, то и дело встающей на страницах шведской печати — бесправному положению женщины на производстве,— посвящено документальное произведение Ф. Исаксона «Человек молод, пока жив» (1973). Биография рабочего-коммуниста Андерса Летто, записанная на магнитофон молодым писателем П. Риттселем и послужившая основой для его книги-интервью «Агитатор навеки» (1974), воссоздает широкую картину истории рабочего движения в Швеции [1].

О личности рабочего, его духовном мире и нравственных исканиях рассказывает документальный роман «Перед рассветом» (1974) известного журналиста Б. Рагнерстама, публикация которого явилась, по мнению большинства критиков, значительным событием современной шведской литературы. Действительно, впервые за несколько послевоенных десятилетий реалистическая литература Швеции обогатилась крупным эпическим произведением, воссоздающим панораму жизни рабочего коллектива, изображающим сложный процесс формирования революционного сознания в рабочем движении.

В основе романа лежат реальные факты; время действия приурочено к началу 80-х годов прошлого столетия, точнее, к 1881 году — два года спустя после крупнейшей по тем временам всеобщей забастовки на лесопильных заводах в Сундсвалле. Вбирая обширный фактический материал, повествование развертывается вокруг истории первых выступлений рабочих в Кристианстаде, небольшом городке на юге Швеции.

Глубоко несчастной, безрадостной предстает в романе жизнь рабочих. Потрясает описание нищеты, в которой они живут, но, пожалуй, самое страшное это та безнадежность, которая приводит в отчаяние. Перебиваясь мелкими подачками, едва сводит концы с концами семья Пера Линдаля, глубоко переживает гибель своего сына семья Блумбергов, на грани отчаяния потерявший работу Пер Уландер. Внезапно разыгравшаяся в городе эпидемия дизентерии лишь усугубляет их тяжелое положение.

Автор, однако, не ограничивается простой констатацией неблагополучия в жизни рабочих. Огромное достоинство произведения заключается в том, что оно показывает, как подспудно, в недрах рабочей массы зреет недовольство, протест, переходящий в открытое столкновение с администрацией. Несправедливое увольнение Пера Уландера вызывает возмущение его товарищей. И вот первая победа — их дружная поддержка, единодушный отказ выйти на работу — позволяет отстоять права рабочего. И хотя выступление это было достаточно локально, оно, по мнению автора, отчетливо свидетельствует о зарождающемся в сознании рабочих чувстве классовой солидарности.

Мастерски показывая, как медленно, но верно меняется психологический склад рабочего, как из покорного и нерешительного он превращается в сознательного борца за свои права, роман Б. Рагнерстама воспринимается как примечательное явление шведской литературы последних лет.

Совокупность нескольких произведений, опубликованных в Швеции на протяжении последнего десятилетия, обрисовывает, разумеется, лишь некоторые, но, на наш взгляд, весьма симптоматичные тенденции в развитии современной шведской прозы.

Нападки на реализм, с которыми в истекшее десятилетие выступили Т. Экбум, Л Нюлен и другие, потерпели очевидный крах. Их творческая позиция оказалась несостоятельной и в художественной практике. Искреннему рассказу С. Лидман и Б Рагнерстама о глубоких процессах изменения действительности и человеческого сознания они смогли противопоставить лишь «обезличенные» коллажи, наглядно демонстрирующие бесплодность документального натурализма, не обладающего способностью обобщать факты, провести между ними связь. Социально-критический пафос, демократическая направленность произведений С. Лидман, Б. Рагнерстама и других авторов сближает их с реалистическими книгами писателей-демократов 30—40-х годов, говорит об их верности выдвинутым И. Лу-Юханссоном принципам «статарской школы» [1], связанной с традициями раннепролетарской литературы. Призыв крупнейшего писателя-реалиста бороться с индивидуализмом буржуазного искусства, создавать книги о социальных низах общества, выступая как против натуралистического показа их жизни, так и против ее идеализации, сохраняет свою актуальность и для современных прогрессивных писателей Швеции.

[1] Рецензия на книги Ф. Исаксона и П. Риттселя опубликована в «Иностранной литературе» № 5 за 1976 г.

[1] Статарами были безземельные крестьяне. Полукрепостническая система «стата» существовала в Швеции с середины XIX века и была отменена лишь с окончанием второй мировой войны. Образ статара впервые появился на страницах произведений Ивара Лу-Юхансона.

ЗДЕНЕК ПЛУГАРЖ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧЕШСКОЙ ПРОЗЕ НАШИХ ДНЕЙ

Я не теоретик. И размышляя о движении чешской прозы со времени конца войны до наших дней, буду прежде всего опираться на собственный тридцатилетний опыт романиста.

Шесть лет оккупации, когда схваченные за горло музы молчали или ушли в подполье, приостановили развитие нашей культуры. Вполне естественно и логично поэтому, что чешская литература, получившая после войны широкие возможности для развития во всех направлениях, продолжила прежде всего те традиции, на которые опиралась прогрессивная литература предвоенной поры,— традиции реалистические. Однако возможностей критического реализма предшествующей эпохи было уже недостаточно, чтобы отразить новое содержание, увидеть жизнь как непрерывный процесс развития, раскрыть характер человека, борющегося за новую, социалистическую организацию человеческого общества. Чем же объяснить, что в нашей художественной практике становление нового творческого метода — социалистического реализма — проходило с таким трудом, что ему пришлось переболеть своего рода «детскими болезнями», прежде чем добиться признания?

Одну из причин я вижу в том, что некоторые наши прозаики 50-х годов, вместо того чтобы идти от человека — литературного героя — к фабуле, зачастую двигались в обратном направлении. Искренне стремясь утверждать новый общественный строй, они, однако, преобразовывали его идеи в исторические схемы, а уже от них шли к литературным образам. Фабула стала вроде сосуда, в который авторы «вливали жизнь». Нет сомнения, что подобное умозрительное конструирование отнюдь не способствовало воплощению жизненной и художественной правды.

Сторонники вульгарных тенденций 50-х годов предписывали литературе конкретные рецепты, как надо изображать жизнь. Запрограммированные образы получались невыразительными, лишенными жизни, и читатель, если и верил им, то с большим трудом. Отрицательную роль определенно сыграли и ограниченность творческого опыта молодого поколения, и недостаток у нас произведений литературы такого рода. Но корни тогдашней «болезни» схематизма глубже; их следует искать в самих проблемах того времени, в недооценке трудностей и сложностей, встречающихся на пути к социализму: иначе как объяснить, что тенденциям упрощенчества и «розового» восприятия жизни поддались в иных своих произведениях писатели весьма опытные.

К счастью, подобные явления безвозвратно канули в лету. Действительно, настоящий писатель никогда не будет пытаться

«втолкнуть» жизнь в заранее придуманные рамки. В сложной политической обстановке 60-х годов некоторые наши авторы, неправильно восприняв критику упомянутых художественных недостатков в литературных произведениях первого послевоенного десятилетия, начали оглядываться на западные литературные образцы. В своем увлечении французским «новым романом» они стали отрицать сюжет. Кое-кто дошел даже до полного и высокомерного игнорирования читателя. Гонясь за популярностью на Западе, они обращались к герою-скептику, колеблющемуся, обуреваемому чувством одиночества, ненужности в жизни. Эпигонское следование чужим образцам, пренебрежение к читателю никогда не вело к созданию чего-либо хотя бы мало-мальски приметного в искусстве. Да и духовному складу нашего народа, как мне кажется, гораздо ближе реалистический взгляд на мир и вера в жизнь, нежели весь этот нигилизм. А поэтому, я думаю, лучшими в нашей послевоенной прозе были такие произведения, которые благодаря живым художественным образам и значительности изображаемых событий оказались способны воздействовать на формирование сознания строителей нового общества, на активизацию их деятельности.

Искусство как одно из проявлений национальной культуры всегда было отражением общественного развития, тем более в социалистический период нашей истории, когда писатели считают своим долгом устанавливать самые тесные контакты с жизнью, в ней ищут источник вдохновения. Для сегодняшней чешской прозы характерно признание писателями общественной значимости литературы. Одновременно можно говорить и о постоянно расширяющемся регистре творческих устремлений, стилей и жанров. Немало писателей обращается к исторической прозе. Качественно новой особенностью ее я считаю то, что речь в ней идет не просто об исторических событиях — она пронизана желанием понять реальный смысл истории, ее внутреннюю динамику, связь прошлого с настоящим. Многие исторические темы звучат современно именно благодаря позиции, которую избирает автор, изображая события прошлого.

Пожалуй, никогда в прошлом не получала литературная молодежь такой поддержки, моральной и материальной, как в наши дни. У молодых литераторов есть свои клубы, они организуют семинары, проводят дискуссии, встречи с известными писателями, теоретиками искусства; для них устраиваются творческие поездки, выделяются стипендии Литературного фонда. Эта прозорливая политика уже начинает давать результаты, хотя и не мгновенные: развитие и рост таланта — процесс длительный.

Следует отметить, что, придя в литературу, молодые, как правило, обращаются к прозе (в прошлом это наблюдалось скорее по отношению к поэзии). Любопытно их тяготение к деревенской тематике и возрождение этого направления в литературе. Борьба с пережитками прошлого, бурный период коллективизации деревни, известные нам по произведениям 50-х годов,— своего рода история, сегодняшние герои уже разрешили для себя эти общественные конфликты. Внимание автора поэтому может быть полностью направлено на проблемы современных взаимоотношений людей в деревне, их психологию во всей сложности — ее не изобразишь лишь в черном и белом цвете,— на показ новых моральных качеств, рожденных новой, социалистической деревней, с ее небывалым подъемом жизненного уровня. Художественные образы в таких произведениях получаются более пластичными, правдивыми, читателю они ближе и понятнее.

Процесс «омоложения» нашей литературы, разумеется, отнюдь не прост. Ведь стать писателем — не только вопрос благородного решения или доброй воли, усердия, упорства и даже — самое главное — таланта, но и вопрос человеческих, нравственных качеств. вопрос гражданской позиции и мировоззренческой ориентации, то есть всего того, что характеризует писателя как личность. Да и современный читатель, как мне представляется, стремится найти в книге, порой даже подсознательно, общественную проблематику. Ему хочется сравнить свой взгляд на мир, на основные этические и общественные вопросы со взглядами автора. Я убежден, что при этом люди обычно ищут в книгах то, что расширит их познания об окружающем мире, обогатит опыт, познакомит с новыми идеями. Читатель сможет почерпнуть все это только у того, кто сам обладает должной эрудицией, богатством чувств, даром проникновения в суть происходящего.

Мне кажется однако, что некоторые представители молодого литературного поколения бывают порой нетерпеливы. После первой же опубликованной книги они считают себя оформившимися мастерами слова, оставляют прежнюю профессию, полагая, что могут быть писателями-профессионалами. Но создание подлинно художественной прозы требует многих лет кропотливого труда, богатого жизненного опыта, знания не только человеческих характеров, но и обстоятельств, их формирующих. А еще — скромности и убежденности в том, что писать надо учиться до самого последнего творческого дыхания. И понимания того, что нет такой хорошей книги, которая не могла бы быть еще лучше.

Молодое литературное поколение не познало на себе трудностей войны, ужасов нацистской оккупации, когда под угрозой оказалось самое существование нашего народа. Возможно, поэтому начинающим прозаикам не всегда удаются темы, связанные с патриотизмом. Им трудно, например, расставить верные акценты в понимании психологии тех, кто изменил родине, уехал в эмиграцию. Глубокие чувства любви к родной земле приходят с жизненной зрелостью, мудростью, пониманием подлинных ценно-

стей жизни хотя «чувство родины» питают сотни невидимых корней, уходящих в родную землю и связывающих с ней человека еще до того, как он родился: из нее он черпает живительные соки, она же формирует его душу. Насильственно разрывать эти кровные узы — значит порывать связи с людьми, с конкретной работой, отказываться от прежней любви, от друзей и родных. Родина — это и древние могилы предков, и воспоминание о дорогом сердцу уголке чешской природы. Я знаю эмигрантов, которые, любуясь прекрасными горными озерами Швейцарии, с грустью вздыхают о прудах Чешско-Моравской возвышенности. Знаю и других эмигрантов: после многих лет ностальгии они не выдерживают и возвращаются, чтобы хотя бы умереть на родине.

Я не верю, что в эмиграции можно чувствовать себя счастливым: в каждом из нас есть что-то, от чего нельзя уйти, даже находясь на краю света,— от собственной совести, от тоски по родной земле...

Завершая эти заметки, хочется сказать несколько слов о перспективах развития чешской литературы. После преодоления последствий кризисного периода 60-х годов литературный фронт постепенно консолидируется. Сегодня на повестке дня — качество художественных произведений. Нельзя успокаиваться на достигнутом, это гибель для писателя. Нельзя забывать и о том, что художественная литература способна намного сильнее, чем, скажем, наука, воздействовать на душу человека, обогащать его эстетически, вызывать чувства восторга перед красотой, радости бытия. Утверждая новые эстетические принципы нашего социалистического общества, литература влияет на сознание и поступки людей в их стремлении к лучшей, более совершенной жизни.

Перевод с чешского
Т. МИРОНОВОЙ

◆

Письма из-за рубежа

МЭРИ КРУС

ХЕМИНГУЭЙ — НАВСЕГДА

В доме Эрнеста Хэмингуэя на Кубе, в той комнате, где была его библиотека, стоит небольшой белый шкаф. В одном из его ящиков, среди разных бумаг и книг — писатель, вероятно, хотел скрыть их здесь от любопытных глаз — есть один томик, имеющий особую ценность. На его страницах рукой Хемингуэя, почерком, который не спутаешь ни с чьим другим, набросано карандашом стихотворение...

«Стихи к мисс Мэри»[1] занимают две страницы в конце книги, там, где кончается печатный текст. Набросок сделан в отеле «Ритц» в «городе света» (так Хемингуэй любил называть Париж) и датирован 26 ноября 1949 года. Именно в этот день, как явствует из пометки Хемингуэя («чтение закончено 26.11.49»), он дочитал до конца роман Нелсона Олгрена «Человек с золотой рукой». Разумеется, среди почти десяти тысяч томов, разбросанных по полкам и шкафам буквально во всех комнатах усадьбы «Финка-Вихия» (ныне музей Хемингуэя в Сан-Франсиско-де-Паула, неподалеку от Гаваны),— это не единственная книга, содержащая пометки писателя. Тем не менее она, пожалуй, представляет наибольший интерес — по характеру самих записей, из которых в первую очередь привлекают внимание стихи.

[1] Мэри Уэлш Хемингуэй — жена писателя.

СТИХИ К МИСС МЭРИ

Что ж Мэри
Всего ничего
ты переживешь
и вдовство
Куда б
ни вела нас стезя
не видеть
нам было нельзя
коричневый цвет
желтый цвет
а также зеленый цвет
Он ярким был
или нет
с приметами
без примет
милее же
не было нет
Впивался он в нас
словно вошь
покуда
его не стряхнешь
пока
как игральную кость
швырнуть его
не удалось
«Везде»
это угол такой
для гонки людской
А тем
кто в ней
темпы дают
лопату
за то
выдают
Лопатой
работать легко
копает
она глубоко
Поэтому
спи засыпай
и знай
дорогая
знай
что если
ты спишь хорошо
мне тоже
легко хорошо

(Перевод с английского Бориса Слуцкого)

Неровные строчки этих стихов, их беспокойный ритм, зашифрованность мысли, возможно, дали бы психологу ценный материал для исследования. Об их поэтической ценности критики, наверное, стали бы спо-

рить. Но прочитавший эти стихи без предубеждения неизбежно подпадает под власть разнородных, непростых мыслей и чувств.

Смысл стихотворения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Здесь и характерная хемингуэевская ирония — с горечью, спрятанной в улыбке. И смерть — неназванная, но молчаливо присутствующая в каждой строке стихотворения, смерть как освобождение, как избавление от опасностей и горя, как обретенный наконец покой.

Что же побудило Хемингуэя написать эти стихи — нечто вроде прощальных строк, выражение «последней воли», завещание, где неотчетливо проступает мысль о самоубийстве? Сомнения в собственном творчестве? Тяжелые личные переживания? Или что-то еще?

Работая в библиотеке писателя, читая записи на полях его книг, я старалась представить себе этот период биографии Хэмингуэя, и мне открывались порой новые грани его творчества. Этим размышлениям и обязаны своим возникновением предлагаемые заметки.

Хемингуэй читал «Человека с золотой рукой» в трудную для себя пору. Будущее казалось ему неопределенным, оно вызывало постоянную и мучительную тревогу.

21 июля 1949 года писателю исполнилось пятьдесят лет. Он уже не был ловким спортсменом и искателем приключений, как когда-то. Человек, столько раз побеждавший страх, предрассудки, порожденные беспокойным детством, одиночество, собственные философские и политические сомнения (и которого все это ожидало и дальше), столкнулся с тем, чего не может избежать в конце долгой жизни никто,— со старостью.

О смерти он писал много. Смерть не была для него самым худшим. С ранней юности самоубийство казалось ему одним из приемлемых решений, возможным выходом из трудных проблем общества отчуждения. Эту тему писатель затрагивает и в разговорах, и в письмах; известно его высказывание о том, что если бы он не отдал так много времени охоте и рыбной ловле, то смог бы написать больше, но вероятно, кончил бы самоубийством.

А вот старость была для него чем-то неожиданным, еще непривычным, столь же далеким, сколь далекой была смерть для Ника Адамса, героя рассказов сборника «В наше время», вплоть до того ужасного момента, который ему довелось пережить в лагере индейцев.

В молодые годы писателю не приходили в голову мысли о неизбежном наступлении старости. А теперь Хемингуэй все чаще замечает, что приближается такой момент, когда никакое усилие воли, даже жесткая рабочая дисциплина, которой он всегда себя подчинял, не смогут предотвратить угасания его творческого дара, как не смогли занятия спортом, приключения в джунглях и на море остановить упадка физических сил.

Перед ним, преждевременно состарившимся, столько раз раненным (во время войны, в автомобильных и авиационных катастрофах, на охоте, корридах, в море), вырастала новая страшная угроза: остаться с жизнью один на один, на сей раз ослабленным ударами, невзгодами, без тех преимуществ, что дает молодость...

Мысли пятидесятилетнего Хемингуэя неотвязно возвращались к постоянной теме — смерти и к теме, вновь открытой,— старости. Его роман «За рекой, в тени деревьев», переданный издателям в октябре 1949 года,— это размышление о том, как принимает смерть человек, проживший свои пятьдесят лет не менее интенсивно, чем сам писатель. Образ полковника Кантуэлла (как, впрочем, и многих других хемингуэевских героев) — своеобразное литературное осмысление одного из возможных путей, по которым могла бы пойти жизнь автора. Ведь художественное творчество у Хемингуэя — это порой нечто вроде исповеди, что не мешало ему, однако, соблюдать дистанцию, столь необходимую в искусстве. Писатель работал и в этих случаях с той же свободой и целеустремленностью, как тогда, когда обращался к менее субъективно окрашенным темам.

Каждый, кто читал «За рекой, в тени деревьев», помнит, как полковник Кантуэлл разговаривает со своим шофером Джексоном о кончине его однофамильца Томаса Джексона, генерала из армии конфедератов, прозванного Стоунуоллом (Каменной Стеной), и повторяет слова, сказанные генералом в предсмертном бреду. Историческая ссылка, встреченная Хемингуэем при чтении книги Гарри Кида Дугласа: «Я служил в коннице Стоунуолла», находит здесь свое художественное использование, и подтверждение этому неожиданно обнаружилось в принадлежавшем Хемингуэю экземпляре книги, который также хранится ныне в его музее. На форзаце, ближе к верхнему правому углу, видна краткая пометка: «См стр. 228. Э.Х.». На указанной странице находим четырежды твердо подчеркнутые выцветшими синими чернилами те шесть строк, которыми навеяны разговор Кантуэлла и заглавие повести. На полях слева рукой Хемингуэя, теми же поблекшими синими чернилами, наискосок написаны и выразительно подчеркнуты слова: «За рекой, в тени деревьев».

В октябре 1949 года Хемингуэй передал журналу «Космополитен» роман «За рекой, в тени деревьев» без последних трех глав. Их он оставил у себя, чтобы просмотреть еще раз в Европе. А. Э. Хотчнер, журналист, друг Хемингуэя, забрал их у писателя в Венеции после новогодних праздников. Эти последние главы Хемингуэй окончательно отшлифовывал. Как раз в той обстановке, в которой происходит действие повести.

Венецианкой была и в Венеции жила Адриана Ивансич, послужившая прототипом героини романа графини Ренаты. Адриана была талантливой девушкой, писала стихи, неплохо рисовала. Она же оформляла

обложку книги «За рекой, в тени деревьев», а позже — обложку повести «Старик и море». В музее Хемингуэя имеется оригинал рисунка для обложки романа «За рекой, в тени деревьев». Для печатного издания этот рисунок позже был воспроизведен в Нью-Йорке художником-профессионалом. Единственное различие между ними состоит в бóльшей четкости букв. На суперобложке книги указано, кто автор рисунка.

В романе любовь Кантуэлла к Ренате — «последняя, единственная и настоящая». Эта любовь приносит полковнику избавление от груза воспоминаний, разочарований и угрызений совести. Прошедший через духовное очищение, он встречает свой конец.

Создатель Ричарда Кантуэлла также переживал момент кризиса. Казалось, страх перед одиночеством стал для Хемингуэя в то время как никогда определенным и осязаемым. Смерть снова показалась ему избавлением — в день 26 ноября 1949 года, когда он написал «Стихи к мисс Мэри».

Ну, а потом? По возвращении из Европы чета Хемингуэй принимает у себя в усадьбе «Финка-Вихия» приехавших навестить их Адриану и ее мать. Адриана оценила построенную Мэри для мужа в 1947 году «белую башню». Со смотровой площадки ее открывается великолепная панорама: за деревьями и холмами, за крышами домов Сан-Франсиско-де-Паула и за зданиями Гаваны скорее угадывается, чем видится, море. В самой высокой из комнат «белой башни», там, где стоят письменный стол для работы и шезлонг для отдыха, Хемингуэй проводил вечера с Адрианой. Они вдвоем создали «White Tower Incorporated» — тайное «Общество белой башни», той самой башни, где Адриана рисовала и писала стихи, навеянные Кубой.

В спальне — здесь Хемингуэй обычно работал по утрам — на полке, рядом с его пишущей машинкой, лежит экземпляр книги Адрианы Ивансич-Биаджини «Я видела небо и землю». На титульном листе, внизу, есть дарственная надпись: «Это сделали мы, Папа. С любовью. А. И.». Всю верхнюю часть его занимают очень крупные, расположенные одна над другой буквы WTI, конечно же, означающие сокращенное название тайного общества.

В гостиной дома есть еще один экземпляр книги Адрианы с надписью: «Мэри. Горячо целую. А. И.».

Здесь, в башне, Хемингуэй продолжал вечерами работу, которая занимала у него и всю первую часть дня,— он писал повесть о старом рыбаке. Тогда она называлась «Живое море».

В те дни душевный кризис писателя, казалось, был преодолен. Работа шла хорошо. Неблагоприятные отзывы критики на опубликованный незадолго перед тем роман «За рекой, в тени деревьев» вполне уравновешивались энтузиазмом, с которым он был принят читателями. В течение ряда месяцев книга «За рекой, в тени деревьев» возглавляла в США список «бестселлеров». Роман можно было бы назвать «сумеречным», ибо в нем отражена внутренняя борьба человека, старающегося встретить смерть с достоинством. Однако это не означает, на наш взгляд (что бы ни утверждали некоторые видные критики), будто творческие способности Хемингуэя в этот период его литературной деятельности находились в упадке. Хемингуэй, мастер повествования, все еще оставался «чемпионом» — слово, очень им любимое. Напомним читателю, что два года спустя вышел в свет уже под окончательно выбранным заглавием литературный шедевр — «Старик и море».

...Вернемся, однако, к пометкам на книге Олгрена. Замечания о самом Олгрене, как правило, благожелательны. «Прекрасно»,— пишет Хемингуэй против слов «в медленном, словно замирающем движении». «Очень хорошо» — такую пометку ставит он над словами «снег, лениво вьющийся позади ночных трамваев». Однако ему показался плохим образ «часов с разбитым сердцем».

Кое-где он помечает место, где, по его мнению, следовало закончить абзац, расставляет знаки препинания, ставит свое выразительное «о'кеиссимо», подкрепляя его пометками «замечательно», «здорово получается». На полях следующей страницы читаем: «Хватит писать, слишком поздно. Больше — ни одной запятой». Здесь Хемингуэй, видимо, прервал чтение. Потом вновь принялся за него. Появились новые записи...

Через четыре года после трагического конца писателя и через четырнадцать лет после того, как были сделаны комментируемые нами пометки на полях «Человека с золотой рукой», Нелсон Олгрен издал книгу «Записи из морского дневника: Хемингуэй на всем пути».

По словам критика и профессора Пенсильванского университета Филипа Янга, Олгрен отвечал похвалами на похвалы, полученные от Хемингуэя в течение пятнадцати лет. Однако, читая книгу Олгрена, встречаешь в ней искреннее восхищение Хемингуэем и презрение к университетским профессорам литературы, пишущим критические статьи. Стиль автора резок, а юмор едок. Порой он бывает несправедлив по отношению к тем, кого сам обвиняет в несправедливости. Но то, что он написал о Хемингуэе, нам представляется верным.

Книгу завершает обращенный к читателю риторический вопрос: «Если бы у вас была власть вернуть к жизни одного, и только одного американского писателя нашего времени, кого бы вы выбрали?» На него отвечает сам Олгрен: «По-моему, это должен быть Хемингуэй, Хемингуэй — навсегда».

г. Гавана.

Перевод с испанского Г. ВЕРЖХОВСКОЙ

◆

Заметки на полях

ПИСАТЕЛИ О ЧИТАТЕЛЯХ

Проблемы взаимоотношений между писателем и обществом, между писателем и читателем (а если взять шире — и вообще между художником и «потребителем» плодов его таланта и труда) принадлежат, по-видимому, к так называемым вечным проблемам искусства. Не только каждое поколение, но и каждый художник всякий раз решает их сам для себя заново, по-своему. И то, как он их решает, во многом предопределяет и гражданскую его позицию, и творческую его манеру, а нередко и его судьбу в искусстве.

Сегодня споры о том, ради кого или ради чего пишет писатель, к кому он обращается, каким видит и каким хочет видеть человека со своею книгою в руках,— сегодня эти споры приобрели не просто особую остроту, они ведутся, как правило, под особым углом зрения. Своего рода общим местом стало утверждение о том, что роль, значение, даже функция литературы в обществе конца двадцатого столетия существенно меняются, причем меняются как будто бы не в пользу литературы. Связывают это обычно с «технизацией» общества: с неудержимым распространением радио, кино, звукозаписывающей аппаратуры, с головокружительной карьерой иллюстрированной периодики и, конечно же, с триумфальным шествием телевизора, который во многих странах стал чуть ли не членом каждой семьи. Говорят даже, что катастрофический рост объема информации, которая обрушивается на голову перегруженного своими делами и заботами, вечно спешащего и вечно не успевающего «человека с улицы», подтачивает привычку к серьезному и неторопливому чтению, грозя современному обществу так называемой вторичной неграмотностью. Но в то же время обращают внимание и на другое, казалось бы, прямо противоречащее первому обстоятельство: кино, радио, телевидение, конкурируя и соперничая с литературой, тем не менее не вытесняют книгу, на масштабы распространения которой скорее накладывает отпечаток нехватка бумаги, чем падение читательского спроса.

Подобного рода размышления послужили исходной точкой нескольких весьма оживленных и содержательных обменов мнениями, которые состоялись недавно в Народной Польше.

> «К кому — в психологическом и общественном плане — хотели бы вы адресоваться как автор? Каким читателем вы особенно дорожите? Какие отклики имеют в этом смысле для вас существенное значение?»

Так редакция одного из самых читаемых и уважаемых в Польше литературных изданий — краковского еженедельника «Жиче литерацке» — сформулировала задачи своеобразного опроса писательского мнения, в котором приняли участие более сорока литераторов народной Польши. Варшавский «толстый» журнал «Месенчник литерацки», собравший за редакционным столом нескольких ведущих писателей и критиков, следующим образом определил замысел дискуссии «Литературное самосознание и самосознание общественное»:

> «Сейчас преобладает читатель со средним, по меньшей мере с начальным образованием, и то преимущественно профессионально-технического характера... В этих условиях важно представить себе, как сами писатели судят о собственной своей роли в формировании социалистического общества, его будней, новых начал в отношениях между людьми, новых основ морально-эстетических категорий».

В редакции варшавского еженедельника «Культура» состоялась встреча руководителей крупнейших польских издательств. Разговор здесь носил не чисто профессиональный характер. Беседа, по словам главного редактора «Культуры» Доминика Хородыньского, тоже велась о литературе, но «глазами издателей сквозь призму издательских проблем».

И каждый, кто откликнулся на анкету краковского еженедельника, каждый, кто принял участие в дискуссии на страницах «Культуры» и журнала «Месенчник литерацки», в той или иной форме сделал отправным пунктом своих размышлений вопрос о характере читательской аудитории в современной Польше, о радикальном ее преображении за послевоенное тридцатилетие, о неуклонном расширении масштабов спроса на книги.

Весьма любопытные данные привел в этой связи Станислав Бенбенек, возглавляющий одно из самых крупных польских издательств «Чительник». Только за пять лет, с 1970 по 1975 год, выпуск книг в стране увеличился на 35 процентов, то есть более чем на треть. В той же самой пропорции возрос и средний тираж произведений, причем тираж «взрослой» художественной литературы увеличился с 18 до 24 тысяч, а детской и юношеской — с 49 до 58 тысяч экземпляров.

Цифры эти говорят о глубокой, радикальной демократизации польского общества, о принципиальных переменах, которые произошли и происходят не только в самих условиях жизни человека, миллионов людей, но и в их психологии, в самом их взгляде на жизнь и на себя.

В разрушенной войной, отсталой, по преимуществу крестьянской стране, естественно, наиболее драматические формы ломка эта принимала прежде всего в деревне. И не удивительно, что «крестьянская тема» и тесно с ней связанное социальное и духовное продвижение миллионов по сей день остается одной из центральных тем польской литературы.

> «Бесспорно, что деревня в ее новейшей истории — деревня быстро растущая,— написал в ответ на анкету «Жиче литерацке» хорошо у нас известный прозаик Юлиан Кавалец.— Явление это просто и однозначно, когда прикладываешь к нему экономические, материальные мерки; однако же сложна, противоречива, а вместе с тем богата и привлекательна психологическая его подкладка. Я стремился и стремлюсь, насколько умею, показать читателю деревенского человека с обнаженною душою, ибо нет, пожалуй, особого смысла писать о том, в чем нас в состоянии убедить взгляд, прикосновение, слух».

Иной точки зрения и иной творческой манеры придерживается Эдвард Редлиньский — писатель, который несколько лет назад за короткое время завоевал польскую читательскую аудиторию. Первая его повесть «Конопелька» оказалась настолько своеобразным и настолько талантливым рассказом об умирании польской «глубинки» (хотя и не только об этом), что он выдвинулся в ряд крупнейших литераторов народной Польши. А его роман «Аванс», в котором писатель беспощадно обнажил нищую душу мещанства — и городского и деревенского,— подтвердил, что Эдвард Редлиньский спра-

ведливо не хочет считать себя писателем исключительно «деревенской темы», хотя и пишет о деревне.

«Когда я пишу,— ответил он на анкету «Жиче литерацке»,— я представляю себе, чувствую, «держу перед глазами» людей, для которых — верю, предполагаю — тема моя интересна и нужна. А тема моих писаний, в двух словах, сводится к культурному движению: переходу от материального и мировоззренческого примитива к сложной современной цивилизации и культуре, к связанным с этим перипетиям личности. А личностей, которые пережили это, в польских городах и деревнях миллионов двадцать».

Резкому численному увеличению читательской аудитории, это подчеркивали многие участники дискуссии, сопутствует в Польше и столь же быстрое повышение, если так можно выразиться, среднего уровня ее образованности, а как одно из следствий этого — изменение отношения к книге, к искусству. Представления, будто принадлежность к той или иной социальной, профессиональной среде определяет подготовленность и класс читателя — хотя они все еще довольно живучи в сегодняшней Польше,— потеряли или практически теряют свой резон. Поскольку образование перестало быть элитарным, поскольку диплом того или иного учебного заведения перестал служить своего рода пропуском в интеллигенцию, к понятию этому опасно подходить со старыми, традиционными мерками. Диплом даже о высшем образовании отнюдь не служит сегодня сам по себе доказательством, что предъявитель его — непременно более грамотный, более отзывчивый и более благодарный читатель.

«Надо раз и навсегда покончить с архаичным разделением читателя на читателя-интеллигента и читателя — рабочего или крестьянина,— ответил краковскому еженедельнику поэт Ян Болеслав Ожуг.— Деревня... читает колоссально много осенью и зимой, когда в полевых работах настает мертвый сезон,— и читатель этот очень часто человек с богатой, не простецкой душой, а вовсе не такой примитив, как может показаться городскому «псевдодеятелю». Зато все больше бросается в глаза равнодушие к художественной литературе в кругах интеллигенции...»

Не менее решительно на ту же тему высказался в журнале «Месенчник литерацки» Войцех Жукровский, писатель острого политического темперамента:

«Рабочие ходят в кино, их не надо за ручку водить в театр, они много читают, в то время как инженеры страдают чуть ли не вторичной неграмотностью, оправдываясь нехваткою времени».

Эта вторичная неграмотность нередко уживается у такого рода «читателя» не только с равнодушием к книге, но и с кичливым, снобистским отношением к искусству для всех, с тоской по искусству элитарному. И тут, по мнению Войцеха Жукровского, немалая доля вины лежит на той части польской критики, которая и сама нередко страдает вторичной неграмотностью,— но неграмотностью, так сказать, социальной, гражданской. Для подобного рода элитарной критики рецензируемая книга служит

«лишь предлогом, чтобы продемонстрировать свою эрудицию и распустить павлиний хвост. К тому же она отличается изощренным стилем, нафаршированным специальными терминами, она характеризуется герметичностью и предназначена для профессионалов, в ней нелегко найти оценки в форме, понятной читателю газет, приемлемой для него...»

И такая именно критика способна подтолкнуть писателя к поражению, о котором написал известный поэт старшего поколения Александр Рымкевич в ответ на анкету еженедельника «Жиче литерацке»:

«Каждый писатель лелеет в душе надежду, что произведения его будут читаться повсеместно. Так обстоит дело сейчас, так было всегда... Многие писатели наделены бывают поразительно противоречивым характером — что-то от алчного властелина и что-то от жалкого попрошайки. Ожидая рукоплесканий толпы и не слыша их, литератор готов бывает с благодарностью принять как драгоценную дань восхищение хотя бы одного-единственного читателя. А поэт, оказавшись бессильным проломить стену безразличия простого, рядового читателя, начинает чваниться своим духовным аристократизмом. Грустная это элитарность, элитарность по необходимости, следствие поражения...»

Это поражение художник обычно переживает особенно остро и болезненно там, где, если воспользоваться выражением В. Г. Белинского,— все пишет или читает, где «публика считается миллионами, а писатели тысячами». Иными словами, там, где культура перестала быть уделом немногих, где утверждается требовательное отношение к искусству как к гражданскому служению обществу.

В Польше (как и в России) писателю в общественном сознании исторически отводилась роль трибуна, народного заступника, духовного вождя. И напротив, польская передовая национальная культура — как и русская демократическая культура — неизменно восставала против мещанского, равнодушного, потребительского восприятия искусства по известной формуле: писатель пописывает, читатель почитывает. Эти традиции заинтересованно поддерживает и развивает сегодня в Польше социалистическое государство. В одном из недавних своих выступлений товарищ Э. Герек так говорил о культурной политике польских коммунистов:

«Мы стремимся к тому, чтобы искусство, используя свой, ему одному присущий арсенал средств, также принимало участие в преобразовании нашего сегодня в наше завтра, чтобы оно было верным обществу, которое дало ему жизнь, и чтобы само оно помогало строить новую жизнь, чтобы оно поддерживало благородные и гуманные идеи, пробуждало отзывчивость к красоте и справедливости, воспитывало приверженность делу служения народу и человеку».

Как не отстать от своего читателя, не разминуться с ним, не потерять его? Ведь читательская масса в народной Польше, становясь все более однородной с точки зрения мировоззренческой, становится одновременно и все более неоднородной с точки зрения ее художественных вкусов, пристрастий и привязанностей. Литература, подчеркивал в этой связи за «круглым столом» журнала «Месенчник литерацки» критик Анджей Лам, должна

«выводить новые литературные жанры из языка, каким говорят люди труда в Польше, из ситуаций, о которых они друг другу рассказывают, и из самих ситуаций, в которых они такие беседы ведут».

Ибо вряд ли можно не отстать от современного читателя, говорил в той же дискуссии писатель Эугениуш Кабатц, если искусство будет обращаться к этому читателю с «бессодержательной, пережеванной мякиной», с «фейерверком фривольной музы», с «эстрадной и литературной халтурой».

«Если мы на самом деле хотим с уважением отнестись к запросам современного человека,— подчеркнул Э. Кабатц,— то обязаны писать так, как никто до сих пор не писал».

И характерно, что последние пять-семь лет были, пожалуй, наиболее интересными и плодотворными в послевоенной польской литературе, годами поисков и новых тем, и новых форм. Вышедшие в эти годы книги таких, скажем, поэтов и прозаиков, как Я. Ивашкевич, А. Кусьневич, Э. Брылль, М. Брандыс, Е. Брошкевич, Т. Новак, Э. Редлиньский, В. Терлецкий (произведения многих из них известны советскому читателю), писателей разных поколений, но одинаково не традиционных, писателей, которые осо-

бенно смело «экспериментируют»,— именно их книги пользуются в сегодняшней Польше самым широким спросом. Вокруг этих и подобных им книг нередко в польской критике закипали споры, но они неизменно становились заметным событием в культурной жизни страны.

Сами писатели видят главную причину этого, пожалуй, в изменении читателя, который в массе своей умеет быть сегодня не только внимательным слушателем, но и другом и собеседником писателя.

«Если я рассматриваю литературу как инструмент, как средство или важный способ передачи идей, которые я разделяю,— заметил прозаик Ежи Вавжак,— то своего читателя я вижу прежде всего человеком, ищущим диалога... Это человек скорее поступка, нежели рефлексии, некто из первой ли, из последней ли шеренги, но не с обочины. Тот, кто составляет подавляющее большинство нашего общества».

Заинтересованное, требовательное отношение читателя к литературе, по мнению многих участников дискуссий, не имеет ничего общего с примитивным представлением о ней как о кладезе житейской мудрости, как о своде подсказок на все случаи жизни.

«Меня привлекает читатель недоверчивый,— подчеркнул в своем ответе на анкету «Жиче литерацке» Владислав Герлецкий.— То есть такой, который не будет смотреть на мои книги, словно на сборник жизненных рецептов, искать в них образчиков примерного поведения и т. п. Я никогда еще не ловил себя на мысли, что умнее своего читателя. Порой только мне кажется, что я должен быть чуточку мужественнее его».

И если это удается, если писателю удается втянуть читателя в разговор о судьбе страны, о собственной его, читателя, судьбе, литератор чувствует удовлетворение от своего труда, будучи уверен: слово его не просто услышано, понято, оно и принято во внимание.

«Меня интересует читатель,— так написал об этом поэт Здзислав Моравский,- который захочет принять приглашение к диалогу. Конечно, речь тут не идет о славословии или восхищении, это может быть голос-возражение, голос-протест... голос-размышление, голос-вздох, голос — мимолетная задумчивость,— одним словом, голос партнера».

Но такой диалог — и тут все участники анкеты еженедельника «Жиче литерацке» единодушны — будет плодотворным, если обе стороны поведут его на равных, товарищеских началах, на одном языке. Прозаик и поэт Богуслав Когут сказал об этом так:

«Человек, который не отложит «Тихий Дон» из-за того только, что это «толстенный томина», а потрудится понять (пережить) глубину драмы всех Мелеховых,— будет читателем, о котором я мечтаю, которого я хочу привлечь на свою сторону».

О том же, по существу, говорил и Тадеуш Голуй, один из ведущих писателей народной Польши:

«Думаю, что почти все писатели творят прежде всего для Себе-Подобных. Одни, разумеется, делают это сознательно, другие — нет.. В итоге вопрос «для кого я пишу» - это вопрос «кто я», «чего хочу я».. Каждый раз, когда расходится тираж моей книги, это приносит мне не только свойственное каждому человеку удовлетворение от успеха, но также и укрепляет меня в вере, что все больше становится таких Мне-Подобных, близких людей.. Это тем более радостно, что все мои книги, как я считаю, находятся в сфере коммунистической идеологии. Я не даю своим читателям легкого чтения ни с точки зрения формы, ни

с точки зрения содержания, я требую от них интеллектуальных усилий, очень активного соучастия в рассказываемой для них истории».

Все отвечавшие на анкету еженедельника «Жиче литерацке», сколь бы ни были различны их творческие манеры, художественные вкусы, представления о том, для кого конкретно они хотели бы писать, все они, думается, согласны с мнением Ирениуша Ирединьского,— пожалуй, одного из наиболее интересных и оригинальных польских драматургов и прозаиков среднего поколения. Он свел свой ответ на анкету всего к четырем словам:

«Меня,— написал он,— интересует читатель интеллигентный».

И хотя, как, наверное, повсюду, в Польше среди читателей даже «с образованием» немало есть людей эстетически глухих, людей, которые в литературе ищут одного лишь развлечения, или людей, вообще к книге равнодушных, основная, подавляющая часть современных поляков может с полным на то основанием отнести себя именно к категории читателей интеллигентных. А это такой читатель — рабочий ли, крестьянин ли, инженер ли,— который прежде всего любит и умеет читать. Читатель для всякого писателя желанный, но и очень трудный. Он требует уважительного, серьезного отношения к себе, к стране, к общему делу, к искусству. Прекрасно сказал об этом полтора года назад, на съезде польских писателей в Познани, Ярослав Ивашкевич:

«На нашей литературе, на нас лежит гигантская ответственность перед обществом — не в упрощенном, примитивном смысле этого слова, но такая ответственность перед народом, которая была и есть нашим богатством и нашим долгом».

А такое богатство и такой долг — мощный стимул, побуждающий писателя к работе, к честному служению литературе и народу.

А. ЕРМОНСКИЙ

Публицистика

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ

КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ПОЖИВАЕТЕ?

Перевод с польского С. ЛАРИНА

«Вы видели Освенцим с той стороны»

Я выбрал не Парагвай или Боливию, не тех людей, которые сбежали и скрываются в джунглях, не тех, что еще пребывают за решеткой или уже отбыли тюремный срок. Я выбрал тех, кто ничего не боится, кто избежал справедливого возмездия. Их свободу, самоуверенность, их преуспевание в делах я счел вызовом. Неужели навсегда, до скончания века им суждено спокойно коротать свои дни? Я решил, что в их жизни еще обязательно должно что-то произойти. Через тридцать лет после совершенных ими злодеяний, в тот момент, когда они убеждены, что все некогда случившееся — уже история, я решил поехать и напомнить им некоторые события и фамилии, задать им ряд вопросов, из которых первый будет такой: «Как вы теперь поживаете?»

Я поеду, чтобы воочию увидеть тех, к кому когда-то невозможно было приблизиться простому смертному, так как это грозило гибелью. Я поеду взглянуть на них, покуда они живы. Ведь это редкая случайность, какая может выпасть на долю одного из десятков тысяч людей моего поколения. Но захотят ли они говорить со мной?

Когда я готовился к поездке, многие считали мою задачу невыполнимой. «Ссылаясь на решения судов, они скажут, что дело закончено, и будут хранить молчание». Но весь мой план как раз и основывался на этом исходном условии: раз их оправдали, они должны вести себя как невиновные, играть роль невинных, которые без опаски вспоминают прошлое. Отказ от беседы — это косвенное признание вины. Кроме того, эти ныне респектабельные, исполнительные немецкие граждане в прошлом — офицеры, привыкшие к дисциплине. Такие на заданный им вопрос отвечают. А может, некоторым и захочется вернуться к прошлому, еще раз все переворошить?

«Если они откажутся,— советовали мне некоторые друзья,— сними квартиру напротив, часами стой в воротах. Опиши хотя бы их виллы, назови марки их автомашин, перечисли названия деревьев, форму газонов, составь подробный перечень всего, укажи время, когда они выезжают и возвращаются, пиши о том, как выглядят их жены, дети, внуки». Я мог и просто устроиться к кому-нибудь из них на работу, выдав себя за некое иное лицо, мог явиться в качестве обычного клиента.

Перед своей поездкой я получал самые разные наставления, даже по почте: «Ищи М. Последний раз его видели в Б. в 1944 году, он как будто из Ганновера. Я возмещу тебе расходы на поездку».

«Не доставит ли им чувство удовлетворения сам факт, что вы разговариваете с ними как с нормальными людьми? Не очеловечите ли вы их своей беседой? Для меня это вовсе не люди, а некие живые существа из белка и воды, которых надо уничтожать. Я бы не удержалась от того, чтобы перегрызть им глотку».

«Ни в коем случае ничего не ешьте у них и не пейте. Мало ли что может случиться»,— наставляли меня третьи.

Печатается с небольшими сокращениями.

Пришло время выбрать и героев этой эпопеи.

После двухмесячных обсуждений и консультаций в Главной комиссии по расследованию преступлений гитлеровцев в Польше мы из ста двадцати кандидатов отобрали сначала двадцать, а потом оставили в списке всего восемь человек. Почти все — еще далеко не старые люди, им нет и шестидесяти, а в годы войны они, несмотря на свою молодость, уже занимали высокие посты в СС и судебном аппарате, перед ними открывались самые заманчивые перспективы.

В настоящее время все выбранные нами лица занимают высокое положение в обществе: это адвокаты, профессора, директор института, а один даже член бундестага. За плечами у многих из них (чаще всего в сороковые годы) судебный процесс с оправдательным приговором, апелляция по делам такого рода в ФРГ уже невозможна. Несмотря на совершение ими тяжких преступлений, они не являются убийцами в самом вульгарном смысле слова, только трое из восьми видели жертвы собственными глазами. Но никто и пальцем к ним не притронулся. Жертвы для них материализовались в виде цифр, которые суммировались, множились, округлялись. Каждый из тех, на ком мы остановили свой выбор, виновен перед Польшей, каждому вынесен у нас смертный приговор. От польских властей, занятых розыском военных преступников, я получил 88 фотокопий документов из дел и архивов со специальным разрешением вывезти их за границу и даже презентовать тем, с кем буду беседовать. Я завел восемь досье, где собрал материалы и фотокопии документов.

В один из воскресных дней я прибыл во Франкфурт-на-Майне. И сейчас же, словно наваждение, на меня нахлынула волна моды сороковых годов: юные немки, как призраки прошлого, в коротеньких шубках, в тюрбанах, с густо напудренными лицами и подведенными глазами. Я покупаю пачку газет: «Воскресение Гитлера в канун пасхи 1973 г.», «Весна Гитлера», «Историко-психологический портрет Гитлера», «Опасен ли Гитлер?». Волна публикаций, фильмов, театральных постановок о Гитлере — «Гитлер — звезда первой величины?».

Я отмечаю на карте те населенные пункты, где, по всей вероятности, обитают разыскиваемые мною лица. Двое живут во Франкфурте-на-Майне. Четверо — 200—300 километрами севернее, в маленьких городках (Бургдорф, Флото-над-Везером, Зальцергельден, Бад-Гарцбург), разбросанных неподалеку. Только последние два поселились еще севернее. Своей резиденцией я избираю Франкфурт. Останавливаюсь в гостинице «Палас», рядом с вокзалом. Никто из обслуживающего персонала не знает цели моего приезда, никто не проявляет интереса к моей особе.

Мне о моих франкфуртских собеседниках известно довольно много, но я не располагаю их адресами. Это меня несколько тревожит. Но ведь они пребывают в полной безопасности, занимаются общественной деятельностью, и номера их телефонов наверняка имеются в телефонной книге.

Я прошу список телефонных абонентов и в первую очередь обнаруживаю Германа Штольтинга, адвоката, номер его телефона в бюро на Бетховенштрассе, 35 — 748 428; потом Флейшхакера, профессора, доктора, Брюдер Гриммштрассе, 55, телефон — 443 808.

Наконец, разыскиваю в справочнике номер еще одного абонента. Речь идет о знакомом, который введет меня в местную среду «левых», там обещали помочь найти переводчика и свидетеля моих бесед. Назавтра в десять вечера мы договорились встретиться в клубе Вольтера, ночном молодежном заведении во Франкфурте. Друзья действуют активно. Они привели с собой Адальберта В. Он великолепно владеет французским, английским и польским. Беседа ведется на моем родном языке. Я излагаю ему суть дела, добавляя, что рассчитывать на гонорар ему не придется. Засиживаемся далеко за полночь. Адальберт В. рассказывает мне историю своей жизни: его отец, немец, в годы войны оказался в Польше, в него влюбилась польская девушка и вышла за него замуж.

Адальберт родился в самом конце войны, его отец тогда уже находился в Германии. Впервые он увидел отца в восемнадцатилетнем возрасте, когда по договору об объединении семей приехал в ФРГ. Здесь Адальберт уже десять лет, он физик, аспирант университета, специалист по низким температурам. Обучает польскому языку в вечерней школе. Польше предан всей душой... «Я буду твоим переводчиком...»

На следующий день мы с Адальбертом снова встречаемся.

— Я собрал кое-какие сведения об этих людях, — сообщает он. — Очень надеюсь, что Штольтинг согласится побеседовать с нами, во Франкфурте о нем говорят как об эгоцентрике, любящем рассказывать о себе. Хуже будет с Флейшхакером. Протесты студентов нашего университета, вызванные тем, что он, освенцимский преступник, читает лекции, вероятно, сделали его осторожным.

— Надо ли нам звонить и писать, уславливаться о встрече? Или пожаловать прямо без предупреждения? В этом случае у них не будет времени все обдумать, мы используем фактор внезапности.

— Начнем действовать именно так, — решает Адальберт, — если дело это не выгорит, будем звонить, писать письма.

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ПОЖИВАЕТЕ?

Мы решаем ознакомиться с местом действия. Необходимо как следует изучить топографию района, чтобы не попасть впросак, разработать подробный сценарий нашего визита.

В университетском дворе пусто, только издали голубоватым светом поблескивает пальмовая теплица биологического факультета. Входная дверь открыта, где-то наверху идут лабораторные работы. Доска с расписанием. Последняя графа: «Лабораторные занятия по биологии человека. Первый семестр 1973 года. Флейшхакер, проф., д-р. Введение в практику научного исследования, ежедневно в течение всего дня. Комната № 232».

Бетховенштрассе неподалеку. На воротах виллы массивная табличка с фамилией адвоката Штольтинга. Вход в маленький дворик, дверь сбоку, самый нижний звонок в канцелярию адвоката. Окна не освещены. Мы уезжаем.

Являемся туда назавтра, сразу после обеденного перерыва. Нажимаем кнопку звонка. Слышится звук зуммера. В дверях появляется женщина лет пятидесяти, смотрит вопрошающе. Адальберт говорит:

— Этот господин — писатель. Он приехал из Польши, чтобы побеседовать с господином адвокатом.

На лице секретарши кислая мина. Дрожащей рукой она берет двумя пальцами мою визитную карточку, держа ее на некотором расстоянии перед собой. Поглядывает на нас как на опасных преступников. Видно, что она любыми средствами готова защищать своего шефа. Косясь на меня, отвечает Адальберту:

— Адвоката нет. Когда он вернется, я передам ему.

— Можно будет позвонить?

— Как вам угодно, возможно, я смогу сообщить какие-то новости.

Мы выходим, усомнившись в успешности нашего метода. Но все же отправляемся в университет. Поднимаемся в лифте на второй этаж. Комната № 232. Это секретариат. Очень молодая секретарша, в безукоризненно белом халате, удаляется и тотчас возвращается:

— Господин профессор просит вас.

Мы поражены так же, как и он. Видим это по его физиономии, когда он появляется в дверях кабинета, демонстративно широко распахнутых. Он в белом халате. Его согласие на безотлагательную беседу впечатляет меня. Один — ноль в пользу профессора Флейшхакера. Адальберт, переводя мой первый вопрос, не в состоянии унять дрожь в голосе:

— Господин профессор, я приехал сюда, чтобы напомнить вам о тех ста пятнадцати людях, чьи имена мне не известны, а если они не известны и вам, их уже никто и никогда не узнает. Их имена не зафиксированы — не фиксируются, например, клички при массовых опытах над животными. Вы осматривали их как возможных кандидатов для эксперимента, их судьба предопределялась физическими данными, затем они были умерщвлены, превратившись в экспонаты самой чудовищной за всю человеческую историю коллекции. В экспонаты страсбургского Музея расы...

— Это ложь. Я и понятия не имел о том, что их убьют. Узнал об этом лишь во время судебного процесса, на котором по требованию прокурора меня оправдали.

Я открываю папку, протягиваю ему документы, на которых жирно подчеркнуто: «Что касается коллекции скелетов... война на Востоке позволяет нам получить наглядные пособия для научных целей. Тот, кому будет поручено обеспечить необходимый материал, обязан сделать серию снимков и антропологических замеров, по возможности установить дату рождения, происхождения и прочие личные данные. После насильственной смерти на голове не должно остаться следов от ран, ее необходимо отделить от туловища и в консервирующем растворе отправить в специально для этой цели изготовленном с надежными замками металлическом контейнере... Требуется 150 скелетов». «...Для проведения исследований в Освенциме крайне желательно участие доктора Флейшхакера...» В итоге 115 человек — евреев, поляков и «азиатов»... «Учитывая размах научных исследований, просим продлить срок завершения работ, связанных с препарированием скелетов, так как отделение мяса от костей — процесс трудоемкий».

Флейшхакер проглядывает документы, потом возвращает их мне.

Я кладу их на середину стола:

— Эти материалы я привез вам в качестве презента, на тот случай, если бы вам захотелось получить их на память или освежить воспоминания.

— Нет, благодарю. Я узнаю их. Здесь довольно много пишут обо мне. Но нет ни одного моего слова, подтверждающего, что мне было известно, какая судьба ждет этих людей. Нет ни одного свидетельского показания в пользу подобного обвинения.

— Это переписка личного штаба рейхсфюрера Гиммлера. Ваша особа представляла такую ценность, что самые высокие инстанции рейха вырывали вас друг у друга. Как раз это помешало вам завершить подготовку к защите докторской диссертации.

— Сказывалась нехватка антропологов, они представляли большую редкость,— отвечает профессор Флейшхакер.

— Антропология в те времена была важнейшей областью науки. Я захватил с собой фотокопию вашего отчета о служебной командировке в Освенцим. Вы пробыли там шесть дней. Жили в казармах СС. Эти постройки сохранились и поныне. Через два дня после того, как вы покинули Освенцим, отобранных вами людей направили в другой лагерь на

уничтожение. Из командировочного удостоверения следует, что потом, когда вы были в Страсбурге, их доставили туда в препарированном виде. Ваш маршрут поразительным образом совпадает с маршрутом этих людей, которые по пути превратились в музейные экспонаты.

— Суд удостоверился, что я ничего не видел. Я основываюсь на тексте приговора. Было бы не лояльно по отношению к суду доказывать свою невиновность еще кому-то. Я согласен — вначале можно было прийти к выводам, которые впоследствии признали ошибочными.

— Каков был принцип отбора?

— Процесс доказал, что слово, употребленное вами, здесь неуместно. Предстояло разработать новый метод антропологических исследований, анкету обмеров. Параллельно подобные же работы предполагалось провести на Кавказе.

— Какие данные принимались во внимание?

— Например, объем черепа, — профессор демонстрирует это на самом себе.

— Как практически осуществлялись такие обмеры?

— Из ревира[1] доставляли больных, освобожденных от работы. Выбирать было не из кого. Поэтому двух человек ставили рядом и сравнивали. Все это было делом случая, так как брали любого, кто оказывался под рукой.

— Какие научные результаты удалось получить? — интересуюсь я.

— Ровным счетом никаких. От исследований на Кавказе вообще пришлось отказаться, я вернулся в армию.

— Знали ли вы фамилию хотя бы одной из жертв?

— Я не знал фамилии ни одного из тех, кого мы обследовали.

— А прошлое кого-нибудь из них?

— Их прошлое мне тоже не было известно.

— Ваше появление в лагере могло породить какие-то иллюзии у этих людей. Я впервые в своей жизни вижу человека, наблюдавшего Освенцим с т о й с т о р о н ы. Вас одолевали в тот период тяжкие раздумья? Не чувствовали ли вы, к примеру, что все увиденное вами в лагере не сравнимо ни с чем, известным вам ранее, и что во всем этом есть нечто чудовищное, переходящее границы жизненного опыта нормального человека?

— Это были обычные исследования, самая настоящая рутина. Я покажу вам листок, сохранившийся с того времени.

Профессор направляется в глубь кабинета, к шкафам с картотекой. На его пути — стол с человеческим черепом. Он поворачивается к нам с виноватой улыбкой. Я тоже улыбаюсь, давая ему понять, что принимаю этот череп за бренные останки какого-то немецкого люмпена, ведь я-то знаю, что уничтожение «коллекции черепов» явилось одной из самых ответственных задач СС в момент эвакуации. Профессор восклицает:

— Нашел! Это голубая карта исследований того периода.

— Можно ли взять ее у вас?

— Нет, потому что уцелела одна-единственная. Но я могу дать вам бланк, которым пользуюсь сейчас. Он ничем не отличается от прежнего.

Профессор снова подходит к шкафу, достает карточку и протягивает ее мне.

Карточка двусторонняя с 56 рубриками. В ней имеется графа для указания фамилии, имени, профессии. Жирным шрифтом выделены четыре рубрики: цвет глаз, волос, кожи и форма носа.

— Говоря о карточках, вы дали мне понять, что нынешние ваши исследования — это продолжение тех, какие велись в годы войны?

— В общих чертах — да.

— Какой тип человека изучаете вы в настоящее время?

— Я провожу обзорные исследования всех слоев общества в Сан-Сальвадоре, с тем чтобы выявить там индейские и европейские элементы.

— Мне хотелось бы попросить у вас оттиски некоторых ваших работ.

Профессор извлекает несколько оттисков из ящика стола. Я просматриваю их.

— Это по-прежнему исследования метисов?

— Да. Я занимаюсь отпечатками пальцев и статистикой групп крови у метисов. Обработка цифровых данных производится компьютерами.

— Каковы эти метисы в сравнении с белой расой?

— Они точно такие же люди, как и все остальные. В антропологии констатируется разница без вынесения оценок. Нет лучших или худших рас, между ними существуют только различия.

— Однако во время войны в антропологии господствовали иные убеждения, и ваши исследования были частью их.

— Я уже говорил вам, что речь шла лишь о выработке нового метода.

— Вы целиком отдаете себя работе или у вас есть какое-то хобби?

— У меня мало свободного времени. Подчас я работаю по восемнадцать часов в сутки. Мое хобби — это работа. Но в период научных исследований я охотно путешествую на своем «фольксвагене», забираюсь на нем в самые отдаленные районы Анд. Впрочем, совсем недавно я сменил «фольксваген» на «ауди».

— Вы занимаетесь охотой?

— Я охочусь только с фотоаппаратом.

— У вас загородная вилла или вы живете в каменном доме?

— В самом обычном блочном доме. Мне не по душе большой город, но в деревне я был бы оторван от библиотеки и от студентов.

---

[1] Больничный барак.

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИ
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ПОЖИВАЕТЕ?

— Студенты требовали удалить вас из Университета имени Гёте, в связи с делом о коллекции черепов.

— Этого добивалась маленькая группка, остальные хотят учиться и заниматься нормальной научной работой. Впрочем, я отчасти согласен с их протестом, в той мере, в какой он направлен против университетской рутины. Если же говорить обо мне, то раз суд признал, что я невиновен, никто не вправе требовать каких-то санкций против меня.

Профессор произносит это с явным нажимом.

— Вернусь еще раз к тому, что я впервые беседую с человеком, который видел Освенцим с той стороны. Ведь это — лагерь — должно было произвести на вас впечатление. Делились ли вы своими мыслями с кем-нибудь? Говорили ли об этом с лагерным начальством?

— Я искренне и обстоятельно ответил на все ваши вопросы, даже не уточняя, с какой целью вы их задавали и насколько тенденциозной окажется ваша книга. Ничего, кроме того, что я уже сказал, сообщить вам не могу. Подобный разговор уже возникал в ходе процесса. Если хотите, пожалуйста, поищите ответы на эти вопросы в материалах суда. А я бы предпочел на этом нашу беседу закончить.

Профессор протягивает руку на прощание. Этот жест застал меня врасплох. Наступает самый тягостный момент. Наконец я отвечаю на его рукопожатие.

Мы выходим. На смотровом стекле машины под «дворник» подсунут листок бумаги: «Впредь просим парковаться на стоянке для профессуры». Едем в гостиницу, отправляемся в ванную и долго, как хирурги, моем руки.

Теперь мы пытаемся предугадать тактику наших будущих собеседников.

— Твоя главная удача — то, что он не ответил на основной вопрос. Чистая случайность: ты очень часто сбивал его с толку. Вместе с тем ты из-за этого многое потерял. Начав с заявления, что он не знал о совершавшихся преступлениях, Флейшхакер, вероятно, пошел бы дальше, признавшись, что отправил этих людей в газовые камеры из чувства сострадания, желая облегчить их участь. Одно мы, пожалуй, знаем наверняка — там, где нам не откажут в приеме, с нами будут предупредительно вежливы: «Прошлое миновало, законы военного времени утратили силу. Мы беседуем как джентльмены. Цивилизованные люди всегда найдут общий язык». Манеры, личное обаяние, ведь прошлое — уже история! На этом фоне твои вопросы звучат грубо, варварски, бестактно, а любое проявление горячности, раздражения — аргумент против тебя, доказательство твоей «недоразвитости» и даже повод для вызова полиции. Как переводчик должен сообщить тебе еще одну тонкость: по-немецки «Fleischhacker» — это тип, который занимается четвертованием, разделкой мяса.

Мы отправляемся в прокуратуру. Просим разрешения ознакомиться с делом Ганса Флейшхакера. Прокурор — сама предупредительность: «Пожалуйста, если только вы получите разрешение господина Флейшхакера». Круг замыкается.

Мы звоним по телефону в секретариат Штольтинга. Секретарша произносит шаблонную фразу:

— Вы можете прийти через десять дней, в четыре часа дня.

«Завтра утром мне предстоит умереть...»

Десять дней я провел во Франкфурте в одиночестве в № 14 гостиницы «Палас», выясняя нужные мне адреса, делая попытки связаться с некоторыми из своих «героев» с помощью писем и телефона.

Десять дней спустя мы в третий раз оказались у порога канцелярии адвоката Штольтинга. Секретарша впускает нас в приемную, исчезает и через минуту возвращается. Она сверлит Адальберта взглядом.

— Господин адвокат хочет знать, кто вы. Ваша фамилия?

— Адальберт В.

— Вы немец и живете в ФРГ?

— Да.

Эти вопросы повторяют первые графы протокола допроса.

После записи персональных данных Адальберта секретарша удаляется.

— Ему теперь нетрудно разыскать тебя. Не так ли? — спрашиваю я.

— За меня не волнуйся, лучше думай о деле, — отвечает он.

Минут через десять, которые, вероятно, потребовались на то, чтобы установить, кто такой Адальберт, секретарша приглашает нас.

По длинному коридору мы проходим в кабинет. Бросается в глаза царящее здесь запустение. Старый, не закрывающийся плотно шкаф, покрытый толстым слоем пыли, письменный стол со сломанным чернильным прибором, пустая и покосившаяся полка для папок. Доктор Герман Штольтинг курит сигару. Он восседает за большим письменным столом, позади него бюро, за которым молодая девушка с блокнотом и карандашом.

Кивнув в ее сторону, Штольтинг, не глядя на меня, произносит:

— Беседа будет протоколироваться.

— Я пришел для того, чтобы от имени ваших жертв задать вам несколько вопросов. Известно ли вам, что в Польше в Быдгощском воеводстве живут люди, которые вспоминают о вас? Не знаю, как часто: раз в день или раз в месяц. Но какая-то часть их дум связана с вами. До них дошли сведения, что вы пре-

бываете в полном здравии. Им хотелось бы знать, как вы теперь поживаете. Насколько благополучно складывалась ваша судьба после всего того, что вы совершили?

— Я никому не выносил приговоров,— отвечает Штольтинг.

— Однако как прокурор вы требовали сурового наказания.

— Я протестую против формулировки «суровое наказание»,— повышает голос Штольтинг.

— Вы требовали смертной казни. Если это не суровое наказание, то что же такое, по-вашему, суровый приговор?

— Я был всего-навсего служащим,— бросает Штольтинг.

— Действительно, вы сами никогда пальцем не тронули ни одного осужденного.

— Вы путаете гестапо с германским судом.

— Жертве безразлично, кто лишает ее жизни.

— Я требовал смертной казни, опираясь на существующие законы.

— Но ведь эти люди были поляками!

— Мне не ясен смысл вашей реплики.

— Не обращайтесь ко мне, пожалуйста, как к прокурору. Прокурор — это ваше амплуа. Я просто хочу сказать, что в Польше никогда не приговаривали к смерти за воровство.

Штольтинг все время обращается исключительно к Адальберту. Я для него словно бы не существую.

— Но приговоры выносились в соответствии с германским законодательством. Земли Быдгощи лишь двадцать лет находились под властью Польши. Это была исконно германская территория, и на нее распространялись германские законы.

— А нынешние жители Быдгощи, по-вашему, остаются под властью германских законов? Любопытно, каких именно — давних, периода оккупации, или нынешних, которые существуют в ФРГ?

— Я не собираюсь дискутировать на эту тему. Я до сего времени чувствую себя связанным служебной присягой, которую я давал. То были законы военного времени. В мирный период их оценивают по-иному. Союзники — Америка, Россия и другие государства — также потребовали смертной казни, только ссылаясь на законы, которых до этого не существовало.

— Потому что и злодеяния, совершенные военными преступниками, по своим масштабам превосходили все, что только мог вообразить человек. Но не кажется ли вам, что эти «законы войны», войны, которую вы превратили в самую жестокую из всех войн, обернулись против вас самих? Из-за них вы теряли все больше и больше. Если бы человечество одобрило ваши законы, по которым вы требовали отправки в лагерь смерти только за то, что кто-то осмелился протянуть английскому военнопленному пачку сигарет в сочельник, то это в конце концов обрекло бы на гибель и всех вас.

— Нас погубило вот что: как в первой, так и во второй мировой войне мы не сумели сделать Америку нашим союзником в борьбе против России и Европы. Гитлеру следовало опереться на США.

— Вы не хотите понять главного: вы разрабатывали бесчеловечные законы для покоренных народов.

— Мы и немцев приговаривали к смертной казни.

— Евреев вы обрекали на смерть за самый факт их рождения.

— Ответственность за это вам следует возложить на систему, а не на одного служащего.

— Вы сами сказали о вашей верности присяге по сегодняшний день. Или только тогда вы подчинялись и соглашались с существовавшими порядками? У меня с собой фотокопии некоторых ваших личных документов, обнаруженных союзниками в нацистских архивах. Можно ли спросить вас, почему вы так поздно вступили в НСДАП?

— В двух словах не объяснишь. Я стал судебным заседателем, три месяца пробыл судьей, но меня убрали из судебного аппарата, наверное, как политически неблагонадежного. А я был женат, был отцом двоих детей.

— Значит, вы вступили в партию не по идейным соображениям?

— Нет.

— Вы меня разочаровали. Другими словами, смерть этих людей призвана была служить даже не какой-то ужасной, чуждой им идее, а всего лишь будущему ваших детей? У меня здесь протоколы экзекуций, подписанные вами. Я взял только один день — 28 апреля 1942 года. За минуту до того, как пробьет шесть часов утра, вы являетесь в тюрьму как руководитель группы, приводящей в исполнение смертный приговор. За четверть часа вы успеваете казнить пятерых осужденных с неукоснительной последовательностью: через каждые три минуты погибал человек. Как вы объясните сам факт, что смерть каждой жертвы занимала ровно пять секунд? Неужели каждый человек погибал в строго определенный момент или здесь мы имеем дело с обычным бюрократическим упрощением?

— Ничего подобного! — возмущается Штольтинг.— Все точнейшим образом хронометрировалось с помощью секундомера. Время исчислялось с момента, когда палач докладывал, что орудие казни готово. Затем оно отсчитывалось уже тогда, когда преступника вводили в камеру смерти, вплоть до того, как проку-

---

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ПОЖИВАЕТЕ?

рор приказывал: «Палач, исполняй свой долг!» — и, наконец, засекался отрезок времени после этого мгновения до рапорта палача: «Приговор приведен в исполнение».

Первый срок устанавливался мной (Штольтинг, как бы уловив, что я поглядываю на его часы, прячет их под рукав пиджака). Ведь прокурор обязан был удостоверить личность осужденного: он являлся с фотографией и сличал ее со смертником, потом обязан был зачитать узнику объяснение, почему его ходатайство о помиловании отклонено. Объяснение можно было читать медленно, тем самым глумясь над жертвой. Я старался завершить процедуру возможно быстрее. Моя задача была не из приятных.

— Почему?

— Все смертники казались абсолютно беззащитными.

— Вам было тяжело? Вы работали не покладая рук. А запомнилась ли вам реакция кого-нибудь из узников, чье-то восклицание?

— Нет. Все были очень сосредоточенными.

— Возможно, вы помните кого-то, чье-то лицо или хотя бы какую-то деталь?

— Нет.

— Вам вспоминается как бы одно лицо со стертыми чертами?

— ...Прошло тридцать лет. Потом война.— Он поправляется:— Пребывание на фронте.

— Господин Штольтинг, ваш палач работал лучше протоколиста. Я не могу разобрать, что он написал в рубрике «Последняя просьба приговоренного к смерти». Может, вы помните его почерк и вам легче это прочесть?

Я протягиваю Штольтингу протокол. Он берет документ в руки, сдвигает очки на лоб и, на мгновение задумавшись, читает: «Прошу священника и почтовую бумагу».

— А здесь? — подаю я ему другой протокол.

— «Прошу священника и почтовую бумагу». Эта просьба повторяется всюду, — говорит Штольтинг.

— Неужели у всех были одинаковые желания?

— Прежде существовал еще так называемый «завтрак палача», но в начале войны его отменили.

— Разве эти люди не обращались с другими просьбами? Вот сохранилось письмо как раз на такой бумаге. Я хотел бы прочесть вам его. «Завтра утром мне предстоит умереть...» — начинаю я.

— Нет, я не хочу этого слышать! — прерывает меня Штольтинг. — Там, в этом протоколе, отсутствуют просьбы о сигарете, так как это запрещалось, и вы можете мне поверить: я нарушал запрет и разрешал закурить.

Штольтинг первый раз взглянул на меня. Сказав это, он сам смутился и, проверяя, какое впечатление его признание произвело на меня, забыл, что я для него не существую. Его взгляд несколько стерт из-за толстых стекол очков. Я спрашиваю его:

— Добивались ли вы оправдания кого-либо из них?

— Нет! — кричит Штольтинг. — Каким образом вы это себе представляете?

— Если бы Германия одержала победу, мне, вероятно, тоже довелось бы встретиться с вами. Вы приговорили бы меня к смерти.

— Чего ради?

— Вся моя семья не смирилась с оккупацией, участвовала в Сопротивлении, я, повзрослев, тоже боролся бы против вас.

— По какой статье мне пришлось бы вас судить?

— По какой угодно, за все, за любой пустяк. Видите вы перстень на моем пальце? Вот вам и смертный приговор. Он изготовлен в 1942 году из никеля, который предназначался для германских снарядов на заводе боеприпасов в Скажиско-Каменной, в Польше. Хотя бы за это.

— И в самом деле, чувствуется, что вы еще были ребенком в те времена. После войны законы изменились бы. Мне не пришлось бы приговаривать вас к смертной казни.

— Когда война окончилась, вы из прокурора превратились в адвоката. Вы были защитником в освенцимских процессах. Что здесь сыграло свою роль — солидарность со старыми товарищами по партии, палачами Освенцима, или сочувствие к ним?

— Ни то, ни другое! — восклицает Штольтинг.— У меня никогда не было ничего общего с СС. Просто чисто профессиональный подход. Если бы вы пришли ко мне с просьбой быть на суде вашим адвокатом, я бы тоже взялся за это... Вы обратились явно не по адресу, избрав мою особу. Будучи прокурором, я никогда не занимался грязной работой.

— Тогда кто же, по-вашему, виноват?

— Генеральный прокурор.

— Чем он занимается в настоящее время?

— Он умер.

— А еще кто?

— Его заместитель.

— А он сейчас где?

— Погиб во время войны. Есть еще третий,— говорит Штольтинг.

— Он тоже умер?

— Он исчез...

— Почему вы выступаете как Штольтинг II?

— Я родился в семье, два поколения которой были юристами. Штольтинг I — мой брат, который свою адвокатскую практику начал раньше меня. Я по возвращении из плена продолжал исполнять прокурорские обязанности.

— Господин Штольтинг II, вы так много сделали для своих детей! Отблаго

дарили ли они вас за это? Стали ли они юристами в третьем колене?

— Младшая дочь могла быть отличным юристом, и мне остается только сожалеть, что она избрала другую профессию: стала филологом-германисткой. Я тоже восставал против отца, будучи консервативнее его по своим взглядам.

— Говорите ли вы с детьми о своем прошлом?

— Нет.

— Почему?

— У меня с детьми нет контакта.

— Отчего, если можно узнать?

— Мои дети придерживаются левых взглядов. Они марксисты. А живут они в Западном Берлине.

После долгого молчания:

— Я хочу добавить еще одно: все, что вы обо мне ни напишете, мне глубоко безразлично.

— То, о чем вы мне сейчас сказали, я тоже запишу.

— Хочу еще попросить вас пройти со мной в глубь помещения.

Стенографистка поднимается, идет первой, я за нею, потом — Штольтинг. Перед нами новый коридор, второй секретариат, девушка широко распахивает двери, и мы останавливаемся на пороге огромного кабинета. Обтянутые черной кожей кресла, громадный письменный стол, прелестные цветы, картины на стенах. Штольтинг подходит к столу и жестом приглашает меня приблизиться. Там на стене, оправленное в рамку из черного дерева, красуется «Назначение прокурором». Указ от имени немецкого народа. Подписан: «Адольф Гитлер, штаб-квартира, 18 апреля 1941 года».

— Он поставил эту подпись за три дня до дня своего рождения и за два месяца до нападения на СССР,— говорю я.

— Да, американцы в 1945 году снабжали меня за это как персону, удостоенную такой чести, невероятным количеством сигарет «Кэмел». А вот здесь, прочитайте-ка. Это должно порядком напугать вас: «Ему положена специальная охрана».

Штольтинг смеется, потом, взглянув на часы, обретает серьезность:

— Меня ждет уйма клиентов. Наша беседа чертовски затянулась.

«Всем оставаться на местах!»

За десять дней, которые предшествовали встрече со Штольтингом, мы с Адальбертом преуспели в самом важном вопросе. Барон Отто фон Фиркс, известный политик, член бундестага от ХДС, стоит на верхних ступенях социальной лестницы ФРГ. Все попытки получить его адрес ни к чему не привели.

— Остается только один выход,— сказал Адальберт.— Надо ехать во франкфуртское отделение ХДС и просить устроить беседу «по партийной линии».

Для Адальберта, левого социалиста, это — рейд во вражье логово. Дверь помещения франкфуртского отделения ХДС обита листовым железом, которое закреплено поперечными стальными прутьями. Такая дверь способна выдержать взрывы бомб. Секретарю Вальтеру Кеттману около шестидесяти, он слегка прихрамывает, что вызывает у меня особую реакцию, знакомую всем туристам в ФРГ,— «мысленное примеривание мундиров». Вероятно, это не сугубо внутренний, скрытый от посторонних взглядов процесс, что-то отражается и на моей физиономии, потому что Кеттман говорит:

— В Варшаве я был простым солдатом. Меня поразила мудрость варшавян. Они по внешнему виду наших мундиров не только моментально определяли род войск, но, в зависимости от этого, и свое отношение к нам. К солдатам в полевой форме они не питали ненависти. Варшава — это восточный Париж. Прелестный город! Мне хотелось бы увидеть Варшаву уже восстановленную.

— Ничто не мешает вам ее навестить, на этот раз не в мундире защитного цвета, а в вашем темно-синем пиджаке,— шучу я.— Милости просим.

Затем мы объясняем цель нашего прихода. Кеттман по прямому проводу связывается с канцелярией фон Фиркса в бундестаге в Бонне, секретарша механически вписывает мою фамилию в очередное «окно» Фиркса в восемь вечера, в понедельник.

Господин Кеттман делает для меня фотокопию учетной карточки барона из списка членов бундестага. Учетная карточка под номером 119. Деятельность барона в Польше охарактеризована одной фразой: «1939. Umsiedlung in der Warthegau bis 1941 Mitarbeit bei der Ansiedlung»[1]. Ни слова не сказано о его принадлежности к СС. Позже, анализируя эту фразу, мы с Адальбертом убеждаемся, что слово «переселение» употреблено так, будто переселяли барона фон Фиркса, а не польских граждан, слово «переселение» смягчено оборотом «сотрудничество при» — все это попытка скрыть, что барон был начальником штаба СС по вопросам переселения в Гнезно.

Когда спустя несколько дней мы выбирались из коридоров и кабинетов Штольтинга, было уже шесть вечера. Оставалось всего два часа, чтобы добраться до Бонна. Начинается буря, и Адальберт на своем маленьком «пежо» борется

[1] В 1939 году поселился в краю над Вартой, до 1941 года сотрудничество при переселении *(нем.)*.

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ПОЖИВАЕТЕ?

с мощными порывами ветра, идя на скорости 130 км/час в сплошной замети.

— Помни,— говорит Адальберт,— к нему ты должен относиться иначе. Он защищен депутатским иммунитетом. У него за плечами весь бундестаг, с его вооруженной охраной. Стоит только оскорбить его одним неосторожно переведенным словом, и можешь представить, что меня ждет.

Из небоскреба боннского бундестага выплескивается толпа мужчин, которые, сражаясь с бураном, под взрывы радостного смеха рассаживаются по нескольким «мерседесам», где их уже ждут водители, и уезжают. В громадном вестибюле охранники в темно-синих мундирах изучают мой паспорт и документы Адальберта, после чего выписывают нам пропуска. Затем один из них в лифте доставляет нас на седьмой этаж и вводит в зал. Часы-табло на стене указывают время: 7 часов 59 минут. При нашем появлении из кресла поднимается очень высокий, худой мужчина в очках, с длинными седыми волосами. Он в бежевом свитере из верблюжьей шерсти. Охранник деликатно ретируется, барон проводит нас в свой кабинет под номером 717. В устланной коврами комнате, с кондиционером и тяжелыми портьерами, не слышно разбушевавшейся вьюги.

— Господин барон, вы — один из героев моей новой книги. Не побеседовав с вами, я не хочу писать о вас. Меня интересует период вашего пребывания в Польше в 1939—1941 годах на посту начальника штаба СС по вопросам переселения в Гнезно.

— Я протестую,— прерывает меня барон,— я никогда не занимался переселением, а только руководил расселением немцев.

— ...Меня интересует судебный процесс, который вы возбудили против деятеля СДПГ Артура Зама в связи с вашим пребыванием в Польше.

— Господин Зам выступил в печати с оскорбительными для меня, не соответствующими истине утверждениями.

— Я привез с собой документы, которые, как мне кажется, их удостоверяют.

Я протягиваю фон Фиркcу 22 фотокопии. Он поочередно проглядывает их.

— Я не знаком с оригиналами и не могу судить о том, подлинны ли эти документы или же они сфабрикованы.

— На оборотной стороне каждой фотокопии,— говорю я,— имеется печать Комиссии по расследованию преступлений гитлеровцев в Польше, подтверждающая их соответствие оригиналам.

Наименование комиссии в сочетании со словом «преступления» накаляет атмосферу. Барон сухо произносит:

— Мне о подобной комиссии ничего не известно. Я не знаю, кто представляет в ней западногерманскую сторону.

— Это польская комиссия при нашем Министерстве юстиции, однако она в постоянном контакте с представителями Западной Германии.

Барон еще раз бросает взгляд на документы.

— Так или иначе,— примирительно говорит он,— здесь обо мне пишут другие. Я ничего подобного не писал. О ком угодно можно написать что угодно. Мне же лично об этом ничего не известно.

Барон указывает при этом на документ, разработанный его штабом.

— Но вы-то знаете, что были начальником штаба СС по вопросам переселения в Гнезно, вам известно название этого города. То, что вы жили там, вы, надеюсь, не забыли?

— Я действительно работал в учреждении с названием, похожим на то, какое вы упомянули, но оно выполняло самые разнообразные функции, совсем не те, что вы мне приписываете.

— Мы можем с вами сообща проанализировать эти материалы,— предлагаю я.

— Простите,— резко прерывает меня барон,— вы все время записываете то, что будет впоследствии опубликовано в виде моих ответов. А я не знаю, что переводчик вам переводит. Я не доверяю ему и вынужден прервать нашу беседу. Я найду настоящего переводчика и назначу вам дополнительную встречу. Оставьте мне, пожалуйста, свои координаты.

Я даю адрес гостиницы «Палас», добавляя, что срок моего пребывания в ФРГ ограничен. Барон вежливо отвечает, что среди своих друзей быстро найдет необходимого человека. Мы поднимаемся. Барон, однако, не двигается в кресле и делает приглашающий жест. Начинается беседа, в ходе которой барон по-прежнему пользуется переводческими услугами Адальберта, но запрещает мне делать записи. Поэтому сейчас я могу восстановить только общий ход беседы: фон Фиркс расспрашивает о сфере моих интересов, о том, что мне известно о нем, испытывая меня, бурно атакуя «народы, причинившие немцам немало вреда»,— в первую очередь поляков и русских, рассказывает о своем детстве и смерти отца: я говорю о перспективах, какие ожидали бы меня сегодня, если политика переселения продолжалась бы.

Наша беседа завершается глубокой ночью. Барон достает из шкафа мою шубу и, помогая мне надеть ее, интересуется, из какого она меха.

На этом мы прощаемся.

На третий день в гостиницу приходит письмо в официальном конверте, вид которого производит на портье сильное впечатление. Член бундестага назначает мне встречу снова на понедельник, на тот же самый час. Я немедленно соединяюсь по телефону с одним городком на севере ФРГ и спрашиваю:

— Могу ли я поговорить с господином Ягерманом?

Через минуту отзывается голос с сильным немецким акцентом:

— Да, это я.

— Можно продолжать разговор по-польски?

— Пожалуйста. Но мне странно, что отозвалось такое далекое прошлое. Тридцать лет я не говорил по-польски.

— По сообщениям в прессе мне известно о процессе члена бундестага Фиркса против учителя Артура Зама. Знаю я и то, что вы были тем таинственным свидетелем Х, который оказался переводчиком штаба СС и лично барона Фиркса в годы войны. Больше всего мне хотелось бы, чтобы вы теперь, тридцать лет спустя, стали моим переводчиком в противоположной ситуации — в беседе с бароном.

— О нет,— отвечает Ягерман.

— Тогда я хочу просить вас о встрече. Дело не терпит отлагательства, потому что на днях я встречаюсь с господином бароном.

— Я могу встретиться с вами у адвоката Ганновера в Бремене.

На извилистой улочке, застроенной виллами, живет известный адвокат Ганновер, легендарный защитник Ульрики Майнхофф, историк третьего рейха и автор книг для детей. Его красавица жена проводит нас в салон, соединяющийся с кабинетом Сверху доносятся звуки игры на клавесине. Бородатый адвокат в черном свитере и черных джинсах подает напитки Меня беспокоит отсутствие Ягермана.

— Господин Ягерман внезапно заболел,— говорит хозяин,— но он обо всем мне рассказал

— Почему вначале Ягерман фигурировал в прессе как свидетель Х?

— До выступления на процессе мы сохраняли его инкогнито. В юности Ягерман находился в оппозиции к нацистам. Его отец был поляком с немецкой фамилией, мать - немка. В годы учения у Ягермана из-за его взглядов не раз возникали осложнения. Его считали неблагонадежным. Чтобы проверить его лояльность, Ягерману предложили отправиться переводчиком в Великопольшу. В штабе СС в Гнезно Фиркс держал себя с Ягерманом корректно, отзывался о нем только положительно и поэтому теперь на него в обиде «Мы всегда прекрасно понимали друг друга, — говорит Фиркс,- как же Ягерман мог так поступить?» А Ягерман только стремился быть объективным: он говорил без тени ненависти Он отличный свидетель, ибо видел Фиркса в действии. Ягерман характеризовал его как руководителя, отдающего из-за письменного стола приказы другим, ибо Фиркс самому не хотелось марать руки По-немецки для этого существует специальное определение Schreibtischtöter[1] Отряды вооруженных солдат по ночам окружали деревни, крестьян выбрасывали из собственных домов, а их имущество наутро переходило к уже прибывшим и размещенным по соседству немецким переселенцам. Можно было увидеть, как при этом сжигались сорванные со стен распятья... Однажды в штабной столовой от переутомления упала в обморок полька, работавшая на кухне. На крик: «Польская кухарка в обмороке!» некоторые мужчины вскочили, спеша оказать ей помощь. Тогда Фиркс рявкнул: «Всем оставаться на местах! Эти поляки — клопы!» На процессе Фиркс не отрицал, что употребил такое сравнение. Но он якобы выражал свое сожаление, что люди вынуждены жить, скучившись, как клопы. Ягерман также утверждал, что Фиркс требовал от подчиненных проявлять в ходе переселения твердость и непреклонность. В награду за проявленное рвение Фиркса повысили по службе. Фиркс утверждал, будто занимался только вопросами расселения немецких крестьян, но суд признал, что его штаб руководил как расселением, так и выселением людей. У Фиркса имелись свидетели, которые, защищая барона, отчасти и обвиняли его: «Штаб разрабатывал план, а его выполнением занималась полиция». На суде говорилось и о том, что Фиркс получил в личное пользование хозяйство, конфискованное у поляков. Барон же уверял, что это лишь компенсация за утраченные им в Латвии земли. На вопрос: получил ли он усадьбу, покинутую владельцами, Фиркс ответил, что ему это не известно. Приговор суда прозвучал как гром с ясного неба. Артура Зама признали виновным, приговорив к денежному штрафу в 800 марок. Начальство Зама по линии Министерства просвещения наказало его еще и в дисциплинарном порядке. Поединок Давида и Голиафа завершился поражением Давида. Вину учителя Зама суд усмотрел в том, что Зам утверждал: операции по переселению сопровождались экзекуциями. Таким образом, случайный читатель мог подумать, будто член бундестага Фиркс к ним причастен. Теперь вынесенный Заму приговор можно только попытаться обжаловать в Верховном суде ФРГ как противоречащий конституции.

Мы беседуем еще о деле Баадера — Майнхофф, адвокат коротко излагает линию защиты: его подопечные убили лишь одного невинного человека, стреляли они исключительно в полицейских. Затем Ганновер дарит мне свою недавно изданную детскую книжицу «Лошадка Тундивуп и другие забавные истории».

Когда мы вновь входим в здание бундестага, охранники впускают нас без пропуска. Тот из них что везет нас в лифте, путает этажи, и мы долго блуж-

[1] Убийца за письменным столом *(нем.)*.

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ПОЖИВАЕТЕ?

даем по пустым бесконечным коридорам. Наконец Адальберт вспоминает номер кабинета Фиркса. Барон представляет нам своего переводчика. Перед нами мужчина лет семидесяти, в охотничьей одежде; его акцент и запас польских слов выдают немца из Познаньского воеводства. Сопровождаемые переводчиками в роли «оруженосцев», мы начинаем поединок.

Первое слово за бароном:

— Прошу вас восстановить содержание нашей первой беседы, до момента, когда вы прекратили записывать.

Эту фразу Фиркс позволяет переводить Адальберту, второй переводчик бдительно контролирует, напряженно вслушиваясь в каждое слово. Я извлекаю свои заметки и повторяю все, что записал. Фиркс не вносит ни одной поправки. Когда я привожу его слова относительно документов, барон прерывает меня

— Я не в состоянии с ходу просмотреть все материалы. Интерес для меня представляет только то, что якобы я сам подписал, остальное меня вообще не касается.

Следует повторный просмотр бумаг. Документ с эсэсовским номером барона 357 261, его фотография 1940 года — улыбающийся молоденький офицер СС заканчивает обед на свежем воздухе. В руке у него тарелка, барон протягивает ее за солдатской добавкой. Опорожненная кружка пива. На заднем плане побеленная изба, жиденький забор, уголок сада. Рядом с Фирксом другой офицер СС. Я не говорю Фиркс, что правая половина снимка послужит темой моего последующего очерка. Фиркс как бы не замечает этой фотографии, откладывает ее, отодвигает в сторону и документ, касающийся его повышения по службе.

— А это? — спрашиваю я.

— Фальшивка,— выкрикивает барон.— У меня никогда не было такого звания.

— Минуточку, господин барон. Этот документ из секретных архивов с личными делами сотрудников СС иллюстрирует колебания руководства по поводу вашей особы. Это заключение о присвоении вам звания оберштурмфюрера СС. Кто-то вышестоящий возводит вас в звание гауптштурмфюрера вместо некоего Энгельгардта, которого вообще вычеркивает из списка лиц на повышение. Но еще более высокая инстанция возвращает все к исходной точке, присваивая вам звание соответственно с первым решением.

Фиркс в гневной спешке (а может, в тревоге) листает бумаги, игнорируя документ, вероятно явившийся причиной присвоения ему звания ниже обещанного, что, возможно, оказало бы большое влияние на всю дальнейшую карьеру Фиркса в рядах СС. Это секретная депеша гестапо, которая характеризует его несколькими фразами. В одной из них он назван «верящим в бога». Фиркс выкрикивает:

— Я вижу только один документ, собственноручно мной подписанный.

Перед нами письмо, в котором Фиркс, ссылаясь на решение Гиммлера, жаждет выдачи свидетельства о присвоении ему звания оберштурмфюрера СС.

— В нем ничто не подтверждает, что характер моих занятий служит обвинением против меня. Насколько я помню, вы хотели узнать о переселениях. Я охотно расскажу вам об этом. Обратимся к прошлому: идея переселений восходит к греко-турецкому обмену.

Следует урок истории. Барон хочет, чтобы новая наша беседа стала повторением первой, как будто та была лишь репетицией, разминкой, сценарием. По мере того как он говорит, я убеждаюсь: барон намерен ограничить беседу своим докладом. В определенный момент он заявит, что вынужден ее закончить, чтобы я не задавал ему вопросов, которых он ждал, но которые не позволил задать ему в ходе первой беседы.

Я понимаю, что стоит мне отойти от текста документов — и превосходство Фиркса станет явным: он говорит о греках и турках, о теории «массового обмена населения». Я прерываю его:

— Господин барон, вы заявляете, что признаете только документы, собственноручно подписанные вами, и что ваш штаб занимался лишь вопросами расселения, а не выселения. Мне хотелось бы узнать, не задавались ли вы вопросом, почему, прибыв на место, вы застали район густозаселенный, а потом деревни обезлюдели, опустели? Вас это не заинтересовало?

— Я знал, что часть жителей покинула собственные хозяйства. Они сочли за лучшее убраться подальше.

— Как ужасно должна была складываться их доля, если они бежали, бросая свое имущество на произвол судьбы! Их неожиданно поднимали среди ночи, давая пять минут на сборы, на то, чтобы проститься со всей своей прошлой жизнью, а затем направляли в лагеря.

— Я думаю, господин Конколевский (барон Фиркс безукоризненно произносит мою фамилию): что у вас нет оснований думать, будто я считал все это идиллией. То, что мы знаем ныне, в те времена и представить было невозможно, доходило до эксцессов, какие неизбежны, когда применяется сила. Позже нам стало известно, что при этом проявлялось больше суровости, чем в мирные времена, но в 1919 году, например, и нам довелось пережить страшные минуты, мы могли спастись только на кораблях.

Снова возврат к истории...

— Те, кого выселяли, получали справку, удостоверяющую, что у них имелась недвижимость, им предлагалось селиться в Генерал-губернаторстве,— говорит барон.

— Которое было сущим адом, и эти люди оказывались там на положении безземельных бедняков.

— Мне не приходилось бывать в Генерал-губернаторстве, и я не знаю, что там происходило.

— Вам, просвещенному офицеру СС, следовало бы это знать. Ведь вам надлежало быть в курсе политики своей организации, ее успехов, хотя бы ориентируясь на выступления генерал-губернатора Франка.

— Вы заблуждаетесь, думая, будто мы знали тогда то, что знаем теперь. Впрочем, до декабря 1939 года я жил в Латвии, а с 1941 года пошел во флот. У меня имелся свой круг обязанностей, и мне некогда было заниматься идеологическими вопросами. Ваш главный просчет, господин Конколевский,— это представление, что немцы якобы вынашивали планы уничтожения польского народа.

— Доказательством существования такого плана служит его воплощение на практике.

— Мне об этом ничего не известно.

— Уничтожено шесть миллионов поляков, в том числе три миллиона польских евреев.

— Претензии поляков и немцев друг к другу отнюдь не равнозначны. Цифры тут никакой роли не играют. Если речь идет об уничтожении евреев. Евреи считают это преступлением против них. Что же касается поляков, то я не располагаю объективными данными о человеческих жертвах, не связанных непосредственно с военными действиями.

— Возможно, вы и не знаете таких цифр. Но для любого поляка это — истина, очевидная и по другой причине: в каждой семье, каждом городе, каждой округе имеется свой собственный список жертв.

— Равно как каждый немец знает, какие страшные вещи происходили с его соотечественниками в Быдгощи, под Лодзью, и я не вижу никакого смысла в том, чтобы беспрестанно вспоминать о фактах проявления чудовищной ненависти у народов Европы по отношению друг к другу.

— Вы любезно ставите знак равенства между фактами проявления чудовищной ненависти народов Европы. Не ждете ли вы от нас извинений за войну, развязанную в 1939 году, и за нападение на Польшу?

— Если у Европы должно быть иное будущее, нам следует начать говорить по-другому.

— В зависимости от того, как представлять себе это будущее. Вероятно, демонстрация вашего упорства в какой-то мере отразится на будущем Европы... Мне хотелось бы еще коснуться дела о клопах.

— Это недурно звучит — как заголовок в газете. Однако речь идет о самой заурядной лжи. Сцена в столовой протекала иначе. У нас была своя кухня, на десять человек. Эта женщина работала кухаркой. Кто-то прибежал и сообщил: «Она упала в обморок». Все десятеро мужчин вскочили, собираясь оказать пострадавшей немедленную помощь. Господин Ягерман утверждает, что я приказал всем оставаться на месте и не обращать внимания на происшествие. На самом деле я сказал: «Сидите. Один останется возле нее, другой к телефону. Мы ничем не поможем ей, если будем возле нее суетиться». Я отправился на кухню проследить, чтобы у нее был открыт рот и она нормально дышала. Самое опасное в таких случаях, когда язык попадает в горло, тогда можно и задохнуться. То, что я сказал о клопах, касалось евреев, а не поляков. Когда я проезжал по одному из местечек, где в изолированном районе располагался лагерь...

— ...или гетто?

— ...так называемое гетто, я воскликнул: «Какой ужас, что люди вынуждены жить, как клопы, друг у друга на голове». Когда в 1946 году я вернулся в Ганновер и увидел, как в этом городе, на девяносто процентов разрушенном бомбардировками, немцы ютятся среди руин, я повторил ту же фразу.

— Когда вы так говорили о евреях или поляках, речь шла о людях, доведенных до подобного состояния вашими сотоварищами.

— Я никогда не был в рядах НСДАП, я пошел служить во флот, когда расселение завершилось.

— В глазах порабощенных народов принадлежность к СС была чем-то еще более ужасным: ведь войска СС выполняли целый ряд самых варварских приказов.

— Эсэсовцев вы валите в одну кучу с теми, кто был охранниками в концлагерях.

— Вы хотите, чтобы учитывались такие тонкости, которые кроме самих эсэсовцев никто не различал.

— Я не знал тогда истинного положения дел.

— Господин барон, вы признали свою принадлежность к СС. Вероятно, прежде чем вступить туда, вы выяснили характер этой организации. Или же вы хотите сказать, что не были знакомы с деятельностью СС?

— Когда я прибыл в край Варты, то не знал, что такое СС, и никакого представления не имел о стране, куда я попал. Самые страшные события произошли там, когда я уже был военным моряком, а вначале не было ни лагерей, ни гетто, во всяком случае я ничего о них не слыхал.

— Пять минут назад вы сами признали, что видели гетто.

— Я заметил только страшную скученность людей в пределах крохотного пространства. Вы не должны забывать о

военном психозе, о рассказах фольксдойчей, которые тяжело пережили первые дни войны. Мы считали это жестокостью войны как таковой, полагая, что подобные эксцессы прекратятся с окончанием военных действий. Один народ не может обвинять другой народ.

— Я обвиняю вас не как немца, а как бывшего эсэсовца. Даже в период оккупации мы довольно откровенно говорили с некоторыми военными, стоявшими у нас на квартире (хотя и не так резко, как с вами: ведь они были всего лишь армейскими офицерами, вы же — офицер СС), не опасаясь доноса, и у нас оказалось немало общего. Точно так же обстоит дело и с западногерманской молодежью. Я, однако, не собираюсь скрывать от вас, что ощущаю вашу враждебность к полякам, когда вы говорите об их «винах», поскольку эти аргументы сохранились как раз со времен «военного психоза». Если сегодня вы так рассуждаете, то как бы протекала моя встреча с вами в то время, которое вы сами назвали периодом «военного психоза»?

— На тогдашнем поколении тяготел этот груз эпохи...

— Я не отрицаю того, что многие поляки стали жертвами чудовищного произвола и что в отношении их совершались даже преступления. Но мы не поможем друг другу, не постаравшись проанализировать эти проблемы в рамках политических и интеллектуальных течений определенного исторического периода. Национализм толкал одних людей на преступления по отношению к другим потому лишь, что другие были представителями иной национальности. Несправедливо видеть во мне только члена организации, ответственной за очень многое, в то время как я выполнял свою строго определенную задачу.

— Я о ней и говорю.

— У меня не было задач внутри СС, комиссия признала, что у меня чисто почетное звание.

— Как понимать в данном случае почетное звание?

Господин фон Фиркс разъясняет мне принципы деления на ранги в системе СС. Он говорит так, будто незадолго до этого не шла речь о присвоении ему звания и сам он не подтвердил подлинности документа, в котором просит выдать ему справку о производстве его в оберштурмфюреры.

— Я приехал на сессию парламента двумя днями раньше, чтобы побеседовать с вами. Пожалуйста, не думайте, что в моем лице вы видите врага. Ведь я пустой отговоркой мог уклониться от подобной беседы. Я хотел бы просить вас прислать мне какую-нибудь из ваших книг, можно на польском языке. Я надеюсь также, что, описывая нашу беседу, вы верно передадите ее суть.

— Для моей книги, господин барон, невосполнимой потерей была бы попытка как-то исказить ваши ответы...

Повторяется сцена с надеванием шубы. Мы выходим.

Из Бонна мы направляемся на северовосток. У меня на душе ощущение полного провала. Адальберт говорит мне:

— Не твое дело было доказывать барону его вину. Я считаю, что эта беседа была самой важной. Если тебе удалось бы сломить барона, ты проиграл бы. Несгибаемость, твердокаменность этих людей как раз и придает смысл твоей книге. Этого ты добился, вне всякого сомнения. Час назад мы были свидетелями нового преступления: преступного безразличия к невинным жертвам, преступной закоренелой убежденности, что злодеяния были необходимы. Ведь яростное, вопреки фактам, отрицание равносильно признанию вины: это отождествление себя с тогдашними действиями.

Убить всех, кто когда-нибудь мог родиться

Бад-Гарцбург, курорт в горах, на границе с ГДР, еще утопает в снегу. Предупредительные жители местечка указывают дорогу к Гарцбургской академии, самой известной в ФРГ школе менеджеров, ее ректор прославился созданием новой теории и практики управления, так называемой «гарцбургской модели». Прежде нежели появиться перед нами своей собственной персоной, ректор — профессор, доктор юридических наук Рейнгард Хён — направляет к нам своего представителя по вопросам Public-relations[1] Дитера Шюца, журналиста по профессии. Господин Шюц начинает разрыхление почвы, словно мы прибыли сюда из Техаса договариваться об обучении менеджеров.

— Я лично начисто свободен от обвинений в нацистском прошлом: когда война окончилась, мне было двенадцать лет. Вы сказали, что господин Хён явится героем вашей книги: трудно сделать более ошибочный выбор. Он — антигерой. Герой похваляется своими подвигами. Моему патрону чуждо все это. До встречи с ним я имел возможность ознакомиться с его особой или (выражаясь шире) его личностью. Я прочел все о роли профессора Хёна в те времена. Есть там и свидетельства, которые создают видимость, что в них — крупицы истины. Вам известно, в чем его обвиняют? — спрашивает он, словно готовый тут же перечислить все обвинения.

Услышав мое «да», он принимается перечислять заслуги профессора Хёна. Рейнгарда Хёна, бывшего юридического советника Генриха Гиммлера и теоретика фашистского террора, он называет «белой вороной в черном мундире». Я за профессором Хёном признал бы одну

[1] Общественное отношение *(англ.)*.

несомненную заслугу: создатель «гарцбургской модели» — великолепный мастер рекламы, если бы только господин Шюц не применял свою методу в вопросах иного характера, нежели четкость работы и талант менеджера.

— Когда господин Хён явится, он скажет вам, что еще в начальный период национал-социалистского движения был убежденным его приверженцем. Какой же путь предстояло пройти этому человеку, прежде чем он стал основоположником «гарцбургской модели»! Он проанализировал причины трех грандиозных военных, политических и экономических катастроф, происшедших в одной стране менее чем за полстолетия, и пришел к выводу, что истинным проклятием нации был симбиоз приказа и повиновения. Именно для того чтобы навсегда исключить подобную опасность для Германии в будущем, он и создал это учреждение.

В тот самый момент, когда произносятся заключительные слова, появляется и сам профессор, словно его появление было синхронно согласовано с завершением exposé [1] господина Шюца. Хён в черном пиджаке свободного покроя, серых брюках, при темном галстуке.

Господин Шюц коротко докладывает шефу:

— Вопреки вашему запрету, я все-таки сообщил кое-какие сведения.

— Ваш сотрудник рассказывал мне о ваших заслугах: о том, что прежний ваш заместитель был наполовину евреем, что одна еврейская газета назвала вас «белой вороной в черном мундире» и что, будучи экспертом рейхсфюрера СС Гиммлера, вы высказывались за то, чтобы норвежских партизан в форме союзных войск рассматривать не как бандитов, а как солдат. В результате многим из них удалось сохранить жизнь. Господин профессор, это заключение эксперта в первую очередь отвечало интересам третьего рейха, смягчая одну из преступных нелепостей, лишь усиливавшую сопротивление и приближавшую час вашего окончательного разгрома. Но какое обязательное условие вами ставилось: мундиры! Представим себе на минуту норвежских партизан, разгуливающих перед зданием гестапо в английских мундирах... Впрочем, я приехал к вам по другому делу: меня интересует самое ужасное из всех видов оружия, то, которое, вопреки своему безобидному внешнему виду, было опаснее и бесчеловечнее атомной бомбы. Я имею в виду массовую стерилизацию. Ведь она позволяла убить все грядущие поколения, какие могли когда-нибудь родиться, а это привело бы к уничтожению целых народов. Я коротко перескажу вам документ, имеющийся при мне.

В 1941 году в одном из немецких медицинских журналов публиковались результаты исследовательских работ некоего доктора М., занимавшегося соком тропического растения Calladium Seguinum. Инъекция его вызывает полное бесплодие. Эту статью обнаружил человек, впоследствии фигурировавший как обвиняемый на процессе в Нюрнберге,— доктор Покорный. Это он сравнил сделанное открытие с «новым действенным оружием». Он писал вам: «Враг должен быть не только побежден, но и уничтожен». Собираясь поставить дело стерилизации народов Востока на широкую ногу, Покорный обратился к вам, считая, что нашел надежный канал, каким он, минуя официальные служебные инстанции, может сразу дойти до Генриха Гиммлера.

Произнося эти слова, я замечаю, что профессор, доктор Хён сначала легко подергивает ногой, а потом вся его физиономия проясняется и он разражается веселым, задорным смехом

— Ха-ха,— смеется профессор Хён,— вы знаете, что этот Покорный, автор письма,— сумасшедший? Если бы только вы видели его! Это была ничтожная гнида! Не человек, а крохотная колбаска. Позже мы удостоверились в том, что он ненормальный тип.

— На фоне тогдашней политики как раз это — вполне нормальное явление. Лучшее доказательство — тот факт, что вы переслали его письмо Гиммлеру.

— Я к нему совершенно не причастен. Письмо поступило в мой секретариат, оттуда его переправили без моего ведома. Ваша книга сильно проиграет, если вы всерьез приметесь толковать эту историю. Слишком большая честь для Покорного узреть с небес, что его — жалкую колбаску — возводят в разряд первосортных колбас.

— Любопытно, что вас так развеселило?

— Какой-то ничтожный провинциальный эскулап, знахарь вынашивает сумасбродные планы. Бред сумасшедшего! И сегодня немало таких!

— Вы правы отвечаю я,— в настоящее время доктор М. — самый известный гомеопат в Западной Германии, владелец одной из наиболее солидных фармацевтических фирм Не вижу ничего забавного в том, что такие проекты рассматривались всерьез, наряду с иными видами бактериологического оружия.

Профессор Хён приобрел серьезный вид.

— Сколько вам лет? — спрашивает он меня.

— Сорок три года.

— Страшная вещь. Люди, которые сегодня пишут о тех временах, не могут знать многих обстоятельств и фактов.

— О чем это вы?

— Когда фюрер пришел к власти, существовала одна концепция, потом она

[1] Краткое изложение (*франц.*).

могла измениться. Необходимо было бы различать то, что планировалось тогда и что возникло позже, когда родилась идея начать войну с Францией и с Россией. Когда же прошлое обозревают с отдаленной дистанции, все эти различные периоды механически укладывают в одну схему.

В разговор вступает господин Шюц:

— У меня с отцом доходило до скандалов. В юности я не мог ему простить участия во всем этом. Он же говорил мне: «Тебе не понять этого, тогда царили другие времена».

— Вы были сотрудником Генриха Гиммлера и его другом,— обращаюсь я к Хёну.

— Наше знакомство продолжалось до определенного момента, потом прекратилось. Это был странный человек, производивший комическое впечатление. Он имел...— Хён прерывает рассказ, ему не хватает слов,— он был... — снова не может сформулировать свою мысль и охарактеризовать Гиммлера.— Если случалось сидеть напротив него,— он делает жест в моем направлении, ведь я сижу напротив,— казалось, что это скромный, сосредоточенный учитель. Он был начитан. Читал очень много. Но такое впечатление — чисто поверхностное. Когда приходилось говорить с Гиммлером по серьезным вопросам, оказывалось, что его представления крайне неглубоки. Он страдал, ужасно страдал от того, что у него была недостаточно нордическая внешность. Это не шутка, у Гиммлера выработался настоящий комплекс неполноценности по отношению к любому солдату... Он верил в то, что на протяжении трех поколений выведет расу блондинов с голубыми глазами. Если бы он взглянул на вас, вы сразу почувствовали бы: он размышляет над тем, что и когда удалось бы из вас вывести...

Хён испытующе смотрит на меня.

— Вам он дал бы не такую уж дурную оценку, решил бы, что, может быть, уже во втором поколении... Однажды он говорил мне: «Мы должны поднять престиж матерей-одиночек. Им необходимо оказывать поддержку, мы вступаем в фазу решающей битвы, и, возможно, как раз тогда нам не хватит трех дивизий, которые можно было сформировать из внебрачных детей». В другой раз, в самый тяжкий момент войны, он отправился осматривать могилу гуннов и радовался, что у всех у них удлиненные черепа. Там же валялся собачий череп. Гиммлер сказал: «Это священник, который обращал их в католицизм». Гиммлер был убежден, что механизм истории — борьба добра и зла — блондинов с брюнетами. При разговорах с ним всегда возникало ощущение, что есть еще и другая, скрытая сторона его души, которую он утаивал от собеседника и которую мне никогда не суждено было постичь. В личных взаимоотношениях Гиммлер был внимателен и любезен. Он писал очень милые поздравительные письма ко дню рождения. При знакомстве с моей женой он проявил истинную галантность. Примерно раз в два месяца я получал от него приглашения отобедать с ним. Когда в самый разгар войны мы встретились, он заявил, что после победы он, как только я того пожелаю, сделает меня обладателем несметных сокровищ...

...А вот это я прошу не фиксировать. Чтобы помочь вам вжиться в тогдашнюю атмосферу и понять, какие послания я получал, расскажу вам, как две женщины написали мне, что мечтают забеременеть от фюрера. Я ответил, обращая дело в шутку, что, увы, готов выполнить эту миссию за него. И что вы думаете: прикатили обе! Возможно, они тем самым рассчитывали на протекцию? Обе были страшны как смертный грех. Потом они писали мне неоднократно, возвращаясь к своей маниакальной идее — мечте забеременеть от божества.

— Комплекс богородицы? Следовало отдать приказ арестовать их. Раз они обе были безобразны, это могло быть истолковано как оскорбление вождя,— говорю я.— Сожалею, что должен вернуться к прерванной нити нашей беседы. Вы автор формулировки: фашистское государство «будет не управляться, а возглавляться». Еще в 1944 году вы писали: «Присяга на верность вождю обязывает не только тогда, когда вождь жив, но и после его смерти». Прошло двадцать восемь лет со дня смерти фюрера. Вы по-прежнему верны этой клятве?

— Разумеется нет,— смеясь, отвечает профессор.

— Благодарю вас за беседу.

— Приглашаю вас на обед. Вы отобедаете с моим руководителем по части public relations,— предупреждает меня Хён, добавляя: — Этот обед будет обильнее, чем обеды у Гиммлера. Гарантирую вам!..

Мы прощаемся.

Обедаем мы с господином Шюцем в ресторане фешенебельной гостиницы. За обедом он вручает нам фундаментальный, насчитывающий 354 страницы труд своего шефа об искусстве менеджмента. В библиографическом списке упомянута только одна книга профессора, изданная до 1945 года.

Генерал, который сражался с детьми

Кто ездит на остров Зильт зимою? Единственное средство сообщения — это железная дорога по одиннадцатикилометровой дамбе, тянущейся через мелководье и мели. Автомобили въезжают на специальные платформы, пассажиры отправляются в обычные вагоны или остаются подле своих машин, чтобы набрать-

ся впечатлений от железнодорожной прогулки по морю. Поезд сопровождают чайки. Зимой «автомобильные составы» курсируют редко. Мы приезжаем на остров в Вестерланд заранее, суббота, выходной день, жители опустевшего курорта отправляются поглядеть на море. Одни прогуливаются с собаками вдоль берега в капроновых рыбацких плащах, в резиновых сапогах, другие в серых «дипломатках» идут, придерживая детей. Пахнет хрустящим картофелем, жареной рыбой, кофе - - приближается обеденная пора. Кто-то из этих людей некогда отдал свой голос за бывшего генерала полиции и СС Гейнца Рейнефарта, так как большинство жителей Вестерланда, столицы самого прекрасного острова на севере Европы, в свое время избрали его бургомистром. Мы стоим на перпендикулярной морю Штрандштрассе, где на полированной медной табличке красуется такая памятная фамилия: «Г. Рейнефарт, адвокат». Мы поглядываем на часы. Стрелки показывают ровно три. Как раз в этот момент в застекленных дверях мелькает тень. Это бывший генерал СС Г. Рейнефарт. Маленький, седой, в очках, с пронзительным взглядом. Он ведет нас в глубь своей конторы.

— Генерал Рейнефарт, в Польше ваше имя одно из самых ненавистных. Знаете ли вы об этом?

— Знаю.

— Известно ли вам ваше прозвище «Палач Варшавы»?

— Об этом я тоже знаю. А вам известно, что судебное разбирательство по моему делу тянулось двадцать лет и меня оправдали?

— Да, генерал. Я приехал сюда именно потому, что вас признали невиновным.

— В Польше не понимают причин такого судебного решения?

— Да, не понимают. Надеюсь, вы не думаете, будто я приехал пристрелить вас?

— Нет. Сейчас, спустя двадцать девять лет, я способен понять, что передо мной другой поляк. Пристрелить старика, перенесшего инфаркт? Вы знаете, при каких обстоятельствах судьба свела меня с поляками? Для нас это были тяжелые времена. И моя миссия не являлась прогулкой по Варшаве. Если существует ад, то это уличное сражение. В поле лучше, нежели посреди валящихся, охваченных пламенем домов. Всегда, и тогда тоже, я говорил, что польские борцы за свободу героически, просто великолепно сражались.

— От рук ваших подчиненных их погибло меньше, чем гражданских лиц. Среди гражданского населения — среди этих ни в чем не повинных людей — потери оказались самыми чудовищными.

— Отличить повстанцев от гражданских лиц было невозможно: далеко не все повстанцы носили нарукавные повязки.

— Но те, что не сражались, их не носили.

— Нет! Нет! Носили даже мундиры СС.

— И сверху повязки?

— Нет, нет,— повторяет Рейнефарт.

— Рискнувший облачиться в эсэсовский мундир был бы убит своими же товарищами,— замечаю я.— А женщины и дети, по которым вы открывали огонь и которых расстреливали?

— Женщины тоже сражались. Одна женщина-снайпер в одиночку обороняла здание какого-то — кажется, Польского — банка.

— Вернемся к детям.

— И дети сражались. Есть немало польских книг и альбомов, некоторые из них у меня имеются, в них помещены фотографии детей, вооруженных гранатами и даже автоматами. Я не хочу этим сказать, будто не было случаев, когда стреляли по невооруженным детям, думая, что они вооружены.

— Другими словами, вы подтверждаете, что стреляли в безоружных детей?

— Солдаты говорили: «Дети в нас стреляют, поэтому и мы открываем по ним огонь».

— А массовые экзекуции?

— Я осуждаю эти экзекуции и осуждал их всегда. Ко мне поступали донесения, и я запрещал подобные экзекуции, но только в том случае, когда получал соответствующие рапорты.

— Генерал Рейнефарт, ваша фамилия всегда будет служить символом чего-то бесчеловечного, и от этого вас не спасет никакой оправдательный приговор. Как вы сами оцениваете теперь все происшедшее?

— Установлено, что 5 и 6 августа 1944 года в Варшаве творились самые невероятные вещи, о которых я ничего не знал: бесчинствовали воинские части, находившиеся в городе еще до этого. Были совершены военные преступления. Это неопровержимо доказано, но сам я узнал о них только в ходе судебного разбирательства. Их совершали солдаты Дирлевангера и Каминского, которые считали, что пробил час мести. Но ведь это Бах приказал расстрелять Каминского, а кроме того, он обратился к Гиммлеру с предложением отменить массовые расстрелы населения.

— Нам-то с вами хорошо известно, что Каминского расстреляли не за события 5 и 6 августа. Что же касается рапорта фон дем Баха, то характерна мотивировка: расстрелы только способствуют росту сопротивления и укреплению чувства солидарности среди жителей, они деморализуют войска, и, кроме того, воинские части не располагают запасом патронов необходимым для расстрела одного миллиона человек. Мотивировка, сказал бы я, чисто технического порядка.

— Автор этого письма — фон дем

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ПОЖИВАЕТЕ?

Бах, а не я. Он во главу угла поставил чисто технические соображения, а не проблемы гуманного характера, ведь иначе Гиммлер не понял бы его, Баху не удалось бы убедить рейхсфюрера.

— Гиммлер просто-напросто не понял бы, о чем идет речь?

— Не знаю, однако я совсем не хочу сказать, что когда-нибудь получил приказ расстреливать мирное население, не принимавшее участия в уличных боях.

— Говорит ли вам что-нибудь фамилия Лурье?

— Нет.

— Вы не помните этой фамилии из материалов судебного разбирательства?

— Эти материалы насчитывают около 70 тысяч страниц.

— Ванда Лурье была беременной. Ваши подчиненные вместе с многотысячной толпой загнали эту женщину с тремя ее маленькими детьми во двор фабрики на Воле[1]. Взявшись за руки, они подошли к стене. Дети погибли от первого залпа. Раненная, она ночью выбралась из-под груды трупов. А потом родила ребенка, который пережил в ее лоне гибель своих братьев.

— Существует разница между польским и немецким законодательством. Немецкое признает виновным того, кто отдавал преступные приказы или не вмешивался, зная о преступлениях. В польском законодательстве командир ответствен за все, что случилось на территории, занимаемой его войсками, даже если он и не знал об этом.

— Вы знакомы с польским законодательством?

— Я нет. Мой следователь объяснил мне, в чем разница.

— Вы упоминали Гиммлера. Вы были его подчиненным?

— Да, но ближе я узнал его в конце 1944 — начале 1945 года.

— При каких обстоятельствах?

— Он был моим командиром в районе Верхнего Рейна.

— Каким он вам запомнился?

— Очень трудно охарактеризовать его. Подчеркиваю: я лично не заметил ничего такого, что давало бы основания называть его кровожадным псом, хотя я и не утверждаю, что таковым он не был. На Верхнем Рейне (заметьте, это касалось не убийств, а военного положения), когда я воспротивился приказу Гиммлера, рейхсфюрер его изменил, у Гиммлера была склонность к гиперболам, к преувеличению или, наоборот, преуменьшению, к игнорированию фактов. В Нюрнберге меня спрашивали о том же, о чем спрашиваете вы. И я отвечал то же самое. Гиммлер был начисто лишен чувства юмора, и спорить с ним оказывалось трудно. В тот момент, когда я получил от Гиммлера приказ «подавить восстание в Варшаве», рейхсфюрер не представлял себе его размаха и мощи. Он дал мне один полицейский и один общевойсковой батальон и этими силами за 48 часов приказал подавить восстание. Это свидетельство того, насколько он недооценивал масштабы восстания.

— Что вы увидели по прибытии в Варшаву?

— Я отправился в штаб 9-й армии, там меня ознакомили с действительным положением дел и сказали, что моих сил здесь явно недостаточно, нереален и срок, установленный для завершения акции. И все это растянулось на два месяца. Я расскажу вам про этот ад — «пирог» слоеного пирога». Немцы атакуют пятиэтажный дом. Теснят повстанцев наверх, занимают первый, второй и третий этажи. В этот момент прорываются поляки. Переходят в наступление, захватывают у немцев первый этаж. Немцы, на которых напирают снизу, у повстанцев отбивают еще один этаж. Потом подходит немецкий заслон и штурмом завладевает первым этажом. Словом, настоящий слоеный пирог: поляки — немцы — поляки — немцы.

— Что еще вам запомнилось такое, о чем бы хотелось рассказать?

— Я лежал с тяжелым случаем дизентерии в своей штаб-квартире. Ко мне прибыл офицер с докладом, сообщил, что его отряд после многодневных боев овладел костелом, где солдаты обнаружили какую-то реликвию, и офицер поставил передо мною кожаный футляр. На футляре на маленькой дощечке виднелась надпись. Я приказал поставить футляр на шкаф. Варшавский архиепископ находился вне Варшавы, и фон дем Бах связался с ним, но тот заявил, что святого с таким именем не существует. Тогда я открыл футляр, в середине находился сосуд. Оказалось, что на футляре фамилия фабриканта — марка фирмы. А на сосуде значилось: «ШОПЕН». И я моментально вспомнил, так как всегда обожал музыку — сам я тоже играю,— о завещании Шопена: «Тело в Париже, сердце — в Варшаве»...

— А что вы сами исполняете?

— Бетховен, Моцарт... Мне никогда не приходилось видеть Варшавы, не пострадавшей от разрушений. Всюду, где мы только ни появлялись, зияли руины. Судебный следователь, который никогда не был в Варшаве, после разбирательства моего дела мог бы передвигаться по вашей столице с закрытыми глазами.

— По Варшаве, которой не существует, так как вы стерли ее с лица земли. Вам, господин Рейнефарт, лучше не появляться в этом городе, как, впрочем, и в Польше.

— Я и сам не пошел бы на подобный шаг.

— Почему?

— Чтобы своим присутствием не бередить старые раны. Я не был бы там желанным гостем.

— Да, подобное путешествие небезо-

[1] Район Варшавы.

пасно для вас. Вам известно, что Варшава восстановлена?

— Разумеется. Я читал об этом, видел массу фотоснимков.

— Ваше деяние сведено на нет. Варшава прекрасна.

— Моим уделом было видеть одни руины. Руины и пепелища. Такова уж моя судьба. Однажды ночью, когда мы шли по улицам Варшавы, я услышал среди руин игру на рояле, и к тому же великолепную игру. Я направился на звуки музыки В доме, полностью открытом на все четыре стороны, свободном от стен, единственным, что сохранилось в целости, был рояль. За ним сидел немецкий полковник и играл. Я послал адъютанта за скрипкой, которую всегда возил с собою, и мы сыграли вместе.

— А что вы исполняли?

— Я уже не помню, что именно. Мы оба, должно быть, хорошо знали эту вещь, так как исполняли ее по памяти, в темноте.

— А пламя пожаров!

— В их свете разобрать ноты было бы невозможно.

— Это была песня триумфа?

— Нет!

Рейнефарт разволновался от моего вопроса, всем своим видом он показывает, что сомневается: в состоянии ли я его понять?

— ...Это было проявлением чистой любви к музыке. Желанием услышать нечто иное. кроме орудийного гула.

— Вы знаете польского поэта Норвида и его стихотворение «Рояль Шопена»?

— Должен признаться, нет.

— Впрочем, оставим это. Сцена, которую вы описали,— чистая литература. Но разве не ужасно, что разговор о сердце Шопена, о музыке начался в связи с сотнями тысяч убитых?

— В жизни всегда так и бывает. Подобные противоречия не редкость. В двух километрах от западной линии боев в Варшаве я встретил свадебную бричку, в трех минутах от передовой — он в черном костюме, она в белом платье, пара лошадей, как в самые мирные времена, я должен был дважды взглянуть на это зрелище, чтобы поверить в реальность происходящего. Выдумать это невозможно, подобное надо пережить.

— Они не боялись?

Генерал Рейнефарт берет зелено-черную коробку для сигар и генеральским жестом, словно бы находится в штабе и еще продолжает осаду Варшавы, водружает ее перед собой на папку с делами.

— Это Варшава,— генерал проводит пальцем по краю коробки,— а вокруг — абсолютная тишина.— Он плашмя ведет ладонью по поверхности папки.

— Вы не поняли меня. Не бои могли испугать, а люди в мундирах СС.

Рейнефарт возвращается к прежнему тону, замыкается в себе:

— Мне не было известно отношение жителей к нам в Генерал-губернаторстве, я там до этого не бывал.

Я слегка приподнимаюсь со своего места и записываю марку сигар: «Бразил».

— Вас интересует сорт сигар? — спрашивает Рейнефарт.— Прошу вас,— протягивает он мне коробку.

— Благодарю. Я зафиксировал ваш жест, эти сигары представляли в ваших руках город, который вы брали штурмом и в котором я живу. А как вы теперь поживаете? Как идут ваши дела?

— Я адвокат. Для своих семидесяти лет я много работаю. До тех пор пока человек трудится, он не стареет. Адвокатура — моя подлинная профессия, я считаю ее лучшей профессией в мире. Генералом полиции я был совсем недолго.

— В Польше говорят, что у вас прекрасный сад.

— Прекрасный? Откуда, несколько деревьев и луга.

— Что это за деревья?

— Немного кустов сирени, несколько яблонь, одна вишня, одна груша — вот и все.

— Для своих семидесяти лет вы выглядите молодо, но время летит быстро. Перед лицом вечности, чего-то неизвестного, что находится за пределами вашей власти,— возвращаетесь ли вы мыслью к прошлому, к периоду войны?

— Когда встречаю людей, которые воевали. Здесь, в Германии, люди не очень-то любят говорить о войне.

— Времена переменились. Когда-то было иначе.

— Боже! Разве когда-нибудь какой-то народ — все те люди, которые ходят по улицам, те, кого можно пристрелить,— разве они жаждут войны?

— Вы эту истину постигли, будучи командующим?

— Откуда мне знать, каким образом я пришел к подобному убеждению?

— Почему вы поселились на острове Зильт?

— Единственное. что осталось у моей семьи,— это дом на Зильте.

— Ваша семья что-нибудь потеряла на Востоке?

— Мы жили постоянно в Котбусе, возле Берлина. Здесь был лишь домик летнего типа, теперь это наше основное пристанище.

— Очень многие на свете считают, что вы, бывшие офицеры СС, ныне образуете нелегальную организацию.

— Не думаю, что это так. Но если такая организация и существует, то об этом известно западногерманской разведке. Я в результате многолетнего судебного разбирательства (самого продолжительного из всех, какие я только знаю) получил инфаркт. Повредило мне не столько само разбирательство моего дела и постоянная неуверенность в том,

что меня ждет, сколько переживания моей жены. Раньше она ничего не знала, кроме того, что я сам рассказывал. И вдруг такой удар! Он ее сразил, и долгие двадцать лет она жила под постоянным бременем сомнений — что меня ждет? Это ее подкосило, тяжело травмировало. Так же глубоко переживали случившееся и мои дети. В свою очередь, глядя на то, как близко к сердцу приняли все это они, переживал и я.

— А те тридцать пять тысяч, которые погибли 5 и 6 августа? Ведь я и приехал сюда для того, чтобы напомнить вам о них. Назовите имена виновных, кого вы обвиняете, если не самого себя?

— Эта цифра точно не доказана. До сих пор доподлинно не известно, какие отряды расстреливали. Я не верю в тридцать пять тысяч, потому что даже чисто технически это было невыполнимо: слишком незначительными силами мы располагали, а ведь там шла война, и эти люди не сидели сложа руки, их требовалось обезвредить.

Мы вернулись к исходной точке беседы. Ровно пять. Мы поглядываем на часы. Генерал Рейнефарт произносит:

— Так как речь шла только о двух часах, я зарезервировал как раз столько времени.

Мы следуем через его адвокатскую контору, сворачиваем к выходу. Рейнефарт говорит:

— У меня здесь лабиринт не хуже, чем на варшавских улицах. По крайней мере такими они мне казались в те времена... На обратном пути вас ждет не самая лучшая погода. Море неспокойно. До свидания.

«Моя честь — это верность»

Асфальтированная дорожка приводит нас к заболоченной местности, далеко впереди возвышается замок, устоявший перед врагами в эпоху средневековья. Потом мы едем по мосту, переброшенному через ров. Группа молодых людей внимательно разглядывает нас, когда мы входим в вестибюль. Адальберт говорит:

— Странное место.

Сюда нас направила секретарша Центра Общеевропейских курсов во Флотонад-Везером, где мы выясняли координаты Александра Долезалека, одного из руководителей этого Центра, специалиста по делам Востока.

Из вестибюля мы попадаем в Рыцарский зал. Здесь у камина, под портретами XVIII века, идет совещание. Мы подходим к группе мужчин, увлеченных дискуссией. Кто они, мы не знаем. Того, кто нам нужен, среди них не видно. Еще час назад, рассматривая одну фотографию времен войны, мы запомнили на ней рядом с бароном фон Фирксом радостную, улыбающуюся физиономию Долезалека, в мундире СС. Теперь, когда мы называем его фамилию, из-за длинного стола поднимается мужчина с лицом, изборожденным морщинами, но обрамленным красивой бородой. Он говорит:

— Это я.

Адальберт произносит фразу, которую успел уже выучить наизусть. Долезалек не выказывает никакого удивления, словно ждал этого визита. Он просит нас спуститься в обеденный зал и подождать, пока закончится совещание. В столовой я открываю свой блокнот: у меня к Долезалеку больше десяти вопросов. Я еще не решил, с какого начать. Ведь на этот раз передо мной — другие задачи. Я совершаю ошибку, ибо начинаю с напоминания Долезалеку о его деятельности на посту руководителя отдела планирования штаба СС по делам переселения в Познаньском и Лодзинском воеводствах — когда он в буквальном смысле вымарывал Польшу с карты мира, заменяя польские названия немецкими.

Долезалек поднимает руку и прерывает меня:

— Этот вопрос нельзя изолировать от истории Европы.

Без всякого вступления он переходит к лекции о переселениях, начиная с греко-турецких проблем. Я должным образом оцениваю ее, так как она поразительно похожа на доклад фон Фиркса, словно Долезалек и Фиркс некогда прошли подготовку, запрограммировавшую их раз и навсегда. Аргументы, расположение материала, сама манера говорить, не терпящая перерыва, с нарастающей агрессивной интонацией — все это подавляет слушателя. Часа через два я улавливаю и различие в версиях Долезалека и Фиркса. Говоря о «военном психозе» и «вине поляков», Долезалек добавляет:

— Имеются и психологические причины. Мы оказались жертвами геббельсовской пропаганды. Пять тысяч немцев, погибших в сентябре 1939 года, у него превратились в пятьдесят четыре тысячи. Это звучало так ошеломляюще, что подавило в нас все человеческие чувства. В свою очередь то, что произошло потом, подавило те же чувства в поляках в 1945 году.

Тут я прерываю его:

— Если бы это подавило в нас человеческие чувства, число немцев сократилось бы на несколько миллионов. Мне, видимо, следует понимать сказанное вами таким образом, что в период оккупации вы нам заранее мстили за 1945 год?

— Вы обвиняете меня?

— Да. Хотя вы и остались в тени и ваше имя не известно общественности, я разыскал вас, так как вы — один из двух оставшихся в живых футурологов третьего рейха. Я очень тщательно изучил ваш меморнал по польскому вопросу, который вы адресовали оберштурм-

банфюреру Крумею. Ваш план был еще опаснее того, который удалось воплотить в жизнь, он страшнее самого совершенного преступления.

Долезалек не может скрыть улыбки удовлетворения. Затем тотчас же овладевает собой и, становясь серьезным, говорит:

— Я хотел сохранить лучшие силы польского народа.

— И этим подкрепить немецкую нацию? Ваш мемориал поразительно сходен с критическими замечаниями по адресу Генерального плана «Ост», сделанными доктором Э. Ветцелем. Тот факт, что Генеральный план «Ост» погиб, невосполнимая утрата для истории. Но благодаря заключению эксперта Ветцеля мы можем реконструировать эту программу.

— Существовало по крайней мере три Восточных плана. Но все это было столь строго засекречено, что даже точное число планов не известно.

— Реализация плана намечалась на 1973—1975 годы. То есть на будущее, когда самый страшный вариант истории воплотился бы в жизнь. Если бы попытаться создать новую научную дисциплину — изучение несуществующей истории,— можно было бы разработать и географию этого запланированного государства, основанного на «социологии рас» Народы Восточной Европы выселялись в Сибирь. Поляков предстояло разделить на три группы, чтобы они не возродились как нация. Нетрудно догадаться, что самую опасную для немцев группу разместили бы у Полярного круга, где эти люди вымерли бы. Поляков в принудительном порядке намеревались ассимилировать с украинцами, русскими, белорусами, чтобы взаимно натравливать их друг на друга, поддерживая среди них постоянную, неутихающую вражду. Теперь я нарисую вам социальную пирамиду этого государства: в самом низу — поляки, как писал Ветцель, «наиболее опасные из всех инородцев», они должны уметь считать, чтобы полная безграмотность не мешала им выполнять функции неквалифицированных рабочих. Чехи допускались бы к занятию ремеслами. Выше стояли бы венгры, еще выше литовцы, латыши и эстонцы, которых, онемечив, собирались допустить на низшие должности в государственном аппарате. На вершине пирамиды — раса господ.

— Это сочинение безумца! Такое невозможно было воплотить в жизнь!

— Почему же? Я уже нанес визит пяти вашим коллегам Первый из них разработал теоретическое обоснование насилия, доказывая превосходство одних рас над другими, второй обеспечил это насилие. В качестве руководителя группы, осуществлявшей экзекуции, он уменьшил число враждебного населения, упростив задачу переселения. Третий сровнял с землей столицу Польши, насчитывавшую миллион жителей. Предстояло затем распахать этот участок, как территорию некогда уничтоженного Карфагена. Четвертый поддержал идею биологического оружия, которое стерло бы с лица земли целые народы после того, как они исполнили бы свою роль рабов третьего рейха. На первый взгляд, все это — области, очень далекие друг от друга, но они сходятся в одном пункте — реализации грандиозного плана перекраивания мира.

— План, о котором вы говорите, разрабатывался, как я догадываюсь, в отделе, насчитывавшем около двух десятков человек, лишенных всякого влияния. Грандиозная задача, какой для Гиммлера являлось будущее мира после окончательной победы, решалась разными инстанциями. И такими, которые имели большой вес, и начисто его лишенными. Эти последние могли позволить себе любую ахинею, самые безумные, бредовые «прожекты».

— Это была особенная болезнь, название этой болезни известно, но картина отличалась поразительной конкретностью и скрупулезностью отделки.

— Фантазии, фантазии!

— Вы в своем мемориале пользуетесь формулировкой «расовый лом». Это тоже фрагмент подобной фантазии?

— Я? Невозможно! Такими словами я не пользуюсь.

Я кладу на стол перед моим собеседником пять страничек его мемориала. Всюду слова эти там подчеркнуты. Долезалек впивается глазами в документ и, на минуту забывая обо всем, жадно читает его.

— Я тридцать лет не видел этого документа,— бормочет он.

— Я привез его вам в подарок.

— В самом деле? — радуется Долезалек.— Я смогу прочесть его не торопясь?

— Вернемся к «расовому лому».

Долезалек колеблется, словно он не в состоянии объяснить, почему употребил такое словосочетание, словно он и в самом деле забыл, при каких обстоятельствах пользовался им.

— Это документ чисто внутреннего порядка. Я вынужден был говорить языком этой партии. То был ЯЗЫК ЭПОХИ. Я могу только попытаться убедить вас, что считаю подобное выражение бессмыслицей.

— Тогда вы тоже так считали?

— И тогда тоже.

— Зачем же вы употребляли эти слова?

— Чтобы противостоять официальной линии

— Я вас не понимаю. Ваш мемориал — истинное порождение дьявола. Вы планировали разбить польский народ на три группы. Уничтожить национальную

солидарность поляков, обеспечив оптимальные условия группе, подлежащей онемечиванию: интеллигенции, аристократии, дворянству, ремесленникам, состоятельному крестьянству, «подкрепив» с их помощью немецкий народ. Среднюю группу предстояло нейтрализовать и использовать как трудовой резерв. Неквалифицированных, многодетных рабочих — как «расовый лом» и вместе с тем источник биологической силы — предлагалось выселить. Вы даже не упоминаете, что должно было произойти с ними далее.

— Этот проект предстояло реализовать на землях над Вартой.

— Землям над Вартой отводилась роль опытного поля Генерального плана «Ост»?

— Чтобы вы смогли понять все это, мне придется рассказать вам историю моей жизни. В 1939 году мне исполнилось девятнадцать лет, и я сдержанно относился к происходившим тогда событиям. В то время я был в дружеских отношениях с будущим руководителем «Красной Капеллы», студентом я посещал семинар Теодора Хейса. Но постепенно стал с одобрением относиться к некоторым вещам. Я всегда интересовался Востоком. Зарабатывая на жизнь сначала физическим трудом, потом как торговец книгами, я на собственные средства стал колесить по Восточной Европе на велосипеде и пешком. Прослойка немцев там оказалась такой значительной, что каждую ночь я спал под немецкой кровлей. Я побывал в Польше, Румынии, Чехии, Словакии, Югославии, Закарпатье. Я знаю, о чем вы подумали: что я был шпионом. Нет! Я занялся делами, которые меня интересовали. С некоторыми из этих стран я познакомился настолько хорошо, что впоследствии даже стал экспертом по проблеме Закарпатской Руси: я первый установил контакт с будущим ее премьером Волошиным и потом, будучи двадцатилетним парнем, обозначил границы после раздела Чехословакии между Словакией и Венгрией.

В начале войны мне приказали составить этническую карту Востока. Она должна была стать основой будущих переселений, и через сто бессонных ночей я вручил ее Риббентропфу (здесь Адальберт объясняет мне игру слов: «tropf» значит по-немецки идиот), который не знал даже географии Востока.

...Я — типичный пример так называемого военного поколения Гитлеризм насадил воинскую дисциплину, но идеологическая организованность отсутствовала, так как на протяжении двенадцати лет не доходили руки заняться идеологией, отсюда разнобой, срывы и противоречия во многих действиях в этой области. Меня вдохновлял Муссолини.

— Итальянский фашизм был вам ближе, чем гитлеровский нацизм?

— Нет. Теперь уже нет.

— А тогда?

— Тоже нет. Мой идеал воплощали корпорации: объединения рабочих и работодателей. Повсеместно принято считать, что Муссолини якобы уступал Гитлеру. На самом деле как раз наоборот. Гитлер учился у Муссолини. Когда начались захваты Абиссинии, Албании, Гитлер решил подражать Муссолини. Под влиянием последнего он и сделался империалистом. Я попытаюсь перенестись на сорок лет назад и передать вам мои чувства. Опишу переломный момент. Во время семинара по философии громкоговоритель на улице или радиоприемник, кем-то включенный на полную мощность, оповестил о занятии Праги нашими войсками. Должен искренне признаться: если Австрия и Германия, некогда разделенные, захотели путем аншлюса вновь объединиться, если судетские немцы пожелали слиться со своей матерью-родиной, то в этом ничего дурного я не видел. Для меня, каким я тогда был, только занятие Праги явилось захватническим актом. С той поры у меня начался процесс утраты иллюзий. Тут вспыхнула война, принесшая ошибки, непомерные империалистические устремления, на поверхность всплыли такие люди, как гаулейтеры Кох и Грейсер,— примитивные, тупые убийцы. Кстати, что слышно о Кохе?

— Он содержится в одной из польских тюрем.

— Почему смертный приговор не приведен в исполнение?

— Кох тяжело болен.

— Этот приговор следовало бы привести в исполнение.

— В связи с тем, что Кох нанес рейху немалый ущерб своей глупостью и преступлениями? Вы слишком многого от нас хотите!

— Кох отнял у меня последние иллюзии. Потом у меня возник страшный конфликт с Грейсером, его исход зависел от Гиммлера. Речь шла о польских крестьянах.

— Как Гиммлер разрешил его?

— Появляясь где-нибудь, Гиммлер обычно шел первым, а за ним, отстав шага на три, следовала вся его свита, у рейхсфюрера при этом был всегда отсутствующий вид. Считалось, что в такие минуты пытаться остановить его, заговорить с ним — рискованно. Подобные «выходы» превращались в театральные представления. Гиммлер являлся третьим, а возможно, и вторым человеком в государстве. На следующее утро после конфликта с Грейсером я отправился к Гиммлеру в гостиницу. Он принял меня в халате, показался мне крайне доступным, человечным, он полностью признал мою правоту... Гиммлер считал, что мир и жизнь можно произвольно перекраивать. Он не видел существенной разницы между животными и людьми.

— Но и вы мыслили подобным же образом: считали, будто переселениями, перемещениями отдельных народов можно изменить структуру целых государств и этнических групп. Самих себя вы пред-

ставляли ваятелями будущего, которому вы способны, как куску пластилина, придать любую форму.

— Бедой Восточной Европы было несовпадение этнических и политических границ.

— Границы, выработанные после окончания второй мировой войны, идеальным образом разделяют народы, не так ли?

Долезалек игнорирует мой вопрос и говорит:

— Мемориал, который вы мне сегодня привезли, послужил поводом для моего ухода во внутреннюю эмиграцию.

— Я вас не понимаю.

— Я добился ухода с занимаемой должности и пошел на фронт, к парашютистам. Это был самый утонченный вид эмиграции. Но настал момент, когда меня отозвали с фронта и назначили руководить отделом планирования в Главном управлении СС, поручив выполнение особых заданий. Одно из них — разработка не только нового Генерального плана «Ост», но и проекта новой Европы. Наступила критическая минута, война быстро близилась к своему завершению, но казалось, время еще не упущено окончательно. Была осень 1944 года. Узкий круг высших офицеров войск СС, связанных дружескими узами, отдавал себе отчет: что-то еще можно спасти...

— Это была оппозиция?

— Да. Наша акция имела шифрованное название «Двойной поворот».

— Вы занимались конспиративной деятельностью?

— Конспиративной деятельностью? — восклицает Долезалек.— Подобная деятельность была немыслима при той системе тайной полиции, какая тогда существовала.

— Поздно же, однако, вы приняли решение действовать!

— Одна из причин этого — отсутствие информации. Вы мне не поверите, но в феврале 1945 года начальник канцелярии по делам расы и переселения Гильдебрандт с глазу на глаз, не скрывая при этом своего отвращения, сообщил мне, что тремя месяцами ранее он получил неопровержимые доказательства уничтожения миллионов евреев. Я до сих пор будто слышу его изменившийся, негодующий голос.

— Я готов поверить, что вы впервые так искренне говорили с глазу на глаз в феврале 1945 года и что генерал Гильдебрандт должен был очень доверять вам, если, как вы утверждаете, он не скрывал при этом своего негодования.

— Мы получали тщательно отфильтрованную информацию.

— Вы, взрослые люди, кадровые военные, высшие офицеры, политики, принадлежавшие к верхам правящей группы, и вы не знали? Неужели же и Гиммлер, будь он жив, тоже заявил бы, что ничего не знал? Исполнители ссылаются на приказы начальников, а начальники?

— Признаюсь вам со всей откровенностью: я получал информацию по английскому радио. Но я не доверял сообщениям англичан. Я помню, что во время первой мировой войны они утверждали, будто немцы изготовляли мыло из человечины, а это оказалось ложью. Я думал, так же обстоит дело и на сей раз. Но оказалось, что теперь победители намеревались увенчать свой триумф преступлениями. Уничтожили даже те тридцать тысяч портных в гетто, которые их обшивали.

— У господ нередко возникает необходимость в подобной мотивировке, которую я называю мотивировкой технического свойства.

— Так говорилось тогда, а сегодня я хочу сказать, что эту вину нам никто и никогда не простит.

На минуту задумавшись, он добавляет:

— Мне не приходилось бывать в Генерал-губернаторстве. Говорили, что Франк после Сталинграда якобы чему-то научился, он ведь был культурным человеком.

— Культура несовместима с преступлением.

— Согласен с вами. Скажу иначе: он располагал определенными сведениями. Мы скрыто противодействовали расовым теориям, которые принесли колоссальный вред. Сила, энергия не зависят от расы или класса. Подгруппа «С» выпустила брошюру под названием «Человекообразные» — о славянских народах, которая била по русским, и моя подгруппа «Д» через день после ее выхода в свет изъяла книгу из обращения, так как она оскорбляла чувства генерала Власова. Потом мы долго говорили с ним на эту тему, стремясь исправить вред, причиненный брошюрой. Впрочем, я не отвергал понятие «сверхчеловек», но принимал его в классическом, ницшеанском смысле. Это Гиммлер почти не улавливал разницы между людьми, животными и растениями.

Еще один возврат к Гиммлеру. Кажется, его фигура воодушевляет давних подчиненных больше, чем личность самого Гитлера...

— Вернусь к вашему «кругу». Итак, никакой организационной связи у вас не существовало?

— В строгом смысле слова нет. Все началось с эволюции взглядов в нашей группе, с обмена информацией, постепенно мы перешли к тому, что пытались противодействовать отдельным акциям, позже даже стали предпринимать некоторые согласованные действия.

— Но вашу деятельность все же терпели?!

— Однажды я получил из гестапо письмо следующего содержания: «В последнее время вы занимаетесь вопросами, которые входят в компетенцию фю-

рера, поэтому хотим предостеречь вас». Особенно зловещей представлялась форма этого послания: его напечатали на служебном бланке, но анонимно, без подписи. Это было равнозначно смертному приговору.

— И все же вы беседуете со мной!

— Для меня подобная форма не означала немедленного приведения приговора в исполнение. Мошка, сев на хлопушку для мух, сохраняет свою жизнь.

— Я вас не понимаю.

— Хлопушка — войска СС. В ту пору такой приговор офицеру СС практически был невыполним.

— Но ведь войска СС совершали преступления.

— Войска СС,— с грустью говорит Долезалек,— призваны были стать элитарными воинскими подразделениями, им придавался характер гвардейских частей, они и являли собой старую гвардию. Но это единственный случай в истории, когда гвардию заставляли выполнять полицейские функции.

— Это были преступления, а не «полицейские функции».

— В начальный период войска СС задумывались как рыцарский орден...

— Вслед за крестоносцами?

— Да. До нас был крестовый поход. Он требовал воздержания, самоограничения, но позже, однако, этот период аскезы у рыцаря-крестоносца и у мальборкского рыцаря прошел. Чистоту в войсках СС тоже не удалось сохранить. В рядах СС появились представители других национальностей, преступники, авантюристы.

— Почему же вы не воспрепятствовали этому? Вы составляли отборные, отлично оснащенные войска третьего рейха. Вы могли взбунтоваться, могли открыто выступить против тех, кто отдавал преступные приказы.

— Мы в СС давали присягу: «Моя честь — это верность». Мы были преданнейшие из преданных. Гвардия не только не сдается, она и не бунтует.

— Направляясь к вам, я учитывал, то, что многие в Польше не простят мне беседы с вами, так как вы служили в СС.

— Теперь-то мне ясно, что мы совершили ошибку, не присоединившись к движению 20 июля. Если бы Л. Бек и другие отделили войска СС от полиции, возможно, события развивались бы иначе. Когда мы начали действовать, вермахт как реальная сила в расчет не принимался, мы обречены были выступать в одиночку. На таких, как Борман, тоже полагаться не приходилось. Мы являлись последней реальной политической силой...

— Кто же были эти люди, составлявшие ваш «узкий круг»?

— Если распределять их по рангам, то это высшие офицеры войск СС, в основном генералы.

— Можете ли вы назвать фамилии?

— Обергруппенфюреры Гильдебрандт, Панк или Панке, точно не помню — это происходило тридцать лет назад, бригаденфюрер Гоффман, статс-секретарь и группенфюрер Вехтер,— Долезалек берет у меня из рук тетрадь, исправляя написание фамилии: Вёхтер,— бригаденфюрер Олендорф. Я вспомнил: был еще руководитель VI отдела Управления — Шелленберг, занимавшийся после адмирала Канариса разведкой на Западе. Олендорф произвел сильное впечатление в Нюрнберге: признал свою вину, ничего не отрицал и не утаивал...

— Не могли бы вы показать мне этот план, карту Европы, которую вы проектировали?

— Нет. Все это хранится у меня в виде, не пригодном для печати. Часть плана и ряд других материалов я опубликую, выйдя на пенсию, остальное я подготовлю для публикации после моей смерти. Но не потому, что это может служить обвинением против меня: мой план, наоборот, был разумнее остальных.

— Какая судьба ожидала Польшу?

— В данном плане я пошел дальше первоначального мемориала. Эта часть моего проекта тоже называлась Генеральным планом «Ост», третьим по счету. Польша в рамках Европейского сообщества — без границ в нашем смысле — заняла бы подобающее ей место.

— Это была бы германская Европа?

— Нет. Свободная Европа без границ.

— Но ведь вы говорили о «спасении того, что еще можно спасти»?

— Конечно, Германия как крупнейшая сила в Европе своего значения не утратила бы...

Мы сосредоточили наши усилия и по другой линии: мы выпустили пропагандистскую брошюру против Ялты, показав в ней нашу будущую Европу без границ. Это была форма верности идее Европы. Мы предостерегали народы европейского континента, что, примирившись с Ялтой, Европа сделается «красной». В нашей брошюре имелись три географические карты: как представляют себе Европу западно-демократические государства, как видит ее Россия и каковы наши мирные проекты. В своих планах, связанных с операцией «Двойной поворот», о которой я уже говорил, мы намеревались использовать и церковь.

— Что представляла собой операция «Двойной поворот»?

— Это долгая история. Первоначально была создана англо-европейская лига мира, в рамках которой осуществлялось сотрудничество СС с отдельными группами евангелической церкви. Посредничество некоторых англиканских церковников обеспечило бы нам связь с Черчиллем. Определенные каналы мы использовали для договоренности с генералом Кёнигом во Франции, а через участников нидерландского Сопротивления — с американцами.

— Другими словами, игра на том,

чтобы вызвать раздор в стане союзников?

— Да.

— Но этого вы так и не достигли?

— Нет. Военные события разворачивались слишком стремительно.

...Идет уже восьмой час нашей беседы в холодноватом, продуваемом сквозняками обеденном зале, мы, не переставая, пьем кофе, который — кофейник за кофейником — приносит нам женщина, главный интендант курсов. Имитируя поведение человека, дающего показания, Долезалек обращается ко мне, подняв два пальца:

— Могу я отправиться в туалет?

Он уходит, а когда возвращается, я спрашиваю:

— Вы скрывались после войны?

— Я участвовал в сражении за Берлин. Прорвался в Мекленбург. После капитуляции скрывался, переодетый в крестьянское платье. Главным для меня тогда было сознание крушения идеалов. Я принял решение: «Не допущу, чтобы меня упрятали за решетку, да еще надолго. Ведь это же абсурд!» Я подыскал адвоката, которого уполномочил съездить в Нюрнберг и выяснить: предстану ли я там как свидетель или как обвиняемый? Получив ответ, что мне отводится роль свидетеля, я уведомил о своем прибытии. Я и мои сотрудники — мы все были избавлены от обвинения и от наказания.

Я протягиваю Долезалеку его фотографию в мундире СС:

— Вы изменились, нашли для себя совсем иной стиль. Теперь я не узнал бы вас.

— Да что вы... Моя изменившаяся внешность ничего общего ни с этой фотографией, ни с тем, что я скрывался, не имеет. Смена декорации произошла только из-за жены.

В моем досье имеются исчерпывающие данные о жене Долезалека, докторе Луизе Долезалек, фанатичной нацистке, которая как будто и была силой, побудившей Александра Долезалека окончательно принять нацизм. Долезалек говорит, однако, теперь только о своих детях, которые уже защитили кандидатские диссертации: «У них дела идут превосходно».

— Я хочу задать вам вопрос, на который вы мне скорее всего ответите «нет». Правда ли, что бывшие эсэсовцы по-прежнему образуют единое братство, носящее характер нелегальной организации?

— Я не могу точно ответить на этот вопрос. Сообщество, так называемое ХИАГ, членом которого, впрочем, я никогда не был уже, кажется, не существует. Но эта организация типа Союза ветеранов занималась скорее делами взаимопомощи, чем политическими или военными проблемами. Солдаты вермахта, их жены, инвалиды войны получали поддержку, им оказывали помощь. В этом отказано воинам СС.

— Я улавливаю нотки сожаления в вашем голосе.

— Прискорбно, когда такая незавидная судьба ждет рядовых солдат, которые принесли определенные жертвы... Неразумно и несправедливо, когда старых солдат лишают всего только за то, что они служили в частях СС, их тем самым толкают к тому, чтобы добиваться сотрудничества и взаимопомощи. Я сам дважды ранен, но, слава богу, не инвалид и избавлен от нужды.

— Каким образом?

— Я оказался дальновиднее других. Я понял, что мы мало знаем о Востоке, о марксизме-ленинизме и что нам необходимо собрать и изучить всю документацию об СССР, ГДР, ПНР, отказавшись от пустых выпадов по адресу этих государств. Я создавал архив. В настоящее время он насчитывает 34 тысячи документов, библиотека — 36 тысяч томов. Все это вместе составляет 70 тысяч единиц. Часть доставлена сюда, в замок. Здесь рабочий университет, наподобие существовавших в Польше ранее и теперь. У нас обучаются рабочие, сдавшие экзамен на аттестат зрелости. Здесь они повышают общую культуру, совершенствуют свои политические знания.

В этот момент ко мне подходит молодой паренек, староста группы, и от имени слушателей курсов приглашает нас на встречу: «Вы будете первым живым человеком из Польши». Я прошу его присесть.

Тем временем зал заполняется, подают ужин: бульон с вермишелью, тефтели с картофельным пюре под соусом, салат из овощей, пудинг и стакан сока.

— Как вы оцениваете прошлое? — спрашиваю я паренька.

— Все это было ужасно и бесчеловечно, мне стыдно за такое прошлое.

— Многие из виновных пытаются обелить себя.

Долезалек улыбается, кивает головой.

— Старое поколение — возможно, молодые — нет, — говорит паренек.— Наше поколение не собирается ни забывать, ни прощать, но мы бессильны. До недавнего времени учителя преподносили нам на уроках извращенные факты.

— А господин Долезалек? — спрашиваю я.

— Мы обсуждали с ним проблему переселения. В ходе ее совершались акты беззакония. Я думаю, этого не исправишь.

— Уже то, что вы говорите сейчас о подобных вещах в присутствии господина Долезалека, меня немало утешает.

— Наше поколение восстает как против своих подлинных, так и своих духовных отцов. Как поколение в целом мы обвиняем их в том, что они не воспрепятствовали событиям 1933 года. Линия политических разногласий сегодня про-

---

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ПОЖИВАЕТЕ?

ходит не между отдельными партиями, а между разными поколениями.

На протяжении всего разговора Долезалек не перестает улыбаться. Так как пареньку не подали прибора, он уходит. Долезалек держит себя иначе, нежели мои предыдущие собеседники. Разговаривая, он смотрит не на Адальберта, а на меня, подчас обращаясь непосредственно ко мне и давая этим понять, что ему известно мое знание немецкого, которое я скрываю по чисто тактическим соображениям.

— Почти тридцать лет я не возвращался мыслями ко всему этому. Я запер свое прошлое на замок. И все же я благодарен вам, что вы напомнили мне о годах молодости,— минута колебания,— и о грехах молодости. Каким далеким представляется все это. Прошлое можно понять только в рамках того времени.

— Познакомите ли вы меня, выходя на пенсию, с составленными вами планами?

— Не знаю. Этот момент еще не наступил.

— Если бы ваши проекты имели успех, если бы вам удалось сохранить третий рейх, кем бы вы были теперь?

— Я был бы в Европейском управлении СС.

— Вы представляли бы Германию в руководстве Европой. Вы воссоздали бы ее заново? Продолжая свою мысль в плане ненаучной фантастики, могу предположить, что я оказался бы внизу, вы — на вершине власти.

— Нельзя быть футурологом, не являясь историком. Нельзя быть историком, не будучи футурологом. Нельзя ехать на машине, не глядя перед собой и в зеркальце. Опасаюсь, что вы только всматриваетесь в зеркальце, в котором отражается прошлое, вместо того чтобы смотреть вперед, а ведь так недалеко и до аварии. На Востоке считают, что нацисты здесь делают карьеру. Мой пример противоречит этому, сейчас вы встретитесь с моими учениками и поймете, как неблагодарна моя работа.

— Вы не принадлежите к числу сильных мира сего, но, пожалуй, вы довольны жизнью? Например, ваша работа в институте во Флото? Впрочем, мы еще поговорим об этом подробнее.

— Мы занимаемся Польшей вполне объективно, с позиций доброжелательства.

— В Польше на этот счет другое мнение.

— Какой абсурд! Наш институт самый пропольский, даже полонофильский! У нас ежедневно читаются газеты «Трибуна люду», «Жиче Варшавы».— Долезалек добавляет с ноткой оправдания в голосе: — Я употребляю названия Варшау, Бреслау, как вы говорите «Мюнхиум», а не «Мюнхен». А теперь хочу пригласить вас в архив.

Комната в замке заперта на современный замок. Долезалек, ключник прошлого и будущего, открывает дверь в помещение, заставленное контейнерами с документами. Он направляется в глубь хранилища, до отказа заполненного сокровищами культуры Франции, России и Польши.

— Каким образом вы сделались обладателем этих сокровищ?

— Аукционы, обмены, наследства. Жена сама зарабатывает на жизнь, дети получали повышенные стипендии, все свои деньги я вложил в это. Вот одна рукопись, скрепленная единственной, как бы слишком изысканно начертанной буквой «R»,— это Робеспьер.

Долезалек прямо-таки подавляет нас масштабами своего собрания.

— Продолжение архивных фондов вы увидите в лекционных залах,— присовокупляет он.

Выставка революционного плаката и листовок — от Французской революции и богатейшей коллекции советского плакатного искусства до китайских стенных газеток периода «культурной революции».

— Мы проводим семинар под названием «Революция и эволюция». Это напоминание о тех опустошениях, какие несет с собой революция,— поясняет Долезалек.

Он ведет нас через кинозал, где в числе прочих демонстрируются и польские документальные фильмы, в учебный кабинет (здесь идут занятия по теме: «Информация»). В этот день слушатели курсов получили текст сообщения агентства Рейтер и газет различных стран мира с заданием проанализировать, как одно и то же известие в них использовано.

Потом мы входим в зал, где собрались курсанты. В первые же минуты я понимаю, что паренек, пригласивший меня, здесь в одиночестве. Дискуссия — это ураганный огонь, открытый по мне. У меня нет времени записывать. В моей памяти сохранились лишь какие-то разрозненные обрывки. Атаки на Польшу, на СССР, на ГДР. Я соглашаюсь полемизировать только по польскому вопросу. «Правда ли, что в Польше существует цензура?»— «Да. Существует контроль над прессой, и вы об этом знали. Вы задали мне этот вопрос, чтобы ввести меня в замешательство». Задавший вопрос не оспаривает моего утверждения. Атакует следующий: «Польша была христианской страной, она предала Запад», «Польша примкнула к России — она коммунистическая страна, она ненавидит наши порядки».— «Прежде говорилось: «Польша полудикая, варварская страна, ее необходимо уничтожить! — парирую я.— Ныне у вас новый предлог: «коммунистическая Польша»! Я обманулся в вас, юные господа!» — «Вины необходимо обоюдно простить, забыть о них».— «Мне известен этот тон по отношению к «расово неполноценным», тон требований, претензий, которые потом

превращаются в повод для дискриминации: «Поляки простили нас не так быстро, как обязаны были сделать это».

Слыша свой голос, несколько чужой, я констатирую весомость моих аргументов. Адальберт, связанный ролью переводчика, злой, работает как автомат. Долезалек, гордый, молчит, торжествуя: вот возмездие за мои вопросы.

Через два часа он приходит к выводу, что этого достаточно, и прекращает дискуссию. Никто не задал вопроса, почему я приехал беседовать именно с Долезалеком. Он сам предупредительно провожает нас во двор замка, до самой машины, произнося в темноте: «До свидания».

■

Расставаясь с Александром Долезалеком, я не рассчитывал увидеть его когда-нибудь еще. Однако через месяц я снова оказался во Флото, на извилистой улочке, круто бегущей в гору, перед высокой оградой, где ворота с деревянной калиткой для пешеходов снабжены звонком с фамилией: «Долезалек». Дом вмонтирован в склон обрыва, а сад, в котором расцветают шафран, желтые нарциссы, фиолетового, желтого и розового цвета орхидеи, под острым углом устремлен вверх.

Незадолго до этого я получил следующее письмо от руководителей второй программы западногерманского телевидения: «Нам стало известно, что в настоящее время вы работаете над книгой «Как вы теперь поживаете?». Нас живо интересует как сама тема книги, так и содержащийся в ней материал, все это может быть темой документального фильма. Ваши беседы с теми, кто несет ответственность за так называемый Генеральный план «Ост», беседы потенциальной жертвы со своими угнетателями через тридцать лет, а вместе с тем и новое напоминание об исполненных гигантомании гитлеровских планах кажутся нам актуальными и важными. Думается, эта проблема могла бы заинтересовать и более широкие общественные круги Западной Германии».

Теперь вместе с представителями телевидения мы входим в дом Долезалека. Хозяин приглашает нас в салон: там мы застаем низкорослого мужчину, который окидывает нас изучающим взглядом, поднимается и раскланивается. Это не мираж: он стоит перед Долезалеком по стойке «смирно» и по-военному щелкает каблуками, после чего размеренным, пружинистым шагом пересекает салон и уходит. Я изучаю вкусы хозяев: на стенах павлиний хвост (павлин — любимая птица Долезалека), картина, исполненная компьютером, другая, написанная с помощью маятника, народные рисунки на стекле. Долезалек угощает нас сигарами, протягивает машинку для обрезания сигар, потом хозяин дома возвращается к моему вопросу о том, как он приобрел свои бесценные документы. Он достает каталог книжного аукциона в Вене с двумя отчеркнутыми названиями — славянское периодическое издание, выпускавшееся Генриком Домбровским, и трактат о правах евреев в районе Франкфурта-на-Майне — и говорит, что его средств хватит только на их приобретение. В этот момент разъясняется окончательно и вопрос о жене Долезалека. Входит красивая женщина тридцати семи — тридцати восьми лет (Луизе же, если она жива, вероятно, под шестьдесят). Ее не интересует тема нашего разговора, она берет на себя обязанности хозяйки, незаметно окружая теплом и опекой своего мужа. Она полна понимания, когда Долезалек говорит:

— Мне надо хорошенько подумать, прежде чем согласиться на участие в телевизионном фильме: если бы я выступил в нем в определенной роли, я мог бы потерять право на пенсию, возможно, потерял бы и право на работу. Это дало бы повод заклеймить меня, поставить на мне крест, а ведь даже та жизнь, какую я веду сейчас (ниже моих возможностей!), представляет для меня определенную ценность.

Мы принимаемся его убеждать: он может выступить анонимно, сидя спиной к телекамере. Подумав, Долезалек говорит:

— Я считаю, что вам следует поговорить с автором одного из очень важных, если не самого важного, вариантов Генерального плана «Ост». Возможно, как раз он согласится выступить. Ему известно многое. Он, подобно Ветцелю, критиковал первый вариант Генерального плана «Ост» и мой план 1944 года.

Удивительная минута! Отправляясь в ФРГ, я вез с собой и досье генерала Мейера, второго из ведущих и здравствующих поныне футурологов рейха. Он седьмой из намеченных мной собеседников. Его проект был выполнен в форме бухгалтерского отчета, это план покорения Востока, скрупулезно разбитый на рубрики. Вся «поэзия» видения будущего заключалась в цифрах: в самые тяжелые дни войны Мейер предсказывал, например, что на онемечивание Сандомира в 1966 году третий рейх затратит 14,3 миллиона марок. Профессору, генералу Мейеру казалось важным сочетать в воображаемой картине Востока 70-х годов рабовладельческий строй, колониализм, маркграфство (где вассальная зависимость была бы наследственной, основанной на крепостном праве) и сверхтехнократическую структуру XXI века.

Почему Долезалек сам направляет нас к Мейеру? Долезалек сообщает нам адрес и телефон генерала, а потом даже

упоминает мимоходом, что по телефону уже рассказывал ему обо мне, о нашей беседе и о планах западногерманского телевидения.

Супруги Долезалек приглашают нас на «вестфальский завтрак». Он состоит из колбас разных сортов, острых холодных закусок и супа. «Колбаски изготовляют вон в том домс,— показывает Долезалек на шиферную кровлю в самом низу местечка.— Пиво особенное, сделано по стародавним рецептам, пейте без опасений: оно не из холодильника, у него температура нашего погреба». В дополнение ко всему — крепкая можжевеловая настойка. После завтрака мы посещаем место работы фрау Долезалек — книжный магазин, где она заведует отделом детской литературы, затем — контору самого хозяина дома.

Нас приглашают, видимо, в помещение польской секции, так как сидящий там господин великолепно говорит по-польски.

У меня ощущение, что Долезалек остался верен Польше как объекту уничтожения. Моя догадка подтверждается кипой подготовленных к отправке лежащих в комнате бюллетеней — «Актуальная информация о Востоке». Я получаю один экземпляр в виде презента. Когда, повторно распрощавшись с Долезалеком, мы возвращаемся в гостиницу, я принимаюсь читать бюллетень. Розовые страницы — «Политика и идеология», желтые — «Международная коммунистическая политика», оранжевые — «Сообщения из отдельных восточных стран», зеленые — «Социалистический лагерь и ФРГ»... «Трибуна люду», «Жиче Варшавы» так часто цитируются, что называются сокращенно: «ТЛ» и «ЖВ». Из десяти основных материалов — шесть приходится на Польшу. На последней странице перечислены некоторые темы, находящиеся в стадии подготовки: «Марксистская система и неомарксистская модель», «Социалистические страны путешествуют, но как?», «ГДР — государство немецкой нации и член Варшавского пакта», «Проблемы контактов молодежи социалистического лагеря».

«Есть люди, которые думают, что война продолжается»

Беседа с генералом Конрадом Мейером происходит в громадном салоне его виллы в Зальценгельдене, около Геттингена. При нашей беседе присутствуют жена и его сын — юрист. Стеклянная стена отделяет нас от сада. На низком подоконнике бинокль.

— Из всех утопических и безумных планов, какие реализованы, мне известен только один: тот, по которому миллионы немцев переселили с Востока.

— С вашей стороны было сущей авантюрой срывать массы людей с обжитых мест. Волна покатилась вспять.

— Вы знаете книгу американца Кауфмана «Германия должна стоять на своем»? Там выдвигается требование стерилизовать германских женщин,— наступает Мейер.

Он, видимо, ждет, когда я начну атаковать его за то, чем он больше всего прославился в мире,— за призыв к «продуманно негативной демографической политике» на Востоке, основанной не на уничтожении, но на запрещении жизни, на поощрении бесплодия. Я воздерживаюсь от вопросов на эту тему.

— Как все это создавалось? — начинает рассказывать Мейер о своем Генеральном плане «Ост».— Гиммлер считал, что колонизацию Востока можно осуществить за несколько месяцев. Я сказал ему, что необходимо составить сводку: насыщенность дорогами, железнодорожными путями, какие села и города необходимо возвести, сколько материалов потребуется для этого, каковы будут расходы. Да, я включил в этот проект и расходы с тем, чтобы предостеречь от таких утопистов, как Ветцель, которые проявляли спешку. План, разработанный под моим руководством, предусматривал перестройку Востока только через 25 лет после окончания войны.

Тут генерал принимается излагать тот же текст, что я уже слышал из уст Фиркса и Долезалека, только в более конспективной, более конденсированной, а потому и более агрессивной форме. Фигурирует и другое количество мнимых немецких жертв в Быдгощи: 6 тысяч человек. Я отвечаю, что шесть миллионов поляков в качестве компенсации — это гораздо более эффектный множитель, чем употребляют на афишах: тысяча за одного.

— Оставим эту тему,— обрывает меня Мейер.

— Это ваш метод,— отвечаю я.

— Каждый защищает свой народ.

— В вашей трактовке я не принадлежал к определенному народу, а всего лишь к массе — объекту планирования.

— Во время войны — объект тот, кто проигрывает. История — это победители и проигравшие.

— Планирование неотделимо от террора и уничтожения, оно указывало им цель.

— Так утверждал и американский прокурор, этим долго занимались, но суд не смог подтвердить подобных обвинений.

— Юридическая ответственность для человека — только часть ответственности, которую он несет.

— Я, к сожалению, не знал обстановки в Генерал-губернаторстве. Низшие ступени плохо контролировались.

— Вы в качестве эксперта оценивали первый Генеральный план «Ост». При каких обстоятельствах это произошло?

— Он случайно попал мне на глаза. Если я не ошибаюсь, то, проглядев его,

я на полях написал: «Глупо!» Не ручаюсь за точность этого сообщения, ведь прошло столько времени! Стопроцентный нацизм Ветцеля — причина многих бед.

— Вы были критиком третьего варианта Генерального плана «Ост», разработанного Долезалеком. Каково ваше мнение о Долезалеке? Вы ведь стояли в СС выше его по служебной лестнице?

— Он действовал очень активно. Но у меня основной упор сделан не на демографические проблемы, а на перспективное планирование. Я не был непосредственным начальником Долезалека, а лишь его университетским преподавателем. Он зарекомендовал себя старательным этнографом. Я высоко ставлю его как человека, ценю результаты его работ, его мысли, идеи.

— Благодарю вас за отзыв о Долезалеке.

— Он написал мне о вас. Ваша книга могла бы содействовать политике наведения мостов, но вы видите в нас преступников, мы же были просто хорошими немцами. Существовала довольно многочисленная группа молодых людей, которые вначале разделяли нацистские взгляды, но по окончании войны они несомненно потребовали бы реформ. Однако все жаждали скорейшего завершения военных действий. Было несколько группировок, но ни одна из них не хотела нанести урон военному потенциалу Германии. В такой группе, вместе с Долезалеком, Гильдебрандтом, был и я. Попиц осуществлял связь с оппозиционной организацией 20 июля. Но между нами имелась разница: мы противились покушению и хотели завершить войну, руководствуясь принципом: «При переправе лошадей не меняют».

Неожиданно изменив тон, генерал говорит:

— Нельзя жить с постоянным ощущением, что тебя подвергают денацификации.

— Нельзя перестать быть личностью, вошедшей в историю.

— Есть люди, которые думают, что война продолжается. Вы принадлежите именно к ним, а я не из тех, кто сжигает все, что было... — Минуту спустя: — Я понимаю вас. Будь я поляком, я размышлял бы точно так же. Не знаю, стремится ли мой народ сегодня так интенсивно к единству страны, как поляки в течение ста лет к своей независимости? Настало время прекратить мелкие ссоры, обращаясь к прошлому. Какую цель преследует ваша книга и телепередача? Враги нацистов воскликнут: «Фашистам снова предоставляют трибуну, они опять рвутся к власти!» Другие, поверьте, найдутся и такие, порадуются: «Наконец-то кто-то сказал правду!» А еще кто-нибудь выразит опасение: «Не повредит ли это разрядке отношений между ФРГ и Польшей?»

— Господин генерал, не следовало ли думать о добрых отношениях с Польшей в ту пору, когда вы способны были на это повлиять?

— Прежде чем принять решение о фильме, мне надо согласовать вопрос с Министерством иностранных дел, чтобы подобное выступление не нанесло ущерб интересам ФРГ.

В разговор вступает сын генерала, вероятно его юридический советник.

— Мне не совсем ясны намерения, ради которых вы настаиваете на участии отца в задуманном фильме. Нет ли за этим каких-то политических соображений?

— Поверьте, абсолютно никому не хочется возвращаться к прошлому,— настаивает генерал.

Я догадываюсь уже, что через несколько дней получу от него и от Долезалека письма с отказом, догадываюсь, что отрицательно отнесутся к подобной идее и другие бывшие эсэсовцы. Я понимаю также, почему Долезалек дал мне именно этот адрес: он представил меня тому, кто в годы войны не был его непосредственным начальником, но теперь занимает самое высокое положение среди оставшихся в живых членов группы. Служебным порядком меня направили к генералу Мейеру, и тот, изучив вопрос, принял соответствующее решение.

Я подошел к стеклянной стене. Взял в руки бинокль, это была цейссовская модель с восьмикратным увеличением, которой пользовались в вермахте, и приложил его к глазам.

Голос за моей спиной пояснил:

— Эту гору отец приобрел, чтобы иметь возможность обозревать принадлежащие ему владения.

Вначале я увидел участок светлого газона, сбегающего вниз, в долину, где струился ручей. Пространство замыкала гора, поросшая дубовым лесом.

Восемь человек из тех, кому народная Польша вынесла смертный приговор за злодеяния, совершенные на польской земле в годы оккупации, живут в ФРГ, оправданные западногерманскими судами, и автор репортажа испытывает естественное желание узнать, понять и рассказать, как живут, что делают, как воспринимают содеянное те, кому, согласно смертному приговору, вообще отказано в праве на жизнь...

Вместе с Кшиштофом Конколевским читатель оказывается как бы «по ту сторону смертного приговора» и лицом к лицу сталкивается с теми, кто «видел Освенцим с той стороны».

Подобные встречи, особенно если они происходят впервые, к тому же после тщательного изучения обвинительных материалов, потрясают. Я испытал это потрясе-

ние, когда в кабинете следователя в первый раз увидел персонажей моей будущей книги «Бездна»...

Кшиштоф Конколевский старается не перегружать рассказ описанием собственного психологического состояния, однако напряжение, испытанное им во время этих встреч, не может не передаться читателю.

Помню, как, приступая к очеркам «Потусторонние встречи», я долго донимал советских обвинителей на Нюрнбергском процессе вопросом, что они испытали, когда впервые столкнулись с Герингом, Кальтенбруннером, Риббентропом...

Судебный процесс требовал корректности, умения владеть собой. Однако тех, кому доводилось допрашивать этих (они с трудом употребляли это слово) людей, поражало, прежде всего, их человеческое ничтожество, полнейшая моральная опустошенность, низость их лжи и шаблонность «оправдательных» доводов. Фашизм вытравил из них все человеческое, превратив в некие совершенно отличные от других социальные особи.

В фашистах сосредоточено самое страшное зло мира: они не могут существовать вне зла, во всяком случае чувствуют себя вне зла, вне возможности совершать активное зло неуютно.

Персонажи, с которыми встретился Конколевский,— теперь люди «мирных профессий». Для них это состояние вынужденное, противоестественное, они выглядят людьми глубоко ущербными. Обстоятельства мирного времени отняли у них право и возможность убивать, удовлетворять похоть разнузданного властолюбия, страсть к уничтожению.

Приговоренные к смерти, один за то, что «теоретически» скрупулезно разработал расовые убийства, другой — за кровавое проведение расовой теории в жизнь, третий за участие в уничтожении Варшавы, четвертый за разработку смертоносного бактериологического оружия, пятый — за то, что «в буквальном смысле вымарывал Польшу с карты мира», шестой — за то, что занимался массовой стерилизацией и т. д.,— кем были бы они в случае победы гитлеровской Германии? Нетрудно представить их на вершине власти, охваченных кровавым азартом... Западногерманский суд, как уже сказано, спас их от всякой ответственности, но даже в своих виллах, в особняках, в адвокатских конторах, в лабораториях и в «академиях менеджеров» они чувствуют себя скверно в ситуации, сугубо чуждой их природе,— вне палаческой деятельности.

Известно, что вынужденные рассказывать о своих злодеяниях или отвечать за них фашисты ведут себя по-разному. Одни сохраняют «твердокаменность», другие юлят, третьи заискивают, четвертые изображают раскаяние, сожаление.

Только что в ФРГ появился новый бестселлер — книга Альберта Шпеера, дневники, которые он будто бы вел в тюрьме Шпандау, приговоренный Нюрнбергским трибуналом к двадцати годам заключения.

Ближайший друг Гитлера, бывший министр вооружения нацистской Германии стремится доказать, что за двадцать лет морально разоружился, стал другим человеком, раскаялся. Но сожаления и покаяния выглядят легковесными, книга читается с недоверием, кажется, что соучастник убийства миллионов притворно хочет предстать на старости лет в наиболее выгодном свете. Может быть, Шпееру не стоило браться за перо? Дело не в том, что вольно или невольно эти дневники трудно читать без недоверия, настороженности. При всем старании Шпеера, в книге, написанной о покаянии, отсутствует подлинно нравственное начало, оно проваливается куда-то с первых же строк, улетучивается даже в самых «покаянных» местах...

Персонажи Конколевского не столько оправдываются (хотя и они упорно бубнят, что «всего лишь исполняли свой долг», что «приказ есть приказ»), сколько нагло и цинично «отводят» вопросы и обвинения своего польского собеседника. Поразительным образом они повторяют расхожие лозунги реваншистской пропаганды, в том числе подлую версию о так называемых «зверствах» по отношению к немцам, совершенных якобы поляками, русскими и другими народами, поднявшимися на борьбу против гитлеризма.

Некоторые персонажи специализируются на «советологии», пытаются совместить старые гитлеровские взгляды с современной демагогией. Конечно, мимикрия при этом требуется более утонченная, а явная неправда подчас стремится принять благородный и даже наукообразный вид. И это хорошо разглядел автор.

Встречи Кшиштофа Конколевского с персонажами, которых не должно быть, заставляют о многом задуматься. О живучести фашизма. О его ледяном бездушии и бесстыдстве. Об его опасности. О его обреченности.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ХОРХЕ ИКАСА: «УАСИПУНГО» СОРОК ДВА ГОДА НАЗАД И ТЕПЕРЬ...»

Хорхе Икаса. Уасипунго. Перевод с испанского В. Виноградова. Предисловие В. Земского. Москва, «Художественная литература», 1976.

В связи с выходом на русском языке романа «Уасипунго» крупнейшего эквадорского писателя Хорхе Икасы, который одним из первых рассказал в своих произведениях правду о трагической судьбе индейцев Латинской Америки, редакция журнала попросила автора, ныне посла Эквадора в СССР, ответить на несколько вопросов.

— Что побудило вас написать роман «Уасипунго», который впервые был опубликован сорок два года назад?

— Роман «Уасипунго» и вышедший годом раньше сборник рассказов «Глина гор», схожие по тематике и стилю, были вызваны к жизни чувством глубокого протеста и возмущением, порожденными самой действительностью моей страны. Я не мог оставаться простым созерцателем трагедии рабства — варварской эксплуатации, которой помещики-латифундисты подвергали огромные массы крестьян Эквадора. Социально-экономическая реальность маленького мирка, наблюдаемого мною изо дня в день, а также историческая обстановка того времени заставили меня взяться за перо.

Мой путь в литературе начался с появления в 1929 году нескольких театральных пьес: «Проныра», «Безымянная комедия», «За старика», «Без смысла», «Как им угодно», «Который же?». Все они по своему содержанию, выразительным средствам и техническим приемам слишком напоминали европейские, главным образом французские, образцы. В последнюю из перечисленных пьес «Который же?» я вложил мысль о разрушении устаревших эстетических канонов (в пьесе их как бы символизирует отцовская власть). Младший сын (его роль на сцене исполнял я) в своих снах умерщвляет отца, которого позже — уже на самом деле — убивают два других сына. Признаюсь, что, убивая — как автор и как актер — символического, так сказать, отца-деспота, я ощущал радость освобождения и вместе с тем испытывал чувство глубокой близости к моему народу, столько раз на протяжении своей истории поруганному и преданному,— народу, с его социальной трагедией, с его радостями и болью, со всей его вулканической жаждой революции, разбивавшейся о военные мятежи или государственные перевороты, с его умением молча выносить тяжкое бремя помещичьего гнета, с его музыкальной речью, своеобразными обычаями, порожденными смешением рас. Воспоминания о жизни бок о бок с крестьянами-индейцами и желание как можно скорее рассказать обо всем этом неотступно преследовали меня. В моем распоряжении было одно-единственное средство — литература. Так появились сборник рассказов «Глина гор» (1933) и роман «Уасипунго» (1934).

— Как были приняты ваши первые рассказы и роман в то время в Эквадоре и как их встречают теперь?

— Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы рассказать всю историю травли, сведения счетов, пренебрежения, равнодушия, лицемерных нападок, которые мне пришлось вынести после публикации этих книг. Была пущена в ход и старая тактика — замалчивание. Этот прием особенно усердно применяли по отношению к «Уасипунго». Однако тактика эта провалилась: за границей книги мои издавались и вызывали благоприятные отклики. Тогда нападки ожесточились. Они продолжаются и поныне, хотя и стали сдержаннее по тону. Иногда под их влияние попадают плохо осведомленные критики из разных стран — сторонники искусства для искусства, литературы для литературы и... порнографии для порнографии...

Один католический архиепископ некогда запретил своей пастве читать мои романы и рассказы, объявив их «порождением дьявола». А эквадорские благочестивые святоши (и откровенные реакционеры, и прикидывавшиеся либералами) крестились, проходя мимо меня. Теперь же представители так называемой «новой волны» в церкви (поворот в папской политике) печатают исследования положительного характера, посвященные и «Уасипунго», и другим моим книгам. Правда, клерикально-латифундистские круги попрежнему занимают непримиримую позицию по отношению к моим произведениям.

Однако в те далекие времена изоляция была полной — трагическое обстоятельство для юноши, который вынужден был зарабатывать себе на жизнь в обществе, где все подчинено воле и прихотям латифундистской олигархии и ее пособников — правительства страны, церковников и военных. Доходившие из-за границы положительные отклики на мои книги вызывали яростную реакцию эквадорских журналов и газет. Испанский писатель Франсиско Феррандис Альборс, публично выступивший в защиту моих сочинений, их политической и социально-этической значимости, был объявлен «злонамеренным иностранцем» и выдворен из страны по приказу одного из тех типичных для Латинской Америки диктаторов, которые именовали себя «спасителями отечества». Тогда я убедился, что диалог на страницах нашей прессы вести невозможно. В странах, похваляющихся свободой мысли, все средства массовой информации находятся в руках людей, ревностно отстаивающих интересы господствующего класса.

Роман «Уасипунго», более чем какая-либо другая моя книга, направленный именно против этого класса, не мог рассчитывать на благожелательное отношение с его стороны. И я решил: пусть книга говорит сама за себя, пусть защитит себя сама в глазах простых людей мира, что бы там ни твердили представители «высокой» критики, которыми в действительности движут групповые и националистические интересы, честолюбивые соображения и личные эстетические вкусы. Не заботили меня и почетные премии — национальные и международные, ибо вокруг них зачастую ведут отчаянную, порой даже недостойную игру те, кто жаждет прославиться или добиться — помимо читательского признания — еще и материальных выгод.

Борьба, которую «Уасипунго» начал в 1934 году, в одиночку противостоя всеобщим нападкам (автор хранил полное молчание), не прекратилась и поныне. Правда, нужно отметить, что произошли определенные перемены и ярость нападок поутихла. Я уже сказал о новом отношении ко мне со стороны определенных кругов католической церкви, изменилась позиция и некоторых эквадорских критиков различных литературных школ и политических направлений.

Неизменным осталось лишь упорно враждебное отношение тех, кто облечен политической властью — налагать запрет, преследовать, исключать, чинить препятствия. Один из таких господ, лживо именуемых «великими демократами», в течение сорока лет — пять президентских сроков подряд — правил, а вернее, самоуправствовал в моей стране. В 1934 году он запретил типографии, где печатался «Уасипунго», передать мне крохотный — всего в 1000 экземпляров — тираж романа, а став президентом в пятый раз, в 1969-м, сместил меня со скромного поста в Доме эквадорской культуры, хотя это учреждение и пользуется автономией. Вслед за тем он наложил запрет на постановку театрального варианта «Уасипунго», подготовленного для показа в небольших городках и деревнях Эквадора. Но несмотря на это книга доходила и доходит до своих читателей — простых людей всего мира, неся им горькую правду о моей стране, правду, рождающую в сердцах протест.

— Изменилась ли за эти годы жизнь индейцев у вас на родине?

— Значительно меньше, чем изменилась за эти сорок лет — да и то под воздействием перемен во всем мире — экономика страны. Ныне политики всех мастей разглагольствуют и об освобождении индейцев, и об аграрной реформе — но только пока идет предвыборная кампания. Дорвавшись до власти, они забывают обо всем, что наобещали. Лет десять назад одна военная хунта, захватившая власть в результате переворота, провозгласила закон об аграрной реформе, по которому «уасипунгеро» становились собственниками... но собственниками своей нищенской доли — убогой хижины и того клочка земли («уасипунго»), на котором им позволял ютиться хозяин-латифундист. При этом они по-прежнему оставались под властью латифундий. Представители администрации и судебных властей, поверившие в то, что этот закон сможет разрешить проблему, приступили к передаче «уасипунго» индейцам. Может быть, и моя книга, где я рассказал о тяжелой участи индейцев, повлияла на этот процесс.

С самого начала я высказался против нового закона, заявив, что роман «Уасипунго» был написан во имя того, чтобы навсегда покончить с латифундизмом и помещичьей собственностью на землю, а не ради сохранения с помощью робких полумер самой основы трагедии. Как и следовало ожидать, многие

безземельные крестьяне так и остались по сути на положении крепостных: они попрежнему поголовно неграмотны, хозяйство ведут самым примитивным способом — упряжка быков, соха, мотыга, кирка; погоду угадывают по солнцу и расположению облаков, жилища их грязны и убоги, медицинская и санитарная помощь отсутствует. А на праздниках они напиваются, чтобы залить горе местной водкой и «гуарапо» — вином из сахарного тростника. Они не имеют даже представления, в какой стране живут. Встречая индейцев-уасипунгеро на пустынных плато или среди скал и пропастей, я не раз спрашивал у них, кто они и откуда, гражданами какой страны являются. Ответ всегда был один и тот же: «Мы из асьенды хозяина...» Менялись лишь имена хозяев: дон Габриэль, Ригоберто, Луис, Диего... Жизнь в полной, почти рабской зависимости от своего хозяина — такой была и такой поныне остается участь крестьянина в Эквадоре и в некоторых других странах Латинской Америки.

Однако нельзя не признать, что принятие закона, о котором я только что рассказал, все-таки означает, что положение уасипунгеро начинает беспокоить власти. Вместе с тем событие это пробудило сознание у части крестьянства, придало ему сил и смелости в борьбе за свои права. В результате этой борьбы два или три года назад закон был изменен: разделу теперь должны были подлежать необрабатываемые земли в крупных сельскохозяйственных имениях. Но провести в жизнь закон оказалось невозможным. Против него ополчились банковские воротилы, торгово-промышленная олигархия, лидеры политических партий (правых и центра), владельцы латифундий, прелаты церкви — все те, кто, прикрываясь маской конституционалистов, стремятся прибрать к рукам национальное достояние. К ним подключились и так называемые защитники демократии, изображающие себя единственной силой, способной управлять страной; используя средства массовой информации, они — всеми правдами и неправдами — вынудили власти отказаться от проведения закона в жизнь.

Так что перемены в социально-экономическом и культурном положении эквадорского крестьянина можно назвать минимальными, а изжившая себя латифундистская система по-прежнему остается неприкосновенной.

— Как встретили вы известие об опубликовании отдельных глав романа «Уасипунго» на русском языке в журнале «Интернациональная литература» в 1935 году и какие чувства испытали теперь, узнав о новом издании книги?

— В 1935 году я испытал чувство глубокого восхищения и благодарности к Советскому Союзу — родине победоносной Октябрьской революции. Проблемы вашей страны волновали меня, как проблемы моей родины: ведь речь шла о становлении новой мировой культуры. Получив свой роман, опубликованный на пяти языках (именно так выходила в ту пору «Интернациональная литература»), я пережил огромный душевный подъем. Но мое чувство благодарности возросло еще больше, когда книга разошлась по всему необъятному миру социализма в переводах на чешский, польский, румынский, немецкий, сербско-хорватский языки; критика благожелательно встретила роман и очень верно поняла его подлинный смысл.

И вот теперь моя книга, обойдя весь мир, вновь издана в вашей великой стране.

Надеюсь, что борьба, которую вот уже сорок три года активно ведет роман «Уасипунго», рассказавший о социальных проблемах, трагических для моей страны и Латинской Америки, выиграет от того, что о ней узнает советский читатель, молодежь, создающая новую культуру.

ГЛАЗАМИ ДУШИ

Молнии и лотосы. Индийская лирика XX века в переводах С. Северцева. Москва, «Наука», 1975.

Тот, кто откроет эту книгу, окажется в мире, полном мыслей живых, чувств глубоких, образов смелых и ярких,— в мире современной индийской поэзии. Пятьдесят поэтов встретят его там, многие из которых — гордость Индии. Они принадлежат к различным поэтическим школам, отличаются друг от друга тематикой и манерой письма. Но обилие индивидуальностей не мешает воспринимать эту антологию как нечто целостное и гармоничное, ибо язык всех ее стихотворений един — язык подлинной поэзии, мудрой и человечной, остро откликающейся на страдания, гневно клеймящей зло, горячо верящей в благородные силы добра, в силы человеческого труда и разума. Это сочетание творческого разнообразия и внутреннего единства объясняется еще и тем, что вся антология переведена одним поэтом — Сергеем Северцевым.

Открывается книга стихами признанных корифеев, основоположников прогрессивной индийской литературы. И первое слово дается великому бенгальцу — Рабиндранату Тагору. Начало его долгой творческой жизни приходится на конец XIX века, когда в стране, пребывавшей в унизительном подчинении у английских завоевателей, начинают крепнуть патриотические чувства и воля к освободительной борьбе. Гул истории врывается и в поэзию, которая постепенно отказывается от изоляции в мире религиозных мифов, идеальной красоты и сладостных фантазий. В стихах зазвучали мотивы, рожденные реальной жизнью, полные живой боли, гнева, надежды.

Поэт-философ Тагор решительно присоединился к тем, кто боролся с невежеством и нищетой. Через всю жизнь пронесет он веру в силу разума и в то, что

«рухнет престол горделивый, воспрянет измученный люд, новые гнезда себе на руинах народы совьют» («Новые гнезда»). Высоким душевным благородством, романтической взволнованностью проникнуты гражданские стихи Тагора. Но поэту было дано ощущать различные проявления жизни, и в сборнике мы встречаем его тонкие и мудрые стихи о любви и природе, красоте и счастье.

Гуманистическая поэзия Тагора, отвергшая болезненный пессимизм и нашедшая новые формы для выражения духовного мира человека в эпоху роста национального самосознания, оказала благотворное влияние не только на бенгальскую литературу, но и на творчество индийских поэтов, пишущих на других языках, в частности на хинди.

В 20-е годы в поэзии хинди в процессе поисков новых идеалов возникает лирико-романтическое направление. Выдающиеся поэты-романтики — Джайшанкар Прасад, Сурьякант Трипатхи Нирала, Сумитранандан Пант и Махаведи Варма — стремятся проникнуть во внутренний мир человека, передать тончайшие оттенки его ощущений. И в то же время они обожествляют природу, видя в ней мудрую Мать, друга и советчика. Пейзаж и человек в их творчестве — два равноценных действующих лица, взаимосвязанных друг с другом. Но прекрасное, которое они так восторженно созерцали, не заслоняло от их взоров и суровой реальности. Отсюда мотивы сочувствия к униженным в стихах этих поэтов и предчувствие близящихся перемен. Так, Нирала с пророческой силой восклицает: «О революция! С каждой минутой ближе твой грохот, страшнее гроза» («Песня облака»).

В тот же период, что и поэты-романтики, творил Мухаммад Икбал, писавший на языках урду и фарси, выдающийся поэт Востока, чье творчество пользуется огромной популярностью не только в Индии, но и в Пакистане и Иране. Для философской лирики Икбала характерен поиск ответов на такие вопросы, как место личности в окружающем мире, ответственность человека перед самим собой, перед всеми людьми, перед будущими поколениями. Поэта волнует извечная борьба между разумом и сердцем. И отдавая должное разуму, он все же на стороне вечно мятущейся души. Икбал, воспитанный в фанатичной мусульманской среде, отрицает популярную в исламе мысль о величии мотылька, сгорающего в пламени свечи ради единения с ней. Он считает, что личность лишь тогда достигает цели, когда она становится источником света, а не пищей огня. Поэт ставит человеческое «я» выше божественных сил:

Ты создал мрак ночной,
а я зажег очаг,
Ты глыбы взгромоздил —
я изобрел рычаг,
Ты ветви распростер —
я сделал гибкий лук,
Ты глину сотворил,
а я — гончарный круг...
Пустыни создал ты —
я насадил сады,
Да, без моих трудов
мертвы твои труды!

Наряду с основоположниками современной индийской поэзии — Тагором, Икбалом, Аппарао, Чатриком, Валлатхолом, Баради — в антологии широко представлено творчество лучших поэтов послевоенного поколения. Хочется коротко сказать хотя бы о трех из них: о пламенном революционере Махдуме Махиуддине, замечательной пенджабской поэтессе Амрите Притам и видном бенгальском поэте Ш. Муккопадхае. Все трое не только являются крупнейшими прогрессивными поэтами современной Индии, но и относятся к числу искренних друзей нашей страны.

Махдум Махиуддин сравнивал себя с огнем, пришедшим в мир, чтобы сжечь все гнилое. И всю свою сознательную жизнь (поэт умер в 1969 году) он был в первых рядах бойцов, штурмующих «твердыню зла», за стенами которой притаились те, кто «рубит головы мечтам», кто «смерти обучает жизнь» и «в правду подливает ложь».

Живое сердце Махиуддина билось и в каждой строчке его лирических стихотворений. Он мог восхищаться рассветом, пением птиц, девушками, грациозно входящими в морской прибой («На берегу моря»), грустить о недолговечности красоты («Она»), находить слова утешения матери, потерявшей ребенка («Соболезнование»).

Глубоким лириком является и Амрита Притам, чей искренний, проникновенный голос звучит в индийской поэзии вот уже более тридцати лет. Судьба индийской женщины, мир ее забот и трудов, радостей и горестей — такова ведущая тема в творчестве поэтессы. С болью и сочувствием пишет Амрита Притам о нелегкой, зачастую страдальческой женской доле, о жертвенной любви, о страсти, испепеляющей сердце, о неодолимой жажде вкусить «всего лишь кусочек от хлеба мечты». За последние годы горизонт поэзии Амриты Притам заметно расширился, в ее новых сборниках все отчетливей звучат социальные и политические темы. Изменились и интонации ее стихов: в творчество поэтессы все чаще врываются острые, напряженные ритмы и образы современности. Один из ярких примеров — лаконичное и выразительное стихотворение «Власть», изображающее зловещую «фабрику войн», где «люди — всего лишь вязанки сырья», служащие топливом для адских печей...

Книга завершается стихами Шубхаша Муккопадхая — одного из лучших современных поэтов Бенгалии, тонкого лирика и бесстрашного борца, видного деятеля афро-азиатского писательского движения. В разные годы написаны эти стихи, но все они согреты любовью к человеку, к его труду, к справедливости. Эта любовь присутствует и в мужественном стихотворении «Сталинград», где строчки вздыблены, как земля сражающегося города-героя, и в напряженном «Надвинулась буря», в котором сам воздух словно «начинен динамитом»,

и в трогательном «Я вернулся», чьи лирические строки звучат светлым заключительным аккордом всей антологии:

Старый замок отопри,
в глаза мои посмотри,
дверь широко отвори
навстречу лучам зари.
Голосом прежней нашей любви
меня позови.

Антология «Молнии и лотосы» — серьезный творческий отчет С. Северцева за двадцать лет его плодотворной работы над переводами поэзии современной Индии. Переводы Северцева, не раз получавшие высокую оценку как в нашей, так и в индийской прессе, занимают заметное место в книгах современной и классической поэзии Индии, изданных у нас в последние годы («Огненные стрелы», «Расплавленный сапфир», «Черная роза», «Поток», «Колесница солнца», «Ветер надежды», «Непокорные корни», «Поступь времени», «Праздник огней»). Лучшие стихи из этих сборников, наряду с новыми переводами, и составили однотомник «Молнии и лотосы».

ГЕОРГИЙ АШКИНАДЗЕ

ЕЩЕ ОДИН ОБЛИК АМЕРИКАНСКОГО ЮГА

Юдора Уэлти. Дочь оптимиста. Перевод с английского. Предисловие Н. Анастасьева. Редактор И. Архангельская. Москва, «Прогресс», 1975.

«Место остается все тем же. Новым может быть только представление о нем — но этого достаточно». Читая курс литературных лекций в Англии лет двадцать тому назад, Юдора Уэлти, в то время уже известная американская писательница, высказала эту мысль; позже лекции ее были изданы под сугубо академичным заглавием «Место действия в художественном произведении». Впрочем, ничего академичного нет в этих живых и очень личных профессиональных размышлениях и наблюдениях. И хотя творческий опыт писательницы богаче и «своевольней» ее теоретических предпосылок, можно понять ее особый интерес именно к этой проблеме. Не время, а место — основное начало в художественной системе Уэлти — четко ограниченное пространство, своя обжитая территория, «перекресток всего, что происходит в романе». Временные грани чаще всего предстают в ее произведениях как бы затушеванными, чуть размытыми лирической стихией повествования. Но именно эта лиричность дарования Ю. Уэлти, своеобразно сочетающаяся с сильной комической жилкой и пристальным вниманием к реальным подробностям бытия, создает особый колорит ее книг.

«Территория» Юдоры Уэлти — с ней связана фактически вся жизнь 67-летней уроженки города Джексона, административного центра штата Миссисипи,— полусельский, фермерский район в дельте великой реки, которая дала название штату. Как известно, примерно эти же места запечатлены на карте знаменитой фолкнеровской Йокнапатофы. А если говорить о Юге вообще, то «территория» Уэлти окажется в тесном кольце других литературных «владений». Среди них — Северная Каролина Томаса Вулфа, Алабама и Джорджия Эрскина Колдуэлла, Джорджия Флэннери О'Коннор и Карсон Маккаллерс, легко угадываемая во «Всей королевской рати» Луизиана Р. П. Уоррена... Сколько имен — столько и обликов американского Юга, а названы сейчас только имена, уже знакомые русскому читателю, авторы книг, появившихся у нас в переводе. И все же во всей этой разноголосице — ведь перед нами художники самых контрастных индивидуальностей и мироощущений — неумолчно звучит «главная тема симфонии»: тема глубокого, резкого своеобразия американского Юга, особости его исторических судеб, социального и бытового уклада, идейных поисков, психологических конфликтов.

Голос Юдоры Уэлти негромок, замыслы ее не отмечены исторической масштабностью, и движется она к поставленной цели обдуманно, осторожно, мелкими шажками. Но можно ли назвать ее «камерной» писательницей? Вряд ли, ведь рубежи «территории» Уэлти проходят по земле Миссисипи — земле, на которой существуют и работают люди, которую она знает наизусть в тысячах живых и зримых примет, доступных лишь цепкому и любящему взгляду истинного художника.

Юдора Уэлти бесконечно любит свой Юг, ощущает свою кровную связь с ним — как и все писатели-южане, даже те, что одновременно и ненавидят его. Этой вот характерной для так называемого «Южного Ренессанса» то подспудной, то яростно декларативной ненависти, сарказма, изломанности совсем нет у Уэлти. Она стремится к пониманию и гармонии — такова ее художественная природа. Однако это вовсе не значит, что гармонична жизнь, увиденная ее глазами. Как раз наоборот: признаки разлада, социального и душевного, несовместимость этических норм, человеческую глухоту и враждебность, пошлость и вульгарность — все это она передает тонко, точно, подчас с удивляющей читателя насмешливой, безжалостной трезвостью. Вот почему мне хочется оспорить некоторые положения интересной вступительной статьи Н. Анастасьева к этому однотомнику. Творчество писательницы в большой мере воспринимается критиком как некий анахронизм, восходящий еще к «плантаторской традиции» с ее романтическими мифами, «кодексом чести южной аристократии», поэзией старинных усадеб... «Линию разрыва с традицией» Н. Анастасьев датирует совсем недавним — 1972 годом, когда появился роман «Дочь оптимиста» и в «замкнутую сферу высоких чувств, благородных побуждений, добрых деяний» проник-

ла наконец-то осознанная писательницей «жестокая реальность».

Стройное, но, мне кажется, не очень обоснованное рассуждение. Конечно, за три с лишним десятилетия литературной работы, итогом которой явились шесть сборников рассказов и четыре романа, Уэлти и набиралась жизненного опыта, и углубляла свой взгляд на окружающее. Но резкая конфликтность ситуации «Дочери оптимиста» сама по себе не является для нее чем-то принципиально новым — просто в прежних ее книгах конфликты эти возникали в иных художественных контекстах. Любопытно в этом смысле обширное повествование «Проигранные сражения» (1970) — очень эмоциональная, «героико-комическая» по стилю сага об огромном фермерском клане Бичемов-Рэнтро. Действие отнесено к кризисным 30-м годам, быт людей скуден и суров, труд тяжел и непрерывен. Но совершенно несокрушима жизнестойкость этого широко разветвленного семейства, которое собралось вместе, чтобы отпраздновать 90-летие Бабушки, воспитавшей в свое время полдюжины рано осиротевших внуков...

Ничто не сближает два последних романа Уэлти, кроме одного факта: и здесь и там в центре повествования — семья, дела фамильные, сконцентрированные вокруг медлительного, торжественного фамильного ритуала. В «Дочери оптимиста» это ритуал похорон, в «Проигранных сражениях» — празднества. Центральное событие образует как бы ствол сюжета, от него расходятся в стороны ветви — эпизоды сегодняшнего дня (в «Проигранных сражениях» почти все они связаны с перипетиями возвращения домой младшего правнука Бабушки, который попал в тюрьму за стычку с богатым лавочником) и уходят вглубь корни — воспоминания. Такая структура вообще характерна для романов Уэлти, но нигде еще «корни» — то есть наплывы прошлого в их живом взаимодействии с настоящим — не занимали так настойчиво ее воображения, как в «Дочери оптимиста».

В этом коротком романе, скорее даже повести, рассказывается о болезни, смерти и похоронах уважаемого старого судьи Клинтона Мак-Келвы из Маунт-Салюса, городка в штате Миссисипи, где прошла вся его жизнь. Дочь судьи от первого брака (овдовев, он за полтора года до смерти женился на сорокалетней машинистке Фэй Чизом), художница Лоурел приехала из Чикаго в Новый Орлеан, где отец лег в клинику, а потом вместе с Фэй отвезла его тело в Маунт-Салюс. Накануне отъезда из родительского дома, который достался ее ровеснице — мачехе, Лоурел перебирает бумаги отца и матери, полузабытые семейные реликвии и вспоминает детство, юность, прошедшие под этой крышей, маленькую и дружную семью, несхожие, необычные характеры родителей, сложность их отношений. Эта память — реальная, живая — душевный оплот и защита от одиночества. Но память и опасна, взрывчата. В ней — горькая осознанность собственных «проигранных битв», понимание беспомощности отцовского мягкого благородства, его малодушного «оптимизма», который по сути был проявлением страха перед жизнью. Мне кажется, именно этот мотив тонкого и хрупкого равновесия между прошлым и настоящим, своего рода переоценки ценностей наиболее важен здесь для Юдоры Уэлти. Тем более, что многое в атмосфере семейной усадьбы Мак-Келвы и, вероятно, в образе матери Лоурел связано с личными воспоминаниями писательницы. Иной, более внешний характер носит другая линия повествования — все, что относится к Фэй и ее семейству, столь чужеродному среди исконной «элиты» Маунт-Салюса.

Вызванные из своего Мадрида (в Техасе) донельзя вульгарные Чизомы, с детьми и старым дедом, бодро нагрянули на похороны никогда их не видавшего судьи. Контраст получается вопиющий, кричащий — с оттенком комического гротеска. Суть конфликта здесь все же не в социальной розни. Чизомы — такие же малоимущие фермеры, как столь любезные Уэлти Бичэмы и Рэнтро из «Проигранных сражений», и пока нет оснований считать их «своего рода нуворишами», как сказано в предисловии. Суть, скорее,— как отмечено там же — в «различных способах бытия». Чизомы — воплощение воинствующей бездуховности; нет в них ни чувства своего достоинства (хотя самодовольства — в избытке), ни уважения к достоинству другого. Вот почему драмы их оборачиваются фарсом, а напористость внушает серьезные опасения. И сама Фэй — почти неправдоподобно пошлая, злобная мещаночка, как будто бы остающаяся хозяйкой положения (во всяком случае, хозяйкой усадьбы), не только противна, но и жалка своей внутренней ущербностью.

По желанию Фэй, судью похоронили не на фамильном участке, а на новом кладбище, которое тянется вдоль оживленной автострады — на голом кладбище с нейлоновым газоном и пластмассовыми цветами. В этом прозрачном символе предстает в «Дочери оптимиста» все, чего не может принять Лоурел — и Юдора Уэлти — в «новом времени». Ностальгия, которой пронизана эта повесть, относится не к «добрым старым временам» гармонии и безмятежности — таких времен не было,— а к утрачиваемой человечности и духовности, которая не может быть утрачена безнадежно.

Повесть написана приглушенно, скромно, но совсем не просто, контрастные речевые краски и стили могут соседствовать на одной странице: размышляющая, сдержанно эмоциональная интонация Лоурел и автора, истерическая речь Фэй, уснащенная перлами расхожей «житейской мудрости»; на разный манер характерные реплики разных персонажей. Переводчики Р. Я. Райт-Ковалева и М. Ковалева чутко услышали и выразительно донесли эту продуманную разноголосицу.

Надо сказать, что вообще этому компактному, но представительному однотомнику повезло: большая группа, работавшая над

созданием русского текста повести и девяти рассказов, стала творческим ансамблем; в книге чувствуются индивидуальности переводчиков, но прежде всего — индивидуальные особенности писателя и отдельных рассказов. А рассказы эти, написанные на протяжении многих лет, очень разнообразные по темам, разнообразны и по стилевой окраске, настроенности, атмосфере.

Пожалуй, характернее всего, то есть ближе к «истинной» Уэлти, такие рассказы, как «По весне», «Широкая сеть» и юморeска «Почему я живу на почте». В первых двух тоже много юмора, но очень светлого, поэтического; их объединяет присущий им красочный, чуть эксцентричный «местный колорит», который никогда не выглядит искусственным или этнографичным, потому что написаны они на широком дыхании, с чувством неотторжимой причастности к жизни своего края.

В других рассказах можно уловить отзвуки различных влияний: в «Родственниках» ощутима связь с повестями К. Э. Портер (здесь, кстати, с неожиданной для Уэлти резкостью контуров изображена во всех смыслах обветшалая фамильная усадьба «южного джентльмена»); в «Смерти коммивояжера», «Ключе», «Ливви» — с новеллистикой Ш. Андерсена; «Остолбенелый человек» — сатирический этюд, который мог бы принадлежать и Д. Паркер...

Но в сочетании с романом «Дочь оптимиста» рассказы эти воспринимаются как фрагмент обширного повествовательного полотна; возникает еще один облик американского Юга, в чем-то знакомый, а в чем-то новый и неожиданный.

И. ЛЕВИДОВА

Издано за рубежом

«КОГДА ЛИСТВА АЛЕЕТ, КАК ЗАРЯ...»

Mihai Beniuc. Patrula de noapte. Bucureşti, Editura Eminescu, 1975.

Стихи Михая Бенюка, исполненные гражданского пафоса и пронизанные глубокой лиричностью, уже давно широко известны за пределами его родины — Румынии. Неоднократно публиковались они и в Советском Союзе. Все творчество поэта начиная с 30-х годов тесно связано с борьбой за свободу своего народа, за демократию и социализм, являясь яркой и самобытной страницей в истории современной румынской поэзии. Поэтому естественно, что каждая книга Бенюка вызывает живой интерес.

Перед нами новый сборник поэта—«Ночная стража». От стихотворения к стихотворению постепенно прочерчивается главная тема сборника — осознание трех ощущений времени: исторического, житейского, которому подвластно человеческое бытие, и творческого, которому подчиняется поэзия. Михай Бенюк пытается понять и отобразить сложную взаимозависимость этих ощущений. Эту поэтическую тему можно расшифровать как подведение итогов. Подобная задача естественна: поэт находится на пороге семидесятилетия, творчеству и борьбе отдано более сорока лет. Его первая книга стихов «Песни гибели» появилась в 1938 году. Начало поворота во всей жизни румынского народа Бенюк встретил сборником «Человек ждет восхода солнца» (1946). В 1954 году выходит его поэма «Во главе коммунисты» и сборник стихов «Яблоня у дороги», в 1957-м — «Сердце старого Безувия». Целым рядом книг отмечены 60-е годы: «Путешественник по созвездиям», «На струнах времени» и другими. К середине 70-х годов у поэта накопилось уже более тридцати сборников стихотворений, длинную шеренгу которых замыкает «Ночная стража».

Эта книга Бенюка — не ретроспекция, но внимательный читатель найдет в ней наиболее важные и по-новому переосмысленные образы-символы из ранних стихов Бенюка, такие, например, как красная гвоздика, корабль, плывущий под красными парусами, яблоня, растущая у дороги. Среди многих образов, символических и метафорических иносказаний, какими изобилует поэзия Михая Бенюка, эти три можно назвать центральными, ибо, опираясь на них, поэт и передает свое «многослойное» ощущение исторического времени.

Образы красной гвоздики и корабля возникают у поэта в 30-е годы, в период обостренной борьбы против наступления фашизма. Красная гвоздика предстает у Бенюка символом борьбы за правое дело. Образ корабля, плывущего под красными парусами, представляется более объемным: в нем поэт воплотил свою веру в неуклонный ход общественного развития. Из стихотворений сборника «Ночная стража» становится понятным, что корабль достиг своей цели, причалил к берегу: народная власть победила. Срок, минувший с той поры, как символический корабль отправился в плавание, немногим превышает тридцатилетие, но по общественному значению он равен целым векам, как справедливо говорит поэт в стихотворении «Солнце над страной». Именно в разгар этого тридцатилетия у Бенюка возникает метафорический образ яблони, растущей у дороги. Этот образ воплощает для поэта бескорыстное и самоотверженное служение народу: яблоня растет на обочине, при дороге, и принадлежит всем — летом она дает усталым путникам укрытие от палящего зноя, а осенью одаряет прохожих сочными плодами. И вот в сборнике «Ночная стража» появляется стихотворение «Старая яблоня у

дороги». Дерево состарилось, но среди его ветвей по-прежнему поют птицы. Яблоня цветет, будет она цвести и впредь...

Белый цвет (цветущая яблоня, иней, морская пена, седина), как символ преклонного возраста, часто встречается в последних стихах Бенюка. Он сопутствует размышлениям поэта о жизни и смерти. Поэт невольно обращается в первую очередь к самому близкому человеку, к жене, верной подруге долгих лет жизни:

Любимая, не плачь,
когда в садах
Ты видишь иней,
серебристый прах,
Не плачь над бедною
моею головой,
Покрывшейся упорной
сединой[1].

Бенюк взывает к мужеству и памяти о том, чему были отданы все силы таланта. И после смерти поэт не хочет порывать с миром, в котором жил, за который боролся. Поэтому он завещает жене:

Приди ко мне седьмого ноября,
Когда листва алеет, как заря,
Гвоздику красную,
любимый мой цветок,
На серый камень положи у ног.

Той невольной печали, которую порождает уходящая жизнь, сопутствует в стихах Бенюка исторический оптимизм, пронесенный через многие и сложные годы, через бурные времена борьбы за становление народной власти, твердая убежденность в правоте великого дела построения социалистического общества:

Через пучину гнева и печали
Я плыл туда, где свет
и ясность ждут,
Когда в Румынии, как магма,
клокотали
Слова пророческие:
«Времена грядут!»

И вот достиг я возраста седого,
Покрыт морскою пеной с головой,
Я слышу: вечность мерно и сурово
Стучит как маятник,
как будто за спиной.

Что сделано, то сделано надежно,
И лишь улыбку я ищу, возможно,
В минувшем, поцелуй
хочу поймать.

Я перевел слова грозы и бури,
Серпом луны насквозь
пронзенной хмури
И песню, ту, что зазвенит опять.

Именно потому, что вся жизнь Михая Бенюка и его творчество тесно связаны с судьбой народа, его борьбой за свободу и счастье, поэт со сдержанной гордостью и полным правом может сказать в стихотворении «Ночная стража», заключающем сборник:

Над землею, среди
всех стихий,
Патрулируют мои стихи.

Ю. КОЖЕВНИКОВ

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

ПОМНИ РУБЕНА

Mongo Beti. Remember Ruben. Paris, Union General d'Editions, Série 10—18, 1974. Mongo Beti. Perpétue et l'Habitude du malheur. Paris, Buchet-Chastel, 1974.

Камерунский романист Монго Бети (род. в 1932 г.) хорошо известен у нас. Он был еще студентом в Париже, когда там вышли три его романа: «Бедный Христос из Бомба» (1956), «Завершенная миссия» (1957) и «Исцеленный король» (1958), все переведенные на русский язык. Чувствовалось, что Монго Бети молод, умен, насмешлив и ему весело писать эту искрящуюся юмором и иронией прозу. Однако весьма часто юмор Бети переходил в острую сатиру, сарказм, гротеск, обращенные как против колонизаторов (чиновников и врачей, священников и коммерсантов), так и против старой, племенной, патриархальной и феодальной Африки с ее омертвевшими традициями и суевериями. Своим полемически подчеркнутым культом разума, своими издевками над патриархальной примитивностью Бети явно противостоял правому, консервативному крылу африканских интеллигентов, сторонникам негритюда.

К 60-му году Бети закончил университет в Париже и остался работать во Франции преподавателем лицея. Почему? Вероятно, потому, что пришедшая к Камеруну независимость была слишком непохожей на те идеалы, за которые с оружием в руках боролась молодежь Камеруна в партизанских отрядах, к этому времени уже разбитых колониальными властями. Как писатель Бети замолчал надолго. В некоторых выступлениях он объяснял это прежде всего вынужденным разрывом со своим читателем.

Однако после 16 лет молчания в 1974 году в двух парижских издательствах одновременно появились два романа Бети: «Помни Рубена» и «Перпетуя и привычка к страданиям». В издательстве же Масперо вышла его публицистическая книга «Грабеж в Камеруне», памфлет против нынешних правителей Камеруна. По просьбе президента Камеруна французское правительство конфисковало эту книгу. Но Бети добился ее опубликования на французском же языке в Канаде.

В обоих романах автор просит читателей не искать прототипов персонажей и не отождествлять описанные события с реальной жизнью Камеруна. В этих книгах действие происходит в некой неназванной стране Африки. Но основным героем романа «Помни Рубена» является подлинная историческая фигура — Рубен Ум Ниобе, народный герой Камеруна — видный деятель национально-освободительной борьбы. Еще в 1948 году он стал создателем и генеральным секретарем партии «Союз народов Камеруна», в 1955 году запрещенной колониальными властями. Тогда партия ушла в подполье и начала вооруженную пар-

тизанскую борьбу. В 1958 году Рубен Ум Ниобе был убит в боях.

В романе «Помни Рубена» — два центральных героя. Один — Рубен, вождь негритянских предместий столицы, рабочих, молодежи, готовых умереть за него. Это герой в полном смысле слова, и благодаря ему повествование приобретает характер героический, эпический. Слова «Помни Рубена» — это пароль его сторонников в столице, но это и завет писателя молодому поколению. Трудно сказать, достоверны ли детали биографии Рубена, но дух и смысл его жизни воспроизведены сильно и правдиво. Рубен почти не появляется в романе, но, оживший в отражении народной любви, всеобщего восхищения и преданности, этот образ впечатляющ.

Второй центральный герой романа — совершенно иного плана. На нем лежат отсветы фольклора. Мор-Замба — как бы персонифицированный образ народа, молодой герой легенды, даже сказки. Это огромного роста, атлетически сложенный силач, наивный, вначале неграмотный тугодум по прозвищу «Деревенщина». Мор-Замба — воплощение человечности и доброты, любви и сострадания к людям, милосердия. Эти черты он проносит через годы и став прославленным рубенистом.

Он возникает на первой странице книги — загадочный мальчик, появившийся неизвестно откуда на дороге около села, тайна его происхождения, как в сказке, раскроется только на последних страницах. Он приживается в селе, встречает там у кого гостеприимство, у кого враждебность и, наконец, находит друга, названого брата — Абену. Абена опекает его в лагере, куда забирают Мор-Замбу на принудительные работы в годы войны, «большой войны белых людей», вместе с ним Мор-Замба попадает и в столицу, где развертывается основное действие романа.

Фор-Негр, столица колонии, заключает в себе как бы два города: центр, цитадель французской администрации, белых европейцев, город роскошный, богатый, и огромное восточное предместье Кола-Кола, город африканцев, оппозиционный, бунтарский. Сложный, напряженный, многоликий образ Кола-Колы — большая удача Бети, передавшего атмосферу нарастающего Сопротивления в этом нищем, грязном, но по-своему грозном городе.

В отличие от медлительного Мор-Замбы Абена, быстрый и активный, одержим стремлением добыть винтовку. В годы войны он уходит во французскую армию, потом оказывается во Вьетнаме, еще позднее — в Алжире. Так он проходит школу войны и уже как опытный военный организатор сражается в партизанских отрядах Рубена. После его гибели Абена под боевой кличкой «Ураган-Вьет» становится одним из руководителей борьбы. Можно предположить, что опыт борьбы в пустынях Африки, Вьетнаме и Алжире был использован бойцами Камеруна, и образ «Урагана», при всей романтичности, вполне правдоподобен.

Основной драматизм книги в напряженной борьбе двух миров — властей колонии и народа Кола-Колы. В развитии этого сюжета есть свои кульминации. Это похищение Рубена, пытки его полицейскими-сенегальцами, его внезапное освобождение, когда безоружный Мор-Замба убивает палача и уносит истерзанного Рубена на своей спине, как бы растворяясь в ночи. Это предательство юнца паразита Жана-Луи, выдающего своего приятеля Мор-Замбу полиции, где тот познает все ужасы тюрьмы и пыток. В конце книги власти ночью, тайно вводят в предместье вооруженные отряды, рассчитывая внезапным ударом сломить предместье. Но неожиданно появляется Абена, этот грозный Ураган-Вьет: взорвав бензохранилище, он повергает противника в смятение, а вооруженные отряды молодых рубенистов — «сапаки» — в свою очередь используют внезапность и обращают противников в бегство. Однако храбрые, но неопытные в боях, они не смогли захватить их командира Брэда.

Монго Бети достаточно ярко освещает фигуры и французских колонизаторов, и тех африканцев, которых французские власти приготовили в качестве марионеток себе в замену после провозглашения независимости. Первый среди них — делающий молниеносную карьеру будущий президент, ничтожество и алкоголик по прозвищу «Пьянчуга», рядом — его ближайший советник из высших чинов полиции Сандринелли и Брэд — весьма колоритная фигура из французской разведки, специалист по политическим убийствам прогрессивных деятелей, гангстер в стиле ЦРУ. Воссоздавая годы в преддверии независимости, Бети освещает их опытом последующих десятилетий, подчеркивая, что вся эта грязная свора останется и расцветет при новых, неоколониальных порядках, которые будут очень мало отличаться от старых. Так перекидывается идейный мост к следующему роману Бети «Перпетуя», действие которого происходит уже в 60-х годах.

В конце романа о Рубене Абена раскрывает Мор-Замбе тайну его происхождения. Мор-Замба оказывается потомком любимого крестьянами, но отстраненного колонизаторами царька, или вождя, и имеет все права на наследственный титул. Абена советует ему вернуться в село Экумдум и преобразовать его в духе новых идеалов, «изменить все так, чтобы люди были не только счастливы, что еще не так много, но могли гордиться собой». Но Мор-Замба остается равнодушным к возможности стать царьком, и автор вскользь сообщает, что в зрелые годы он погрузится в книги.

Хотя этот почти сказочный хэппи-энд не кажется убедительным после драматических эпизодов рубенистской эпопеи, роман Бети — книга очень значительная. Она резко отличается от ранних романов самого Бети своим трагизмом (блестки юмора возникают порой и здесь, но тонут среди

драматических и героических интонаций). Она занимает особое место в ряду африканских романов последних лет, выделяясь широтой и глубиной исторического охвата. «Помни Рубена» отличается и от так называемой «второй волны» африканской литературы, главным образом англоязычной, с ее разоблачениями буржуазного образа жизни и коррупции властей в завоевавших независимость государствах (к ним ближе повесть «Перпетуя и привычка к страданиям»). *«Помни Рубена» — книга уникальная тем, что она отражает не только тяжелый опыт разочарований последних пятнадцати лет, разочарований в политической независимости, но и верность идеям молодости, времен революционной вооруженной борьбы, времен Рубена.*

Трагический оптимизм Монго Бети сформулирован в последних строках этой книги. Абена говорит: «Когда я вернусь? Через десять, двадцать, тридцать лет, кто знает? Только не торопитесь, ребята! Без спешки, делайте все основательно. Не заботьтесь о сроках, время не имеет для нас значения. Африка в оковах уже целую вечность. Когда бы мы ни освободили ее, никогда не будет слишком поздно. Наша борьба будет долгой, очень долгой. Все, что вы видите здесь в Кола-Коле и во всей колонии — лишь ребяческое вступление. Через несколько лет, может быть месяцев, и даже после уничтожения Кола-Колы, когда погибнут тысячи и тысячи наших, в том числе женщины и дети, найдутся люди, которые улыбнутся, вспоминая об этих первых черновых набросках: так вспоминают о невинных играх детства. ПОМНИ РУБЕНА».

Повесть «Перпетуя и привычка к страданиям» хронологически как бы продолжает роман о Рубене, но она гораздо доступнее, хотя политически острее, поскольку действие происходит уже после получения независимости. Построена повесть очень просто. Эссола, молодой рубенист, десять лет отбывший в северных лагерях, возвратился обратно в родную деревню. 1968 год. Прошло десять лет со времени гибели Рубена. Страна получила независимость. Но ничего не изменилось. Даже стало хуже, ведь раньше была надежда, было сильное освободительное движение, был руководитель его, Рубен.

Ничего не изменилось — это лейтмотив повести, обвинение Бети неоколониализму, африканским современным правителям и его диктаторам, хотя президент по-прежнему не назван и действие происходит в некой неназванной стране.

Вернувшись, Эссола узнает о загадочной смерти своей любимой сестры, молодой, красивой Перпетуи. Все чего-то не договаривают, и Эссола начинает свое собственное расследование причин ее гибели. Он встречается с самыми разнообразными людьми, знавшими сестру, и ему постепенно открываются и история Перпетуи, и облик страны через десять лет.

«Перпетуя и привычка к страданиям». В имени героини и в подзаголовке заключен символический смысл повести. Перпетуя — то есть «постоянная», «вечная», но à perpétuité по-французски означает «пожизненно», пожизненное заключение или каторгу. Именно такой оказалась жизнь этой девушки. А подзаголовок? Перпетуя, молодая, красивая, под конец даже любимая, погибает. Погибает, потому что у нее нет привычки к сопротивлению, в ней, как и во многих африканцах, еще живет привычка к рабству, к покорности и повиновению, к молчанию. Привычка к страданию. Она привыкла быть преданной и проданной. Матерью, старшим братом, мужем. Повесть Бети написана в защиту этих людей, преданных и проданных. И одновременно — против их привычки к рабству.

Кого винить в смерти Перпетуи? Предательство началось с матери. Сначала она продала старшую дочь. Но та нашла в себе силы уйти от мужа и не вернуться домой. Потом мать продала младшую, Перпетую, мелкому клерку, брат которого заплатил большой выкуп. Перпетуя переехала в крупный провинциальный город Ойоло. Она стала рабой мужа, его служанкой, хотя была и умнее и даже образованнее его, ибо училась в школе, умела читать, считать и шить. Кто знает, кем бы она могла стать, если бы... Но это еще не худшее. Муж открывает средство делать карьеру, используя красоту жены. Он продает жену комиссару полиции и после этого действительно идет в гору. Теперь у Перпетуи уже два нелюбимых мужа и двое детей. Только под конец ее короткой жизни Перпетуе встречается любовь — молодой футболист Зейанг, чемпион Ойоло и чуть ли не страны. Она любит и любима, и третий сын будет от него. Однако чтобы жениться на ней, Зейанг должен выкупить ее у мужа (как рабыню или крепостную). Но он не в состоянии собрать огромную сумму, которую муж издевательски все увеличивает. Наконец муж и комиссар используют средства подавления. Зейанг обвинен в несовершенных им преступлениях. Не будучи раньше революционером, он становится им, когда в минуту казни кричит: «Рубен — отец Родины!»

Потерявшая все, всякую надежду, Перпетуя не хочет больше жить; отказываясь от еды, не двигаясь, она как в тюрьме ждет смерти. И смерть приходит. Кто виновен? Эссола понимает, что все сплелось здесь — дикарские обычаи тупой деревни и город, растлеваемый полицейским произволом, новой властью и диктатурой вечно пьяного правителя. В Ойоло Эссола сталкивается с новым поколением оппозиционной молодежи, снова думающей о сопротивлении. Но есть ли у нее силы? Неясно. А сам Эссола в сущности сломлен. Он выпущен из лагеря и получил возможность преподавать и работать только после того, как дал подписку о лояльности. Но теперь он хочет лишь одного — отомстить за смерть сестры. И в первую очередь матери и старшему брату. Эссола уводит его в лес и заставляет умереть медленной и мучительной смертью. Затем добровольно является в по-

лицию. Но, к удивлению Эссолы, полицейский и не думает его задерживать. Он уверен, что тот далеко пойдет по общественной лестнице и наверняка когда-нибудь сможет отплатить ему услугой за услугу. Эссола может возвращаться в свой коллеж.

На этой иронической ноте, напоминающей прежнего Бети, кончается повесть, еще более безысходная, чем роман о Рубене, озаренный пламенем молодости и борьбы. Но и в повести о Перпетуе есть своя мораль. Она гласит, что как бы ни сложился дальнейший путь страны и континента, условие побед — в преодолении «привычки к страданиям».

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ГОРДОЕ ЛИ ИМЯ — ШТОЛЬЦ?

Paul Nizon. Stolz. Frankfurt am Main — Zürich, Suhrkamp Verlag, 1975.

За Паулем Ницоном (род. в 1929 г.) с первых книг закрепилась репутация одного из тех швейцарских писателей, для которых слово «родина» накрепко связано с такими неуютными понятиями, как «узость», «пустота», «безысходность». Швейцарскую литературу уже давно, с первых послевоенных лет, мучительно тревожат проблемы существования личности в «отчужденном мире», где внешнее благополучие и кажущаяся стабильность общественного уклада парадоксальным образом сочетаются с глубоким внутренним неблагополучием бездуховной и изолированной жизни отдельного человека. Творчество П. Ницона развивалось в русле именно этой проблематики, однако новый роман дополняет ее интересными и знаменательными модификациями.

Главный герой книги — молодой человек Иван Штольц — ни хорош, ни плох. Он одинок, и это основная его характеристика, ибо все остальные его человеческие свойства отступают в романе далеко на задний план, они настолько оттеснены и задавлены тотальным одиночеством, что просто не могут проявиться. Сам по себе мотив одиночества как прямого следствия отчуждения личности от общества, от труда, от собственной сущности не оригинален ни в швейцарской, ни вообще в современной зарубежной словесности, однако П. Ницон вносит в его интерпретацию несколько неожиданную и даже пугающую прозаичность, невольно наводящую на размышления о тех изменениях, которые претерпел этот мотив в западном искусстве XX века. Вспоминается, например, что трактовка одиночества как исключительного достояния (пусть трагического) выдающейся (по преимуществу творческой) личности была «отменена» надрывным криком экспрессионистов; что с тех пор одиночество как удел всякого смертного являлось в самых разных обличиях — от стоической маски экзистенциалистского героя до материализованной в слове «некоммуникабельность» (наиболее яркие образцы — проза и драматургия Т. Бернхарда или П. Хандке и других), но все же воспринималось — и воплощалось — искусством как состояние противоестественное и тягостное. В романе П. Ницона с особой отчетливостью проступает иная тенденция: для героя одиночество словно бы и не в тягость, он будто родился одиноким и носит свое одиночество, как затрапезную одежду, легко и свычно, не замечая его,— так рыба не замечает чешую, а черепаха — панцирь.

Впрочем, одинок не только заглавный герой — столь же обыденно, привычно, повсегдашнему одиноки и остальные персонажи, а вернее, случайные участники неторопливо — но и неуклонно — развивающегося сюжета. Люди в этом романе ничем и никак не объединены, они, напротив, оторгнуты друг от друга, взаимонепроницаемы, и собственно человеческие отношения между ними невозможны. Они движутся, перемещаются, сталкиваются в жизненном море большого города, как мельчайшие частицы взвеси в растворе, а потому между ними возможны лишь временные и непрочные сцепления, случайные, вынужденные, необязательные связи — это и есть главная мысль книги, выраженная с особой неукоснительностью в судьбе ее главного героя, прослеженная на его жизненном пути от двадцати- до двадцатипятилетнего возраста. Всякая форма сообщества с другими людьми Штольцу обременительна: окончив гимназию, он испытывает почти физическое облегчение, ибо, наконец, избавлен от вынужденного сосуществования с одноклассниками. Та же потребность освободиться от ненужного, «лишнего» общения заставляет его покинуть родительский дом — проще всего ему жить одному, предоставив себя течению случайностей. И действительно, до поры до времени в его жизни все случайно: Штольц живет случайными заработками, ищет случайных связей с женщинами, случайно попадает на вернисаж и заинтересовывается живописью, случайно начинает посещать в университете лекции по искусствоведению, случайно знакомится там с девушкой. В его существовании нет смыслового стержня, нет цели, оно развивается так, но могло сложиться иначе. (Как соблазнительно было бы тут поразмышлять по излюбленной методе Макса Фриша о других, возможных вариантах жизни, но Иван Штольц у Пауля Ницона не делает этого, он вообще пока не размышляет о жизни, не ищет, как и на что ее применить,— и в этом тоже отличается от недавних героев швейцарской прозы.)

Действие романа вступает в свою кризисную фазу, когда жизнь Штольца из совокупности случайных фактов и обстоятельств вдруг сразу переходит в сферу необходимости: он женится на той девушке, с которой познакомился на лекции, и вскоре становится отцом семейства. У него прежде жившего, как сказал бы Зощенко, «без всяких особых намерений», появляется множе-

ство обязанностей и, что важнее, внутренних обязательств — и он выполняет их, но безучастно и безрадостно, механически, словно по инерции: он (по мысли Ницона, как и всякий современный человек) просто неспособен жить с кем-либо вместе и потому воспринимает свой брак как нечто насильственно втиснутое в его мир, как тягостную необходимость сосуществовать рядом с кем-то, абсолютно чужим. Недолгая и вынужденная общность, которую трудно даже назвать семьей, вскоре безболезненно и легко распадается: родители жены приглашают ее с сыном погостить у них, в провинциальном городке в ФРГ, а Штольцу предлагают пристанище у своих дальних родственников в глухой немецкой деревушке: там он сможет без помех закончить свою курсовую работу о Ван Гоге.

Так в романе, хотя и не акцентированно, возникает и полемически переосмысливается еще одна традиционная тема швейцарской литературы: тема бегства из Швейцарии. Безысходность жизни в стране, где все изначально и словно бы раз и навсегда регламентировано, где «ничего не происходит», еще недавно заставляла героев швейцарских романов, повестей, драм внезапно, повинуясь неодолимому порыву, срываться с места в поисках иной действительности, в поисках перемен, в надежде более полно проявить себя в иных обстоятельствах — и часто такой разрыв с ненавистным бытом оказывался благотворным.

В романе П. Ницона ни охота к перемене мест, ни сама эта перемена никак на жизни героя не сказывается — как не влияет на нее и прежде целительное для героев швейцарской литературы воздействие природы, в котором виделось возвращение к естественным, не замутненным городской цивилизацией истокам существования. В книге Ницона природа скорее враждебна человеку: заснеженные пустые поля, тягучие туманы, надоедливая изморось, полоска леса, уныло чернеющая на горизонте,— все эти приметы южнонемецкого зимнего пейзажа наводят на героя тоску и лишь острее дают почувствовать всю меру его оторгнутости от бытия.

Сидя у тусклого окна деревенского дома, Штольц снова и снова перелистывает том писем Ван Гога, хотя давно уже понял, что написать работу о нем не может и что его увлечение живописью — всего лишь одно из прикрытий никчемности его анемичного существования, маскировка внутренней пустоты. Письма Ван Гога поражают его скрытой в них страстью, яростным желанием обрести себя, жаждой труда — всем тем, чего он лишен, или «тем, что у него отняли».

Проза П. Ницона по мере движения повествования меняет интонации: чистая, холодноватая, в каждом слове выверенная поначалу, она постепенно становится все более напряженной, в ее ритме появляется что-то зловещее; в поведении и поступках персонажей, которые вначале проходили сквозь книгу одиноко и сомнамбулически-замкнуто, встречаясь друг с другом вчуже, подобно монадам, теперь обнаруживается жутковатая, кафкианская алогичность, в них невозможно различить закономерное и случайное. Внешне нелогична и странна гибель героя: пойдя на охоту с местным лесничим, он заблудился и замерз — но малоприметные детали (обреченность, с какой Штольц отправляется в лес со своим угрюмым спутником, неясность — то ли он сам заблудился, то ли ему «помог» заблудиться лесничий) придают этой смерти мрачную и символическую необратимость, которая с особой силой звучит в последних фразах книги: «Он задремал, однако вскоре очнулся снова, ибо почувствовал судороги. Но теперь сильнее боли была усталость, она была сильнее всего. Вдруг ему почудилось, будто кто-то окликает его, но он слишком устал, чтобы ответить, слишком устал, чтобы спросить себя, не ослышался ли он. Он хотел только одного: чтобы его не будили».

Еще совсем недавно в швейцарской литературе отчуждение человека от общества подвергалось пристальному, пытливому исследованию в самых разнообразных ракурсах и всевозможными художественными средствами — от тщательнейшего, почти натуралистического по методологии выписывания характеров и обстоятельств до параболического гротеска и иносказательной, притчевой многозначности. Усердие, с каким швейцарские писатели стремились объяснить, а их герои прорвать замкнутость, изолированность существования, напоминало борьбу медицины с только что объявившейся болезнью. Продолжая сравнение, можно сказать, что книга Ницона — точное и бесстрастное клиническое описание этой болезни, теперь уже давно изученной и признанной неизлечимой.

Пауль Ницон дал своему герою «говорящее имя» («штольц» по-немецки означает «гордость»), однако в контексте всей книги многозначительная торжественность этого наименования обретает смысл иронический и даже укоризненный. Нет, имя Штольц не звучит гордо, ибо его обладателю не до размышлений о высоком предназначении Человека с большой буквы. Ему бы выжить среди всеобщего равнодушия, ему бы устоять под напором анонимных сил жесткого социального регламента, уберечь от окончательного распада и нивелирования хотя бы остатки собственной — пусть не яркой, пусть не выдающейся, но все-таки неповторимой, все-таки своей — личности. В этом — отнюдь не гордый, а горький смысл его не слишком долгих и не слишком энергичных метаний, которые, чем ближе к неизбежному и плачевному финалу, тем больше напоминают агонию.

Конечно, роман Пауля Ницона нельзя назвать оптимистическим. Но тревога за судьбу человека в современном мире начисто лишена в нем того любования безысходностью, которое давно стало модным и обязательным атрибутом иных образцов западной прозы. Это тревога искренняя, неподдельная, донесенная до читателя печальной задумчивостью каждой фразы.

М. РУДНИЦКИЙ

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

ОТКРЫТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

Важным культурным событием в жизни Англии последних месяцев стало открытие Национального театра, идея создания которого вынашивалась более ста лет. Она принадлежала известному английскому издателю Эффингему Уилсону, ее горячо поддерживали Чарльз Диккенс, Мэтью Арнольд, Чарльз Кембл, Генри Ирвинг. Позднее за создание подлинно национального театра горячо ратовал Бернард Шоу.

И вот 16 марта в Лондоне в торжественной обстановке открылся Национальный театр. Для него на южном берегу Темзы по проекту известного английского архитектора Дэниса Ласдана было построено специальное здание с тремя залами. Объясняется это не только тем, что Национальный театр объединяет в себе три театра, которые будут по-разному решать свои задачи, но и спорами трех ведущих режиссеров современной Англии — Питера Брука, Пола Скофилда и Тревора Нана — о роли театрального простран-

Сцена из спектакля по последней пьесе Джона Осборна «Поглядите, все рушится», которая была показана на открытии Национального театра.

(Журнал «Плейз энд плейерз»)

ства. Как шутливо замечают рецензенты, «споры были столь горячими, что проще было создать три театра и три сцены».

На сцене зала Литлтон, названного в честь первого председателя комитета по созданию крупнейшего драматургического центра страны, будут давать спектакли гастролирующие труппы, как иностранные, так и из других городов страны. Сцена самого большого, на 1160 мест, зала, носящего имя знаменитого английского режиссера и актера Лоуренса Оливье, отдается в распоряжение труппы Национального театра, до этого игравшей в здании Олд Вик. Молодые, начинающие драматурги и режиссеры будут пробовать свои силы на сцене самого маленького зала Коттеслоу.

Английская общественность ждет очень многого от Национального театра. Фойе, открытые и закрытые галереи театра, его кафе и рестораны будут использоваться для встреч актеров со зрителями, для выставок, выступлений молодежных ансамблей. «Открытие Национального театра,— пишут рецензенты,— знаменует начало новой эры в английской драматургии».

АРГЕНТИНА

«ВСЕОБЩАЯ ПЕСНЬ» В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

«Театро популар» (Народный театр) Буэнос-Айреса поставил спектакль по мотивам поэмы Пабло Неруды «Всеобщая песнь».

На протяжении всего представления, пишет театральный критик еженедельника «Нуэстра палабра», актеры остаются почти неподвижными. Поэма говорит сама за себя. И кажется, будто спектаклем незримо руководит сам Неруда. Его интонации, его мироощущение, его мысли убеждают, волнуют, оставляют неизгладимое впечатление — словно речь идет о сегодняшнем дне.

Полная драматизма история латиноамериканских народов проходит перед взором зрителей. Века эксплуатации, эпоха освобождения от испанского владычества, герои и тираны, шахтеры, рыбаки, народные поэты — и в памяти воскресают Альенде, Корвалан, Че Гевара, переворот в Чили и преступления Пиночета.

Этот спектакль, отмечает аргентинская пресса,— выдающееся событие в театральной жизни страны. «Театро популар» продолжает славную традицию аргентинских «театрос индепендьентес» — независимых театров.

БОЛГАРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БОЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ» В 1976 ГОДУ

«Многочисленные книги, выпущенные издательством Союза болгарских писателей «Болгарски писател», отражают наиболее характерные моменты развития нашего современного литературного процесса, показывают достижения нашей национальной литературы»,— пишет газета «Работническо дело».

В этом году издательство посвящает четыре специальных сборника историческим событиям в жизни болгарского народа — XI съезду БКП, 20-летию Апрельского пленума ЦК, 100-летию Апрельского восстания.

«На крыльях дружбы» — под таким заголовком вышел к съезду БКП сборник стихов, в котором представлены произведения лучших болгарских поэтов — от Ивана Вазова до наших дней. «Сборник посвящен России и СССР,— отмечает газета,— животворной болгаро-советской дружбе, ее огромной роли и значению».

Представляет большой интерес и сборник, посвященный 20-летию Апрельского пленума ЦК БКП,— в него входят беседы и интервью с более чем сорока видными современными болгарскими писателями, авторами произведений, удостоенных Димитровской премии и премий Союза болгарских писателей.

Еще один юбилейный сборник — «Апрель 1876» — посвящен 100-летию Апрельского восстания и гибели великого болгарского поэта-революционера Христо Ботева. В сборнике широко представлены воспоминания участников восстания, причем многие публикуются впервые, так что они, по мнению болгарских обозревателей, представляют исключительный интерес как для литературоведов, так и для историков.

Поэтический сборник «И певцы песни о нем поют» объединяет на своих страницах старые и новые стихи, посвященные Христо Ботеву.

Редакция поэзии издательства «Болгарски писател» планирует в этом году выпустить в свет сборники стихов Ивана Мирчева, Николая Стайкова, Матея Шопкина, Лиляны Стефановой и других видных поэтов.

Редакция прозы готовит к публикации в 1976 году ряд новых романов, в том числе «Последнее приключение Аввакума Захова» Андрея Гуляшки. С особым интересом ожидается выход в свет книги воспоминаний Младена Исаева «Незабываемое».

Будут изданы и очередные тома собраний сочинений болгарских классиков.

БРАЗИЛИЯ

АКТИВИЗАЦИЯ ЦЕНЗУРЫ

В Бразилии, по сообщению аргентинской газеты «Опиньон», продолжает свирепствовать цензура. В прошлом году было запрещено 19 фильмов, 20 театральных постановок, около 200 книг. Причина запретов: «подрывной характер произведений, наносящий ущерб национальной безопасности и моральным устоям». Под этим предлогом запрещены, в частности, пьесы известных бразильских драматургов Плинио Маркоса и Антонио Диаса Гомеса, выступления популярного певца Шико Буарке де Оланда.

«Дело дошло до того,— сообщает газета,— что на каждом концерте Шико Буарке теперь присутствуют цензоры, которые бдительно следят за тем, чтобы не проскользнуло что-нибудь «подрывное».

ВЕНГРИЯ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

Огромной популярностью в Венгрии пользуются военные рассказы Имре Добози, писателя, который сам прошел войну. Как пишет Лайош Мештерхази (книжный бюллетень «Кёньвилаг»), особое место в его творчестве «занимают события, связанные с войной, с периодом 1944—1945 гг.— со временем активного партизанского движения и совместных действий советских войск и венгерских отрядов национального освобождения. Это были годы важнейшего исторического поворота в судьбе нашего народа.

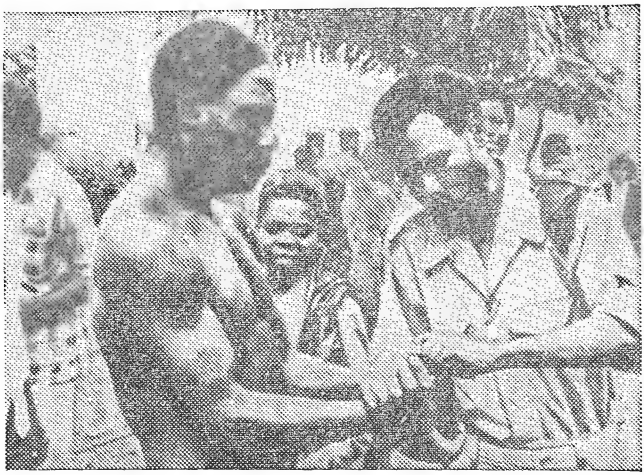
Имре Добози был в самой гуще этих событий, с оружием в руках боролся за освобождение страны... В своих произведениях о войне он отвечает на самые сложные вопросы истории с полным сознанием всей меры лежащей на нем ответственности».

Неудивительно, что венгерские кинорежиссеры, ставя фильмы о годах войны, обращаются именно к рассказам Имре Добози.

Олег Видов, исполняющий роль советского офицера, с Имре Михайфи, режиссером телефильма «Одиннадцатый день», в основу которого положен рассказ Имре Добози «Февраль».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА



Кадр из фильма «Муна Мото» камерунского режиссера Жана-Пьера Диконге-Пипа. В роли полицейского выступает сам режиссер.

(Журнал «Жён Африк»)

ПЯТЫЙ ПАНАФРИКАНСКИЙ

В Уагадугу, столице Верхней Вольты, проходил пятый Панафриканский кинофестиваль. На нем было представлено рекордное для этих фестивалей число картин.

Главный приз фестиваля присужден первому полнометражному фильму камерунского режиссера Жана-Пьера Диконге-Пипа «Муна Мото» («Чужой ребенок»). Ферид Бугедир, специальный корреспондент журнала «Жён Африк», назвал Диконге-Пипа «первым романтиком африканского кино». По его мнению, молодой режиссер сумел на основе банальной мелодраматической истории создать глубоко социальное произведение.

Специальный приз получил фильм туниса Абделатифа Бен Аммара «Сежнан», в котором с классовых позиций показано тунисское общество в период борьбы за независимость. Еще один приз присужден вольтийскому режиссеру Бернару Йонли за картину «По пути примирения». Среди короткометражных фильмов лучшими признаны работы ки-

нематографистов Берега Слоновой Кости: «Шляпа» Гноана М. Балы и «Школьница» Н. Дабиана Водио. Ферид Бугедир отмечает, что на фестивале в Уагадугу были широко представлены фильмы, посвященные эксплуатации африканских рабочих-иммигрантов в Европе. Среди них — «Другая Франция» алжирца Али Ганема, «Национальность иммигранта» мавританца Сидней Соконы, «Послы» туниса Насера Ктари, «Париж — это красиво» нигерца Инуссы Усейни.

ГАЙТИ

ФИЛЬМ-ПРИЗЫВ

В алжирской столице состоялся показ документальных фильмов, снятых участниками национально-освободительных движений разных стран. Еженедельник «Аль-Муджахид культюрель» опубликовал беседу своего корреспондента с членом революционной организации гаитянских политических эмигрантов Арнольдом Антоненом, постановщиком полнометражного фильма «Гаити — дорога свободы». Фильм этот — обвинительный акт против режима кровавого диктатора Дювалье.

А. Антонен сказал:

— Экономическая комиссия ООН признала Гаити беднейшим государством Латинской Америки. Продолжительность жизни в стране составляет 40 лет, детская смертность — 170 человек на тысячу, один врач приходится на 35 тысяч жителей, неграмотных 90%. А династия диктаторов Дювалье, продающая страну империалистам, думает только о том, чтобы набивать карманы и расправляться со своими политическими противниками (погибло уже более тридцати пяти тысяч человек). Положение в культуре соответствует положению в стране в целом. Нетрудно понять и полное отсутствие национальной кинематографии. Когда правительству нужно сделать рекламный фильм для туристов, оно приглашает иностранцев.

По телевидению показывают американские и франко-итальянские приключенческие фильмы. Фильм «Гаити — дорога свободы» адресован многочисленным гаитянам, по экономическим или по политическим причинам живущим в изгнании. На пять миллионов жителей Гаити таких около миллиона. Число спасающихся от террора растет с каждым днем. И свой фильм мы обращаем прежде всего к ним, а также к иностранным друзьям, рассказывая им о нашей борьбе. Но мы надеемся, что когда-нибудь фильм увидят и на Гаити.

ГВИНЕЯ

С большим успехом, по отзывам прессы, прошли в Европе выступления гвинейского музыкального ансамбля «Монеба». Артисты из Африки выступали во Франции, Бельгии, ФРГ и в Норвегии. Журнал «Жён Африк» отмечает, что исполнителям удается сохранить подлинно народный дух африканского искусства.
На снимке: сцена из спектакля ансамбля «Монеба».

(Журнал «Жён Африк»)

ГДР

ПУБЛИЦИСТИКА КАРЛА ГЕЙНЦА ЯКОБСА

Немецкие читатели хорошо знают романы Карла Гейнца Якобса «Описание одного лета», «Пирамида для меня» и другие (о Якобсе см. ИЛ № 2, 1963, и № 1, 1964). Недавно вышел сборник публицистики Якобса, в который вошли 22 работы, созданные за последние 15 лет. В книгу включены репортажи, интервью, литературоведческие статьи. Рецензенты особенно выделяют очерк «Сара Кирш», репортаж «С глазу на глаз с Америкой», очерк «Адольф Хеннекке», три очерка-портрета, посвященных женщинам: «Работница», «Исследователь», «Директор».

«Публицистические работы показывают Якобса с несколько новой стороны,— пишет в газете «Берлинер цайтунг» писатель Герберт Нахбар,— но несомненно, что его публицистика и его романы взаимосвязаны».

«Исходная позиция творчества Карла Гейнца Якобса — как можно точнее и шире изображать действительность... Как автор романов, он старается использовать метод документализма, как автор репортажей и очерков он старается использовать средства художественной прозы,— пишет Ульрика Громер в газете «Нойес Дойчланд».— Надо надеяться, что сближение этих двух жанров в творчестве писателя будет способствовать правдивому изображению действительности».

ИЗ АРХИВА ВИЛЛИ БРЕДЕЛЯ

В издательстве «Ойленшпигель-ферлаг» вышел сборник «Фауст на Репербане», приуроченный к 75-летию со дня рождения Вилли Бределя. Его составительница Герда Вайсенфельз, сообщает еженедельник «Зонтаг», стремилась представить писателя в первую очередь как талантливого юмориста с его неиссякаемой верой в жизнь.

На снимке: актеры Манфред Круг, Урсула Каруссайт и Гильмар Тате в телевизионном фильме «Даниэль Друскат».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Наряду с уже печатавшимися произведениями в сборник вошли не публиковавшиеся ранее материалы из архива Вилли Бределя, а также воспоминания о писателе. Книгу завершает небольшое эссе Стефана Хермлина.

«Вопреки всему выстраданному и пережитому,— пишет Хермлин,— Вилли Бредель был очень жизнерадостным человеком. Он очень любил рассказывать смешные истории и всегда высмеивал ограниченность и тупость. Смех его был невероятно заразительным...

...Настоящий старый коммунист, он носил в себе боль всего мира. А глупость, трусость и беспринципность, когда ему приходилось с ними сталкиваться, вызывали в нем почти физическое страдание. Но он был неисправимый оптимист и всегда верил, что истинное и доброе в конце концов пробьет себе дорогу».

В этом году, как сообщает журнал «Нойе дойче литератур», в издательстве «Киндербух-ферлаг» выходит повесть Вилли Бределя «Годы учения Петера». Эта повесть о судьбе рабочего паренька из Бремена, к сожалению, не была завершена писателем.

«ДАНИЭЛЬ ДРУСКАТ» — РОМАН И ФИЛЬМ

В издательстве «Нойес лебен» вышел роман Гельмута Заковского «Даниэль Друскат». Почти одновременно телевидение Германской Демократической Республики показало телевизионный фильм в пяти частях, созданный Заковским и режиссером Лотаром Беллагом.

Гельмут Заковский — автор ряда известных телевизионных романов (см. «ИЛ» № 1, 1969, и «ИЛ» № 1, 1972). Тема его книги — деревня 60-х годов. Трудная судьба главного героя — председателя сельскохозяйственного кооператива Даниэля Друската — изображена на фоне исторических преобразований в деревне.

Большие статьи как о книге, так и о телевизионном фильме «Даниэль Друскат» поместили еженедельник «Зонтаг», журнал «Фильмшпигель» и другие периодические издания Германской Демократической Республики. Рецензенты подчеркивают, что роман и фильм дополняют друг друга. Газета «Берлинер цайтунг» назвала новую работу Гельмута Заковского «правдивым произведением о жизни и о людях». Отмечая, что писа-

тель сумел рассказать и о трагическом и о комическом, рецензент газеты «Нойес Дойчланд» считает, что роман написан в живой, выразительной манере сочным, народным языком.

«Даниэль Друскат» безусловно относится к значительным достижениям нашей современной литературы»,— пишет профессор Ганс Юрген Геердтс в заключение своей большой статьи в газете «Нойес Дойчланд».

ФРГ

ПЬЕСА ОБ ЭРНЕСТЕ ХЕМИНГУЭЕ

Издательство «Ровольт» выпустило в своей «карманной серии» новую пьесу знаменитого западногерманского драматурга Рольфа Хохгута «Смерть охотника». Пьеса эта не совсем обычна. Она представляет собой двухчасовой монолог одного-единственного героя — Эрнеста Хемингуэя и рассказывает о последних часах жизни писателя.

Хемингуэй наедине с собой размышляет вслух о своей жизни. Иногда он подходит к полкам, берет какую-нибудь из своих книг, читает. Потом прислушивается, не проснулась ли жена, осматривает ружье, из которого скоро будет произведен роковой выстрел. Верный своей манере, Хохгут сопровождает монолог Хемингуэя обширными и подробными ремарками, так что по существу пьеса читается как повесть. Пока неизвестно, какой театр решит ее поставить.

«Самые интенсивные моменты своей жизни мы переживаем в одиночестве,— объяснил Хохгут свой замысел в интервью, данном гамбургскому еженедельнику «Ди цайт».— Поэтому драматургически меня привлекла необычная задача — показать человека на последнем рубеже жизни. Самый напряженный диалог ведется с самим собой».

ДАНИЯ

ПЕСНЯ БОРЕТСЯ

Издательство Компартии Дании «Тиден» выпустило долгоиграющую пластинку с наиболее популярными мелодиями вокально-инструментального ансамбля «Серен Сидевин». Созданный в 1973 г., в ходе предвыборной кампании КП Дании, этот молодой коллектив, выступая на демонстрациях, митингах и торжествах, за короткий срок завоевал большую популярность своими политическими песнями.

Журнал Датского союза коммунистической молодежи «Фремад» придает большое значение участию ансамбля в международном фестивале политической песни в Берлине.

Первая записанная «Серен Сидевин» пластинка включает датские, немецкие, русские и американские революционные и рабочие песни, а также произведения участников ансамбля. В числе лучших из них журнал называет песню Ларса Мадсена — «Год рождения 1952-й», в которой рассказывается о росте политического сознания датской молодежи. Построенная на автобиографическом материале, она объясняет, как и почему ее автор стал коммунистом.

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН

«ГОРОД БУДУЩЕГО»

По сообщениям арабской прессы, издательство министерства культуры и туризма НДРЙ выпустило несколько сборников стихов современных йеменских поэтов, среди которых — «Город будущего» чрезвычайно популярного как в Южном, так и в Северном Йемене слепого певца Абдаллаха аль-Бараддуни.

Арабская критика отмечает высокое гражданское звучание стихов аль-Бараддуни.

ИЗРАИЛЬ

«ИЕРИХОНСКИЙ ГУБЕРНАТОР»

По сообщениям израильской прессы, Камерный театр в Тель-Авиве готовит к постановке пьесу драматурга Йосефа Монди «Иерихонский губернатор».

Действие пьесы происходит в наше время в древнем палестинском городе Иерихоне, оккупированном Израилем во время июньской войны 1967 года. Почти все действующие лица — солдаты и офицеры израильских оккупационных войск.

В центре пьесы — военный губернатор Иерихона. Образ этот совершенно не похож на созданный израильскими литераторами официального направления штамп молодого красавца супермена, который кричит солдатам: «За мной!» Губернатор Иерихона ведет себя как хозяин крупного торгового предприятия, главная цель которого — нажива. Он занят поисками мифических стен Иерихона и не замечает подлинной «иерихонской стены» — стены отчуждения и ненависти между коренным арабским населением и израильскими оккупационными властями и колонистами.

Пленный палестинский партизан Мухаммед говорит охраняющему его израильскому солдату, который жалуется ему, что «чувствует себя чужим» в Иерихоне: «На свое одиночество жалуйся где-нибудь в другом месте. Это моя страна. Я люблю ее. Мы не хотим, чтоб вы были здесь. Вы уйдете отсюда... Это произойдет через год, через два года, через пять лет, но вы уйдете... Ты не один чужой здесь, вы все здесь чужие, все!»

Многие критики подчеркивают злободневность пьесы. Рецензент журнала «Гаолам газе» пишет в своей рецензии, что «Иерихонский губернатор» — это бочка с динамитом. Многих она приведет в ярость.

Прогрессивные круги Израиля выражают опасение, что пьесу Монди может по-

стигнуть судьба поставленной Камерным театром в 1970 году антимилитаристской пьесы драматурга Хануха Левина «Королева ванной». Ультрасионистские силы тогда добились ее запрещения после нескольких представлений.

ИНДИЯ

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Огромен вклад в национальное искусство недавно скончавшегося скульптора современной Индии Деви Прасада Роя Чоудхури, пишет еженедельник «Линк». Произведения этого мастера украшают площади и улицы многих городов страны, их знают и ценят поклонники подлинного искусства далеко за пределами Индии.

Многосторонне одаренный человек, Чоудхури был не только скульптором, но и талантливым писателем, музыкантом, художником.

Талант Чоудхури рано получил признание. Ряд его работ был удостоен премий. Он был избран первым президентом Всеиндийской академии художеств. Немало сил отдал Чоудхури организационной и преподавательской деятельности.

Жизненность, правдивость, темперамент отличают созданные Чоудхури монументальные памятники. Скульптурный портрет Махатмы Ганди в Мадрасе, памятники видным бенгальским писателям в Калькутте, установленная перед Национальным музеем в Дели бронзовая скульптура «Ритм», групповой памятник патриотам на центральной площади в г. Патна, скульптурная группа «Триумф труда» на одной из оживленнейших магистралей Бомбея — это лишь малая часть наследия национального мастера.

Школа Чоудхури занимает особое место в истории современного искусства Индии. Она оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на многих национальных художников, заключает критик.

ИТАЛИЯ

«ПУТИ СВОБОДЫ» КОРРАДО КАЛЬИ

В Ровиго с большим успехом прошла выставка графики Коррадо Кальи «Пути свобсды». Основу экспозиции составляли рисунки, отображающие зверства нацизма. Одна из центральных работ — «Мальчик в концлагере». «Документом поистине трагической силы, достигающим высот поэзии», назвал это произведение в газете «Паэзе сера» поэт Джузеппе Унгаретти. В дни выставки город Ровиго избрал художника своим почетным гражданином.

Эта выставка оказалась последней прижизненной выставкой Коррадо Кальи. Он скончался 28 марта на 66-м году жизни.

«Пути свободы»... Коррадо Кальи прошел их все — эти неизбежно суровые и трудные пути»,— сказал видный деятель Итальянской компартии Джорджо Амендола на траурном митинге, посвященном Кальи.

Художник начал свою творческую деятельность в конце 20-х годов, а в 30-е годы, по свидетельству Ренато Гуттузо, уже возглавлял широкое движение за обновление изобразительного искусства в Риме и во всей Италии. Его фрески, картины на мифологические и библейские сюжеты, исторические полотна, в том числе огромная картина «Битва при Сан-Мартино», ставшая вехой в итальянском искусстве 30-х годов, представляли собой синтез мысли и вдохновенного темперамента, традиции Возрождения и раскрепощенного обра-

Рисунок Коррадо Кальи «Мальчик в концлагере».

(Газета «Унита»)

ного мышления XX века. Они были полной противоположностью официальной живописи муссолиниевской Италии.

В 1938 г. двадцатисемилетний художник был вынужден покинуть родную страну. Во время второй мировой войны он с оружием в руках боролся с фашизмом, участвовал в высадке в Нормандии. После разгрома гитлеровской Германии в его творчестве появилась новая тема.

Вернувшись в Италию, Кальи равно успешно работает в самых разных областях искусства: живописи и графике, скульптуре и архитектуре, кино и теории живописи. Кальи оформляет спектакли в миланском театре Ла Скала, в римском Оперном театре, фестивали в Сполето. Он экспериментирует в живописи, пробуя самую различную технику, испытывая себя в различных жанрах.

Активно участвует Кальи в демократическом движении. Он не отделял задач художника от обязанностей гражданина, «всегда соединяя,— по свидетельству Амендолы,— поиски в искусстве с борьбой за свободу». Смерть застала Кальи в тот момент, когда он был полон новых творческих замыслов. «От нас ушел большой художник, большой друг»,— пишет в газете «Паэзе сера» Ренато Гуттузо.

НОВЫЙ РОМАН КАРЛО КАССОЛЫ

Карло Кассола принадлежит к плеяде итальянских писателей, пришедших в литературу из движения Сопротивления, которое и стало главной темой его первых произведений. Однако в 60-х годах Кассола отошел от политических и социальных проблем, концентрируя внимание на внутренних переживаниях своих героев.

Вот почему итальянская критика, как и читатели, с особенным интересом встретили новый роман Кассолы «Соперник», в котором он, по выражению рецензента газеты «Унита» Витторио Спинаццолы, перешел «от элегии к анализу», вернулся к прежним своим темам и «занял непримиримую критическую позицию».

Действие, как обычно у Кассолы, происходит в тосканской провинции в годы фашизма и в первые послевоенные годы. В отличие от большинства прежних книг Кассолы это — многоплановый роман с большим числом действующих лиц. Перед читателем развертывается драма целого поколения: рушится привычный, складывавшийся веками уклад жизни провинциальных помещиков, исчезают кастовые перегородки, теряют былую власть местные магнаты.

Роман создает широкую картину нравов и отличается тонким психологизмом в обрисовке характеров.

Особое достоинство романа рецензент «Униты» Витторио Спинаццола видит в его критичности.

КУБА

РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Известный поэт и критик Роберто Фернандес Ретамар, анализируя качественные изменения, происшедшие в литературе страны за 15 лет со дня победы революции, пишет в газете «Гранма»:

«Мы являемся свидетелями рождения и расцвета новой национальной культуры». Перефразируя слова Эренбурга о том, что советская литература создала своего читателя, Фернандес Ретамар говорит далее, что величайшим созданием кубинской литературы этих лет стал кубинский читатель, требовательный и вдумчивый.

Статья кубинского писателя проникнута оптимистической верой в будущее кубинской культуры. «Там, где есть великий, настоящий народ,— пишет он,— будет и великая, правдивая литература».

Во время конференции руководителей издательств социалистических стран, проходившей в Гаване, Кубинский институт книги организовал выставку лучших кубинских изданий последних лет. Особого внимания заслуживает второе издание полного собрания произведений Хосе Марти, плод многолетней и еще не законченной работы ученых и исследователей.
Хосе Марти, по словам Хуана Маринельо, «является поистине титаном, человеком, соединившим в себе величайшего революционера своего времени и яркого, могучего писателя, которому нет равных в испаноязычной литературе XIX века».
На снимке: книги Хосе Марти.

(Журнал «Верде оливо»)

ПАКИСТАН

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАСТИНКА ФАИЗА

В связи с 65-летием крупнейшего поэта и общественного деятеля Пакистана Фаиза Ахмада Фаиза выпущена долгоиграющая пластинка с песнями на его стихи в исполнении молодой певицы Наяры Нур.

Интересна история создания пластинки. Молодые талантливые композиторы, певцы и музыканты, влюбленные в поэзию Фаиза, решили передать в музыке то, что Фаиз стремился выразить в своих стихах. Их произведения не раз использовались в телевизионных передачах. Так за два года образовалась большая фонотека, которая и была использована для создания пластинки.

Музыка песен, которые исполняет Наяра, написана композиторами - любителями —Шахидом Туси и Аршадом Махмудом.

Наяра Нур начала петь всего шесть лет назад, но уже стала лауреатом премии Нигар.

По мнению газеты «Пакистан таймс», «Наяра исполняет Фаиза» (так называется пластинка) обогащает фонд современной пакистанской музыки, так как ее создали молодые артисты, свободные от коммерческого духа и не подчиняющиеся требованиям музыкального рынка.

ПОЛЬША

ИНТЕРЕСНАЯ ВЫСТАВКА

Как сообщает газета «Жиче Варшавы», по случаю 130-й годовщины со дня рождения и 60-летия со дня смерти Генрика Сенкевича Национальная библиотека подготовила выставку, посвященную творчеству писателя. На выставке особенно интересны рукописи романов «Камо грядеши?», который был отмечен Нобелевской премией, и «Крестоносцы». Они состоят из отдельных листков, писатель частями отправлял их в редакции журналов, где эти романы выходили, по ним явственно можно проследить, как работал писатель над текстом. Ценность этих страниц еще и в том, что на обратной стороне есть указания писателя наборщикам.

На выставке представлены редкие фотографии Сенкевича.

Особый отдел посвящен иллюстрациям к произведениям Сенкевича. Большой интерес представляет также выставка кадров из фильмов, снятых по произведениям Сенкевича, которые неоднократно экранизировались, среди них кадры из фильма «Янко-музыкант» (1930), «Крестоносцы» (1960), «Пан Володыевский» (1968), «В пустыне и пуще» (1973), «Потоп» (1974).

В Малом театре в Варшаве с успехом прошли пьесы для одного актера Ирениуша Иредыньского «Чистая любовь» и «Мария». Пресса отмечает высокое актерское мастерство Даниэля Ольбрыхского и Зофьи Куцувны, выступивших в этих спектаклях.
На снимке: Даниэль Ольбрыхский в спектакле «Чистая любовь» и Зофья Куцувна в спектакле «Мария».

(Журнал «Театр»)

В Варшавском литературном музее, по свидетельству рецензента «Жиче Варшавы», состоялась выставка — «Станислав Выспянский — поэт-художник». Среди работ, взятых из музеев и частных собраний, на выставке был представлен ряд автопортретов Выспянского.
На снимке: автопортрет Станислава Выспянского из Национального музея во Вроцлаве.

(Газета «Жиче Варшавы»)

РУМЫНИЯ

Спектакль Клужского национального театра «Пули под нашим небом» по пьесе Ал. Кэпрарю посвящен периоду трагических событий в Румынии в 1941 году.

По словам рецензента журнала «Трибуна» Иона Кокоры, это спектакль-размышление о воздействии истории на сознание людей, о судьбе и ответственности художника в те мрачные годы.

На снимке: сцена из спектакля «Пули под нашим небом».

(Журнал «Трибуна»)

СИРИЯ

НОВЫЕ КНИГИ

В Дамаске вышло второе, дополненное, издание книги сирийской писательницы и литературоведа Видад ас-Сакакини «Омар Фахури» об основоположнике прогрессивного реалистического направления в современной литературе Сирии и Ливана.

По сообщениям прессы, писательница также завершила работу над книгой о выдающемся ливанском писателе и критике Михаиле Нуайме.

Как сообщает журнал «Ас-Сакафа», известный сирийский писатель Фадыль ас-Сибаи опубликовал новый сборник рассказов под названием «Печаль до самой смерти». По словам рецензента, рассказы, включенные в сборник, проникнуты духом борьбы против угнетателей.

ЖУРНАЛ «АЛЬ-МАРИФА» О ПАЛЕСТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Вышел специальный номер сирийского журнала «Аль-Марифа», посвященный палестинской литературе. В номере помещены статьи о литературе палестинского Сопротивления, стихи, интервью с видными деятелями литературы и искусства, рецензии на книги палестинских авторов, а также запись беседы редактора журнала Сафвана Кудси с критиками и писателями о проблемах современного рассказа.

США

«ИСТОРИЯ ТИПИЧНЕЙШЕЙ АМЕРИКАНКИ»

В последние годы заметно усилился интерес читателей и критики к творчеству поэтессы Сильвии Плат (см. «ИЛ» № 1, 1975), трагически погибшей в 1963 г., когда ей было всего тридцать лет. Изданный почти одновременно в Нью-Йорке и Лондоне объемистый том «Письма домой», который подготовила к печати мать поэтессы Аурелия Плат, вызвал ряд откликов в английской и американской литературной периодике.

Рецензенты единодушно оценивают книгу как необычайно интересный и значительный роман-документ, отмечая предельную откровенность писем родным, которые Плат писала на протяжении многих лет (со времени поступления в колледж и до смерти) едва ли не ежедневно. По мнению «Нью-Йорк таймс бук ревью», эта «лучшая из существующих биографий Плат» должна заинтересовать читателя еще и потому, что человеческая судьба, о которой она повествует, очень характерна для американского общества. «Историей типичнейшей американки» назвал книгу рецензент лондонской «Санди таймс» Дж. Рэбан.

Плат выросла в семье австрийских иммигрантов, рано узнала нищету и с детства лелеяла мечту вырваться из тисков материальной зависимости и нужды, являющихся уделом миллионов рядовых американцев. Большой художественный талант в соединении с редким упорством помог ей еще студенткой завоевать

литературную репутацию. Однако силы поэтессы были уже подорваны. «Гляжу в будущее,— пишет она матери из университета,— и вижу перед собой лишь нескончаемую работу и ее все более лихорадочный темп, пока не упаду мертвой».

А. Альварез пишет в «Обсервере», что на сознание поэтессы наложила глубокий отпечаток атмосфера бездуховной, «потребительской» американской действительности 50-х годов, столь ярко воссозданной в романе Плат «Под стеклянным колпаком» и в лучшем сборнике ее стихов «Ариэль».

«Эпистолярный роман одного героя», по выражению Дж. Рэбана, наполнен большим общественным содержанием. Сохраняя всю силу непосредственного свидетельства индивидуальной человеческой драмы, он открывает перед читателем духовный и творческий мир поэта, чей след не сотрется в истории новейшей американской литературы.

ТАИЛАНД

Патравади Ситрайрат известна как актриса, сценарист и кинорежиссер, лауреат премии «Золотая кукла» — высшей награды таиландских кинематографистов.

(Журнал «Эйшаучик»)

ТУНИС

МОРСКИЕ КАРТИНЫ

Как сообщает журнал «Аль-Фикр», в Тунисе вышел роман молодого писателя Мухаммеда Салиха аль-Джабири «Морские картины».

Действие романа происходит в наше время. Его главный герой — деревенский парень, получивший образование и ставший учителем. Он бросает деревню и переезжает в столицу.

Однако жизнь в городе разочаровывает героя. После различных злоключений, пережитых в столице, морально сломленный юноша возвращается в деревню.

Роман «Морские картины» благожелательно встречен тунисской критикой, отметившей актуальность его тематики и живой, красочный язык.

Кроме романа «Морские картины» Мухаммед Салих аль-Джабири написал недавно опубликованное литературоведческое исследование «Тунисский рассказ. Его возникновение и его первые представители».

ИНТЕРВЬЮ С МУХАММЕДОМ МЗАЛИ

Издающийся в аравийском эмирате Катар журнал «Ад-Духа» опубликовал интервью члена редколлегии журнала Мазина Хиджази с тунисским критиком, общественным и государственным деятелем Мухаммедом Мзали, занимающим посты министра здравоохранения, главного редактора ведущего тунисского литературного и общественно-политического журнала «Аль-Фикр», а также председателя Союза тунисских писателей. Кроме того, Мухаммед Мзали — член политбюро правящей Социалистической дустуровской партии и председатель тунисского Олимпийского комитета. Он видный специалист в области философии и литературы, автор семи книг.

В начале интервью журналист из Катара попросил Мзали объяснить тайну долголетия основанного им журнала «Аль-Фикр», который выходит уже двадцать лет.

Отвечая на этот вопрос, Мзали сказал, что «Аль-Фикр», созданный в октябре 1955 года, накануне провозглашения независимости страны, испытал немало трудностей, но их удалось преодолеть благодаря «вере в важность подобного журнала для Туниса и арабского мира в целом».

Далее журналист попросил Мзали рассказать о тунисской литературе, так как на Арабском Востоке она известна мало, если не считать стихов поэта Абу-ль-Касима аш-Шабби.

Отдав должное славе поэта, Мзали сказал, однако, что в Тунисе есть и другие художники, достойные того, чтобы занять в литературе место рядом с аш-Шабби,— например, Аш-Шазли Хазандар, Саид Абу Бекр, Ат-Тахир аль-Хаддад.

До освобождения тунисская литература выражала стремление народа к свободе и независимости и разоблачала колониальное угнетение. Литература того времени была преимущественно литературой борьбы и просвещения — исключая, конечно, произведения всяких литературных приспособленцев, восхвалявших режим бея.

После достижения независимости, продолжает Мзали, главной темой тунисской литературы стали преобразования в культурной и политической жизни страны. Шестидесятые годы отмечены преобладанием романтического направления, хотя и не в ущерб реализму.

В настоящее время творчество молодых писателей характеризуется «стремлением к отрицанию и мечтой о новом мире». Оно отражает смятение молодежи, на которую влияют различные идеологические течения, в том числе западные.

Далее Мзали подробно рассказал о проводящейся в Тунисе кампании арабизации и «тунисификации»

культуры, подчеркнув ее огромное значение в борьбе за освобождение страны от наследия колониализма.

ФРАНЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА РОЖЕ БОРДЬЕ

Новая книга Роже Бордье «Митинг» (издательство «Альбен Мишель»), как и его предшествующий роман «Океан», принадлежит к жанру социальной фантастики. Главная тема «Митинга» и лейтмотив всего творчества Роже Бордье — протест масс против бесчеловечности технократической цивилизации.

В основе сюжета — борьба крестьянского кооператива, который хотят уничтожить в интересах крупного частного предприятия. Борьба эта перерастает в стихийное массовое выступление против власти монополий. «Недовольство обездоленных прокатывается по городу как разлившаяся река, как предвестник лучшего будущего»,— пишет о романе «Митинг» Жаклин Пьятье в газете «Монд».

Андре Вюрмсер подчеркивает в «Юманите», что «Митинг» — это «политическая поэма, картина современности, созданная поэтом нашего времени, вдохновленным надеждами нашего времени... Строги и точны его эпитеты, эмоциональны образы... К концу романа пламя мятежа спадает, как это было в мае шестьдесят восьмого года. И все же эта вспышка была обещанием счастья». Развивая мысль автора—«ключ к счастью—это способность быть счастливым в коллективе», Вюрмсер заключает: «И действительно, нет другого пути к счастью, нет другого способа быть счастливым».

В интервью газете «Юманите» Роже Бордье сказал: «Большую роль в моем романе играют средства массовой информации, связывающие события и людей. Это тоже персонаж романа... В изображении индивидуальных психологий меня особенно интересовало, как каждый из персонажей откликается на общее движение масс...

Я хотел показать всю меру различия между неэффективной и претенциозной «революционностью» групп, более или менее близких к гошизму, и мощью тех средств, которыми могут располагать великая партия рабочего класса, профсоюзы и народное движение, еще рассеянное, но уже находящееся на пути к сплочению».

ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ

Еженедельник «Юманите диманш» поместил рецензию на новую книгу французского поэта Пьера Габриэля, его первый прозаический опыт. В романе «Вяз» Габриэль рассказывает историю взросления впечатлительного, чуткого мальчика, который, не находя понимания ни у сверстников, ни у взрослых, замыкается в одиночестве, прячется от действительности в мире фантазий. Символом гармонии и красоты, которых он ищет в жизни, становится для него могучий вяз, растущий возле его дома.

Однако действительность с ее светлыми и темными сторонами врывается в царство грез, и на смену мечтам приходит потребность в действии, ощущение, что он нужен людям. Герой прощается с детством.

Как указывается в рецензии, это роман «воспитания чувств», написанный с большой поэтичностью и проникновенностью.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ДОМ ДЛЯ МЛАДШЕГО СЫНА»

Эта пьеса известного словацкого драматурга Яна Какоша, написанная к 30-летию Словацкого национального восстания, с успехом идет во многих театрах Чехословакии и других социалистических стран. В ней с большой остротой поставлен ряд важнейших социальных и морально-этических проблем. Она еще раз показывает, что в тот момент, когда решается судьба народа, когда он поднимается на борьбу за свою свободу и самостоятельность, невозможно остаться в стороне, невозможно просто переждать, заботясь

На снимке: Владо Мюллер в роли сына и Вильям Полони в роли отца в спектакле «Дом для младшего сына», поставленном братиславским театром «Новая сцена».

(Журнал «Фильм а дивадло»)

лишь о самом себе и своих интересах. Вот почему закономерен крах жизненной философии старого Деметера, который всю жизнь прожил «выше людей», «над деревней» (его дом стоял на склоне горы, далеко от деревни). В финале пьесы старый крестьянин, убив младшего сына, ставшего активным пособником немцев, поджигает дом, который с такой любовью строил для этого сына. Но это не сломило Деметера — он находит в себе силы для новой жизни, для борьбы за общее дело.

Драматург, по его словам, хотел «напомнить о том, что сила революционных и социалистических идей перешла из дней Восстания в современность, нашла в ней благодатную почву... Для того чтобы драма имела общественный резонанс, она должна показать эту борьбу...».

В настоящее время по пьесе снимается телефильм. Режиссера Карола Спишака в пьесе Я. Какоша привлек не только драматический конфликт и сильные характеры, но и ее своеобразный стиль.

ЧИЛИ

ВЫСТАВКА ВИОЛЕТЫ ПАРРА

В галерее «Каса де лас Американас» в Гаване была организована выставка гобеленов недавно умершей видной чилийской фольклористки Виолеты Парра. Это самое полное собрание ее гобеленов. Одни уже экспонировались на Кубе и в других странах, а некоторые лишь недавно вывезены из Чили, что спасло их от участи многих произведений искусства, уничтоженных фашистской хунтой.

Виолета Парра не только собирала чилийский фольклор, но сама писала музыку и стихи. Она была также яркой, самобытной художницей, истинно народной по духу. Большой знаток национальных ремесел, она прославилась замечательными вышивками и гобеленами, которые всегда занимали почетное место на смотрах чилийского прикладного искусства — от скромных сельских выставок до Лувра, где в 1964 году состоялась ее персональная выставка.

В гобеленах Виолеты Парра, пишет критик Алехандро Алохо, воплощены темы, извечно волнующие художников: жизнь простых людей, природа, сказочные народные мотивы. Нашли в них выражение и темы борьбы с фашизмом, с варварством. Каждый из гобеленов — а их представлено в «Каса де лас Американас» семнадцать — воплощает многообразие внешнего мира и одновременно раскрывает богатство внутреннего мира художницы.

ШВЕЦИЯ

«ПО СЛЕДАМ ДОН ЖУАНА»

Действие нового романа «По следам Дон Жуана» крупнейшего современного прозаика Ларса Юлленстена разворачивается в Испании XVII века. Используя старинную легенду о севильском обольстителе, Юлленстен не отказывается от традиционных условностей комедии «плаща и шпаги». Однако в его интерпретации канонический сюжет приобретает новое философское звучание.

Писатель противопоставляет две жизненные позиции, два мироощущения. Дон Жуан наделен чертами стихийного бунтаря-одиночки, который усматривает идеал абсолютной свободы в отрицании всяческих законов и норм. Юлленстен разоблачает лицемерную идеологию господствующего класса, разряженных в пышные костюмы властолюбивых аристократов и ханжей.

Поединок, в который вступает Дон Жуан, бросив вызов обществу, завершается трагически. Герой погибает в погоне за призрачной свободой.

Роман Л. Юлленстена очень высоко оценен критикой.

«По следам Дон Жуана» — блистательная сатирическая стилизация,— пишет рецензент литературного обозрения «Бонньерс литтерер мэгзин»,— и одновременно очень злободневная карикатура на современное общество».

«Юлленстен верен себе. Он прибегает к истории, чтобы нагляднее показать современность, ее политические и нравственные проблемы. И новый его роман — прекрасное тому подтверждение»,— отмечает рецензент журнала «Букревю».

ЮГОСЛАВИЯ

«ТИХИЙ ДОН» НА МАКЕДОНСКОМ ЯЗЫКЕ

В издательстве «Македонска книга» в Скопле вышел перевод романа «Тихий Дон» М. А. Шолохова на македонский язык.

На сербско-хорватский язык «Тихий Дон» был переведен еще до войны и в военные годы был настольной книгой многих участников движения Сопротивления. В первые послевоенные годы роман вышел на словенском языке. И вот теперь — на македонском.

Автор перевода — поэт и прозаик Евтим Манев, который перевел на македонский язык произведения многих советских писателей.

Югославский критик Душко Наневский в газете «Нова Македония» дает очень высокую оценку переводу «Тихого Дона». Он указывает, что перевод «Тихого Дона» — большой вклад в македонскую культуру.

Авторы этого номера

ЯН БЕНЬО — JÁN BEŇO (род. в 1933 г.).

Словацкий писатель-прозаик. Писать начал, еще будучи в гимназии. Окончил философский факультет Университета имени Коменского в Братиславе. Затем учился в Высшей педагогической школе в Банска-Бистрице, занимался журналистикой. Ныне главный редактор братиславского издательства «Словенски списователь». Автор книг: «Каждый день — день рождения» («Každý deň narodeniny», 1964), «Над голубым миром» («Nad modrým svetom», 1968). «Одна граната для собаки» («Jeden granát pre psa», 1971) и «Аллея любви», из которой взяты публикуемые рассказы («Alej lásky», Bratislava, Slovenský spisovatel, 1975).

ЛЮБОШ ЮРИК — L'UBOŠ JURÍK (род. в 1947 г.).

Молодой словацкий писатель-прозаик. Закончил отделение журналистики философского факультета Университета им. Коменского в Братиславе. В настоящее время работает в еженедельнике «Нове слово». Ему принадлежат две книги рассказов: «На полевой улице» («Na Pol'nej ulici», 1973) и «Долгая трудная дорога» («Dlhá namáhavá cesta», 1976). В 1975 году он выпустил книгу-интервью «Беседы с известными словацкими писателями» («Rozhovory»).

Рассказ «Камень с кулак» был напечатан в сборнике «В ту пору» («V tomto čase», Zbornik mladej poézie a prozy, Smena, 1973).

ЯН ПАПП — JÁN PAPP (род. в 1929 г.).

Словацкий писатель. Дебютировал в пятидесятые годы как поэт. Первая повесть «Тележка, полная скорби» («Kára plná bolesti») вышла в 1969 году и переведена на ряд европейских языков. Затем последовали сборники повестей и рассказов: «Каменный ангел» («Kamenný anjelik», 1970), «Пылающий уголек» («Žeravý uhlík», 1972), романы «Песнь для глухих» («Pieseň pre hluchých», 1971) и «Люби время, которое придет» («Miluj čas, ktorý príde», 1974) — широкое эпическое полотно о Словацком национальном восстании и первом послевоенном годе. Творчество Яна Паппа неоднократно отмечалось на государственных литературных конкурсах.

Предлагаемый читателю рассказ «Братья» был опубликован в журнале «Словенске погляды» № 8, 1974.

ИШТВАН ШИМОН — SIMON ISTVAN (1926—1975).

Венгерский поэт и общественный деятель. Родился в крестьянской семье. Окончил филологический факультет Будапештского университета. Долгие годы был главным редактором журнала «Кортарш», одним из секретарей Союза венгерских писателей, депутатом парламента. Автор многочисленных поэтических сборников. За книгу стихов «Нет, не довольно» («Nem elég», 1955) удостоен премии имени Кошута, за сборники «Зреющие дни» («Érlélö napok», 1954) и «Виноград и каштаны» («Szölö és gesztényе», 1967) — премии имени Аттилы Йожефа.

Перу Иштвана Шимона принадлежат также сборники рассказов и очерков «Под сенью цветущих деревьев» («A virágfa árnyékában», 1964), «В тропиках» («Forró égöv alatt», 1969), «О путях-дорогах в мир» («Gyalogútról a világba», 1970), история венгерской литературы — от ее истоков до наших дней и др. произведения.

Советские читатели хорошо знают имя Иштвана Шимона — на русском и на языках народов СССР публиковались его стихи, статьи и очерки, отдельным изданием вышел поэтический сборник.

Мы публикуем стихи из последнего сборника поэта «Рапсодия времени» («Rapszodia az idöröl», Budapest, Szepirodalmi kiadó, 1975).

КОБО АБЭ (род. в 1924 г.).

Японский писатель — романист, новеллист, драматург. Получил медицинское образование в Токийском университете. В 1950 году обратил на себя внимание рассказом «Красный кокон». За повесть «Стена» в 1951 г. был удостоен премии Акутагавы. Но широкая международная известность пришла к Кобо Абэ после опубликования романов «Женщина в песках» (за который он был в 1968 г. награжден французской литературной премией, присуждаемой иностранному писателю за лучшую книгу года), «Чужое лицо» и «Сожженная карта». С этими романами познакомила советских читателей «Иностранная литература» (см. № 5, 1966, № 12, 1967, № 8, 9, 10, 1969). На русский язык переведены также его повести «Четвертый ледниковый период», «Совсем как человек», сборник «Пьесы» и несколько рассказов.

В последнее время Кобо Абэ увлекается режиссурой и ставит свои пьесы в организованной им театральной студии.

Мы публикуем его новый роман «Человек-ящик», вышедший в Токио в 1973 году.

ТРИСТАН КОРБЬЕР — TRISTAN CORBIÈRE (1845—1875).

Французский поэт. Его единственный сборник стихов «Желтая любовь» («Les Amours jaunes») был опубликован в 1873 году.

Подробнее о Тристане Корбьере — во вступительной статье М. Кудинова.

Публикуемые стихи взяты из серии «Поэзия» («Collection poésie», Paris, Gallimard, 1973).

ВИЛЬГЕЛЬМ ГИРНУС — WILHELM GIRNUS (род. в 1906 г.).

Немецкий литературовед (ГДР), академик, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, главный редактор журнала «Зинн унд форм», автор ряда эссе по эстетике, работ о творчестве Гёте, Винкельмана, Шекспира, Бехера, Гумбольдта, трудов по теории литературы и искусства.

Публикуемая статья получена в рукописи.

ЗДЕНЕК ПЛУГАРЖ — ZDENĚK PLUHÁŘ (род. в 1913 г.).

Чехословацкий писатель-прозаик, заслуженный писатель ЧССР, лауреат Государственной премии имени К. Готвальда, автор многих романов. Начал печататься с 1947 года. Особой популярностью пользуется его роман «Если покинешь меня» (опубликован «Иностранной литературой» в № 1, 2, 3, 1959 г.). За ним последовали романы: «Пусть бросит камнем» («Ať' hodí kamenem», 1962), «Успех» («Úspěch», 1965), «Минута тишины за мою любовь» («Minutu ticha za mé lásky», 1969), «Конечная остановка» («Konečná stanice», 1971), «Стеклянная дама» («Skleněná dáma», 1973), «Один сребреник» («Jeden stříbrný», 1974) и др.

Статья «О чешской прозе наших дней» получена в рукописи.

МЭРИ КРУС — MARY CRUZ.

Кубинская писательница, литературовед. В Институте литературы и лингвистики Академии наук Кубы ведает группой англоязычных литератур. Автор литературной биографии Игнасио Аграмонте, кубинского патриота и борца против испанского колониального ига («El Mayor», 1972), а также критико-биографического эссе «Крето Ганга» («Creto Gangá», 1974) и др. Рассказы и стихи Мэри Крус неоднократно печатались в кубинских и зарубежных журналах. Ее поэма «В Мавзолее» («En el Mausoleo»), посвященная памяти В. И. Ленина, переведена на русский язык («Новый мир» № 1, 1974).

В течение трех лет изучала архивы и библиотеку Эрнеста Хемингуэя в его доме музее в Сан-Франсиско-де-Паула.

Статья «Хемингуэй — навсегда» получена в рукописи.

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ — KRZYSZTOF KĄKOLEWSKI (род. в 1930 г.).

Польский писатель — прозаик и очеркист. Окончил факультет журналистики Варшавского университета. Автор нескольких сборников детективных новелл, повестей и романа «Преступник, который украл преступление» («Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię», 1969). Однако основные темы книг-репортажей К. Конколевского — минувшая война, оккупация, судьбы поляков «военного поколения»: «Три злотых за слово» («Trzy złote za słowo», 1964), «22 истории, которые написала жизнь» («22 historie, które napisało życie», 1967), «17 историй, которые написала война» («17 historii, które napisała wojna», 1971), «Документальные легенды» («Baśnie udokumentowane», 1976).

К ним примыкает и книга интервью К. Конколевского с нацистскими военными преступниками «Как вы теперь поживаете?» («Co u pana słychać?», Warszawa, Czytelnik, 1975), которую мы печатаем с небольшими сокращениями.

ХОРХЕ ИКАСА — JORGE ICAZA (род. в 1906 г.).

Эквадорский писатель. Один из создателей современного латиноамериканского романа. Начинал как драматург. Его роман «Уасипунго» стал одним из основных произведений так называемой индианистской литературы. Жизни индейцев, социальным конфликтам посвящены романы Хорхе Икасы «На улицах» («En las calles», 1935), отмеченный Национальной премией Эквадора, «Метисы» («Cholos», 1937), «Полвека в темноте» («Media vida deslumbrados», 1942), «Никудышный Ромеро и Флорес» («El chulla Romero y Flores», 1958), сборники рассказов «Глина гор» («El barro de la sierra», 1933), «Шесть раз умерщвленный» («Seis veces la muerte», 1952) и др.

Романы «Уасипунго» и «На улицах» переведены на русский язык.

ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА.

Советский поэт-переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. В ее переводах публиковались стихи Х. Л. Пачеко («ИЛ» № 4, 1972), Антонио Мачадо, Х. А. Гойтисоло («ИЛ» № 11, 1975) и др. Н. Горская занимается также переводом из венгерской и чешской поэзии, переводила Витеслава Незвала, Франтишека Галаса («ИЛ» № 4, 1970), Яна Коллара, Антала Фаркаша, Ласло Беньямина и др.

ГРИВНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1923 г.).

Советский литературовед-ориенталист, переводчик, доктор филологических наук, профессор МГУ. Автор работ о современной японской литературе. Переводил с японского произведения Рюноскэ Акутагавы, Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ и др.

КУДИНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (род. в 1922 г.).

Советский поэт и переводчик. Автор трех книг стихов для детей. В его переводе опубликованы сборники стихов французских и бельгийских поэтов: Гийома Аполлинера, Блэза Сандрара, Жака Превера, Робера Десноса, Рэмона Кено, Жана Тардье, Андре Френо, Мориса Карема. Составитель и переводчик антологического издания «Из современных французских поэтов».

В нашем журнале переводы М. Кудинова публиковались неоднократно, в том числе в разделе «Литературное наследие» из Жерара де Нерваля (№ 1, 1974).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 28/V 1976 г. А 01605 Подписано в печать 13/VII 1976 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,29.
Тираж 585 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 1790.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Давид Консузгра Урибе (Колумбия)

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

Вниманию читателей

По примеру прошлых лет редакция журнала «Иностранная литература» просит присылать ей ваши отзывы о произведениях прозы, поэзии, критики и публицистики, опубликованных в 1975—1976 годах.

Нам хотелось бы знать, как вы оцениваете романы, повести, рассказы, пьесы писателей разных стран и континентов. Что понравилось и что не понравилось вам в наших публикациях? Что вы хотели бы прочесть на страницах журнала? Какие авторы, какие произведения художественной литературы, публицистики, критики вас более всего интересуют?

Как и прежде, редакция будет стремиться учитывать пожелания читателей в своих публикациях.

Наш адрес: 109017, Москва. Пятницкая ул., 41.
Редакция журнала «Иностранная литература»